

2019 – № 3

СИБИРСКИЙ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Барнаул – Иркутск – Кемерово – Новосибирск – Томск

СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Основан в 2002 г. Выходит 4 раза в год

Сибирское отделение РАН
Институт филологии Сибирского отделения РАН
Алтайский государственный университет
Иркутский государственный университет
Кемеровский государственный университет
Новосибирский государственный педагогический университет
Новосибирский государственный университет
Томский государственный педагогический университет
Томский государственный университет

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Д-р филол. наук, проф. И. В. Силантьев (ИФЛ СО РАН) – главный редактор; д-р филол. наук, доц. И. Е. Ким (ИФЛ СО РАН) – зам. главного редактора; канд. филол. наук, доц. Д. А. Катунин (ТГУ) – зам. главного редактора; д-р филол. наук, проф. А. А. Чувакин (АлтГУ) – зам. главного редактора; канд. филол. наук А. А. Озонова (ИФЛ СО РАН) – ответственный секретарь

Д-р филол. наук, проф. Л. А. Араева (КемГУ); д-р филол. наук, проф. Н. С. Болотнова (ТГПУ); д-р филол. наук, проф. Э. Вайда (Западно-Вашингтонский университет, США); д-р филол. наук, проф. Л. И. Горбунова (ИГУ); д-р филол. наук, проф. В. З. Демьянков (ИЯ РАН); канд. филол. наук, проф. Е. А. Добренко (Университет Шеффилда, Великобритания); д-р филол. наук, проф. М. Я. Дымарский (РГПУ им. А. И. Герцена); д-р филол. наук, доц. О. Д. Журавель (ИИ СО РАН); д-р филол. наук, проф. Л. Г. Ким (КемГУ); д-р филол. наук В. Л. Кляус (ИМЛИ РАН); д-р филол. наук, проф. А. В. Курьянович (ТГПУ); канд. филол. наук А. М. Лаврентьев (Лионский университет, Франция); д-р филол. наук, проф. М. Н. Липовецкий (Университет Колорадо в Боулдере, США); д-р филол. наук, проф. Э. Малэк (Лодзинский университет, Польша); д-р филол. наук, проф. Т. И. Печерская (НГПУ); д-р филол. наук, проф. Дж. Рудей-Уиллоуби (Университет Кентукки, США); д-р филол. наук, проф. Е. К. Скрибник (Мюнхенский университет, Германия); канд. ист. наук, доц. С. Г. Суляк (Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Республика Молдова); д-р филол. наук, проф. Т. А. Трипольская (НГПУ); д-р философии по антропологии, проф. С. А. Ушакин (Принстонский университет, США); д-р филол. наук, проф. Л. Харвилаhti (Финское литературное общество, Финляндия); д-р филол. наук, проф. М. А. Черняк (РГПУ им. А. И. Герцена)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Д-р филол. наук, проф. Т. Е. Автухович (Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Республика Беларусь); акад. РАН А. Е. Аникин (ИФЛ СО РАН); д-р филол. наук, проф. Т. Бакчиев (КИЦА, Кыргызская Республика); д-р филол. наук, проф. Т. А. Демешкина (ТГУ); д-р филол. наук, проф. Л. И. Журова (ИИ СО РАН); чл.-корр. РАН, проф. Н. В. Корниенко (ИМЛИ РАН); канд. филол. наук, доц. С. А. Мансков (АлтГУ); д-р филол. наук, проф. М. А. Осадчий (Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина); д-р филол. наук, проф. Л. Г. Панин (НГУ); д-р филол. наук, проф. С. Ж. Тажибаева (Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Республика Казахстан); канд. филол. наук, доц. М. Б. Ташлыкова (ИГУ); канд. филол. наук, доц. О. Г. Щеглова (НГУ)

Институт филологии СО РАН, ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090
sibphilology@mail.ru
Официальный сайт журнала: <http://www.philology.nsc.ru/journals/spj/index.php>

СОДЕРЖАНИЕ

Фольклористика

- Масяйкина Е. В.** (Томск, ТГУ)
Совместные работы Н. Затопляева и Г. Потанина: по материалам
Научной библиотеки Томского государственного университета 9
- Корякина А. Ф.** (Якутск, СВФУ)
Мотивы одноименных олонхо «Нюргун Боотур Стремительный»: устойчивость, вариативность, импровизация 20
- Миндибекова В. В.** (Новосибирск, ИФЛ СО РАН)
Текстологические аспекты изучения сказочной прозы хакасов 32
- Арбачакова Л. Н.** (Новосибирск, ИФЛ СО РАН)
Внетекстовые реплики сказителя (из опыта расшифровки аудиозаписей «алыптыг ныбак») 43

Литературоведение

- Мароши В. В.** (Новосибирск, НГПУ)
Люди огня: к символике цыганского мифа в русской и европейской литературе XIX века 53
- Подрезова Н. Н.** (Иркутск, ИГУ)
Буряты как автохтоны Сибири в романе И. Калашникова «Дочь купца Жолобова» 67
- Новикова Е. Г.** (Томск, ТГУ)
Карл Маркс и Фридрих Энгельс в контексте геополитических взглядов Ф. М. Достоевского 77
- Пономарева А. А.** (Новосибирск, НГПУ)
Сюжет «начинающая писательница-провинциалка – известный литератор» в беллетристике середины XIX века (роман Н. Д. Хвощинской «Встреча») 85
- Тулякова А. А.** (Москва, НИ ВШЭ)
Джон Рескин в «Круге чтения» Л. Толстого: о творческой истории легенды «Большая Медведица (Ковш)» 97
- Корниенко С. Ю.** (Новосибирск, НГПУ)
«Что пользы, если Моцарт будет жив...»: Моцарт и Сальери в модернистских эстетических практиках 111
- Куликова Е. Ю.** (Новосибирск, ИФЛ СО РАН)
Немецкое и французское в балладном «Сне» Осипа Мандельштама («На высоком перевале...») 121
- Тупова Е. В.** (Москва, НИ ВШЭ)
Толстовские мотивы в поэме Д. Самойлова «Цыгановы» 131

Языкознание

- Новицкая И. В.** (Томск, ТГУ)
Лингвистика XXI века на пути к интегративной теории метафоры 143
- Горбунова Л. И., Цай Вэй** (Иркутск, ИГУ)
Область-источник когнитивной метафоры: status quo и перспективы исследования 158

Коноваленко Ю. В. (Новосибирск, НГПУ)	
Образная составляющая концепта <i>ВЫСОКОМЕРИЕ</i>	170
Тюнтешева Е. В., Шагдурова О. Ю. (Новосибирск, ИФЛ СО РАН)	
Эмотивные глаголы и глаголы межличностных отношений алтайского и хакасского языков в сравнении с другими тюркскими языками	180
Чебоचाкова И. М. (Абакан, ХакНИИЯЛИ)	
Особенности производных единиц, образованных от основы прилагательного «хара» ‘черный’, в хакасском языке	194
Мирзаева С. В. (Элиста, КалмНИЦ РАН)	
О буддийской терминологии монгольских и ойратских переводов «Царя молитв-устремлений» («Бхадрачарьи»)	205
Иркова А. В. (Кемерово, КемГУ)	
Предъюрисдикционные и юридические смыслы лексемы «гражданин» в общественно-политическом дискурсе	215
Высоцкая И. В., Северская О. И. (Новосибирск, НГУ; Москва, ИРЯ РАН)	
«Можно, пожалуйста, ...» как речевая формула «новейшей русской вежливости»	225
Медведев С. С., Фомин А. Г. (Кемерово, КемГУ)	
К вопросу о статусе межъязыкового каламбура	234
Федина Н. Н., Широбокова Н. Н. (Новосибирск, ИФЛ СО РАН)	
Вокализм чалканского языка	244
Шамина Л. А. (Новосибирск, ИФЛ СО РАН)	
Бипредикативные конструкции с зависимой предикативной единицей места в тувинском языке	259
Буторин С. С. (Новосибирск, ИФЛ СО РАН, НГТУ)	
Транзитивация инкорпоративных конструкций в кетском языке	272

Рецензии

Тагарова Т. Б. (Иркутск, ИГУ)	
Рецензия на книгу: Бадмаева Л. Б., Очирова Г. Н. Летопись Ш.-Н. Хобитуева как памятник письменной культуры бурят. Улан-Удэ: Бэлиг, 2018. 288 с. + вкл.	283

Научная жизнь

Головчинер В. Е., Макаренко Е. К., Петров А. В., Полева Е. А. (Томск, ТГПУ)	
Итоги Восьмой Всероссийской с международным участием научной конференции «Русская литература в современном культурном пространстве: Детство в литературе и литература о детстве»	286

2019 – No. 3

SIBERIAN
JOURNAL
OF PHILOLOGY

Barnaul – Irkutsk – Kemerovo – Novosibirsk – Tomsk

SIBERIAN JOURNAL OF PHILOLOGY

Founded in 2002. Published quarterly.

Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Altai State University
Irkutsk State University
Kemerovo State University
Novosibirsk State Pedagogical University
Novosibirsk State University
Tomsk State Pedagogical University
Tomsk State University

EDITORIAL BOARD

Igor V. Silantyev, Doctor of Philology, Prof., Institute of Philology of the SB of the RAS, Novosibirsk, Russian Federation – *Editor-in-Chief*; Igor E. Kim, Doctor of Philology, Assistant Professor, Institute of Philology of the SB of the RAS, Novosibirsk, Russian Federation – *Deputy Editor-in-Chief*; Dmitriy A. Katunin, Candidate of Philology, Assistant Professor, Tomsk State University, Russian Federation – *Deputy Editor-in-Chief*; Aleksey A. Chuvakin, Doctor of Philology, Prof., Altai State University, Barnaul, Russian Federation – *Deputy Editor-in-Chief*; Ayana A. Ozonova, Candidate of Philology, Institute of Philology of the SB of the RAS, Novosibirsk, Russian Federation – *Executive Secretary*;

Ludmila A. Araeva, Doctor of Philology, Prof., Kemerovo State University, Russian Federation; Nina S. Bolotnova, Doctor of Philology, Prof., Tomsk State Pedagogical University, Russian Federation; Mariya A. Chernyak, Doctor of Philology, Prof., Herzen University, Saint-Petersburg, Russian Federation; Ludmila I. Gorbunova, Doctor of Philology, Prof., Irkutsk State University, Russian Federation; Valeriy Z. Demyankov, Doctor of Philology, Prof., Institute of Linguistics of the RAS, Moscow, Russian Federation; Evgeniy A. Dobrenko, Candidate of Philology, Prof., University of Sheffield, United Kingdom; Mikhail Y. Dymarskiy, Doctor of Philology, Prof., Herzen University, Saint-Petersburg, Russian Federation; Olga D. Zhuravel, Doctor of Philology, Institute of History of the SB of the RAS, Novosibirsk, Russian Federation; Lidiya G. Kim, Doctor of Philology, Prof., Kemerovo State University, Russian Federation; Vladimir L. Klyaus, Doctor of Philology, A. M. Gorky Institute of World Literature of the RAS, Moscow, Russian Federation; Anna V. Kuryanovich, Doctor of Philology, Prof., Tomsk State Pedagogical University, Russian Federation; Aleksey M. Lavrentyev, Candidate of Philology, Lumiere University Lyon 2, France; Eliza Malek, Doctor of Philology, Prof., University of Lodz, Poland; Mark N. Lipovetskiy, Doctor of Philology, Prof., University of Colorado Boulder, USA; Sergey A. Oushakine, PhD in Anthropology, Prof., Princeton University, USA; Tatyana I. Pecherskaya, Doctor of Philology, Prof., Novosibirsk State Pedagogical University, Russian Federation; Jeanmarie Rouhier-Willoughby, Doctor of Philology, Prof., University of Kentucky, USA; Elena K. Skribnik, Doctor of Philology, Prof., Ludwig Maximilian University of Munich, Germany; Sergey G. Sulyak, Candidate of History, Assistant Professor, Pridnestrovian State University, Moldova; Tatyana A. Tripolskaya, Doctor of Philology, Prof., Novosibirsk State Pedagogical University, Russian Federation; Edward J. Vajda, PhD in Slavic Linguistics, Prof., Western Washington University, USA; Lauri Harvilahti, Doctor of Philology, Prof., Finnish Literature Society, Finland

EDITORIAL COUNCIL

Aleksandr E. Anikin, Academician of the RAS, Institute of Philology of the SB of the RAS, Novosibirsk, Russian Federation; Tatyana E. Avtukhovich, Doctor of Philology, Prof., Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus; Talantaaly A. Bakchiev, Doctor of Philology, Prof., Korean Institute of Central Asia, Bishkek, Kyrgyz Republic; Tatyana A. Demeshkina, Doctor of Philology, Prof., Tomsk State University, Russian Federation; Ludmila I. Zhurova, Doctor of Philology, Institute of History of the SB of the RAS, Novosibirsk, Russian Federation; Natalya V. Kornienko, Doctor of Philology, Corresponding member of the RAS, A. M. Gorky Institute of World Literature of the RAS, Moscow, Russian Federation; Sergey A. Manskov, Candidate of Philology, Assistant Professor, Altai State University, Barnaul, Russian Federation; Mikhail A. Osadchiy, Doctor of Philology, Prof., Pushkin State Russian Language University, Moscow, Russian Federation; Leonid G. Panin, Doctor of Philology, Prof., Novosibirsk State University, Russian Federation; Olga G. Scheglova, Candidate of Philology, Assistant Professor, Novosibirsk State University, Russian Federation; Saule Zh. Tazhibayeva, Doctor of Philology, Prof., L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan; Marina B. Tashlykova, Candidate of Philology, Assistant Professor, Irkutsk State University, Russian Federation

Institute of Philology
Nikolaeva St., 8, Novosibirsk, 630090, Russian Federation
sibphilology@mail.ru
<http://www.philology.nsc.ru/journals/spj/index.php>

CONTENTS

Folklore

Masiaikina E. A.	
Collaboration of N. I. Zatoplyayev and G. N. Potanin: on the materials Scientific Library of Tomsk State University	9
Koryakina A. F.	
The motifs of similarly-named olonkhos “Nyurgun Bootur the Swift”: stability, variability and improvisation	20
Mindibekova V. V.	
Textological aspects of studying Khakas non-fairytale prose	32
Arbachakova L. N.	
Extra-text remarks of a narrator (from the experience of processing audio records “alyptyg nybak”)	43

Literature

Maroshi V. V.	
People of fire: To the symbolism of the Gypsy myth in Russian and European literature of the 19th century	53
Podrezova N. N.	
Buryats as Siberian autochthones in I. Kalashnikov’s novel “The Daughter of the Merchant Zholobov”	67
Novikova E. G.	
F. M. Dostoevsky about Karl Marx and Friedrich Engels	77
Ponomareva A. A.	
The plot “ <i>aspiring provincial woman-writer – famous literary man</i> ” in the fiction of the middle of the 19th century (the novel “The Meeting” by N. D. Khvoshchinskaya)	85
Tulyakova A. A.	
John Ruskin in “The circle of reading” by L. Tolstoy: on the textual his- tory of the legend “The Big Dipper (Bucket)”	97
Kornienko S. Yu.	
“What use is there in Mozart living on?..”: Mozart and Salieri in mod- ernist aesthetic practices	111
Kulikova E. Yu.	
Something German and French in a ballad “Dream” by Osip Mandel- stam (“Na vysokom perevale...” (On a high pass...))	121
Tupova E. V.	
The reception and elaboration of Tolstoy’s Plot motifs in the poem “The Tsyganovs” by David Samoylov	131

Linguistics

Novitskaya I. V.	
Linguistics of the 21st century on the path to the integrated theory of metaphor	143
Gorbunova L. I., Cai Wei	
Source domain of cognitive metaphor: status quo and prospects of re- search	158
Konovalenko Yu. V.	
Image component of the concept <i>ARROGANCE</i>	170

<i>Tyunteshcheva E. V., Shagdurova O. Yu.</i>	
Emotive verbs and verbs denoting interpersonal relationships of Altai and Khakas in comparison with other Turkic languages	180
<i>Chebochakova I. M.</i>	
Features of derived units formed from the stem of adjective khara "black" in the Khakas language	194
<i>Mirzaeva S. V.</i>	
"The King of Aspiration Prayers" ("Bhadracarya"): Buddhist terminology of Mongolian and Oirat translations revisited	205
<i>Irkova A. V.</i>	
Prejuridical and juridical meanings of a lexeme "grazhdanin" (a citizen) in social-political discourse	215
<i>Vysotskaya I. V., Severskaya O. I.</i>	
"Mozhno, pozhaluysta..." as a speech formula for the "newest Russian politeness"	225
<i>Medvedev S. S., Fomin A. G.</i>	
To the status of interlingual puns	234
<i>Fedina N. N., Shirobokova N. N.</i>	
Vocalism of the Chalkan language	244
<i>Shamina L. A.</i>	
Bipredicative constructions with dependent predicative units denoting location in the Tuvan language	259
<i>Butorin S. S.</i>	
Transitivization of incorporating constructions in Ket	272
Reviews	
<i>Tagarova T. B.</i>	
Book review: Badmaeva L. B., Ochirova N. G. The Chronicle of Sh.-N. Khobituev as a monument of the written culture of the Buryats. Ulan-Ude, Belig, 2018, 288 p.	283
Scientific Life	
<i>Golovchiner V. E., Makarenko E. K., Petrov A. V., Poleva E. A.</i>	
Results of the 8th All-Russian scientific conference with international participation "Russian literature in modern cultural space: childhood in literature and literature about childhood"	286

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

УДК 821.161.1

DOI 10.17223/18137083/68/1

Е. В. Масяйкина

Томский государственный университет

Совместные работы Н. Затопляева и Г. Потанина: по материалам Научной библиотеки Томского государственного университета *

Рассматривается эдиционная история этнографических статей священника Н. И. Затопляева, сотрудника Восточно-Сибирского отдела Российского географического общества рубежа XIX–XX вв. Статьи посвящены верованиям бурят Аларского ведомства, материальной и духовной культуре шаманизма региона того времени. Рукописи статей на данный момент хранятся в архиве Г. Н. Потанина в Научной библиотеке Томского университета. Анализируются эдиционные стратегии, которым следовали сотрудники ВСОРГО рубежа XIX–XX вв. Делается вывод, что данные стратегии в обобщенном понимании являются репрезентантами культуртрегерской деятельности областников, а также явно выражают их позицию относительно «инородческой» культуры и фольклора Сибири.

Ключевые слова: сибирское областничество, эдиционные практики, фольклор народов Сибири, Г. Н. Потанин, Н. И. Затопляев.

Одним из центральных аспектов просвещенческой деятельности сибирских областников являлось изучение и сохранение материальной и духовной культуры коренного населения Сибири. По их мнению, развитие мировой культуры состоит в синтезе азиатских и европейских форм, посредническую же роль в этом процессе должна сыграть просвещенная Сибирь и ее народы. Важно отметить, что, несмотря на то, что в исследовании говорится о сибирском фольклоре, ареал распространения текстов может выходить за пределы современных границ Сибири, что объясняется как политическими факторами, так и тем, что Г. Потанин воспринимал Сибирь в первую очередь как генетическую общность, границы которой простирались до Северной Монголии включительно. В фиксации, переводе

* Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых, проект МД 852.2019.6 «История русской переводной литературы рубежа XIX–XX вв.: на материале периодики регионов Российской Империи».

Масяйкина Елена Владимировна – аспирант кафедры романо-германской филологии филологического факультета Томского государственного университета (пр. Ленина, 34, Томск, 634050, Россия; beork.berkana@gmail.com)

и публикации фольклора и мифологии сибирских народов Потанин видел залог сохранения инородческой культуры во всей ее полноте и разнообразии.

Областниками проводилась масштабная культуртрегерская деятельность, которая только сейчас получает освещение в филологической науке. Интересно отметить, в частности, их переводы с иностранных языков на русский – в первую очередь это касалось европейских языков и литературы¹, однако ими также активно проводилась работа с культурным наследием коренных народов Сибири.

Н. И. Затопляев являлся священником и членом Восточно-Сибирского отдела Российского географического общества, активно печатался с 1890-х гг. в изданиях ВСОРГО [Затопляев, 1890; 1910]. В архиве Потанина содержатся материалы из статьи Н. И. Затопляева «Некоторые из онгонов, почитающиеся в Аларском ведомстве» (все опубликованные легенды имеют своих рукописных «двойников») и отдельная легенда «Зуруктан-онгон», ранее с существенными сокращениями опубликованная в статье «Шаманские поверья инородцев Восточной Сибири». Рукопись снабжена сопроводительным письмом, датированным 1903 г. с просьбой: «Посылаю Вам рукописи свящ. Затопляева “Алах морётхэй Идырхан”, “Материалы по изучению шаманства Аларских бурят”. Есть постановление редакционной комиссии попросить Вашего отзыва...»² (автором письма предположительно является этнограф-бурятовед И. А. Подгорбунский). Опираясь на эдичионную историю текстов, можно предполагать, что именно Г. Н. Потанин посодействовал данной публикации. Также им планировался к выпуску «Аларский сборник», основанный на материалах, присланных Затопляевым, но план этот, к сожалению, воплотить не удалось [Письма Г. Н. Потанина, 1991, с. 190]. В архиве НБ ТГУ содержится два письма, присланных Н. И. Затопляевым Г. Н. Потанину, датированные, соответственно, декабрем и июлем 1889 г. Их предметом, в первую очередь, являются совместные издательские проекты двух ученых, но также Затопляев шлет Потанину несколько этиологических легенд («О табаке», «О рябчике», «О мамонтах»), причем, что характерно, – в формате параллельных текстов на русском и бурятском языках. Эти письма являются, несомненно, свидетельством их активной совместной деятельности и обширных контактов.

Заслуживает упоминания и регион, в котором Николай Иннокентьевич собрал у носителей традиции Хамагана Мандрюханова и Владимира Пянкина [Затопляев, 1910, с. 142] представленные шаманские легенды. Аларь того времени была, по свидетельствам современников, местом, сосредоточивающим в себе культурное население региона. Динамичные социально-экономические процессы, бурная религиозная и политическая жизнь, реальный синкретизм создавали особую творческую атмосферу в обществе. Бурятский ученый и общественный деятель Цыбен Жамцарано в 1906 г. писал: «В Алари. Приятно было встретить в этом центре бурятской интеллигенции товарищей и друзей»³.

Бурятская письменность имеет долгую историю, состоящую из трех основных периодов. До 1930 г. в восточной Бурятии использовалась преимущественно письменность на основе старомонгольского письма (ввиду родственности этих языков). Письменный старомонгольский язык и старомонгольское вертикальное письмо проникло в Бурятию в начале XVIII в. Именно этой письменностью бурятами были написаны многочисленные документы, в том числе и летописи [Поппе, 1933, с. 74–93]. С 1930 по 1939 г. были предприняты попытки ввести письменность на основе латиницы. Однако первые такие попытки осуществлялись еще

¹ Никонова Н. Е. Польская литература на страницах периодики Сибири 1880–1910-х годов // Сибирский филологический журнал. 2018. № 1. С. 119–133.

² НБ ТГУ, арх. Г. Н. Потанина, д. 54, л. 3247.

³ Махачкеев А. 200 лет вне закона, или Дацан против империи // Asia Russia Daily. URL: <http://asiarussia.ru/buddhism/1920/> (дата обращения 25.05.2018).

в начале XX в. [Поппе, 1933, с. 95]. С 1939 г. стала активно вводиться письменность на основе кириллицы, хотя, подобно попыткам латинизации бурятского языка, начало этому процессу было положено раньше, еще в XVIII в. В пределах западной Бурятии старомонгольское письмо не было распространено, что дало толчок более раннему «прививанию» кириллического письма при записи бурятских текстов. Христианизация бурят и развитие народного образования в середине XIX в. послужили причиной появления первых бурятских книг на кириллице. В основном это были переводы богослужебных текстов, но в 1864 г. вышел первый западно-бурятский букварь, составленный учителем бурятского и монгольского языков и литературы Цолгинского приходского училища Ринчином Номтоевым, – «Самоучитель, или Расписная азбука с переводом на монгольский язык для учеников монголо-бурятских» [Маланов, 2016]. За ним последовали и другие учебные издания на кириллице. В начале XX в. на этом алфавите печатались также книги по медицине, сельскому хозяйству и другим отраслям знаний [Шинкарева, 2006]. Алфавит этих изданий не был устойчивым и менялся от издания к изданию. Обычно использовался русский алфавит с добавлением букв Ö, ö (иногда вместо нее писали Ё, ё) и Ў, ў, а также диакритические знаки, макроны, для обозначения долгих гласных ⁴.

Описываемые процессы можно проиллюстрировать рассматриваемыми документами, поскольку бурятские тексты в них были записаны именно кириллицей, причем правописание в рукописи и в опубликованных текстах различается. Н. И. Затопляев, записывая тексты шаманских легенд и камланий, опирается на кириллическую письменность, не добавляя дополнительных букв. И. А. Подгорбунский, в свою очередь, выполняя редакторскую обработку [Арсеньева, 2015, с. 112], вводит дополнительные буквы Ö, ö, Ў, ў, Ä, ä и J, j. К примеру, заглавие первой легенды Н. И. Затопляев транскрибировал как «Алак морётэй Идирхын», а в «Известиях ВСОРГО» оно записано как «Алак морітај Идірхән». В современной бурятской орфографии эта фраза выглядела бы как «Алаг моритой Эдирхэн». Такое различие, вероятно, обусловлено как записью Н. И. Затопляевым бурятских текстов на слух, так и тем, что бурятский язык был для собирателя неродным. В то же время И. А. Подгорбунский, будучи признанным исследователем бурятской культуры того времени, очевидно, опирался на принятую в академическом сообществе орфографию, вероятно несущую на себе отпечатки старомонгольской транскрипции.

Сравнение двух версий анализируемых текстов, опубликованной и архивной, показало следующие результаты. Тексты прошли глубокую редакторскую обработку на нескольких языковых уровнях. На фонетическом уровне изменения коснулись орфографии бурятских фрагментов, о чем было сказано выше.

На уровне лексики редакторские изменения можно разделить на следующие условные категории.

1. Когда Н. И. Затопляев приводит два варианта текста в рукописи, И. А. Подгорбунский выбирает один из них. Пример: *Между тяжущимися открывать истину (Справедливо разбирать тяжбы) и выделять истину между тяжущимися* (первая цитата принадлежит архивной версии текста, вторая – опубликованной).

2. В некоторых случаях редактор убирает целые предложения. Пример: *Спотыкающемуся с конем подставляющий луку седла (Собственно, когда запнется или оступится конь, луку седла поддерживающий, или не дающий упасть коню) –*

⁴ См. например, список переводной миссионерской литературы XIX – начала XX в. на сайте Национальной библиотеки Республики Бурятия (2009). URL: <http://94.25.12.182/ibk/3.htm> (дата обращения 24.05.2017).

в печатной версии легенды «Алах морётей Идырхан» этого фрагмента не представлено.

3. Выбирая между стратегиями доместикации и форенизации, И. Я. Подгорбунский склонен к форенизации и экзотизации текста. Характерным примером этой трансформации является очевидное предпочтение редактором заимствований перед русскоязычными аналогами. Пример: *10 тысячного народа предводитель, У тысячи людей минаши и ты был туружи у 10 тысяч, минаши у тысячи человек*. Так, часто Затопляев в скобках указывает, какое явление имелось в виду, а Подгорбунский или упускает это пояснение, или передает его косвенно. Пример: *Принося бело просо-сасли (молоко) и Брызгая каплями, величиной с белое просо; Ис пуком пихты в горсти – с руками полными жодо (пихты)*.

4. Стратегия обращения с именами собственными. В тексте камланий, относящихся к легендам «Алах морётей Идырхын» и «Ангарайн хат», фигурирует проситель Василий Копылов, который в печатной версии превращается в *Башили Хоплока* или же в *Бурдуная сына Балтырая*. Этот случай является, помимо иллюстрации редакторских изменений, ярким примером двойной идентичности бурятского населения – для бурят того времени было характерно ношение двух имен, русскоязычного и бурятского, традиционного.

5. Изменения, касающиеся выбора более благозвучных, по мнению редактора, синонимов. Примеры: *Буряту далеко отправляющемуся ставший спутником-пастухом и Буряту, далеко отправляющемуся, ты стал спутником; с копающими ногами и с роющими ногами, Чтоб ты в темноте был свечой, Чтобы в жару был тьмою и Чтоб ты был светильником во мраке, тенью в жаркий день*.

На синтаксическом уровне изменения, внесенные редактором, касаются, в первую очередь, тенденции к упрощению. Редактор изменял синтаксис в пользу простых двусоставных предложений, вместо причастных оборотов использовались подчиненные конструкции. Также можно отметить восполнение синтаксических лакун: если в рукописи присутствует неполная грамматическая основа или предложение является безличным, то в опубликованной версии исправления касаются «укомплектования» грамматической основы.

Некоторые характерные примеры:

Везде, все исправляя, пребывающий, все надзирающий и ты пребывал, все исправляя и над всем надзирая.

Хотя и невысокий хребет Гунн жилищем избравший (после смерти) и ты избрал невысокий хребет Гунн своим жилищем.

Просит милости, хорошей дороги и постоянного здоровья, поставив тебе за это прямую тургу и принес в дар белого зайца и просит у тебя милости, хорошей дороги и постоянного здоровья. Он поставил тебе прямую тургу и поднес белого зайца.

Чтоб в страшном месте (поддерживающий бодрость духа) не робеть, В стыдливом не краснеть, Чтоб в чужом месте заставой защитой, В своем месте – благополучно миновать опасности и чтобы давал бодрость в страшном месте, стойкость в стыдливом месте, он приносил тебе дары. Он просит, чтобы ты был защитой ходящему в чужой земле, помощником ходящему в своей земле.

Исходя из сравнительного анализа двух версий представляется возможным сделать «магистральный вывод». Характер исправлений, представленный И. Я. Подгорбунским, говорит о тенденции опираться на уже признанные в фольклористическом сообществе издания. Одним из стилистических ориентиров нам видится издание русских народных сказок А. Н. Афанасьевым, который также активно выполнял стилистические правки на лексическом и синтаксическом уровнях, склоняясь к воспроизведению «архаического книжного стиля». Несмотря на это, в изданных им сказках «русская бытовая и фольклорная основа

сказочного повествования вполне ощутима» [Народные русские сказки..., 1985, с. 374]. Сходную картину мы можем наблюдать и в изданных Н. И. Зотопляевым шаманских легендах. Материалы напечатаны с многочисленными стилистическими исправлениями, касающимися главным образом добавлений и сокращений отдельных слов и фраз, перестановкой отдельных слов и целых выражений. Отличным является склонность И. Я. Подгорбунского к экзотизации текста, очевидна стратегия форенизации, выраженная в использовании экзотизмов и экзотических имен.

Отдельно хотелось бы рассмотреть легенду «Зуруктан-онгон», поскольку сопоставление показывает наибольшее количество различий между версиями опубликованной и «архивной». В отличие от остальных легенд, она была ранее опубликована [Зотопляев, 1890]. Предположительно редактором издания являлся сам Г. Н. Потанин, который «принимал активное участие в подготовке к изданию работ членов Русского Географического Общества, содержащих материалы по фольклору Центральной Азии и Сибири» [Носов, 2016]. Рефлексируя о редакторских стратегиях, невозможно не сделать вывод, что эдичионное поведение И. Я. Подгорбунского во многом продолжает стратегию Г. Н. Потанина. В данном издании также можно наблюдать достаточно узнаваемые характерные черты в репрезентации сибирского фольклора, такие как: приведение рукописного текста к достаточно архаичным, книжным речевым стандартам, форенизация и экзотизация реалий, а также непрекращающийся поиск правильного варианта записи иноязычного текста (на что, безусловно, влияет отсутствие у Г. Н. Потанина достаточных знаний в области фонетики и фонетической транскрипции выбранных языков).

История происхождения онгона одинаково передана в обеих версиях легенды (дети случайно убивают своего отца-шамана – перед смертью он просит совершить жертвоприношение – дважды они этого не делают – дети сходят с ума). Однако в рукописи зафиксировано большее количество деталей и эпизодов прямой речи персонажей. Сравним опубликованный фрагмент легенды: *Он [отец] завещает им, чтобы они после его смерти через три дня отправили ему тайлаган. Тайлаган дети не отправили и сошли с ума. Догадавшись, что это случилось с ними вследствие ослушания, и посоветовавшись, они решили отправить тайлаган, но место погребения отца не нашли и разбегались по разным местам* – и фрагменты рукописи: *Хотя и сердит на вас за то, что вы убили меня, но не буду сердиться, только вы похороните меня на вершине горы, которая находится при истоке реки великой Тагны, и на третий день устройте там тайлаган из желто-белой кобылы, а я соберу владельцев гор барун-хатор и небесных богов (окторгойн бурха суглүлхоб-гэ) и так, с освятившимся тайлаганным мясом (долонга хурюлат срэрэхтуй) возвратитесь; а также Вы постоянно не слушаетесь моих слов: сначала вы убили тайменя, которого я вам не велел бить, потом не похоронили меня на завещанной горе, в назначенный срок вы не устроили тайлагана и тем поставили меня в неловкое положение перед хатами и небесными бурханами, приглашенными мною к этому времени. Изменения также касаются и системы персонажей. В опубликованной версии у шамана девять сыновей, а в «архивной» – три сына у которых по девять сыновей, соответственно, убийство в опубликованной версии совершают дети, а в «архивной» – внуки. Также изменилось и напутствие старшего шамана – в журнальной статье он прямо говорит детям: *Вы увидите семь тайменей; один из них слепой, того не ловите, потому что это моя душа*, а в архиве он не дает им прямого объяснения своего запрета: *...при этом он сказал им, что в реке найдете семь тайменей, из них один слепой, который до сего времени не выпускает остальных шесть, оберегая их, как жеребец табун; этого слепого не ловите, а остальных шесть поймайте*. Рефлексия над выявленными изменениями наталкивает на предположение, что Н. И. Зотоп-*

ляев хотел опубликовать легенду еще раз, видимо обнаружив более полную версию, имеющую хождение среди бурят. Об этом говорит, в первую очередь, изменение системы персонажей.

Важным и интересным видится обращение к сюжетно-мотивной организации анализируемых текстов. Опираясь на исследования, посвященные текстам данной категории, целесообразным представляется более точно обозначить их жанровую принадлежность. Источниками статьи являются шаманские легенды, которые представляют собой корпус текстов сибирской сказочной прозы. Термин «шаманские» легенды нуждается в уточнении. Прежде всего, необходимо обозначить условность второго компонента термина. Легенды здесь не стоит понимать строго в том значении, которое подразумевается в контексте европейского фольклора [Левинтон, 1988]. В записях собирателей сибирские шаманские легенды обозначаются и как сказки, и как мифы, предания, былички и т. д., ввиду их жанрового разнообразия. Определяющими чертами этих нарративов являются их статус (отношение носителей традиции к ним как к достоверным) и центральная фигура шамана. Рассказы о шаманах не могут быть отнесены к условному сказочному времени, их «вотчина» – мифологическое время первотворения, историческое, точнее, квазиисторическое прошлое, или даже к настоящему или недавно прошедшему времени [Новик, 2004, с. 229; Дувакин, 2011].

Также в рамках рефлексии о жанровом своеобразии изучаемых текстов следует обозначить их ансамблевую, полифоническую структуру. Как в «Известиях ВСОРГО», так и в материалах архива в текстах представлена устойчивая, повторяющаяся двухчастная структура – сначала приводится легенда, освещающая бытование онгона в культуре Алари, а затем текст шаманского камлания, обращающийся к данному онгону с различными просьбами. Представленная композиция может быть обусловлена глубокой связью мифа и обряда (Пропп) и необходимостью воспринимать и анализировать данные элементы в комплексе, как tandemную структуру.

Несмотря на то, что в статье ведется речь о текстах, однородных по своей жанровой структуре, все же важным представляется обозначить, что наиболее подходящей единицей описания является мотив. Определяя данный термин, мы следуем за штудиями Ю. Е. Берёзкина, А. И. Давлетшина и Е. Н. Дувакина и понимаем под ними некую узнаваемую семантическую нарративную единицу, которая повторяется от текста к тексту, от традиции к традиции [Берёзкин, 2006, с. 115; Давлетшин, 2006].

Рефлексируя о сюжетно-мотивной организации исследуемых текстов, нельзя не опереться на каталог мотивов⁵. В настоящее время он включает сведения об ареальной дистрибуции около тысячи мотивов и основывается на обработке колоссального объема источников – более 45 тыс. текстов со всего мира.

Тексты, представленные в архиве Г. Н. Потанина и опубликованные в «Известиях ВСОРГО» за 1910 г., которым посвящена настоящая статья, можно распределить по следующим сюжетно-мотивным группам.

Первую группу составляет сюжет о состязании шаманов. В данном корпусе к этой группе можно отнести, в первую очередь, легенду «Алак морітај Идірхән». Сюжет ее строится на состязании шамана Идирхына и его противника, «знаменитого старого шамана» Абылзаем. Когда Идирхын был еще «минаши» («не полным, посвященным шаманом»), Абылзай вызвал его и других «минаши», Онхотоя и Махуная, на праздник, чтобы испытать их, «могут ли они сделаться действительными шаманами». В ходе испытаний все шаманы явили миру такие чудеса, как льющаяся из топора водка (Абылзай), появившийся из ниоткуда баран, которого убили и приготовили для праздника (Махунай), замерзшая в виде моста Ан-

⁵ См.: [Берёзкин, 2011].

гара (Идирхын) и совершение «тайлагана» (воззвания к духам) из-под воды (Онхотой). В конце праздника Абылзай признал молодых шаманов действительными магическими специалистами: «Я рад, что вы люди, могущие служить народу. Я думал о вас, что вы обманщики, но теперь вы ходите по домам и оказывайте помощь». В память об этом был устроен онгон «Алак морітај Идірхән», который делают из шкуры зайца. Обращаются к нему тогда, когда отправляются в дальний путь или же в гости, где «предстоит большая попойка». Как указывает Н. И. Затопляев, «онгон этот заводит не всякий бурят», однако «брызгания» (воззвания) к нему совершают в указанных случаях многие, несмотря на отсутствие самого фетиша. Текст камлания также напрямую соотносится с функциями онгона: *Буряту, далеко отправляющемуся, ты стал спутником, поскользнувшегося ты под держивал сбоку.*

Вторая легенда, относящаяся к категории шаманских состязаний, – «Булгата-онгон – Хан-хамокши тōдэј». Ее сюжет при сохранении ядерного мотива содержит в себе особенность – главный персонаж, шаманка Хан-хамокши тōдэј, соревнуется не с равным себе другим представителем профессии, но со своим конем «небесного происхождения» Шара Сōхор морин. Шаманка спорит с конем, что он не поднимет ее на высокую гору, «находившуюся недалеко от Далай-ламы». Конь отвечает, что поднять он ее сможет, но она не сможет вернуться назад. Шаманка упорствует, и конь начинает нести ее вверх, однако донеся до вершины горы, оставляет ее в одиночестве. Героиня направляется к Убуши-батору (реальному историческому лицу, калмыцкому хану второй половины XVIII в.) с просьбой вернуть ее на землю. Тот отвечает, что он даст ей соболя, чтобы она смогла вернуться, однако потом она умрет и долго еще не переродится. Так и происходит: шаманка, вернувшись на землю, обходит людей, которым она помогала, предупреждает о своей скорой смерти и просит «не одарять ее ни при жизни, ни после смерти конями, а жертвовать ей соболей, так как на этом животном она будет ездить на том свете». В связи с сюжетом легенды, этот онгон делается из шкурки зайца с небольшим лоскутком соболя. Н. И. Затопляев отмечает, что раньше онгон делался из соболя полностью, однако «по причине дороговизны соболя заменялся зайцем». Обращаются к этому онгону с просьбами о счастье и процветании: «счастье богатого человека да получу я, сердце богатыря да получу я».

К следующей группе относится сюжет, повествующий о персонаже, умершем насильственной смертью, однако после этого продолжающем помогать людям. В представленном корпусе это легенда «Ангараин хат». Дух Мунгутэ зарин «был царем Ангары» и жил на ее левом берегу у устья р. Иркут. Когда монгольский князь Сохор-нојон, по ряду преданий обладавший магической силой [Содномпилова, 2009, с. 135], достигает Ангары, он просит у Мунгутэ зарин переправы, однако тот отказывает. Тогда Сохор-нојон замораживает Ангару и начинает мучить Мунгутэ-зарина, но никак не может его убить. Мунгутэ-зарин открывает Сохор-нојону свою божественную природу и спрашивает, не оставит ли он его в покое. Сохор-нојон дает отрицательный ответ, и тогда Мунгутэ-зарин открывает ему секрет своей смерти («если меня завернут в войлок, на котором женщина родила ребенка, я тотчас умру»).

Н. И. Затопляев указывает, что «первоначально Мунгутэ-зарин не был в славе у бурят, и ему не воздавали никаких почестей». Почитание этого духа началось после следующих событий: когда русские начали расчищать тайгу около Иркут, дух Мунгутэ-зарина принял облик зайца и снялся с насиженного им места, сказав при этом, что он покидает родные места и многие буряты также здесь жить не будут, однако он будет помогать тем, кто остался, «защищая всех от кляуз и помогая бурятским родоначальникам». Так, к данному онгону обращаются при вступлении в должность, а также при возникновении тяжб. В тексте камлания, к примеру, приводятся следующие строки: «он [проситель] просит мудрости

в суде, он просит, чтобы он саблю надевал и бумаги носил, он просит, чтобы по закону белого царя выделял истину между тяжущимися и оправдывал правого». Также после «брызгания» Мунгутэ-зарину совершается «брызгание» его помощнику Гуйдыку. Гуйдык, по указанию Затопляева, был курьером у барун-хатов (также почитаемым у бурят богов) и также был подвергнут истязаниям «за интересы своих родичей».

Третью и самую многочисленную сюжетно-мотивную группу составляет сюжет об умершем, который после смерти вредит людям. К данной категории в корпусе относится легенда «Боронхи-баранхи». Речь в ней идет о четырех дочерях неких Боронхи и Балгужи, которые жили в Монголии и погибли от войны Буржүкту хана. В это же время некоторые буряты стали переселяться в Россию, и вдруг у них стали пропадать телята. Они обратились к шаману, тот поворожил и узнал, что падеж на телят наслали дочери Баранхи, их надо хорошенечко угостить и тогда падеж прекратится. Так было сделано, и падеж прекратился. В камлании шаман просит этих духов не только не вредить скоту, но и защищать его: «...стад не щиплите, а ежегодно стада прибавляйте». Схожий сюжет можно наблюдать и в легенде «Хан Мүнгүлэж». Хан Мүнгүлэж жила в Монголии, но во время войны с Буржүкту-ханом она бежала в Россию и сделалась там шаманкой. Когда она умерла, у бурят начали болеть дети. Тогда буряты решили сделать ей онгон, чтобы отдавать ей почести и просить не причинять вреда детям и помогать им. Также в призывании шаман просит ее о подаче потомства: «...подобно тому, как ты делаешь дерево, не имеющее вершины, с вершиной, ты человеку, не имеющему потомства, даешь потомство». Третий текст, относящийся к этой группе, имеет название «Уитэ Хүнэртэ». В нем повествуется о двух дочерях шамана Унушхин-зарина, которые однажды без его ведома взяли его бубен и слетали на небо. Отец, узнав об их проступке, ослепил дочерей и прогнал их от себя. Какое-то время они жили в брошенной юрте, питаясь рыбой, но потом умерли. Через некоторое время, как и в легенде «Хан Мүнгүлэж», у бурят стали болеть дети. Семья, которую коснулось несчастье, позвала шамана и он, поворожив, увидел, как в юрту проникают две девушки и насмеваются над шаманом, что тот их не видит. Шаман дал знать о себе, и девушки превратились одна в хорька, а другая в горностаю и спрятались в глубине юрты. Шаман пообещал угостить их, совершив «брызгание», но с условием, что они не будут больше вредить детям. Четвертая и последняя в данной группе легенда называется «Дулашин Бајгашин» и рассказывает о двух хоринских девушках-близнецах, которых после смерти родителей до смерти замучила жена их дяди, намеренно послушавшись рекомендаций шамана («если больных обернуть шкурой коровы, то они умрут»). После смерти девушек люди, жившие неподалеку, стали болеть. Шаман, призванный помочь в ситуации, смог понять истинную причину болезней и задобрить умерших девушек. На сюжет, параллельный представленному, указывала Л. Д. Дашиева, говоря о песнопении «Хориин Хоер заян» («Две хоринские заянки»), вариант «Хори-ин Хоер басаган» («Две хоринские девушки»). В нем повествуется о трагической судьбе двух девушек-сирот, которые были изгнаны из родных хоринских степей. По преданию, испытав страдания из-за жестоких издевательств мачехи, они отправились странствовать по свету, найдя пристанище в Алари и Бохане [Дашиева, 2013, с. 144], а после смерти стали заянками. Духи этих девушек начали мстить людям за испытанные мучения и страдания, насылая болезни, смерть и эпидемии. С целью их задабривания и умиловления устраивались шаманские обряды жертвоприношений и найгуры.

Подводя промежуточные итоги, отметим активную эдиционно-просветительскую политику, которая продвигалась сотрудниками ВСОРГО. Статьи Н. И. Затопляева, посвященные верованиям аларских бурят, являются достаточно интересной иллюстрацией, на примере которой можно рассмотреть эдиционные страте-

гии сотрудников ВСОРГО рубежа XIX–XX вв. В качестве характерных черт данных стратегий можно обозначить склонность к форенизации и экзотизации реалий быта западных бурят, а также непрерывающуюся рефлексию над фонетической записью текстов на языках коренных народов Сибири. Данные стратегии в обобщенном понимании являются репрезентантами культуртрегерской деятельности областников, а также явно выражают их позицию относительно «инородческой» культуры и фольклора Сибири.

Список литературы

- Арсеньева Л. Г.* Деятельность Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества по изучению истории монгольских народов (середина XIX – первая четверть XX вв.): Дис. ... канд. филол. наук. Улан-Удэ, 2015.
- Берёзкин Ю. Е.* Фольклорно-мифологические параллели между Западной Сибирью, Северо-Востоком Азии и Приамурьем-Приморьем (к реконструкции раннего состояния сибирской мифологии) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2006. № 3. С. 112–122.
- Берёзкин Ю. Е.* Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам: Аналитический каталог // Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика. М.: РГГУ, 2011.
- Давлетшин А. И.* Спящие духи как скелеты: Еще один мифологический мотив с глобальной дистрибуцией: Дис. ... канд. ист. наук. М.: РГГУ, 2006.
- Дашиева Л. Д.* Шаманские легенды и песнопения западных бурят: к вопросу типологии // Вестн. культуры и искусств. 2013. № 1 (33). С. 139–144.
- Дувакин Е. Н.* Шаманские легенды народов Сибири: сюжетно-мотивный состав и ареальное распределение: Дис. ... канд. филол. наук. М.: РГГУ, 2011.
- Затопляев Н.* Шаманские поверья инородцев Восточной Сибири // Записки ВСОРГО по этнографии. Т. 2, вып. 2. Иркутск: Тип. К. И. Витковской, 1890. С. 1–9.
- Затопляев Н.* Некоторые из онгонов, почитаемые в Аларском ведомстве // Изв. ВСОРГО. Иркутск, 1910. Т. 41. С. 116–142.
- Левинтон Г. А.* Легенды и мифы // Мифы народов мира: Энцикл. / Гл. ред. С. А. Токарев. М.: Сов. энцикл., 1988. Т. 2.
- Маланов И. А.* Развитие педагогической мысли в Бурятии (начало XIX – конец XX в.) // Вестн. Бурят. гос. ун-та. Образование. Личность. Общество. 2016. № 3. С. 6–13.
- Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т. М.: Наука, 1985. Т. 3. (Лит. памятники)
- Новик Е. С.* Обряд и фольклор в сибирском шаманизме: Опыт сопоставления структур. 2-е изд., испр. и доп. М.: Вост. лит., 2004. С. 229–232. (Исследования по фольклору и мифологии Востока. Семиотика фольклора).
- Носов Д. А.* Публикации сказок, подготовленные Г. Н. Потаниным как источник для реконструкции состояния фольклорной традиции монгольских народов во второй половине XIX в. // Studia culturae. 2016. Вып. 1 (27): Symposium. С. 127–135.
- Письма Г. Н. Потанина / Сост. А. Г. Грумм-Гржимайло, С. Ф. Коваль, Н. Н. Яновский. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1991. Т. 5
- Поппе Н. Н.* Бурят-монгольское языкознание. Л.: Изд-во АН СССР, 1933.
- Содномпилова М. М.* Мир в традиционном мировоззрении и практической деятельности монгольских народов. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2009.

Шинкарева А. П. Роль сибирского книгоиздания и печати в развитии грамотности бурят в XIX – начале XX века // Мир фольклора в контексте истории и культуры монгольских народов. Иркутск, 2006. С. 358–364.

E. A. Masiaikina

Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
beork.berkana@gmail.com

**Collaboration of N. I. Zatoplyayev and G. N. Potanin:
on the materials Scientific Library of Tomsk State University**

The paper deals with the editorial history of the folkloristic and ethnographic works of N. I. Zatoplyayev, an employee of the Eastern-Siberian department of Russian Geographical Society (RGS) of the turn of the 19th and 20th centuries. He considered the beliefs of the Buryats of Alar district, the material and spiritual culture of shamanism of that time and region. A brief historical background is given about the region where the material to be analyzed was collected. Also, the author reviews the status of the Buryat language at the turn of the 19th and 20th centuries, being crucial for studying the context in which the texts were presented. The manuscripts of the works are currently stored in the archive of G. N. Potanin in the Scientific Library of Tomsk State University. One of the central aspects of cultural activity of the Siberian regionalists was studying and preserving the material and spiritual culture of the Siberian indigenous population. In their opinion, the development of world culture is the synthesis of Asian and European forms, with the mediating role in this process to be played by enlightened Siberia and its peoples. The papers written by N. I. Zatoplyayev, dedicated to the beliefs of Alar Buryats, are quite an interesting illustration, with which to consider the editorial strategies of the employees of the RGS of the turn of the 19th and 20th centuries. One can identify the propensity to forenize and exogenize the realities of everyday life of the Western Buryats, as well as the incessant reflection on the phonetic recording of texts in the languages of the indigenous peoples of Siberia to be the characteristic features of these strategies. These strategies, in the generalized sense, are representative of the cultural activities of the region, and also express their position regarding the “alien” culture and folklore of Siberia.

Keywords: Siberian patriotism, editorial practices, Siberian native folklore, G. N. Potanin, N. I. Zatoplyayev.

DOI 10.17223/18137083/68/1

References

Arsen'yeva L. G. *Deyatel'nost' Vostochno-Sibirskogo otdela Imperatorskogo Russkogo geograficheskogo obshchestva po izucheniyu istorii mongol'skikh narodov (seredina 19 – pervaya chetvert' 20 vv.)* [Activities of the East Siberian Division of the Imperial Russian Geographical Society for the study of the history of Mongolian peoples (mid-19th-first quarter of the 20th century)]. Cand. philol. sci. diss. Ulan-Ude, 2015.

Berezkin Yu. E. *Tematicheskaya klassifikatsiya i raspredeleniye fol'klorno-mifologicheskikh motivov po arealam: Analiticheskiy katalog* [Thematic classification and distribution of folklore and mythological motifs by area: Analytical catalog]. In: *Fol'klor i post-fol'klor: struktura, tipologiya, semiotika* [Folklore and post-folklore: structure, typology, semiotics]. Moscow, RSUH, 2011.

Berezkin Yu. E. *Fol'klorno-mifologicheskiye paralleli mezhdru Zapadnoy Sibir'yu, Severo-Vostokom Azii i Priamur'yem-Primor'yem (k rekonstruktsii rannego sostoyaniya sibirskoy mifologii)* [Folklore and mythological parallels between Western Siberia, Northeast Asia and Priamurye-Primorye (to the reconstruction of the early state of Siberian mythology)]. *Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia*. 2006, no. 3, pp. 112–122.

- Davletshin A. I. *Spyashchiye dukhi kak skelety: Eshche odin mifologicheskii motiv s global'noy distributsiyey* [Sleeping spirits like skeletons: Another mythological motif with a global distribution]. Cand. hist. sci. diss. Moscow, RSUH, 2006.
- Dashiyeva L. D. Shamanskiye legendy i pesnopeniya zapadnykh buryat: k voprosu tipologii [Shaman legends and chants of the western Buryats: to the question of typology]. *Herald of the Chelyabinsk State Academy of Culture and Arts*. 2013, no. 1 (33), pp. 139–144.
- Duvakin E. N. *Shamanskiye legendy narodov Sibiri: syuzhetno-motivnyy sostav i areal'noye raspredeleniye* [Shaman legends of the peoples of Siberia: the plot-motivational composition and aerial distribution]. Cand. philol. sci. diss. Moscow, RSUH, 2011.
- Levinton G. A. Legendy i mify [Legends and myths]. In: *Mify narodov mira: Entsikl.* [Myths of the peoples of the world: Encyclopedia]. S. A. Tokarev (Ed.). Moscow, Sov. entsikl., 1988, vol. 2.
- Malanov I. A. Razvitiye pedagogicheskoy mysli v Buryatii (nachalo 19 – konets 20 v.) [Development of pedagogical thought in Buryatia (early 19th – late 20th centuries)]. *BSU bulletin. Education. Personality. Society*. 2016, no. 3, pp. 6–13.
- Narodnyye russkiye skazki A. N. Afanas'yeva: V 3 t. T. 3* [Russian fairy tales by A. N. Afanasyev: In 3 vols. Vol. 3]. Moscow, Nauka, 1985. (Literaturnye pamyatniki [Literary monuments]).
- Novik E. S. *Obryad i fol'klor v sibirskom shamanizme: Opyt sopostavleniya struktur. 2-e izd., ispr. i dop* [Rite and folklore in Siberian shamanism: The experience of comparing structures. 2nd ed., rev. and ext.]. Moscow, Vost. lit., 2004, pp. 229–232. (Issledovaniya po fol'kloru i mifologii Vostoka. Semiotika fol'klora [Studies on folklore and the mythology of the East, Semiotics of folklore]).
- Nosov D. A. Publikatsii skazok, podgotovlennyye G. N. Potaninym kak istochnik dlya rekonstruktsii sostoyaniya fol'klornoy traditsii mongol'skikh narodov vo vtoroy polovine 19 v. [Publications of fairy tales, prepared by G.N. Potanin as a source for the reconstruction of the state of the folklore tradition of the Mongolian peoples in the second half of the 19th century]. *Studia culturae*. 2016, iss. 1 (27): Symposium, pp. 127–135.
- Pis'ma G. N. Potanina. T. 5* [Letters from G. N. Potanin. Vol. 5]. A. G. Grumm-Grzhimaylo, S. F. Koval', N. N. Yanovskiy (Comps). Irkutsk, ISU Publ., 1991.
- Poppe N. N. *Buryat-mongolskoe yazykoznanie* [Buryat-Mongolian linguistics]. Leningrad, AN SSSR Publ., 1933.
- Sodnompilova M. M. *Mir v traditsionnom mirovozzrenii i prakticheskoy deyatel'nosti mongol'skikh narodov* [The world is in the traditional worldview and practical activities of the Mongolian peoples]. Ulan-Ude, BSC SB RAS Publ., 2009.
- Spinkareva A. P. Rol' sibirskogo knigoizdaniya i pechati v razvitii gramot-nosti buryat v 19 – nachale 20 veka [The role of the Siberian book publishing and printing in the development of literacy of the Buryats in the 19th – early 20th century]. In: *Mir fol'klora v kontekste istorii i kul'tury mongol'skikh narodov* [The world of folklore in the context of the history and culture of the Mongolian peoples]. Irkutsk, 2006, pp. 358–364.
- Zatoplyayev N. Nekotoryye iz ongonov, pochitayemyye v Alarskom vedomstve [Some of the ongons venerated in Alarskoe vedostvo]. *Izvestia VSORGO*. Irkutsk, 1910, vol. 41, pp. 116–142.
- Zatoplyayev N. Shamanskiye pover'ya inorodtsev Vostochnoy Sibiri [Shamanistic beliefs of foreigners of Eastern Siberia]. In: *Zapiski VSORGO po etnografii. T. 2, vyp. 2* [Transactions of the East Siberian Branch of the Russian Geographic Society on Ethnography. Vol. 2, iss. 2]. Irkutsk, Tip. K. I. Vitkovskoy, 1890, pp. 1–9.

УДК 398.22 (=512.157) (=513.31)
DOI 10.17223/18137083/68/2

А. Ф. Корякина

Северо-Восточный федеральный университет, Якутск

**Мотивы одноименных олонхо
«Нюргун Боотур Стремительный»:
устойчивость, вариативность, импровизация**

Проводится сравнительный анализ сюжетных мотивов одноименных якутских героических эпосов «Нюргун Боотур Стремительный» олонхосуты К. Г. Оросина, Н. Я. Татарина, Г. Е. Слободчикова и Н. Н. Шестакова с целью выявления в них устойчивых, вариативных мотивов и определения их функций в процессе сложения новых вариантов одноименных олонхо. Рассматриваются устойчивые традиционные свойства и подвижные компоненты в олонхо, а также создание новых вариантов олонхо на основе сочетания традиции и импровизации.

Ключевые слова: героический эпос-олонхо, олонхо о защитниках племени айыы, варианты олонхо, устойчивые и неустойчивые мотивы, вариации мотивов, творчество сказителя.

Признанное ЮНЕСКО «шедевром устного и нематериального наследия человечества» (25 ноября 2005 г.) олонхо – уникальный памятник устного народного творчества якутов, передававшийся из поколения в поколение на протяжении веков сказителями-олонхосутами (и профессионалами, и любителями). Сегодня трудно установить, сколько бытовало олонхо по всей Якутии. «Прежде в любом наслеге (якутском селе) жило несколько олонхосуты. И каждый из них имел в своем репертуаре несколько (иногда десятки) олонхо» [Пухов, Эргис, 1985, с. 545]. Известно, что в 1941 и 1946 гг. экспедиция Научно-исследовательского института языка, литературы и истории в 13 регионах республики зарегистрировала 83 олонхосута и 396 олонхо [Эргис, 1974, с. 181]. Память народа сохранила имена легендарных олонхосуты: Т. В. Захарова-Чээбия и Е. Е. Ивановой из Амгинского, С. А. Зверева из Сунтарского, И. И. Бурнашева-Тонг Суоруна и Н. А. Абрамова-Кыната из Мегино-Кангаласского, Д. М. Говорова из Усть-Алданского улусов и многих других. Народ с упоением слушал олонхо знаменитых исполнителей. Как верно заметил В. Н. Иванов, «впечатление, которое произ-

Корякина Антонина Федоровна – кандидат педагогических наук, ученый секретарь научно-исследовательского института Олонхо Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (ул. Кулаковского, 42, Якутск, 677013, Россия; aitalilen@mail.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 3
© А. Ф. Корякина, 2019

водил олонхосут на слушателей, было неповторимым... исполнение олонхо всегда вызывало восхищение» [Иванов, 2014, с. 9].

Олонхо, как и другие эпосы мира, в сюжетной структуре, композиционном строе, образной системе, поэтическом языке имеет свои «прочно сложившиеся сюжеты, мотивы и образы, постоянные стилистические формулы, эпитеты, сравнения, фразеологические обороты» [Жирмунский, 1974, с. 89], которые передаются устно в неизменном виде и которые должен усвоить олонхосут. Кроме перенятия устойчивых канонических текстов олонхо, овладения «сильным чувством текстуальной стабильности», олонхосут еще и должен уметь «варьировать свой текст от исполнения к исполнению» [Райхл, 2008]. Только тогда он в совершенстве будет владеть техникой эпического сказывания и тогда он будет настоящим сказителем. Уникальность появления новых эпосов, в том числе якутского олонхо, в том, что «все сказители используют традиционный материал традиционным образом, однако не существует двух сказителей, которые использовали бы абсолютно идентичный материал, и притом совершенно одинаково» [Лорд, 1994, с. 103].

Нас интересует сочетание устойчивых традиционных свойств и подвижных компонентов в олонхо. «Для того, чтобы изучить, каким образом певец продолжает традицию – сохраняет, расширяет, обновляет или искажает ее, – полезно будет сравнить его вариант эпической поэмы с вариантами других певцов, предпочтительно принадлежащих к различным поколениям» [Райхл, 2008, с. 230]. В данной статье проводится сравнительный анализ сюжетных мотивов одноименных олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» олонхосутов К. Г. Оросина, Н. Я. Татаринова, Г. Е. Слободчикова-Тэлээркэ, Н. Н. Шестакова-Суутта с целью определения в них устойчивых и вариативных мотивов и установления их функций в процессе сложения новых вариантов олонхо с одним названием. Ранее данная проблема в якутской фольклористике специально не изучалась.

В своем исследовании мы опирались на теоретические положения ученых-фольклористов П. Н. Рыбникова, А. Ф. Гильфердинга, А. М. Астаховой, М. Пэрри и А. Лорда, В. М. Жирмунского, К. Райхла, Б. Н. Путилова, а также якутских фольклористов Г. У. Эргиса, И. В. Пухова, Н. В. Емельянова.

Касаясь проблем сложения эпоса, вариативности эпического текста, исследователи говорили об импровизации как характерном качестве сказительского искусства. Наблюдение о том, что «у каждого сказителя заметно его личное влияние на склад былины: он вносит в нее свой характер, любимые слова, поговорки», одним из первых высказал П. Н. Рыбников [1989, с. 72–78].

А. Ф. Гильфердинг, работая над проблемой формирования сказительского искусства, выступил как автор положения о двух составных частях эпического текста – местах типических и переходных [Гильфердинг, 1949, с. 56–57]. Хотя отдельные утверждения исследователя в дальнейшем подвергались сомнениям, поправкам и уточнениям, идея двух составных частей былинного текста используется в эпосоведении и в наше время.

В своем исследовании мы опирались на классификацию А. М. Астаховой, изучившей художественное содержание вариантов русских былин и выделившей «три основные категории – по тому, как они воспринимают, а затем воссоздают былины»: 1) сказители, «перенявшие тексты совершенно или почти точно и в таком же виде их передающие»; 2) те, кто усваивали лишь «общий остов» былины и путем отбора «типических» мест и свободного создания «переходных» вырабатывали собственный, постоянный текст, который в дальнейшем оставался в основном неизменным и варьировался лишь в деталях; 3) сказители-импровизаторы, которые запоминают «лишь сюжетную схему по преимуществу», но «не создают постоянного текста, а каждый раз меняют его, пользуясь всем

арсеналом сюжетов, эпизодов, мотивов, образов, формул, которыми они владеют» [Астахова, 1938, с. 71].

По положению М. Пэрри и А. Лорда, именно благодаря наличию богатого фонда формул и гибкому владению ими, певец мог воссоздавать эпос в ходе исполнения. М. Пэрри и А. Лорд включили в каноны теории устной традиции понятие эпической формулы, которую характеризуют как «группу слов, регулярно используемую в одних и тех же метрических условиях для выражения данной основной мысли» [Лорд, 1994, с. 151].

Карлом Райхлом высказано мнение о том, что сказителей можно разделить на две большие группы – «творческих» и «воспроизводящих» певцов: «Понятие “творческий певец” в разных традициях имеет свои значения и оттенки, но, кажется, в большинстве случаев подразумевается, что певец способен создавать “новую” песню, так же как добавить новую главу к эпическому циклу и приспособить исполнение эпической поэмы к запросам слушателей. Дать определение “воспроизводящему” певцу еще труднее. Некоторых сказителей можно назвать “воспроизводящими” в том смысле, что они усвоили эпос в определенном виде и придерживаются этого текста как выученного наизусть стихотворения, но в то же время они могут исполнять более короткие “импровизированные” песни. В других случаях термин “исполнитель” может просто означать, что певец обладает сильно развитым чувством текстуральной стабильности, но в действительности варьирует свой текст от исполнения к исполнению благодаря владению техникой эпического сказывания» [Райхл, 2008, с. 169].

В. М. Жирмунский обнаружил в исполнении певцов одного и того же сюжета текучесть текста и наличие значительных различий, творческих вариантов. Ученый доказал, что певец импровизирует, сохраняя определенный сценарий, в котором постоянными являются, кроме последовательных эпизодов и ситуаций, прежде всего традиционные «общие места» (седлание коня, богатырская скачка, описание битв и т. д.) [Жирмунский, 1974, с. 635].

В работах Б. Н. Путилова исследуется искусство сказителей на материалах повторных записей от одного и того же певца или нескольких лиц. Ученый дал необходимую точную формулировку импровизации, которой пользуются сказители: «Если сказитель не просто повторяет заученное, но воспроизводит усвоенное им сказание в границах эпической традиции и при этом как бы заново создает текст, – это считается импровизацией» [Путилов, 1997, с. 115].

В якутской фольклористике впервые на вопросы рождения разных вариантов олонхо обратили внимание И. В. Пухов и Г. У. Эргис: «...Сюжеты эпоса “текучи”: они свободно переходят из одного сказания в другое, не являясь достоянием лишь одного из них. Одно и то же олонхо можно сократить при сказывании, опустив многие детали, подробности описания и даже целые разделы сюжета, или развернуть шире, добавив из других олонхо новые сюжетные линии, описания и детали, чем широко пользовались олонхосуты, сокращая или расширяя сказание в зависимости от обстановки и требований слушателей. Этим же объясняются и различия в объеме даже одного какого-то произведения, записанного от одного и того же олонхосута в разное время» [Пухов, 1985, с. 546]. Г. У. Эргис, анализируя вариативность сюжетов у разных олонхосутов, пришел к выводу, что олонхосут в момент исполнения может свободно излагать события, варьировать отдельные эпизоды, следуя поэтическому вдохновению, он может вносить новые эпизоды, по-новому мотивировать отдельные поступки героя и раскрывать новые черты характера героя и т. д. [Эргис, 1974, с. 184].

В своем исследовании мы использовали труды Н. В. Емельянова о сюжетах олонхо [Емельянов, 1980].

Среди самых распространенных и любимых якутским народом эпических сказаний олонхо «Нюргун Боотур» занимает особое место. Прославленный госу-

дарственный и общественный деятель якутского народа, один из зачинателей якутской литературы, первый из якутов ученый-лингвист П. А. Ойунский, который с малых лет занимался сказительством и был прекрасным знатоком олонхо, воссоздал грандиозное по размаху, восхитительное по богатству поэтического языка творение – олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» [Ойунский, 1975].

Сегодня невозможно определить первоначальную родину олонхо «Нюргун Боотур». Как отметил Г. У. Эргис, олонхо о Нюргун Боотуре было наиболее популярно на территории бывшего Ботурусского улуса. Данные слова подтверждаются профессором В. В. Илларионовым: «Олонхосут И. М. Давыдов при беседе с Г. У. Эргисом сообщил, что олонхо “Нюргун Боотур” стало популярным благодаря исполнению Килээмпиром (легендарный олонхосут Киляпиров Николай Васильевич был родом из Ботурусского улуса), которого несколько раз слушал К. Г. Оросин, записавший один вариант этого олонхо» [Илларионов, 1982, с. 27]. Есть воспоминание самого К. Г. Оросина о том, что олонхо о Нюргуне он слышал еще в юности от одного олонхосута соседнего Жулейского наслега и запомнил его во всех подробностях вследствие того сильного впечатления, которое оно на него тогда произвело. Как свидетельствуют анкетные данные, от него унаследовали традицию сказительства олонхосуты И. В. Винокуров-Табахыров, Н. Малгин, А. Татаринцов, которые сказывали олонхо «Нюргун Боотур».

Все четыре сказителя, олонхо которых нами исследуются, родом из разных улусов: Константин Григорьевич Оросин (1858–1903) – из Игидейского наслега Таттинского улуса; Григорий Егорович Слободчиков-Тэлээркэ (1859 – ?) – из Нерюктяйского наслега Мегино-Кангаласского улуса; Николай Яковлевич I Татаринцов-Бүчүкү Ньукууска – из I Соттинского наслега Борогонского (ныне Усть-Алданского) улуса; Николай Николаевич Шестаков-Суутта (1892 – ?) – из Бетюнского наслега Намского улуса [Олонхосуты Якутии, 2013]. Эти данные говорят о том, что олонхо «Нюргун Боотур» было распространено в соседних Таттинском, Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском улусах. Кроме этого, оно исполнялось и на более отдаленной территории, о чем говорит его бытование в Намском улусе.

Из многочисленных вариантов олонхо «Нюргун Боотур», по данным Г. У. Эргиса, записано двенадцать. В нашем исследовании мы будем анализировать четыре: два из списка Эргиса – олонхо К. Г. Оросина в самозаписи 1895 г. издано в 1907 г. в «Образцах народной литературы якутов» под редакцией Э. К. Пекарского. Переиздано (Оросин, 1947) и олонхо Г. Е. Слободчикова-Тэлээркэ, записанное Д. И. Дмитриевым со слов олонхосута и опубликованное в 2013 г. (Слободчиков, 2013); и два олонхо (Н. Я. Татаринцова и Н. Н. Шестакова), хранящиеся в Рукописном фонде ИГИИПМНС¹. При этом «Нюргун Боотур» Н. Н. Шестакова записан в кратком изложении, в связи с этим углубленно анализировать его технику сказывания мы не можем.

Главным героем во всех четырех олонхо является богатырь по имени Нюргун Боотур. Рассмотрим традиционно устойчивые мотивы в олонхо «Нюргун Боотур» сказителей К. Г. Оросина, Г. Е. Слободчикова-Тэлээркэ, Н. Я. Татаринцова и Н. Н. Шестакова.

Мотив относится к традиционно устойчивым свойствам фольклора. Традиционно устойчивыми сюжетобразующими мотивами в якутском олонхо являются: мотив поселения небожителями богатыря айыы в Средний мир для защиты людей айыы – жителей Среднего мира от нашествий абаасы-чудовищ; мотив похищения

¹ Дьулуруйар Ньургун Боотур: олонхо. Зап. А. Е. Аржаковым от Н. Я. Татаринцова из Соттинского наслега Усть-Алданского района в 1940 г. // ИГИИПМНС, ф. 5, оп. 8, ед. хр. 72; Нюргун Боотур. Зап. от Н. Н. Шестакова (Суутта) из Бетюнского наслега Намского района в 1941 г. // ИГИИПМНС, ф. 5, оп. 8, ед. хр. 15.

чудовищем девушки племени айыы; мотив сражения богатыря айыы и абаасы; победа богатыря айыы в многочисленных поединках с богатырями абаасы, освобождение плененной женщины; мотив женитьбы богатыря айыы.

Одним из главных сюжетобразующих мотивов всех четырех олонхо является **мотив поселения небожителями богатыря Нюргун Боотура из Верхнего мира в Средний**: будущего богатыря Нюргуна поселяют в Средний мир для защиты племени айыы («родственников божества») от нашествий абаасы – чудовищ из Нижнего мира «чтоб улусы солнечные защитить, чтоб людей от гибели оградить». Но здесь обнаруживаются некоторые отличия: в олонхо К. Г. Оросина, Н. Я. Татарина вместе с Нюргунотом отправляют и его сестру Айталыын Куо, чтобы Нюргун не чувствовал себя одиноким. В вариации Н. Н. Шестакова сестру Нюргун Боотура зовут Кыыс Тыйаарыкы. А в олонхо Г. Е. Слободчикова Нюргун Боотур был спущен один, без сестры. Способ прибытия богатыря в предназначенный ему Средний мир у каждого олонхосута описан по-разному. Нюргуна и Айталыын Куо К. Г. Оросина увозит старший брат Мюлдют Бёгё: «Старший брат детей Мюлдют Бёгё пригнал тяжелое, низкое темное облако величиной с половину большого алааса и загнал на это облако табун лошадей и стадо рога-того скота, а как усадил на него мальчика и девочку с их конем, с их одеждой-снаряжением, так немедленно погнал облако по поднебесью». У Н. Я. Татарина Нюргуна и Айталыын Куо спускает в Средний мир тоже старший брат по имени Бёгюё Бёгё, который превратился в птицу Ёксёкю, посадил на спину брата и сестру, и они полетели в Средний мир. А сестра богатыря Айыы Умсуур посадила на облако выделенный им скот и погнала на запад. В олонхо Г. Е. Слободчикова-Тэлээркэ Нюргун Боотур спущен один, но у него есть также сёстры Айыы Умсуур и Айталыын Куо и старший брат Мёнджют Бёгё. Таким образом, во всех четырех вариантах устойчивым с незначительными изменениями является мотив поселения Нюргун Боотура в Средний мир для защиты племени айыы от нашествий чудовищ-абаасы.

Мотив похищения богатырями-абаасы жёниц-айыы является завязкой конфликта богатыря айыы с богатырем абаасы во всех рассматриваемых нами олонхо. Заметим, что И. В. Пухов различает четыре вида основных мотивов, с которых начинаются действия богатырей: нападение богатыря абаасы на семью других людей айыы; нападение абаасы на семью героя; герой отправляется на поиски невесты; герой отправляется на поиски приключений [Пухов, 1962, с. 60–61]. В олонхо К. Г. Оросина, Н. Я. Татарина, Н. Н. Шестакова описывается нападение абаасы на семью героя. При этом мотив одинаков в олонхо К. Г. Оросина, Н. Я. Татарина, в которых первый свой боевой поход Нюргун Боотур совершает во имя спасения своей сестры Айталыын Куо. У олонхосута Н. Н. Шестакова похищение сестры описывается по-другому. Во-первых, Нюргун Боотур освобождает свою сестру по имени Кыыс Тыйаарыкы. Во-вторых, богатырь абаасы появляется не из Нижнего мира: чужая кобылица рождает камень, превращается в деву-абаасы и исчезает, а из камня выходит богатырь абаасы и похищает сестру Нюргуна. Нюргун преследует похитителя и преодолевает все чинимые им препятствия. У Г. Е. Слободчикова богатырь спущен один, но нападение богатыря абаасы на семью других людей айыы стало завязкой в описании боя богатыря айыы с богатырем абаасы: здесь богатырь вступает в бой тоже ради спасения девушек айыы от нежеланных женихов. По развитию сюжетов у К. Г. Оросина Нюргун Боотур, кроме своей сестры Айталыын Куо, спасает и красавицу Кюн Тыйаарыма от абаасы Тимир Дьэсинтя. Богатырь Г. Е. Слободчикова спасает Компоруун Куо, Сыралыман Куо, Нюргустай Куо. Герой Н. Я. Татарина освобождает Айыы Куо, Кюн Джэрэлимэн, а Нюргун Н. Н. Шестакова – жену богатыря Лэкэтиря и Юрюнг Юкэстиря.

Мотив сражения богатырей айыы и абаасы – один из главных мотивов в якутском олонхо, без которого олонхо немыслимо. Эпизоды с этим мотивом даются во всех вариантах «Нюргун Боотур» так красочно, что предстают перед слушателями как живая картина страшных сражений. В описании олонхосутов от битвы богатырей дрожит, колеблется Нижний мир, и богатырям приходится менять место боя. В вариациях отличаются названия местностей, в которых богатыри сражаются с чудовищами. Нюргун Боотур К. Г. Оросина после сражений в Нижнем мире ведет бои на Ытык Хайа (Священной Горе) и Кёмюс Хайа (Золотой Горе) Среднего мира. Бой богатырей на этих горах произвел страшные разрушения в Среднем мире. Его жители пожаловались небожителям и попросили изгнать богатырей из их страны. Джылга Тойон (Распределитель Судеб) приказал богатырям прекратить битву. У Н. Я. Татарина от боя заколебался Нижний мир, богатыри продолжили борьбу на поле битв Чыыстай Буолак (Чистом Поле). Горы, находящиеся вокруг поля, разрушились. Жители этих мест из рода Чунгкур Чураан пожаловались Джылга Хаану, который повелел богатырям биться на острове Огненного моря. Г. Е. Слободчиков-Тэлээркэ описывает сражение Нюргун Боотура и богатыря абаасы Уот Усутаакы сначала у Араат Байхала (Море Арат), потом на каменной горе посередине Огненного озера. Битва продолжилась на горе Хара Джапсылган (Черный Джапсылган). Наконец, стали они биться на спине многоголовой-многорукой Халбас Хара. Здесь Уот Усутаакы начал одолевать богатыря Нюргун Боотура, который, убегая, соскользнул со спины Халбас Хара и упал прямо в Огненное озеро. Дух Араат Байхала – Алара Бётюхчэй, превратившись в пестрого быка, подставил свои рога.

Поединок богатырей айыы и абаасы, победа богатыря айыы составляют кульминационный мотив в олонхо. Богатыри исследуемых олонхо одолевают в страшных поединках не одного богатыря абаасы: Нюргун Боотур К. Г. Оросина побеждает Тимир Ыйыста, Тимир Джэсиэнтэй, Уот Усутаакы (имена богатырей рода абаасы); Г. Е. Слободчикова – Уот Усутаакы, Ытык Хахайдана; Н. Я. Татарина – Тимир Джиксина, Аан Даадара, восьминогого, двенадцатиголового чудовища, Олуйа Боотура; Н. Н. Шестакова – Хаан Хабыалая, Тимир Джюкюрдяна.

Женитьба богатыря и других главных персонажей (брата или сестры героя) и устройство прочной семьи служат развязкой эпических конфликтов. Мотив женитьбы богатыря присутствует во всех олонхо: Нюргун Боотур К. Г. Оросина женится на богатырке Кыыс Нюргун, с которой зажили в довольстве и стали родоначальниками якутов. В олонхо Н. Я. Татарина в награду за свое спасение богатырь Кюн Туруу выдал замуж за Нюргун Боотура свою сестру Кюн Джэрэлинтэй Куо, они устроили свадебный пир. Через некоторое время Джэрэлинтэй Куо родила мальчика и Нюргун с женой и сыном зажили счастливо и богато. У Г. Е. Слободчикова-Тэлээркэ Нюргун Боотур Стремительный женился на Нюргустай Куо и отправился с женой на родину. Богатырь Нюргун у Н. Н. Шестакова-Суутта женился на Юрюнг Юкэстиир.

Сравнительный анализ мотивов одноименных олонхо «Нюргун Боотур» показал, что в вариантах К. Г. Оросина, Г. Е. Слободчикова, Н. Я. Татарина наиболее устойчивыми являются мотивы поселения небожителями богатыря в Средний мир; похищения богатырями абаасы женщин айыы (как завязка конфликта); борьбы богатырей айыы и абаасы в трех мирах; победы над богатырями абаасы; женитьбы богатыря. Видно, что олонхосуты держали в памяти традиционный сюжет, выстроенность олонхо. Благодаря этим «традиционно-типическим» (термин В. М. Жирмунского) мотивам сюжет олонхо становится последовательным, стройным, логически ясным, законченным. Устойчивые мотивы составляют сюжетную канву и каркас всех вариантов олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» и имеют функцию образования основного сюжета данного олонхо. Но здесь необ-

ходимо заметить, что, сохраняя устойчивые мотивы, олонхосуты как творцы вносят незначительные изменения. Это доказательство того, что устойчивые мотивы в олонхо одного сказителя не являются буквально воспроизводимыми копиями олонхо другого сказителя.

Кроме самых наиболее устойчивых мотивов, вносятся менее устойчивые мотивы, которые по своему усмотрению олонхосут мог опустить или менять.

Мотив коня – древнейший мотив, который присутствует во многих эпосах тюрко-монгольских народов. Для становления богатыря айыы необходимы конь и богатырские доспехи. Конь у богатыря и верный друг, и добрый советчик, и непременный спаситель. В разных олонхо богатырь обеспечивается конем по-разному. Богатырские доспехи специально заказываются у знаменитых кузнецов. Сравним мотив получения коня и богатырских доспехов в олонхо «Нюргун Боотур». В олонхо К. Г. Оросина богатырского коня и полное воинское снаряжение подарили Нюргун Боотуру родители. У Н. Я. Татарина «В одно прекрасное утро разбушевалась буря. Сверху спустился Кююкюрдююр Бёгё с крылатым богатырским конем с переметной сумой. Этот конь был предназначен Нюргуну. В переметной суме оказались богатырские доспехи и вооружение: толстый железный панцирь, рогатая железная шапка, роговой лук и множество стрел» (Дьулуруйар Ньургун Боотур). В олонхо Г. Е. Слободчикова-Тэлээркэ по совету духа-хозяйки земли Кюн Туймаарын Хотуна Нюргун Боотур сам поднялся на небо, и ему Улуу Джылга Тойон отдал богатырские доспехи. У Н. Н. Шестакова Кыыс Дыбарыастай, дочь Нюргун Боотура, спрашивает у духа-хозяйки богатырского коня.

Традиционный мотив живой воды, с помощью которой спасают богатыря айыы, в рассматриваемых нами олонхо существует во всех четырех текстах, но дается в разных вариантах. У К. Г. Оросина, Н. Я. Татарина, Г. Е. Слободчикова-Тэлээркэ сестра Нюргун Боотура Айыы Умсуур удаган исцеляет или оживляет богатыря с помощью божественной влаги илгэ или живой воды. А у Н. Н. Шестакова данный мотив имеет отличие: Нюргун Боотур заставил Джэгэ Бааба найти живую воду, которой оживил Харыалджымаан Мэргэна.

В олонхо К. Г. Оросина, Н. Я. Татарина, Г. Е. Слободчикова, Н. Н. Шестакова в трудные минуты к Нюргун Боотуру спешит на помощь сестра Айыы Умсуур удаган – сестра шаманка. Однако в описании **мотива помощи родственников** обнаруживаются вариации. У К. Г. Оросина, когда падает в море Нюргун Боотур, сестра его Айыы Умсуур спасает его, подставив ему свой бубен. А когда падает богатырь абаасы Тимир Ыйыста, его сестра Ытык Хахайдаан тоже подставляет бубен, но Айыы Умсуур вовремя успевает продуть ее бубен, сделав в нем дыру, чем опять спасает брата. У Н. Я. Татарина Айыы Умсуур удаган предупредила Нюргун Боотура, о том, что во время его сна Тимир Джиксин выпьет живой воды, окропит ею свое тело и обретет невероятную силу. У Г. Е. Слободчикова и Н. Н. Шестакова богатыря айыы спасает тоже сестра шаманка Айыы Умсуур.

Таким образом, в варианты олонхо «Нюргун Боотур» К. Г. Оросина, Н. Я. Татарина, Н. Н. Шестакова внесены мотивы, которые не входят в состав обязательных мотивов олонхо, но часто встречаются в якутских олонхо (получение богатырем коня, спасение людей айыы с помощью живой воды, взаимовыручка родственников).

Мотив купания богатыря с целью очищения, испытания или приобретения могучей силы встречается в трех олонхо: в сказании К. Г. Оросина Нюргун проходит испытание купанием в мертвой воде; Н. Я. Татарина – Нюргун купается в соленом озере; Н. Н. Шестакова – Кыыс Дыбарыастай возносится на небо и купается в беломолочном озере. В олонхо Г. Е. Слободчикова этот мотив отсутствует. Упускается в трех вариантах и **мотив женитьбы богатыря** на су-

женой – девушке-богатырке. Только у К. Г. Оросина Нюргун Боотур женится на женщине-богатырке Прекрасной Кыыс Нюргун, победив ее в состязаниях.

Кроме того, в рассматриваемых нами текстах олонхо, обнаружено введение второстепенных мотивов, которыми в зависимости от мастерства олонхосута дополняются основные сюжеты. В двух олонхо (К. Г. Оросина и Н. Я. Татаринова) введен нечасто встречающийся *мотив состязания с неизвестным братом*. В олонхо Г. Е. Слободчикова богатырь о своем происхождении узнает от духа-хозяйки Аал Дууб Мас, а в олонхо Н. Н. Шестакова внук Нюргун Боотура богатырь-юноша Аан Дуурай о судьбе отца узнает от всеведущего старца Сээркээн Сэсэна. Варианты этого ситуативного мотива в якутских олонхо встречаются нечасто и, по всей видимости, считаются второстепенными, дополнительными мотивами. Нюргун Боотура К. Г. Оросина небесная шаманка Айыы Умсуур дарит волшебную плетть. Богатырь освобождает 39 богатырей Среднего мира от пленения Уот Усутааком – богатыря абаасы. Разрушает волшебный канат Ап Чарая и освобождает богатыря Айыы Дюрагастая. Нюргун Боотур Г. Е. Слободчикова-Тэлээркэ убивает Бабу-Ягу Тимир Тонгсуохайдаан. Богатырка абаасы Ытык Хахайдаан имеет зверей-помощников – ворону и дятла, сама она превращается в медведя, волка и змея. У Н. Я. Татаринова Нюргун переправляется на плоту через адское море, расправляется с девками абаасы. Стрела Нюргуна лишает Олуйа детородного органа. Попавшись на хитрость Нюргуна, девка абаасы Уот Чогойдоон освобождает сброшенного в темницу Нюргуна. Дополняя сюжет своего олонхо такими мотивами, сказитель «способен удлинять или укорачивать свое выступление в соответствии с пожеланиями аудитории» [Райхл, 2008, с. 218].

По сюжетной схеме резко отличается олонхо Н. Н. Шестакова. В нем даются «индивидуально-творческие» (термин В. И. Жирмунского) описания богатырских приключений трех поколений богатырей айыы: Нюргун Боотура, его дочери Кыыс Дыбарыастай и ее сына богатыря Аан Дуурая. Дочь Нюргун Боотура выходит замуж за небесного писаря Кустук Даахыйа, которого убивает богатырь абаасы Тимир Хаахайдаан. Кыыс Дыбарыастай рождает сына, называет его Аан Дуурай. Узнав о судьбе отца от Сээркээн Сэсэна, юноша-богатырь отнимает у Тимир Хаахайдаана тело и воскрешает отца. Кустук Даахыйа и Аан Дуурай вместе побеждают Тимир Хаахайдаана, убивают его и возвращаются на родину. Олонхосут при исполнении использует приемы «замены», «перемены порядка», «дополнения» мотивов (термины Карла Райхла). Данный факт говорит о существовавших вариантах, отличающихся от основного варианта олонхо «Нюргун Боотур». При этом устойчивые сюжетные мотивы и образы даются в несколько измененном виде, вносятся новые мотивы. Так в результате сохранения традиций и сочетания импровизации рождается новый эпический текст.

Таким образом, наибольшая традиционность в сюжетообразующих мотивах сохранена в вариантах олонхо «Нюргун Боотур» К. Г. Оросина, Г. Е. Слободчикова-Тэлээркэ и Н. Я. Татаринова. По всей видимости, эти олонхосуты представляют второй тип сказителей (по А. М. Астаховой), так как они усвоили «общий остов» эпоса и путем отбора «типических» мест и свободного создания «переходных» вырабатывали собственный, постоянный текст [Астахова, 1938, с. 71].

По сюжетной структуре «Нюргун Боотур» Н. Н. Шестакова отличается от трех других вариантов. В результате перестановки, расширения сюжетов, дополнения мотивов, введения новых героев им создан вариант, не похожий на олонхо К. Г. Оросина, Г. Е. Слободчикова, Н. Я. Татаринова. Его произведение состоит из двух частей, где по нескольким сюжетным линиям разворачиваются описания богатырских приключений трех поколений: богатыря Нюргун Боотура, его дочери Кыыс Дыбарыастай и ее сына богатыря Аан Дуурая. Олонхосут Н. Н. Шестаков – выходец из Намского улуса. Можно предположить, что причина отличия сюжетных мотивов в его олонхо кроется в отдаленности Намского улуса от находящихся-

ся территориально рядом Ботурусского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского улусов, в которых создавали свои олонхо К. Г. Оросин, Г. Е. Слободчиков, Н. Я. Татаринов. По типу исполнительства Н. Н. Шестаков относится больше к сказителю-импровизатору, так как, запомнив «сюжетную схему по преимуществу», «меняет его, пользуясь всем арсеналом сюжетов, эпизодов, мотивов, образов, формул, которыми он владеет» [Астахова, 1938, с. 71].

Сопоставляя мотивы вариантов олонхо «Нюргун Боотур», мы обнаружили следующее: по времени записей раньше всех зафиксировано олонхо К. Г. Оросина (1895), а сказания со слов Г. Е. Слободчикова-Тэлээркэ, Н. Я. Татаринова и Н. Н. Шестакова записаны на сорок с лишним лет позже (1941–1942). Очевидно, что из четырех наших олонхосутов первым исполнял олонхо К. Г. Оросин. Это позволяет нам предположить, что местом первоначального очага бытования олонхо «Нюргун Боотур», по всей вероятности, был Таттинский улус. И не исключено, что вариант Г. Е. Оросина, перенятый в свое время у другого олонхосута из своего улуса, стал исходным текстом созданных позже вариантов олонхо Г. Е. Слободчикова-Тэлээркэ, Н. Я. Татаринова и Н. Н. Шестакова.

Обнаруженные во всех четырех олонхо наиболее устойчивые мотивы как главные обязательные составные части сохраняют каркас, ядро основной сюжетной линии олонхо «Нюргун Боотур». Это говорит о том, что законы композиционного построения сюжета распространяются на все варианты олонхо и они строго соблюдаются олонхосутами. Изменения допускаются в плане расширения повествования дополнительными элементами без нарушения построения основного сюжета.

В сказывании олонхосуты некоторые одни и те же мотивы видоизменяются, обретают новую окраску. К примеру, довольно распространенные в эпической традиции мотивы коня, купания богатыря, взаимопомощи родственников даются по-разному, что означает возможность изменения некоторых мотивов в зависимости от творчества олонхосута. В результате создаются вариации мотивов.

В традиционную сюжетную схему каждый олонхосут вносит неустойчивые (ситуативные) мотивы. Например, в олонхо К. Г. Оросина и Н. Я. Татаринова добавляется не очень часто встречающийся в эпической традиции мотив состязания с неузнанным братом. Кроме того, во всех олонхо встречаются творчески индивидуальные мотивы. Такие импровизации олонхосут вносит ради окрашивания содержания своего олонхо, и они, несомненно, дополняют, расширяют сюжет. Все это делается в рамках соблюдения традиций. Благодаря такому расширению текста за счет внесения ситуативных неустойчивых и творческих мотивов создаются новые варианты олонхо. В итоге получается, как у А. Б. Лорда: каждое исполнение представляет собой самостоятельную песню, поскольку каждое исполнение уникально и несет на себе печать поэта-сказителя [Лорд, 1994, с. 15]. По всей вероятности, В. М. Жирмунский был прав, когда писал: «...певец запоминает не связный текст, а как бы сценарий, сюжетную канву, известную последовательность эпизодов и ситуаций, а также традиционные “общие места”, эпические клише... в остальном он создает исполняемый им текст в процессе пения, варьируя его в соответствии с характером аудитории, вводя в него те или иные новые подробности или даже эпизоды» [Жирмунский, 1974, с. 89].

Анализ четырех одноименных олонхо позволяет нам сказать, что сюжетообразующие мотивы в вариантах К. Г. Оросина, Г. Е. Слободчикова-Тэлээркэ, Н. Я. Татаринова больше основаны на традиционных канонах. Н. Н. Шестаков как олонхосут относится к типу певцов-импровизаторов, которые не удовлетворялись заученным текстом, а варьируют его, меняли в зависимости от творческой фантазии, своих индивидуальных взглядов, эстетических вкусов.

Сопоставляя варианты, мы не преследовали цели установления какого-то «сводного» текста или определения лучшего, более полного, канонического ва-

рианта из проанализированных четырех. Перед нами равноправные и равноценные тексты героического эпоса олонхо «Нюргун Боотур». Олонхосуты К. Г. Оросин, Г. Е. Слободчиков-Тэлээркэ, Н. Я. Татаринов, Н. Н. Шестаков, мастерски сочетая традиции импровизации с сохранением традиционной канвы приемами «упущения», «замены», «перемены порядка», «дополнения» мотивов [Райхл, 2008], создали уникальные по своей неповторимости олонхо «Нюргун Боотур». При этом «сказитель при каждом исполнении эпоса не только воспроизводит воспринятый им текст с некоторыми неизбежными изменениями, но и создает его по-новому, опираясь на традицию, на константную основу формул» [Николаева, 2016, с. 23]. Другими словами, олонхосут свое сказание каждый раз исполняет по-разному. А другой сказитель, услышавший и перенявший это же олонхо, в пределах соблюдения традиции создает свой неповторимый текст. В результате такой творческой импровизации олонхосутов – носителей эпического знания рождаются вариации олонхо.

Список литературы

- Астахова А. М.* Былины Севера. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938. Т. 1.
- Гильфердинг А. Ф.* Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом летом 1871 г. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 1.
- Емельянов Н. В.* Сюжеты якутских олонхо. М.: Наука, 1980.
- Жирмунский В. М.* Тюркский героический эпос: Избр. тр. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1974.
- Иванов В. Н.* Олонхо – уникальное явление в мировой эпической культуре: Моногр. Якутск: Изд. дом СВФУ, 2014.
- Илларионов В. В.* Искусство якутских олонхосутов. Якутск: Бичик, 1982.
- Райхл К.* Тюркский эпос: традиции, формы, поэтическая структура. М.: Вост. лит., 2008.
- Лорд А. Б.* Сказитель. М.: Наука, 1994.
- Николаева Н. Н.* Сказительская импровизация и вариативность в бурятском эпическом тексте (на примере разновременных записей эпоса «Гэсэр» сказителя П. Петрова) // Вестн. Северо-Вост. федерального ун-та им. М. К. Аммосова: Сер. Эпосоведение. 2016. № 3. С. 15–23. URL: <http://epossvfu.ru/эпос3-Николаева-НН.pdf> (дата обращения 30.04.2017).
- Ойунский П. А.* Нюргун Боотур Стремительный / Воссоздан на основе якут. нар. Сказаний; Пер. с якут. В. Державина. Якутск: Кн. изд-во, 1975.
- Олонхосуты Якутии: Справ. Якутск: Изд. дом СВФУ, 2013.
- Путилов Б. Н.* Эпическое сказительство: Типология и этническая специфика. М.: Вост. лит. РАН, 1997.
- Пухов И. В.* Якутский героический эпос олонхо: основные образы. М.: Наука, 1962.
- Пухов И. В., Эргис Г. У.* Якутские олонхо // Строптивый Кулун Куллустуур: Якутское олонхо. М., 1985.
- Рыбников П. Н.* Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. М.: Тип. А. Семена, 1989. Т. 1.
- Эргис Г. У.* Очерки якутского фольклора. М.: Наука, 1974.

Список источников

Дьулуруйар Ньургун Боотур: олонхо. Зап. А. Е. Аржаковым от Н. Я. Татаринова из Сотгинского наслега Усть-Алданского района в 1940 г. // Рукописный фонд ИГИИПМНС (Ин-т гуманитарных исслед. и проблем малочисленных народов Севера СО РАН). Ф. 5. Оп. 8. Ед. хр. 72.

Нюргун Боотур. Зап. от Н. Н. Шестакова (Суутта) из Бетюнского наслега Намского района в 1941 г. // Рукописный фонд ИГИИПМНС. Ф. 5. Оп. 8. Ед. хр. 15.

Оросин К. Г. Нюргун Боотур Стремительный / Ред. текста, пер. и коммент. Г. У. Эргиса. Якутск: Якут. кн. изд-во, 1947.

Слободчиков Г. Е. Дьулуруйар Ньургун Боотур. Дьокуускай: Алаас. 2013.

A. F. Koryakina

North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russian Federation, aitalilen@mail.ru

**The motifs of similarly-named olonkhos “Nyurgun Bootur the Swift”:
stability, variability and improvisation**

The paper compares the plot motifs of the similarly-named Yakut heroic epics “Nyurgun Bootur the Swift” of olonkhosuts (narrators) K. G. Orosin, N. Ya. Tatarinov, G. E. Slobodchikov, and N. N. Shestakov so as to reveal stable, variable and creative motifs and define their functions in creating the new variants of olonkho with the same name. Thus, the author pays special attention to this problem. The olonkho variants by K. G. Orosin, G. E. Slobodchikov, and N. Ya. Tatarinov were investigated. As a result, the following motifs were found to be the most stable: settling the hero in the Middle World by celestials, description of the hero’s homeland, the kidnapping of the women aiyy by the abaasys as the beginning of a conflict, the fight of the aiyy heroes and abaasys in the three worlds, the victory over the abaasys, and the hero’s marriage. Due to these “traditional and typical” motifs, the olonkho plot becomes consistent, logically clear, and complete. Stable motifs compose the plot line and the frame of all variants of the olonkho “Nyurgun Bootur the Swift.” Keeping these stable motives, olonkhosuts make minor changes. Quite common for the epic tradition, the motifs of a horse, bathing of the hero, mutual aid of the relatives can be found in different variants. Thus, some motifs are supplemented and modified, with new motif variations created.

Keywords: heroic epic olonkho, olonkho about defenders of the aiyy, olonkho variants, stable and unstable motives, variations of motives, narrator creation.

DOI 10.17223/18137083/68/2

References

- Astahova A. M. *Byliny Severa* [Russian epics of the North]. Moscow, Leningrad, Izd. AN SSSR, 1938, vol. 1.
- Emel'yanov N. V. *Syuzhety yakutskikh olonkho* [The plots of Yakut olonkho]. Moscow, Nauka, 1980.
- Ergis G. U. *Ocherki yakutskogo fol'klora* [Essays on Yakut folklore]. Moscow, Nauka, 1974.
- Hilferding A. F. *Onezhskiye byliny, zapisannyye A. F. Gil'ferdingom letom 1871 g.* [Oneza epics, recorded by A. F. Hilferding in the summer of 1871]. Moscow, Leningrad, Izd. AN SSSR, 1949, vol. 1.
- Ivanov V. N. *Olonkho – unikal'noye yavleniye v mirovoy epicheskoy kul'ture: Monogr.* [Olonkho is a unique phenomenon in world epic culture: monogr.]. Yakutsk, Izd. dom SVFU, 2014.
- Illarionov V. V. *Iskusstvo yakutskikh olonkhosutov* [The art of Yakut olonkhosuts]. Yakutsk, Bichik, 1982.
- Lord A. B. *Skazitel'* [Narrator]. Moscow, Nauka, 1994.
- Nikolayeva N. N. Skazitel'skaya improvizatsiya i variativnost' v buryatskom epicheskom tekste (na primere raznovremennykh zapisey eposa “Geser” skazitelya P. Petrova) [Narrator's improvisation and variability in the Buryat epic text (by the example of asynchronous recording of the “Geser” epic by P. Petrov)]. *Vestnik of North-Eastern Federal Univ. Ser. “Epic studies.”* 2016, no. 3, pp. 15–23. URL: <http://epossvfu.ru/epos3-Nikolayeva-NN.pdf> (accessed 30.04.2017).

Oyunskiy P. A. *Nyurgun Bootur Stremitel'nyy* [Nurgun Bootur the Swift]. Vossozdan na osnove jakutskih narodnyh skazaniy [Recreated on the basis of Yakut folk epics]. Transl. from Yakut by V. Derzhavin. Yakutsk, Kn. Izd., 1975.

Olonkhosuty Yakutii: Sprav. [Olonhosuts of Yakutia: Ref.]. Yakutsk, NEFU Publ., 2013.

Putilov B. N. *Epicheskoye skazitel'stvo: Tipologiya i etnicheskaya spetsifika* [Epic narration: typology and ethnic specificity]. Moscow, Vost. lit. RAN, 1997.

Pukhov I. V. *Yakutskiy geroicheskiy epos olonkho: osnovnyye obrazy* [Yakut heroic epic olonkho: main images]. Moscow, Nauka, 1962.

Pukhov I. V., Ergis G. U. Yakutskiye olonkho [Yakut olonkhos]. In: *Stroptivyy Kulun Kullustuur: Yakutskoye olonkho* [The obstinate Kulun Kullustuur: Yakut olonkho]. Moscow, 1985.

Reichl Karl. *Tyurkskiy epos: traditsii, formy, poeticheskaya struktura* [Turkic epos: traditions, forms, poetic structure]. Moscow, Vost. lit., 2008.

Rybnikov P. N. *Pesni, sobrannyye P. N. Rybnikovym* [Songs collected by P. N. Rybnikov]. Moscow, Tip. A. Semena, 1989, vol. 1.

Zhirmunskiy V. M. *Tyurkskiy geroicheskiy epos: Izbr. tr.* [Turkic heroic epos: selected works]. Leningrad, Nauka, 1974.

В. В. Миндибекова

Институт филологии СО РАН, Новосибирск

Текстологические аспекты изучения несказочной прозы хакасов

Представлены текстологические аспекты изучения образцов несказочной прозы хакасов на сагайском, качинском, кызыльском и шорском диалектах хакасского языка. Они были зафиксированы исследователями В. В. Радловым (1866–1907), Н. Ф. Катановым (1878–1892), научными сотрудниками ХакНИИЯЛИ Д. И. Чанковым (1949), А. Г. Кызласовой (1948, 1976), В. Е. Майногашевой (1968, 1975, 2005), Л. К. Ачитаевой (1998), С. К. Кулумаевой (2001).

В ходе работы были выявлены жанровые, текстологические и языковые особенности образцов несказочной прозы. Текстологический анализ текстов позволил выявить характерные диалектные слова хакасской речи, отразившиеся в записях несказочной прозы. Привлечение рукописных текстов обнаружило вариативность авторской хакасской орфографии, которая имеет значительные расхождения с современными орфографическими нормами.

Ключевые слова: хакасы, хакасский фольклор, несказочная проза, предания, текстология, диалекты.

Проблема текстологического изучения является наименее разработанной частью исследовательской области хакасской фольклористики. В связи с ростом этнического самосознания в Республике Хакасия и повышенного интереса к хакасскому языку и его диалектам необходима глубокая проработка вопроса текстологического изучения фольклорных текстов и, в частности, несказочной прозы. Без этого невозможно полноценное исследование жанрового своеобразия, особенностей языка и поэтики фольклорных текстов. Анализировать тексты несказочной прозы – трудоемкая и сложная задача. Фольклорные произведения имеют свою историю, жанровую специфику и бытование в нескольких вариантах, так как вариативность – неотъемлемое свойство фольклора.

Источниковой базой исследования фольклорных текстов в данной статье послужил очередной 34-й том академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» «Несказочная проза хакасов», изданный в 2016 г.¹

¹ В двуязычной академической серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» вышло несколько томов по несказочной прозе сибирских народов: «Преда-

Миндибекова Валентина Виссарионовна – кандидат филологических наук, научный сотрудник сектора фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия, mindibekova@ngs.ru)

Оригиналы текстов хранятся в Рукописном фонде Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, а также в архиве Института филологии СО РАН. Часть текстов представляет собой расшифровку аудиозаписей из Архива традиционной музыки Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки. Публикация рукописных текстов и расшифрованных аудиозаписей сказочной прозы соответствует принципам публикации Серии: записи текстов представлены на хакасском языке с соблюдением особенностей диалектов и говоров, сохраняются пояснения сказителя, реплики аудитории, повторяющиеся слова, оговорки, заместительные слова, возгласы, отдельно выделены распевы. Омузыкаленные фрагменты представлены в вербальной и нотной записях.

В соответствии с принципами подготовки академического издания [Принципы..., 2003] тексты в оригинале и переводе разделены на смысловые блоки, имеющие порядковый номер. Символом (*) обозначены те слова, которые сопровождаются дополнительными пояснениями, размещенными в примечаниях к национальному тексту и комментариях к переводу. Некоторые тексты не имеют названий. Однако при публикации собиратели и составители тома дали им условные наименования в квадратных скобках. Например: мифы о птицах [Таарт паза турна] ([Коростель и журавль]) [НПХ, 2016, с. 132–133], [Кекүк] ([Кукушка]) [Там же, с. 134–135], предание о родах [Коковтарданар] ([О Коковых]) [Там же, с. 156–157]. Наименования текстов сказочной прозы имеют утвердительный характер, поэтому даже при наличии вопросительного слова знак вопроса в названии текста не ставится. Например: [Харачыхайтың хузури нога азыртыр] [Почему у ласточки раздвоенный хвост] [Там же, с. 130–131]. Знаки препинания в национальных текстах проставлены в соответствии с современными правилами оформления письменных текстов на хакасском языке.

Встречающиеся в текстах фразеологизмы переведены по смыслу, а в комментариях дается их буквальный перевод:

- *айназы тут парып* ‘разозлившись’ (букв. ‘его *айна* поймал’; так говорят, когда человек находится в состоянии гнева) [Там же, с. 132];
- *атхан угы чирге түспес* ‘хорошим стрелком был’ (букв. ‘его стрела на землю не падала’) [Там же, с. 130].
- *Азыр азах* ‘крот’ (букв. ‘раздвоенная нога’) [Там же].

Названия населённых пунктов в Указателе даны так, как они именовались во время записи текстов. Например: с. Тёя Аскизского р-на Хакасской АО [Там же, с. 514]. При указании районов, параллельно с историческим, дано современное наименование. Например: в улусе Малый Монок Аскизского (ныне Бейского) р-на [Там же].

В Словарь непереведённых слов включены 56 слов, которые оставлены без перевода для передачи национальной специфики фольклорных текстов. Например: *абахай* ‘красавица, жена’, *аргымах* ‘сильный, крепкий, выносливый конь’, *хурут* ‘сушёные лепёшки из *арчи*, твёрдо высушенного сыра’ и др.

В переводах и научных комментариях при передаче образного смысла национальных фразеологизмов и идиом даются пояснения самих исполнителей.

Подача национальных текстов осуществляется в строгом соответствии с архивными записями. В национальном тексте сохранено своеобразие устной речи исполнителя, употребление им диалектизмов. В рукописях наблюдается индивидуальный стиль письма собирателя.

Из Рукописного фонда ХакНИИЯЛИ, экспедиционных записей сотрудников ИФЛ СО РАН, архива НГК им. М. И. Глинки составителями были отобраны про-

ния, легенды и мифы саха (якутов)» (1995), «Мифы, сказки, предания манси (вогулов)» (2005), «Мифы, легенды, предания тувинцев» (2010), «Несказочная проза алтайцев» (2011).

изведения, наиболее интересные в сюжетном и языковом аспектах. Корпус тома составили 90 ранее не опубликованных текстов несказочной прозы хакасов. Каждый текст сопровождается переводом на русский язык, а также фольклористическими, лингвистическими, этнографическими и географическими комментариями. Тексты размещены в томе по тематическому принципу: о сотворении земли и человека, светилах, духах-хозяевах, злых духах, зверях-птицах, родах, названиях местностей, об *алытах* и охотниках.

Устойчивые сюжеты хакасской несказочной прозы представлены в текстах, записанных в разное время. Корпус тома составляют записи фольклорных текстов, зафиксированные в период с середины XIX в. по 2010 г. Для сопоставления вариантов были использованы опубликованные тексты преданий, записанные В. В. Радловым и Н. Ф. Катановым [Образцы..., 1907а; 1907б], которые представили обширный материал по лингвистике, этнографии и фольклору тюрков Сибири, записанный ими в период с 1889 по 1892 г.²

В публикациях Н. Ф. Катанова конца XIX в. собраны образцы всех жанров хакасского фольклора, в том числе и несказочной прозы. Тексты преданий были записаны им со слов сагайцев, качинцев и бельтиров Минусинского округа в 1878 г.

В начале XX в. записи хакасского фольклора систематически не велись. Только с открытием ХакНИИЯЛИ в 1944 г. фиксация фольклорных произведений обрела планомерный характер, интенсивнее стали исследования народной культуры хакасов.

Существующие научные работы дают представление о жанровом своеобразии, тематике и содержании национального фольклора. Большой вклад в определение жанрового состава хакасского фольклора и изучение исторических преданий внесли К. М. Патачаков (1950-е гг.), М. И. Боргояков (1970-е гг.), В. Я. Бутанаев (2000-е гг.) и др. Исторические предания были использованы хакасским этнографом К. М. Патачаковым для рассмотрения вопросов происхождения родов и племенных групп хакасов. Результатом работы стала книга «Родовой состав и народные предания о происхождении бельтиров» [Патачаков, 1959]. К фольклорным материалам неоднократно обращался тюрколог М. И. Боргояков. История хакаских родов с привлечением исторических преданий представлена в его статье «Вопросы этногенеза хакасов XVII–XVIII вв. и исторические предания» [Боргояков, 1974, с. 122]. Ценные материалы по историческому фольклору хакасов, духовной и материальной культуре, этнической истории хакасов, этнонимике и топонимике содержатся в трудах В. Я. Бутанаева. Большое научное и практическое значение имеет подготовленный им «Хакасско-русский историко-этнографический словарь» [Бутанаев, 1999]. Предания и легенды хакасов были рассмотрены в работах «Исторический фольклор хакасов» [Бутанаев, Бутанаева, 2001], «Мир хонгорского (хакасского) фольклора» [Бутанаев, Бутанаева, 2008], где авторами впервые были проанализированы сюжеты исторического фольклора хакасов. Эти работы значимы в деле собирания преданий и определении жанрового состава нарративов.

Несказочная проза у хакасов именуется *кип-чоох* и подразделяется на *пурунгы кип-чоохтар* (мифы о временах первотворения) и *полган нимедеңер кип-чоохтар* ‘рассказы о том, что было’ (исторические и топонимические предания). *Кип-чоохи* подразделяются на несколько тематических групп: *чирниң паза кизи пүткенінеңер* (о сотворении земли и человека), *чылтыстардаңар* (о светилах), *ээлердеңер*

² Фольклор тюркских народов опубликован в труде «Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Джунгарской степи» (1868). В. В. Радловым было издано десять томов «Образцов...» (СПб., 1866–1907). Записи хакасского фольклора сделаны в ходе его поездки по Хакасии в 1863 г. Позднее они вошли в 9-й том «Образцов народной литературы тюркских племен» [1907а; 1907б].

(о духах-хозяевах), *айна-чиктердеңер* (о злых духах), *аң-хустардаңар* (о зверях и птицах), *сёйктердеңер* (о родах и сеоках), *чир-суг аттарынаңар* (о названиях местностей), *алыптардаңар* (о богатырях), *аңчылардаңар* (об охотниках).

Тексты мифов сохранились фрагментарно, поэтому отличаются краткостью изложения, простотой сюжета, небольшим объёмом. Художественно-изобразительные средства в мифах несут не поэтическую, а смысловую и характерологическую нагрузку. Преданиям, в отличие от мифов, присуще более развернутое содержание и, соответственно, больший текстовый объем. Особый интерес представляют тексты мифов и преданий, включающие стихотворные строки. Так, в мифах встречаются небольшие песенки животных и птиц (медведя, зайца и жаворонка) (от 4 до 8 строк), а в текстах некоторых преданий – песни героев повествования (до 36 строк).

Ряд текстов на распространенные сюжеты удалось записать на всех диалектах. В основном это предания об особо почитаемых и уважаемых в народе героях: Ханза-пиге (Ханза пиг), Очен-пиге (Очен пиг), Ир Тохчыне (Ир Тохчын), Амыр Сарыге (Амыр Сарыг), Тасха Матыре (Тасха Матыр). Эти предания повествуют о временах монгольского нашествия на хакасскую землю. Каждый из рассмотренных вариантов имеет свои особенности в сюжетно-тематическом плане и в поэтико-стилевых приемах. Диалектные особенности текстов отражены в примечаниях и комментариях к тому.

Собиратели хакасского фольклора фиксировали устную речь, ориентируясь на фонетический принцип, в то время как основной принцип орфографии литературного хакасского языка – фонетико-морфологический. Фонетический принцип учитывает графику и орфоэпию звука. Морфологический принцип заключается в единообразном написании одной и той же морфемы. Так как собиратели ориентировались на фонетический принцип, в их записях отчетливо прослеживаются диалектные особенности речи исполнителя, в частности диалектное произношение именных и глагольных формообразующих аффиксов.

В ходе текстологического анализа образцов несказочной прозы были выявлены характерные черты каждого диалекта и сопоставлены с общепринятой литературной нормой, представленной в «Грамматике хакасского языка» [1975].

Хакасский литературный язык был создан на базе двух самых крупных диалектов: сагайского и качинского, поэтому орфографические нормы хакасского языка были разработаны с учетом особенностей только этих двух диалектов. Кызыльский и шорский диалекты использовались в условиях традиционного, семейного общения, что и отразилось в записях фольклорных текстов, в наибольшей степени у кызыльцев. Если на первых порах собиратели фиксировали образцы фольклора на диалекте исполнителя, то впоследствии грамотные сказители-кызыльцы начали самостоятельно записывать фольклорные произведения, ориентируясь на нормы хакасского литературного языка.

Для проведения текстологического анализа нами были отобраны тексты, обладающие художественной и исторической ценностью, получившие широкое бытование среди локальных групп хакасов: качинцев (*хаас*), кызыльцев (*хызыл*), сагайцев (*сагай*) и шорцев (*шор*).

1. Текстологические особенности несказочной прозы на качинском диалекте

Тексты на качинском диалекте были записаны от И. Е. Доброва, 1877 г. р., уроженца аала Хурунар Ширинского р-на; Б. В. Кокова, 1915 г. р., уроженца пос. Хызыл-аал Ширинского р-на; К. Л. Сукина, 1893 г. р., уроженца аала Хозаннар Ширинского р-на; К. Ф. Тортукковой, 1911 г. р., уроженки с. Ново-Марьясово Орджоникидзевского р-на; А. М. Арабкаевой, 1927 г. р., уроженки с. Монастырё-

во Орджоникидзевского р-на; Х. Спирина (нет сведений), Д. Ф. Шандаковой (нет сведений).

Рассмотрим 2 наиболее распространенных сюжета. Предание «Тулбар аттаңар» («О тулбаре») ³ [НПХ, 2016, с. 215–227] повествует о сыне Апрей-сайзана, который был угнан в землю Хоорай-хана. На родину он вернулся на своем быстром коне – *тулбаре*. В конце записи есть примечание сказителя: *Хорай ханы – иргіде хорай чон полтыр, оларның ханын Хорай ханы тіңеңнер* ‘В старину народ хоорай был, оказывается, их хана Хоорай ханом называли’.

Текст поделен на 18 блоков. В предании употребляются качинские диалектизмы, часть из которых представлена в табл. 1.

Предание «Оңен пиг» («Очен-пиг») ⁴ [НПХ, 2016, с. 228–239] повествует о трагической судьбе алып по имени Очен-пиг. В текст включен плач его жены Постай-Арыг. Она оплакивает своего мужа и сына по имени Сап, погибших в войне с *моолами*.

Текст поделен на 6 блоков. В предании употребляются качинские диалектизмы, часть из которых представлена в табл. 2.

Для качинских диалектизмов характерно нарушение нёбной гармонии гласных в аффиксах настоящего времени *-ча, -чадыр*: *чипчадырбыс* ‘едим’, *тіпчадыр* ‘говорит’, тогда как согласно литературной норме, ориентированной на соблюдение закона гармонии гласных, следовало бы писать *чипчедербіс, тіпчедір*.

Таблица 1

Качинские диалектизмы
в предании «Тулбар аттаңар» («О тулбаре»)

Table 1

Kachin dialect words
in the historical tale “About the Tulbar”

№ блока	Диалектное употребление	Литературная норма	Перевод
1	аалдың	аалның	‘села’
2	ўч	ўс	‘три’
	ачып	азып	‘открыв’
3	ким	кем	‘кто’
	тіпчадыр	тіпчедір	‘говорит’
	ічіріп	ізіртіп	‘напоив’
5	чуртуна	чуртына	‘до жилища’
6	мегее	мағаа	‘мне’
13	пуға	ағаа	‘ему’

³ Зап. В. Е. Майногашевой 9 января 1968 г. от Ф. И. Кокова. Рукоп. ф. ХакНИИЯЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 121. Л. 1–2. Пер. В. В. Миндибековой.

⁴ Зап. участниками КФЭ 10 мая 1984 г. от Б. В. Кокова в Абакане Хакасской АО. АТМ НГК. Колл. А0013.1, № 2. Расш., пер. В. В. Миндибековой, нотировка Г. Б. Сыченко.

Таблица 2

Качинские диалектизмы
в предании «Өчең пиг» («Очен-пиг»)

Table 2

Kachin dialect words
in the historical tale “Ochen-pyg”

№ блока	Диалектное употребление	Литературная норма	Перевод
1	Өчең пигдең андар	Өчең пигде нер	‘об Очен-пиге’
	чаабынаң	чаанаң	‘войной’
	кис килеге	кис килер ге	‘переправиться’
2	кич і ріп	кизіріп	‘переправив’
	й ахсы	ч ахсы	‘хороших’
	өлбох	өліббк	‘тоже погиб’
4	чурту на	чурты на	‘в свой чурт’
5	теп	тіп	‘так’
6	саалап	чаалап	‘с войной’
	киз б алып	кизіп алып	‘надев’
	полазы ң	поларзы ң	‘будешь’

2. Текстологические особенности сказочной прозы на кызыльском диалекте

Тексты на кызыльском диалекте записаны от исполнителей С. П. Кадышева, 1885 г. р., уроженца аала Тарчи Ширинского р-на; А. И. Янгуловой, 1926 г. р., уроженки с. Ошколь Ширинского р-на; Е. Ф. Баскаулова, уроженца улуса Агаскыр Орджоникидзевского р-на; П. В. Янгулова (нет сведений).

В тексте предания «Түк Тиин хашхы» («Беглец Тук-Тиин») ⁵ [НПХ, 2016, с. 215–227] повествуется о скитаниях беглеца Тук-Тиина. Он не смирился с новой властью, в отличие от своих братьев, поэтому скрывался сорок лет. Несмотря на трудности, он помогал своему народу.

Текст состоит из 14 блоков. В предании употребляются кызыльские диалектизмы, образцы которых представлены в табл. 3.

Текст предания на кызыльском диалекте свидетельствует, что для речи представителей этой локальной группы были характерны щелевые звуки *ш*, *щ* и *ж*. В литературной обработке текстов наблюдается замена специфичных для диалекта фонем [ш], [ж] на общепринятые фонемы [ч], [ч]. Следует отметить, что буквы *ш*, *ж* в литературном хакасском языке использовались только в заимствованиях. В кызыльском диалекте наблюдается выпадение согласных *л*, *р* перед согласными *г*, *з* в глаголах: *поган* ‘был’ (лит. *полган*), *паган* ‘шел’ (лит. *парган*), *киген* ‘пришел’ (лит. *килген*), *көген* ‘видел’ (лит. *көрген*). Текстологический анализ мифоло-

⁵ Зап. В. И. Доможаков 25 июля 1947 г. от П. В. Курбижекова в с. Чёрное озеро Ширинского р-на Хакасской АО. Рукоп. ф. ХакНИИЯЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 159. Л. 99–104. Пер. Л. К. Ачитаевой.

гического рассказа на кызыльском диалекте позволил выявить примеры нарушения закона гармонии гласных. В частности, фонетическое звучание глагольного аффикса настоящего времени *-че* не зависит от гласных в корне, в то время как в литературном хакасском языке соблюдение закона гармонии гласных является обязательным.

Таблица 3

Кызыльские диалектизмы
в предании «Тук Тиин хашхы» («Беглец Тук-Тиин»)

Table 3

Kyzyl dialect words
in the historical tale "Tuk Tiin the Outlaw"

№ блока	Диалектное употребление	Литературная норма	Перевод
1	хашхы	хасхы	‘беглец’
	таштыг	тастыг	‘каменный’
	поған	полған	‘был’
	пеглері	пиглері	‘правители’
	шонын	чонын	‘свой народ’
	айленібіскен	айланыбысхан	‘вернулся’
2	хасаға	хазарға, тизерге	‘скрываться’
	шыл	чыл	‘лет’
	ахша	ахча	‘денег’
	кижіг	кічіг	‘младший’
3	сөліге	сөлирге	‘рассказать’
	хамжы	хамчы	‘плетью’
4	уженже	ўзінчі	‘на третий’
5	ушхастырбалып паған	усхастырып алып парған	‘позади себя посадив, поехал’
6	пышшатханда	пысчатханда	‘когда кроила’
	ажылып	азылып	‘открывшись’
	аш шип одырлаш	ас чіп одырлар	‘еду едят’

3. Текстологические особенности несказочной прозы на сагайском диалекте

Тексты на сагайском диалекте были записаны от исполнителей М. О. Укачиновой, 1870 г. р., уроженки с. Кызлас Аскизского р-на; Н. Е. Туртугешева, 1888 г. р., уроженца с. Верхние Сиры Таштыпского р-на; И. И. Нербышева, 1898 г. р., уроженца с. Малый Монок Бейского р-на; Т. С. Бурнаковой, 1923 г. р., уроженки с. Верх-Тея Аскизского р-на; М. Е. Карачаковой (нет сведений о дате рождения), уроженки с. Кизлас Аскизского р-на; Н. В. Амзаракова (нет сведений

о дате рождения), уроженца улуса Кызлас Аскизского р-на; А. Р. Ултургашева (нет сведений); С. Т. Боргоякова (нет сведений).

В мифологическом рассказе «Тағ кізілері» («Горные люди») ⁶ [НПХ, 2016, с. 90–91] повествуется о том, как нужно вести себя человеку при встрече с горным духом. Текст расшифрован с аудиозаписи, состоит из 10 блоков.

Таблица 4

Сагайские диалектизмы
в мифологическом рассказе «Тағ кізілері» («Горные люди»)

Table 4

Sagai dialectics words in the mythological story “Mountain People”

№ блока	Диалектное употребление	Литературная норма	Перевод
1	олардың	оларның	‘у них’
	ханча	нинче	‘сколько’
	міне	мына	‘вот’
2	азырапчилер	азырапчалар	‘кормят’
	идох	ідөк	‘также’
	алче	алча	‘берёт’
	арлапчелер	арлапчалар	‘убирают’
	азырапчелер	азырапчалар	‘кормят’
4	чуртапчинда	чуртапчатханда	‘когда жила’
5	мигее	мағаа	‘мне’
6	чатчем	чатчам	‘лежу’
7	чоохтанманчам	чоохтанминчем	‘не говорю’
8	нойма	ниме	‘что’

В примере, записанном на сагайском диалекте, в глаголах настоящего времени с основами используются варианты *-че/-чи* вместо литературного *-ча/-че* (табл. 4).

4. Текстологические особенности сказочной прозы на шорском диалекте

Шорские тексты были записаны от исполнителей Н. Д. Шульбаева, 1872 г. р., уроженца с. Тлачах Таштыпского р-на; М. И. Сыргашева, 1873 г. р., уроженца д. Кызылсук Таштыпского р-на; Е. К. Туртугешевой, 1925 г. р., уроженки с. Нижний Матур Таштыпского р-на; А. Е. Кожакowej (нет сведений).

Текст «Тайызынаң чееңінің тайғазар аңнап парарға чоохтазып алғаны» («О том, как дядя с племянником договорились идти в тайгу охотиться») ⁷ [НПХ,

⁶ Зап. Л. К. Ачитаевой и Г. Б. Сыченко от Т. С. Бурнаковой 17 октября 1998 г. в с. Верх-Тёя Аскизского р-на РХ. Расш., пер. В. В. Миндибековой, нотировка Г. Б. Сыченко. АТМ НГК. Колл. 136, № 105.

2016, с. 310–314] построен в форме диалога между дядей и племянником. В нем отражены традиции, которые соблюдают хакасы во время охоты и пребывания в тайге. Охотничий рассказ состоит из 5 блоков. В тексте употребляются шорские диалектизмы, часть из которых представлена в табл. 5.

Таблица 5

Шорские диалектизмы в охотничьем рассказе
«Тайызынаң чесінінің тайгазар аңнап парарға чоохтазып алғаны»
(«О том, как дядя с племянником договорились идти в тайгу охотиться»)

Table 5

Shor dialectics words in the hunting story
“How How Uncle and Nephew Agreed to Go to the Taiga to Hunt”

№ блока	Диалектное употребление	Литературная норма	Перевод
1	айахтығлар	айахтығлар	‘с тарелкой’
	ікилең	ікөлең	‘вдвоём’
	чоохтанмодыр	чоохтанып одыр	‘говорит’
	кізиге	кізіге	‘человеку’
2	итплен	иттең	‘с мясом’
	міні	мыны	‘это’
	миң алдымдағы	минің алнымдағы	‘передо мной’
3	арталабыс	артынчагыбыс	‘наша кладь’
4	еблеріне	иблеріне	‘свои дома’
	ондайблаң	ондайнаң	‘таким образом’
5	онаң	алынча	‘отдельно’
	пір эмес	пір нимес	‘не одно’
	кэлдібіс	килдібіс	‘вернулись’

В шорских диалектизмах отражаются фонетические особенности устной речи шорцев. В частности, зафиксировано употребление гласного звука [э] вместо литературного [и]: *еблеріне* ‘свои дома’ (лит. *иблеріне*), а также наличие шипящих звуков [ш], [ж] вместо литературных [с], [з]: *тушта* ‘во время’ (лит. *туста*), *таиш* ‘камень’ (лит. *тае*).

В рукописных текстах отразились особенности того диалекта, на котором они исполнялись, однако записи, сделанные собирателями, не знающими диалекта исполнителя, содержат неточности в передаче диалектных слов, а также описки. Собиратели иногда заменяли диалектные слова их литературным аналогом, поэтому в одном тексте встречаются разные варианты написания одного и того же слова. На появление описок повлиял, по-видимому, и язык самого собирателя, который мог записать отдельные слова на своем родном диалекте, независимо от того, как они были произнесены. В рассмотренных нами рукописях выявлены

⁷ Зап. У. Н. Кирбижекова в 1952 г. от Е. П. Миягашева. Рукоп. ф. ХакНИИЯЛИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 293. Пер. В. В. Миндибековой.

расхождения с утвержденными орфографическими нормами хакасского языка. При подготовке текстов к публикации все случаи расхождений с литературной нормой были отмечены и прокомментированы в примечаниях.

В расшифрованных аудиозаписях зафиксированы диалектные черты и особенности местного говора, которые отличаются от хакасского литературного произношения.

Проведенный нами анализ позволил выявить некоторые текстологические аспекты изучения сказочной прозы хакасов. Рассмотренный материал даст возможность в дальнейшем провести параллели с алтайской, тувинской, шорской и якутской фольклорно-языковой традицией. Системное изучение и публикация текстов сказочной прозы вводит в научный оборот новые источники для изучения языка, фольклора и духовной жизни народа.

Список литературы

Боргояков М. И. Вопросы этногенеза хакасов XVII–XVIII вв. и исторические предания // Учен. зап. КазНИИЯЛИ. Абакан, 1974. № 5, вып. 19. С. 120–131.

Бутанаев В. Я. Хакасско-русский историко-этнографический словарь. Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та, 1999. 238 с.

Бутанаев В. Я., Бутанаева И. И. Исторический фольклор хакасов. Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2001. 148 с.

Бутанаев В. Я., Бутанаева И. И. Мир хонгорского (хакасского) фольклора. Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. 376 с.

Грамматика хакасского языка / Под ред. Н. А. Баскакова. М.: Наука, 1975. 418 с.

НПХ – Несказочная проза хакасов / Сост. В. В. Миндибекова, Г. Б. Сыченко. Новосибирск: Наука, 2016. 540 с.; ил., ноты + компакт-диск. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; Т. 34)

Образцы народной литературы тюркских племен, изданные В. Радловым. СПб.: Изд-во АН СССР, 1907а. Т. 9: Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов. Тексты, собранные и переведенные Н. Ф. Катановым: Тексты. 668 с.

Образцы народной литературы тюркских племен, изданные В. Радловым. СПб.: Изд-во АН СССР, 1907б. Т. 9: Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и карагасов. Тексты, собранные и переведенные Н. Ф. Катановым: Переводы. 659 с.

Патачаков К. М. Родовой состав и народные предания о происхождении бельтыров // Учен. зап. КазНИИЯЛИ. Абакан, 1959. Вып. 7. С. 127–134.

Принципы и порядок подготовки томов серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». 2-е изд. Новосибирск, 2003.

V. V. Mindibekova

*Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Novosibirsk, Russian Federation, mindibekova@ngs.ru*

Textological aspects of studying Khakas non-fairytale prose

The paper presents a textual analysis of samples of non-fairytale prose of the Khakas people on Sagai, Kachin, Kyzyl and Shor dialects of the Khakas language, recorded by the researchers V. V. Radlov (1866–1907), N. F. Katanov (1878–1892), researchers of the Khakas Research Institute of Language, Literature and History D. I. Chankov (1949), A.G. Kyzlasova (1948, 1976), V. E. Mainagasheva (1968, 1975, 2005), L. K. Achitaeva (1998), S. K. Kulumaeva (2001). The

analysis was done of archival and published texts, as well as transcribed recordings based on the materials of folklore expeditions. The main part of the texts were archival materials of the Manuscript Fund of the Khakas Research Institute of Language, Literature and History. The texts deciphered from audio recordings were studied, with their originals being stored in the Archive of traditional music of the M. I. Glinka Novosibirsk state Conservatory. Scholarly comments to the texts include their versions recorded in different years. In the course of the research, the genre, textual, and linguistic features of the samples of non-fairy prose were identified. The textual analysis revealed the characteristic features of the dialect of the Khakas speech, reflected in the records of non-fairy prose.

Keywords: Khakas folklore, Khakas, non-fairy-tale prose, historical tales, textology, dialects.

DOI 10.17223/18137083/68/3

References

- Borgoyakov M. I. Voprosy etnogeneza khakasov 17–18 vv. i istoricheskiye predaniya [Issues of ethnogenesis of the Khakas people in the 17th–18th centuries and historical legends]. *Scientific notes of KhRILLH*. Abakan, 1974, no. 5, iss. 19, pp. 120–131.
- Butanaev V. Ya. *Khakassko-russkiy istoriko-etnograficheskiy slovar'* [Khakas-Russian historical and ethnographical dictionary]. Abakan, KhSU Publ., 1999, 238 p.
- Butanaev V. Ya., Butanaeva I. I. *Istoricheskiy fol'klor khakasov* [Historical folklore of Khakas people]. Abakan, KhSU Publ., 2001, 148 p.
- Butanaev V. Ya., Butanaeva I. I. *Mir khongorskogo (khakasskogo) fol'klora* [World of Khongor (Khakas) folklore]. Abakan, KhSU Publ., 2008, 376 p.
- Grammatika khakasskogo yazyka* [Grammar of the Khakas language]. N. A. Baskakov (Ed.). Moscow, 1975, 418 p.
- Neskazochnaya proza khakasov* [Non-fairytale prose of Khakas people]. L. K. Achitaeva, S. K. Kulumaeva, V. V. Mindibekova, G. B. Sychenko (Comps). Novosibirsk, Nauka, 2016, 540 p. (Monuments of Folklore of the Peoples of Siberia and the Far East; Vol. 34)
- Obraztsy narodnoy literatury tyurkskikh plemen, izdannye V. Radlovym* [Samples of folk literature of Turkic tribes, published by V. Radlov]. St. Petersburg, AN SSSR Publ., 1907a. Vol. 9: Narechiya uryankhaytsev (soyotov), abakanskikh tatar i karagasov. Teksty, sobrannyye i perevedennyye N. F. Katanovym: Teksty [Dialects of Uryankhaians (Soyots), Abakan Tatars and Karagasses. Texts collected and translated by N. F. Katanov: Texts]. 668 p.
- Obraztsy narodnoy literatury tyurkskikh plemen, izdannye V. Radlovym* [Samples of folk literature of Turkic tribes, published by V. Radlov]. St. Petersburg, AN SSSR Publ., 1907b. Vol. 9: Narechiya uryankhaytsev (soyotov), abakanskikh tatar i karagasov. Teksty, sobrannyye i perevedennyye N. F. Katanovym: Perevody [Dialects of Uryankhaians (Soyots), Abakan Tatars and Karagasses. Texts collected and translated by N. F. Katanov: Translations]. 659 p.
- Patachakov K. M. *Rodovoy sostav i narodnyye predaniya o proiskhozhdenii bel'tyrov* [Clan composition and folk legends about the origin of Beltyrs]. *Scientific notes of KhRILLH*. Abakan, 1959, iss. 7, pp. 127–134.
- Printsipy i poryadok podgotovki tomov serii "Pamyatniki fol'klora narodov Sibiri i Dal'nego Vostoka"* [Principles and order of preparation of volumes of the "Monuments of Folklore of the Peoples of Siberia and the Far East" series]. 2nd ed. Novosibirsk, 2003.

УДК 398.22
DOI 10.17223/18137083/68/4

Л. Н. Арбачакова

Институт филологии СО РАН, Новосибирск

**Внетекстовые реплики сказителя
(из опыта расшифровки аудиозаписей «алыптыг ныбак»)**

На примерах аудиорасшифровок героических сказаний в исполнении современных шорских сказителей рассматриваются вопросы, связанные с рабочими моментами сказителя, с их внетекстовыми репликами непосредственно перед исполнением эпоса или после него. На основании собственных наблюдений отмечается, что кайчи могли давать название исполняемому эпосу сокращенное – по имени главного героя-алыпа либо развернутое – по имени богатыря и его коня со всеми дополнительными характеристиками. Делается вывод о необходимости записи не только самого произведения, но и всех комментариев сказителя. Это помогает снять многие неточности и непонятные места в эпосе, понять суть сказительского исполнения.

Ключевые слова: шорские героические сказания, расшифровка, сказители, название сказаний, реплики, комментарии сказителя.

Современные фольклористы, работающие с исполнителями героических сказаний, сожалели о том, что в свое время не смогли понять бесценный опыт общения со сказителем и не учли важность записи на диктофон (или другую аппаратуру) сказительских комментариев, пояснений, размышлений и других реплик, сделанных во время исполнения эпоса. Например, З. С. Казагачева в своей монографии отметила, что в период записей сказаний от А. Калкина они: «...одновременно не фиксировали на магнитную ленту его внетекстовые реплики. Между тем именно в них раскрывается очень многое для понимания личности сказителя» [Казагачева, 2002, с. 156].

В данной статье на примерах расшифровок записей героических сказаний, сделанных с 1996 по 2003 г. от ярких представителей мрасской сказительской школы В. Е. Таннагашева (1932–2007), А. В. Рыжкина (1924–2003) и А. П. Напазакова (1937–2004), мы впервые рассмотрим актуальные вопросы, связанные с внетекстовыми репликами сказителей (*кайчи*), а также с их сказительскими комментариями по поводу названий героических сказаний *кай / алыптыг ныбак*.

Арбачакова Любовь Никитовна – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия; anzass@mail.ru)

Во время встречи со сказителями, непосредственно перед исполнением *кай ныбак* (*алыптыг ныбак*) можно было наблюдать творческий процесс исполнительства *кайчи*, уточняющих с первых минут название героических сказаний. Они помнили репертуар своих учителей или других исполнителей; как правило, уточнялось не только название сказания, которое собирался исполнить сказитель, но и от кого оно было перенято. Например, В. Е. Таннагашев, озвучив сказание «Ак Плек», сообщил, что слышал этот *кай ныбак* от деда Мукалиша из Мысков, который, по его мнению, «не очень кайчи был» (Ак Плек, зап. 2000 г.) [Шорские героические сказания, 2014]. Как правило, В. Е. Таннагашев перед исполнением *алыптыг ныбак* начинал вслух перебирать сказания, которое он собирался нам рассказать, а мы параллельно подписывали кассету. Иногда уже после завершения эпоса название могло дополнительно уточняться.

Сказители, перебирая вслух сказания по именам главного героя, знали примерный объем (короткое или длинное) произведения, даже могли уточнить длительность сказывания, которая зависела еще и от типа исполнения. В зависимости от разных обстоятельств (болезнь сказителя, ограничение по времени и т. д.) они могли остановиться на коротком сказании либо выбрать более длинное. Известно, что на исполнение героического эпоса могло повлиять настроение слушателей: «Если аудитория настроена благожелательно и интерес ее вдохновит певца, он может растянуть повествование, смакуя каждое описание» [Лорд, 1994, с. 28].

Если кайчи спешил, то выбирал самое короткое, говоря: *Қысқа ныбақ ысперерим* ‘Короткое сказание отправлю’, и давал его название. По мнению В. Е. Таннагашева, самым коротким было односюжетное сказание «Ак Қаан пир чоллығ» («Ак Кан с одной дорогой») [Фольклор шорцев, 2010, с. 18]. В 1999–2003 гг. нам удалось сделать четыре разновременные аудиозаписи сказания «Ак Кан», из которых первый вариант был назван по имени алыпа и по обозначению масти его коня: «Ұш қулақтығ ақ қор аттығ Ақ Қаан» («С трехим светло-каурим конём Ак Кан»), остальные три – по имени алыпа «Ак Кан».

Кроме этого, В. Е. Таннагашев мог сказать, что из-за ограниченного времени он исполнит сказание без кая и без комуса, либо будет изредка *кайларить* (исполнять горловым пением), подыгрывая на музыкальном инструменте, и больше сказывать устно.

Кайчи А. В. Рыжкин, в зависимости от обстоятельств, мог сократить любое сказание, например, во время записи сказания «Алтын Эргек» у него гостил его сын, и поэтому он исполнил его кратко, в самом начале объяснив причину: *Мен слерге ам пересказы, а-то рақ парарым. Сын приехал из Хакасии* ‘Я вам вкратце перескажу, а то далеко уйду. Сын приехал из Хакасии’. В конце исполнения А. В. Рыжкин извинился, сказав: «Не обижайтесь... Сколько есть!.. Люба, Саша, не обижайтесь!» (*Паза обижатъ этпе...*) (Алтын Эргек, 1995).

Сказители прекрасно знали и помнили все события, связанные с эпическим героем. Во время аудиозаписи сказаний В. Е. Таннагашев несколько раз ошибся, «ступив на путь другого алыпа», как говорят кайчи, то есть он по ошибке начинал сказывать сюжет другого сказания. «Ступив на путь другого алыпа», сказитель сильно переживал. Например, начав сказывать «Казыр Салгын и Кара Салгын», он прервался и, расстроенный, начал стучать по *комусу* (видимо, прося прощения у духов *кай ээзи*. – Л. А.), приговаривая при этом: *Я совсем паиқа начал... Практически все правильно идет, ноо қара айна қызын албасқа теп айтчытқанын... совсем паиқа ныбақтың... По новой начнем, қайба!* ‘Я совсем другое начал... Практически все правильно идет, но наказывали, чтобы алып дочь черного *айна* не брал... совсем другое сказание... По новой начнем, *каем!*’ (Казыр Салгын и Кара Салгын, 2001). Перейдя к исполнению нужного эпоса, кайчи начал с его названия («Казыр Салгын и Кара Салгын»). Позже В. Е. Таннагашев вспомнил название сказания, в которое он ошибочно «вошел» («Алтын Чылтыспа Кумуш

Чылтыс»), объяснив, что оно очень длинное, там много дорог: «Я начинал вечером, может, часов в шесть вечера и всю ночь рассказывал». Здесь же кайчи уточнил, что у него есть разные стили исполнения: ...*например, «Ақ Олең и Кёк Олең» ааң стиль друговатый* ‘стиль исполнения сказания «Ак Олен и Кёк Олен» другой’. Также сказитель вспомнил много сказаний с одинаковыми названиями «Кара Кан» и «Ак Кан», но, по словам кайчи, там «хождения богатырей по-другому», то есть действия богатырей отличаются (Казыр Салгын и Кара Салгын, 2001).

То же самое произошло во время исполнения сказания «Аттаң чабыс қан чегрен аттығ, қааннаң чабыс Кан Мерген». После описания зачина и представления алып кайчи внезапно остановился, сказав, что «вошел на путь» другого сказания: ...*мындығ сказаниялар несколько штук, паиқа сказанияның чорукпа кирибистирим. Мен пону по новой начну. По-торбоковски сказание не так начинается* ‘Таких сказаний несколько, я в другое сказание вошел. Я его по новой начну! Сказание по-торбоковски не так начинается!’ Затем он стал заново исполнять нужное сказание «[Ростом] ниже других коней с кроваво-игреневым конём, [ростом] ниже других ханов Кан Мерген» (Ростом ниже других коней..., 2001).

Такое трепетное отношение к эпическим произведениям, когда кайчи, следуя «по пути чужого алып», немедленно прекращает исполнение и начинает заново сказывать, возможно, связано с верой в «духов горлового пения – *кая*», которые в случае ошибок или оговорок могли строго наказать сказителей [Фольклор шорцев, 2010, с. 33].

В архиве наших аудиозаписей имеются три разных сказания, названных сказителем одинаково: «Кара Кан». В 2000 г. перед записью одного из вариантов «Кара Кана» сказитель вначале назвал его по имени жены богатыря – Кара Сабак, а непосредственно перед исполнением он сказал: *Қара Қааны ысперейин* ‘Кара Кана отправлю’. В процессе подготовки этого сказания к публикации мы все же решили оставить первоначальную версию названия «Кара Сабак», так как главная роль в нем принадлежит богатырше Кара Сабак – жене Кара Кана [Шорские героические сказания, 2014].

Подобная ситуация, когда В. Е. Таннагашев давал разные названия сказанию, случилась и в 2001 г. во время аудиозаписи алтайскими учеными-фольклористами сказания «Ақ Олеңме Кёк Олең» (руководитель экспедиции Т. М. Садалова). *Кайчи* тогда перед исполнением сказал: *Так, Килин Олеңме Кёк Олең ысперейин* ‘так, отправлю «Килин Олен и Кёк Олен»’, а затем он уточнил: *Ақ Олеңме Кёк Олеңни ысперейин!* ‘Отправлю «Ак Олен и Кёк Олен»!’ (Ак Олен и Кёк Олен, 2001).

По мнению Д. Функа, сказителю имя богатыря (богатырши) спутать трудно, так как «практически все они могут быть сгруппированы в несколько больших групп с достаточно четким разделением на мужские и женские, на заведомо положительные и отрицательные и т. п. Кроме того, имена эпических персонажей были сопряжены не столько с их образами, сколько с их образами в представлении каждого конкретного сказителя» [Функ, 2005, с. 271].

Было замечено, что В. Е. Таннагашев предпочитал называть сказания кратко: «Казыр Тоо», «Чылан Точий», «Кара Кан» (зап. 1999 г.), «Кара Кан» (зап. 2000 г.), три варианта «Ак Кан» (зап. 2000, 2001, 2003 гг.), «Алып Кускун», «Ак Плек», «Свет Олак», «Чаш Салгын», «Кёк Торчук», отрывок сказания «Кан Мерген».

Возможно, в кругу своих знакомых слушателей, кайчи нравилось давать красочные и развернутые названия сказаниям не только по масти коня «Со светло-серым конём Алтын Тайчы» («Ак қыр аттығ Алтын Тайчы»), но и по цвету гривы животного «С златогривым светло-серым конём Алтын Тайчы» («Алтын чаллығ ақ қыр аттығ Алтын Тайчы»). Прекрасная светлая масть коня может сопоставляться с цветом молока: «Ак Кан, имеющий светло-солового коня, что белее мо-

лока» («Сүттең арығ ақ ой аттығ Ақ-Қан») [Шорский героический эпос, 2018, с. 8].

Иногда название сказания могло разворачиваться характеристикой скорости бега коня по сравнению с ветром: «С обгоняющим ветер, желто-рыжим конём Сарығ Кан» («Салғын четпес сар аттығ Сарығ Қан»); «Со светло-серым конём Алтын Тайчы» («Ақ қыр аттығ Алтын Тайчы»). Сверхчувствительность коня могла быть отражена в названии с указанием количества ушей коня: «С треухим светло-каурым конем Ақ Кан» («Ұш кулақтығ ақ қор аттығ Ақ Қаан») (С треухим светло-каурым конем..., 1999).

Надо сказать, что наличие в сложносоставном имени богатыря масти коня и его характеристики является традицией для эпоса тюркоязычных народов Сибири и монголоязычных бурят.

Как видим, кайчи мог давать сокращенное (по имени главного героя-алыпа) название исполняемому эпосу либо развернутое – указав имя героя и его главного друга-помощника – коня. Как верно отметила Р. С. Липец, конь в эпосе тюрко-монгольских народов «не только как бы побратим батыра (иногда тот так его и называет); их объединяют узы кровного, а как более поздняя замена – молочно-го братства» [Липец, 1984, с. 124].

Также название могло содержать происхождение алыпа: «Воплотивший в себе жизненную силу десяти богатырей Кан Кичей» («Он алыптың майының пир кестепкел чайалған Кан Кичей»). На наш взгляд, в этом героическом сказании имя алыпа осталось нераскрытым, так как нет описания превращения Кан Кичея в богатыря, воплотившего в себе жизненную силу десяти богатырей.

По названию вышеупомянутых трех сказаний можно представить себе внешний вид алыпа и его коня: «[Ростом] ниже других коней с кроваво-игреневым конём, [ростом] ниже других ханов Кан Мерген» («Аттаң чабыс қан чегрен аттығ, қааннаң чабыс Қаан Мерген»); «[Размером] с полконя с резвым рыжим конём Октемешем [размером] в полмужчины Октемеш Мёке» («Ат кезиги Өктемеш сар аттығ эр кезиги Өктемеш Мөкке»), «С неказистым рыжим конём Чеппе Салғын» («Чеппе сар аттығ Чеппе Салғын»). Однако в самом тексте нет подробного описания их внешнего вида.

Иногда по названию эпоса можно представить себе передвижение алыпа, как в самозаписи кайчи В. Е. Таннагашева сказания «Четти поом сыы кобырғай иштинге чөрчиган Сыр-Өлең қыс» (зап. 2004 г., ноябрь), где дева Сыр-Олен путешествует по свету внутри борщевика, изготовленного из семи матов/планок сухого пучка этого растения [Шорский героический эпос, 2018, с. 8].

Другое название сказанию было дано по характеристике алыпа «Ужасный Кан Мерген» («Чабал Қан Мерген»). В этом сказании богатырь Чабал Қан Мерген своим страшным видом распугивает не только посторонних людей, но и свою родную мать и домашний скот. Непокойный характер героя/героини эпоса отражен в названии «Выспоренная Алтын Торғу» («Талашқа чөрген Алтын-Торғу») [Шорский героический эпос, 2012].

О трагичной судьбе героини с поэтичным именем можно лишь догадываться: «Солнце увидевшая Кюн Кёк» («Күннү көрген Күн Кёк»). В самом тексте девушка сама раскрывает свое имя: *Чабал адалтарғам, – тедир, – / Күннү көрген Күн Кёк чайал-парғам, – тедир. – / Аалынаң артын еңе күй күй кел, / Учра ашчаң Күн Кёк полтырым...* 'Нехорошее имя мне дали, – сказала, – / «Солнце увидевшая Кюн Кёк», – сказала, – / Оттого впереди (еще) трудный день / Пережить придется Кюн Кёк...' [Сказания шорского кайчи..., 2014, стк. 658–661].

В сказаниях главную роль могли выполнять два персонажа, поэтому они назывались, например, по именам двух братьев-богатырей «Казыр Салғын с Кара Салғыном» («Қазыр Салғынма Қара Салғын») или по именам двух братьев-коней

«Старший брат саврасый конь с младшим братом саврасым конем» (*«Ачазы кул атпа туңмазы кул ат»*) (Старший брат..., 2001).

Кайчи называл сказания не только по положительным героям, но и по отрицательным, например, «Алып Карачын кыс» – это сказание о богатырке Алып Карачын, дочери Кан Мергена, которая, желая выйти замуж за алып из Нижнего мира, уничтожает не только его соперников, но и своих родных (Богатырка Карачын Кыс, 1996). В сказании «Чылан Тоочый» говорится о главной героине, изменяющей мужу в его отсутствие (Чылан Точый, 1999).

Если в одном сказании «несколько дорог» (имеются в виду сюжетные линии), т. е. в нем действуют несколько поколений алыпов, например, отец – сын (или дочь) – внук, то названия могли даваться как по имени отца, так и по именам его детей и внуков.

В ходе анализа самих эпических текстов нами было замечено, что, несмотря на то что название сказаний было развернутым, в процессе исполнения В. Е. Таннагашев редко употреблял сложносоставные эпитеты к имени алып. Иногда красочное богатырское имя давалось сказителем в эпизоде встречи и знакомства героев. В остальных случаях встречается сокращение имени. Например, в сказании «Кан Мерген» («Қаан Мерген») вместо развернутого наименования *Аттаң чабыс қан чегрен аттығ, қааннаң чабыс Қаан Мерген* '[Ростом] ниже других коней с кроваво-игреневым конём, [ростом] ниже других ханов Кан Мерген' в большинстве случаев дается краткое «Кан Мерген». Видимо, красочное название, данное произведению сказителем непосредственно перед исполнением, имело целью заинтересовать слушателей, настроить их на долгое путешествие вслед за алыпом.

От других представителей мрасской сказительской школы – А. П. Напазакова и А. В. Рыжкина – было записано по пять сказаний от каждого. У кайчи А. П. Напазакова два сказания были названы по имени алып с простым эпитетом: «Куба Салғын» (1996), «Қыдат Қаан» (2001). Иногда А. П. Напазаков давал развернутые названия сказаниям: «Кюмюш Кылыш, имеющий сестру Кюмюш Кёк и серебристо-рыжего коня с серебристой шерстью» («Күмүш түктүг күмүш сар аттыг Күмүш Кылыш Күмүш Кёк печелиг»). Как видим, в названии содержатся сведения о сестре Кюмюш Кылыша, о его богатырском коне и о масти коня (С серебристо-рыжим конём..., 1996).

Вариант этого сказания «Кюмюш Кылыш, имеющий темно-рыжего коня с серебристой шерстью и с серебристой гривой» («Күмүш чаллыг күмүш түктүг күрең сар аттыг Күмүш Кылыш») А. П. Напазаков исполнил и для алтайских фольклористов (руководитель работ Т. М. Садалова). В данном названии не упомянута сестра алып, но масть коня развернута описанием серебристой гривы. Непосредственно перед исполнением он сказал: *Күмүш Кылыш төзелча* 'начинается с Кюмюш Кылыша' (Кюмюш Кылыш..., 2001).

Двойное название дано и во время нашей аудиозаписи сказания «Желтая гора, имеющая три очага / три участка земли» («Үш очуктыг Сарыг Тайга»). Тогда А. П. Напазаков после развернутого названия сказания по имени алып, дал краткое: *төзелерге Алтын Каан* 'все начинается с Алтын Кана'. Здесь он пояснил: *он төзелерге, сразу оннарзын кайде төзелгенин* 'уже в самом начале будешь знать, с кого все началось'. На мой вопрос о двойном названии сказания кайчи ответил, что первое дано по горе, на которой алып сражался: *Оно, қайдыг тайгада қарбашиқан? Үш очуктыг сарыг тайгада...* 'Вот, на какой горе алып сражался? На желтой горе, имеющей три очага...' Таким образом, несмотря на отвлеченное название «Үш очуктыг Сарыг Тайга», данное по месту борьбы главного героя, А. П. Напазаков как бы дублирует его, называя сказание еще и именем главного эпического героя Алтын Каана (Желтая гора..., 2002).

Во время подготовки диктофона для записи исполнения сказания «Тазыл аразыннаң чайалғаннар Қара Сабақ печелиг Қаан Мерген туңмалығ» А. П. Напазаков сказал, что слышал его от Токмагашева Павла Петровича, а на наш вопрос, как называется сказание, он ответил: *Название минде чоқ* 'Названия здесь нет'. Однако во время небольшого перерыва в беседе он дал полное название эпоса «Кан Мерген с сестрой Кара Сабақ, рожденные посреди корней» («Тазыл аразыннаң чайалғаннар Қара Сабақ печелиг Қаан Мерген туңмалығ»). В развернутом названии этого сказания говорится о необычном (чудесном) происхождении брата и сестры (Кан Мерген..., 2001).

Перед очередной записью сказания А. П. Напазаков некоторое время не мог определиться, какое сказание ему исполнить: «Кыдат Кан», где, как он считал, «много (*көп*) *айна* (чертей, нечисти, дьяволов)» или «Куба Салгын», где «мало (*ас*) *айна*». После нескольких минут сказывания «Куба Салгын», кайчи вспомнил, что упустил сюжет рождения малыша и попросил остановить запись: *Э, тоқта!* 'Э, останови!' (Куба Салгын, 1996). В результате заминки, перед повторной аудиозаписью нам было объявлено другое сказание – «Кыдат Кан»; кайчи, посомневавшись, сказал: «Че, успеем!» – и тут же начал сказывать его (Кыдат Кан, 2001).

А. В. Рыжкин, как правило, называл сказания короткими, состоящими из двух слов (имени и определения) заголовками: «Алтын Эргек», «Алтын Қаан», «Қара Қартыға», «Ақ Сағал», лишь в одном из пяти сказаний можно представить себе внешний вид алып, исходя из названия эпоса: «Кан Эргек [ростом] с большой палец» («Эргек пажы Қаан Эргек») (Кан Эргек..., 1996).

А. В. Рыжкину требовалось какое-то время, перед тем как он мог начать исполнять сказание горловым пением под сопровождение кай-комуса. Например, перед исполнением сказания «Эргек пажы Қаан Эргек» А. В. Рыжкин долго не мог настроиться на кай (горловое пение), говорил: *Не идет мага қайларға, наверно қайлабассым!* 'Не идет мне кайларить, наверное, не буду кайларить!'. Затем, продолжив кайларить, снова остановился, сказав: «Не туда, Люба!» Лишь с третьей попытки сказителю удалось настроиться и начать сказывать.

Таким образом, в названиях шорских героических сказаний можно почерпнуть важные сведения о богатыре: о его происхождении, характере и внешнем виде, семейном положении, о способе перемещения богатыря в пространстве. Кроме этого, в названиях могут содержаться данные о богатырском коне – главном друге-помощнике богатыря (масть коня, характеристика скорости бега коня, сверхчувствительность коня и т. д.).

При исполнении героических сказаний важными моментами для сказителей, повествующих о своем герое-алыпе, являются запоминание его имени и безошибочное следование по его пути. Также исполнители прекрасно знали и помнили все события, связанные с эпическим героем. Без этих знаний сказитель не может мысленно путешествовать вслед за своим героем, так же как шаман, мысленно следующий лишь вслед за конкретным человеком.

Как мы заметили, к названию сказаний сказители относятся очень трепетно, и в том случае, если они ступили на «путь чужого алып», немедленно останавливаются и начинают заново сказывать. Возможно, это связано с верой в «духов горлового пения – *кая*», которые в случае ошибок или оговорок могли строго их наказывать.

Благодаря подробной аудиофиксации внетекстовых реплик сказителя, нами были выяснены многие вопросы, связанные с внезапным прерыванием исполнения, с остановками, с переключением на другой эпос и т. д. Действительно, фольклористу очень важно записывать не только произведение, но и все комментарии сказителя. Это помогает снять многие неточности и непонятные места в эпосе, понять суть сказительского исполнения.

Список литературы

- Казагачева З. С. Алтайские героические сказания «Очы-Бала», «Кан-Алтын». (Аспекты текстологии и перевода). Горно-Алтайск, 2002. 352 с.
- Липец Р. С. Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М.: Наука, 1984. 262 с.
- Лорд А. Б. Сказитель / Пер. с англ. и коммент. Ю. А. Клейнера, Г. А. Левинтона; Послесл. Б. Н. Путилова. Статьи А. И. Зайцева, Ю. А. Клейнера. М.: Восточная литература РАН, 1994. 368 с. (Исследования по фольклору и мифологии Востока).
- Сказания шорского кайчи В. Е. Таннагашева / Отв. ред. Е. Н. Кузьмина. Новосибирск: ИИЦ НГУ, 2014. 318 с.
- Фольклор шорцев / Сост. Л. Н. Арбачакова. Новосибирск: Наука, 2010. 608 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; Т. 29).
- Функ Д. А. Право на ошибку, представления о запрете на искажение эпических сказаний у шорских сказителей // Тр. Отд. историко-филологических наук РАН. М., 2005. С. 268–283.
- Шорские героические сказания: Кара Кан, Кара Сабак / Сост., пер. Л. Н. Арбачакова. М.: Ин-т перевода Библии, 2014. 280 с.
- Шорский героический эпос. Т. 3: Сыбазын-Олак. Выспоренная Алтын-Торгу. Кара-Хан / Сост., подгот. к изд., статьи, пер. на рус. яз., прилож., примеч. и коммент. Д. А. Функа. Кемерово: Примула, 2012. 280 с.
- Шорский героический эпос. Т. 5, ч. 1: Шорский эпос в самозаписях сказителя-кайчи В. Е. Таннагашева / Сост., подгот. шорских текстов к изд., предисл., коммент. Д. А. Функа. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2018. 236 с.

Рукописи шорских героических сказаний

- Ак Олен и Кёк Олен (Ақ Олеңме Көк Олең). Зап. 2001 г. Т. М. Садаловой от В. Е. Таннагашева // Домашний арх. Т. М. Садаловой.
- Алтын Эргек (Алтын Эргек). Зап. 1995 г. Л. Н. Арбачаковой от А. В. Рыжкина // Арх. сектора фольклора народов Сибири Ин-та филологии СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).
- Богатырка Карачын Кыс (Алып Қарачын қыс). Зап. 1996 г. Л. Н. Арбачаковой от В. Е. Таннагашева // Фоноарх. сектора фольклора народов Сибири Ин-та филологии СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).
- Желтая гора, имеющая три очага (Ұш очуктығ Сарығ Тайға). Зап. 2002 г. Л. Н. Арбачаковой от А. П. Напазакова // Арх. сектора фольклора народов Сибири Ин-та филологии СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).
- Казыр Салгын и Кара Салгын (Қазыр Салғынма Қара Салғын). Зап. 2001 г. Л. Н. Арбачаковой от В. Е. Таннагашева // Арх. сектора фольклора народов Сибири Ин-та филологии СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).
- Кан Мерген с сестрой Кара Сабак, рожденные среди корней (Тазыл аразыннан чайалғаннар Қара Сабак печелиг Қаан Мерген туңмалығ). Зап. 2001 г. Л. Н. Арбачаковой от А. П. Напазакова // Арх. сектора фольклора народов Сибири Ин-та филологии СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).
- Куба Салгын (Куба Салғын). Зап. 1996 г. Л. Н. Арбачаковой от А. П. Напазакова // Арх. сектора фольклора народов Сибири Ин-та филологии СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).
- Кюмюш Кылыш, имеющий темно-рыжего коня с серебристой шерстью и с серебристой гривой (Күмүш чаллығ күмүш түктүг күрең сар аттығ Күмүш Кылыш). Зап. 2001 г. Т. М. Садаловой от В. Е. Таннагашева // Домашний арх. Т. М. Садаловой.

Кыдат Кан (Кыдат Қаан). Зап. 2001 г. Л. Н. Арбачаковой от А. П. Напазакова // Арх. сектора фольклора народов Сибири Ин-та филологии СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).

[Ростом] ниже других коней с кроваво-игреневым конём, [ростом] ниже других ханов Кан Мерген (Аттаң чабыс қан чегрен аттығ қаннаң чабыс Қаан Мерген). Зап. 2001 г. Л. Н. Арбачаковой от В. Е. Таннагашева // Арх. сектора фольклора народов Сибири Ин-та филологии СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).

Чылан Точый (Чылан Тоочый). Зап. 1999 г. Л. Н. Арбачаковой от В. Е. Таннагашева // Фоноарх. сектора фольклора народов Сибири Ин-та филологии СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).

Кан Эргек [ростом] с большой палец (Эргек пажы Қаан Эргек). Зап. 1996 г. Л. Н. Арбачаковой от А. В. Рыжкина // Арх. сектора фольклора народов Сибири Ин-та филологии СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).

С серебристо-рыжим конём с серебристой шерстью Кюмюш Кылыш, имеющий старшую сестру Кюмюш Кёёк (Күмүш түктүг күмүш сар аттығ Күмүш Кылыш Күмүш Кёёк печелиг). Зап. 1996 г. Л. Н. Арбачаковой от А. П. Напазакова // Фоноарх. сектора фольклора народов Сибири Ин-та филологии СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).

С трехим светло-каурим конем Ак Кан (Үш кулактығ ақ қор аттығ Ақ Қаан). Зап. 1999 г. Л. Н. Арбачаковой от В. Е. Таннагашева // Фоноарх. сектора фольклора народов Сибири Ин-та филологии СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).

Старший брат саврасый конь и младший брат саврасый конь (Ачазы кул атпа тунмазы кул ат). Зап. 2001 г. Л. Н. Арбачаковой от В. Е. Таннагашева // Фоноарх. сектора фольклора народов Сибири Ин-та филологии СО РАН (Фонд Л. Н. Арбачаковой).

L. N. Arbachakova

*Institute of Philology of the Siberian Branch of Russian Academy of Sciences
Novosibirsk, Russian Federation, anzass@mail.ru*

**Extra-text remarks of a narrator
(from the experience of processing audio records “alyptyg nybak”)**

On the examples of audio transcripts of the heroic tales *alyptyg nybak* performed by modern Shor story-tellers, the author considers the work-related issues of the narrator and extra-text remarks made immediately before (or after) performing the epos. Depending on various circumstances (kaychi disease, guests, etc.), kaychi decides which heroic tale to choose, turning it out loud on behalf of the main character.

The name of the Shor heroic tale may include important information about the epic character: his origin, his character and appearance, his marital status, the way of moving in space. Also, the name may give the information on the horse of a hero – the main friend-helper of a hero (horse suit; horse run speed characteristic, etc.). As we have noticed, storytellers are very reverent towards the tale title and in the event that they set foot on “the path of another’s alyp,” they immediately stop and begin to speak again. While learning the heroic tales, it is important for the storytellers, who are to go after their *alyp* hero, to remember the name of *alyp* and to follow his path accurately. Also, the narrators are to know and remember all the events connected with the epic hero. Without this knowledge, the narrator is not able to travel in his imagination.

Owing to the detailed audio fixation of the narrator’s extra-text remarks, many issues were clarified related not only to the names of heroic tales, but also to sudden interruptions, stops in performing, switching to another legend, clarifying the names of epic characters, etc. It is essential for the folklorist to record not only the tale but also all the narrator’s comments. It can help

eliminate the inaccuracies and incomprehensible places in the epic and understand the point of the storytelling performance.

Keywords: Shor heroic epic tales, processing, narrators, story name, remarks, comments of narrators.

DOI 10.17223/18137083/68/4

References

- Fol'klor shortsev* [Shor folklore]. L. N. Arbachakova (Comp.). Novosibirsk, Nauka, 2010, 608 p. (Monuments of Folklore of the Peoples of Siberia and the Far East).
- Funk D. A. Pravo na oshibku, predstavleniya o zaprete na iskazheniye epicheskikh skazaniy u shorskikh skaziteley [The right to make mistakes, ideas about the prohibition of the distortion of epic tales of the Shor narrators]. In: *Trudy otdeleniya istoriko-filologicheskikh nauk RAN* [Proc. of the Department of Historical and Philological Sciences of the RAS]. Moscow, 2005, pp. 268–283.
- Kazagacheva Z. S. Altayskiye geroicheskiye skazaniya “Ochy-Bala,” “Kan-Altyn” (Aspekty tekstologii i perevoda) [Altai heroic tales “Ochy-Bala,” “Kan-Altyn” (Aspects of textual and translation)]. Gorno-Altaysk, 2002, 352 p.
- Lipets R. S. *Obrazy batyra i ego konya v tyurko-mongol'skom epose* [Images of the batyr and his horse in the Turkic-Mongolian epos]. Moscow, Nauka, 1984, 262 s.
- Lord A. B. *Skazitel'* [The Singer of Tales]. Transl. from English and comm. by Yu. A. Kleyner, G. A. Levinton; afterword by B. N. Putilov; articles by A. I. Zaitsev, Yu. A. Kleiner. Moscow, Vostochnaya literatura RAN, 1994, 368 p. (Studies on folklore and mythology of the East; Vol. 29).
- Skazaniya shorskogo kaychi V. E. Tannagasheva* [Epics by the Shor kaichi V. E. Tannagashev]. E. N. Kuzmina (Ed.). Novosibirsk, Editorial and Publ. Center of NSU, 2014, 318 p.
- Shorskiye geroicheskiye skazaniya: Kara Kan, Kara Sabak* [Shor heroic epics: Kara Kan, Kara Sabak]. L. N. Arbachakova (Ed., transl.). Moscow, Institute for Bible Translation, 2014, 280 p.
- Shorskiy geroicheskiy epos. T. 3: Sybazyn-Olak. Vysporennaya Altyn-Torgu. Kara-Khan* [Shor heroic epic. Vol. 3. Sybazyn-Olak. Obtained by Altyn-Torgu in a competition. Kara Khan]. Comp., ed., transl. into Russian, art., comm. and app. by D. A. Funk. Kemerovo, Primula, 2012, 280 p.
- Shorskiy geroicheskiy epos. T. 5, ch. 1: Shorskiy epos v samozapisyakh skazitelyakaychi V. E. Tannagasheva* [Shor heroic epic. Vol. 5, pt 1: Shor heroic epics in self-recordings of the narrator-kaichi V. E. Tannagashev]. Comp., prep. of Shor texts for publication, foreword and comm. by D. A. Funk. Tomsk, TSU Publ., 2018, 236 p.

Manuscripts of Shor heroic epic texts

- Ak Olen i Kajok Olen (Aq Ölen i Köök Ölen)* [Ak Olen and Kyok Olen]. Recorded in 2001 by T. M. Sadalova from V. E. Tannagashev. Home archive of T. M. Sadalova.
- Altyn Ergek (Altın Ergek)* [Altyn Ergek]. Recorded in 1995 by L. N. Arbachakova from A. V. Ryzhkin. Audioarchive of the Sector of Folklore of Peoples of Siberia of the Inst. of Philology, SB RAS. (Fond of L. N. Arbachakova).
- Bogatyрка Karachyn Kys (Alyp Karachyn kys)* [Bogatyрка Karachyn Kys]. Recorded in 1996 by T. M. Sadalova from V. E. Tannagashev. Audioarchive of the Sector of Folklore of Peoples of Siberia of the Inst. of Philology, SB RAS. (Fond L. N. Arbachakovoy).
- Chylan Tochyy (Čilan Točiy)* [Chylan Tochiy]. Recorded in 1999 by L. N. Arbachakova from V. E. Tannagashev. Audioarchive of the Sector of Folklore of Peoples of Siberia of the Inst. of Philology, SB RAS. (Fond of L. N. Arbachakova).
- Kan Ergek (rostop) s bol'shoy palets (Ergek paži Qaan Ergek)* [Kan Ergek of a thumb size]. Recorded in 1996 by L. N. Arbachakova from A. V. Ryzhkin. Audioarchive of the Sector of Folklore of Peoples of Siberia of the Inst. of Philology, SB RAS. (Fond of L. N. Arbachakova).
- Kan Mergen s sestroy Kara Sabak, rozhdenyye sredi korney (Tazıl arazınnañ çayılğannar Qara Sabaq peçelig Qaan Mergen tuñmalıy)* [Kan Mergen and his sister kara Sabak, born among the roots]. Recorded in 2001 by L. N. Arbachakova from A. P. Napazakov. Audioarchive of the Sector of Folklore of Peoples of Siberia of the Inst. of Philology, SB RAS. (Fond of L. N. Arbachakova).

Kazyr Salgyn i Kara Salgyn (Qazır Salğınma Qara Salğın) [Kazyr Salgyn and Kara Salgyn]. Recorded in 2001 by L. N. Arbachakova from V. E. Tannagashev. Audioarchive of the Sector of Folklore of Peoples of Siberia of the Inst. of Philology, SB RAS. (Fond of L. N. Arbachakova).

Kuba Salgyn (Quba Salğın) [Cuba Salgyn]. Recorded in January of 1996 by L. N. Arbachakova from A. P. Napazakov. Audioarchive of the Sector of Folklore of Peoples of Siberia of the Inst. of Philology, SB RAS. (Fond of L. N. Arbachakova).

Kydat Kan (Qıdat Qaan) [Kydat Kan]. Recorded in 2001 by L. N. Arbachakova from A. P. Napazakov. Audioarchive of the Sector of Folklore of Peoples of Siberia of the Inst. of Philology, SB RAS. (Fond of L. N. Arbachakova).

Kyумыush Kylysh, imeyushchiy temno-ryzhego konya s serebristoy sherst'yu i s serebristoy grivoy (Kümüš čallıg kümüš tüktüg küreñ sar attıg Kümüš Qılıš) [Kumush Kylych, having a dark-yellow horse with a silver coat and a silver mane]. Recorded in 2001 by T. M. Sadalova from V. E. Tannagashev. (Home archive of T. M. Sadalova).

(Rostom) nizhe drugikh koney s krovavo-igrenevym konēm, (rostom) nizhe drugikh khanov Kan Mergen (Attan çabıs qan čegren attıg Qaan Mergen) [With a brown horse, lower than all the other horses, Qan Mergen, who is lower than the other khans]. Recorded in 2001 by L. N. Arbachakova from V. E. Tannagashev. Audioarchive of the Sector of Folklore of Peoples of Siberia of the Inst. of Philology, SB RAS. (Fond of L. N. Arbachakova).

Starshiy brat savrasyy kon' i mladshiy brat savrasyy kon' (Ačazı qul atpa tuñmazı qul at) [The elder brother, a yellow horse, with the younger brother, a yellow horse]. Recorded in 2001 by L. N. Arbachakova from V. E. Tannagashev. Audioarchive of the Sector of Folklore of Peoples of Siberia of the Inst. of Philology, SB RAS. (Fond of L. N. Arbachakova).

S serebristo-ryzhim konēm s serebristoy sherst'yu Kyумыush Kylysh, imeyushchiy starsh-chyu sestru Kyумыush Këyëk (Kýmısh tıktıg kýmısh sar attıg Kýmısh Kylysh Kýmısh Köök pechelıg) [With a silver-red horse with silver wool Kumush Kylysh, having an older sister Kumush Kyok]. Recorded in 1996 by L. N. Arbachakova from A. P. Napazakov. Audioarchive of the Sector of Folklore of Peoples of Siberia of the Inst. of Philology, SB RAS. (Fond L. N. Arbachakovoy).

S treukhim svetlo-kauryım konem Ak Kan (Ysh qulaktyg aq qor attıg Aq Qaan) [With a three-year light horse Ak Kan]. Recorded in 1999 by L. N. Arbachakovoy from V. E. Tannagasheva. Audioarchive of the Sector of Folklore of Peoples of Siberia of the Inst. of Philology, SB RAS. (Fond L. N. Arbachakovoy).

Zheltaya gora, imeyushchaya tri ochaga (Üč očüqtıg sarıy tayga) [A yellow mountain with three fireplaces]. Recorded in January of 2002 by L. N. Arbachakova from A. P. Napazakov. Audioarchive of the Sector of Folklore of Peoples of Siberia of the Inst. of Philology, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (Fond of L. N. Arbachakova).

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 821.161.1; 821.1/.2
DOI 10.17223/18137083/68/5

В. В. Мароши

Новосибирский государственный педагогический университет

Люди огня: к символике цыганского мифа в русской и европейской литературе XIX века

Статья посвящена выявлению лейтмотивов огня, костра и тропеики, связанной с ними, в цыганском мифе в русской и европейской литературе XIX в. Особое внимание уделено этой символике в предромантической и романтической лирике и русской реалистической прозе. Изображению цыганского табора и цыганки сопутствует предметный образ костра или зажженной сигары, который поддерживает метафоры огня. Символика собирается вокруг образа цыганки, ее эмоций, пения, пляски и опасных, но притягательных страстей героев, обращенных на нее. В пейзаже вокруг цыганки создается контраст света и тьмы, пламени и ночи, что подчеркивает ее медиативную и трансгрессивную роль. В лирическом и эпическом портрете цыганки источником огня становятся ее взгляд и глаза.

Ключевые слова: цыгане, русская литература, европейская литература, миф, символика, огонь, страсть.

Начало исследованию литературного мифа о цыганах в отечественном литературоведении, как известно, положила фундаментальная статья Ю. М. Лотмана и З. Г. Минц [1964], однако затем тема отпочковалась в пушкинистику [Мурьянов, 1999], блоковедение [Приходько, 1994], цветаеведение [Голицына, 1986; Степанов, 2007] и др. В большинстве названных работ констатируется наличие общего русского исходного текста («Цыганы» Пушкина) или европейского («Кармен» П. Мериме), однако общее смысловое поле мифа не столько собирается, сколько рассеивается в анализе индивидуально-авторских контекстов. Стоит посоветовать на то, что, несмотря на очевидное взаимопроникновение русской и цыганской культур, прежде всего в сферах музыки и фольклора, в отечественной филологии обширный литературный слой подобного взаимодействия не удостоился каких-либо системных исследований, кроме диссертации И. Ю. Махотиной «Цыгане и русская культура...», посвященной, помимо литературы, и широкой культурологической проблематике. Цыганская тема в русской литературе

Мароши Валерий Владимирович – доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (ул. Виллюйская, 28, Новосибирск, 630126, Россия; maroshi@mail.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 3
© В. В. Мароши, 2019

представлена в одном из ее разделов, тем не менее главный тезис литературной части диссертации неоспорим: «Образ цыганки как экзотической возлюбленной является самым популярным воплощением цыганской темы в русской литературе XIX–XX вв. [Махотина, 2012, с. 3].

Основополагающую роль в становлении намного более обширной европейской литературной цыганологии сыграла статья Ф. Балденспержа [Baldensperger, 1938], но только с начала издания «Etudes Tsiganes» тема получила продолжение [Rouart, 1982], а затем, в 1990–2000-х гг., стала модной в европейской филологии на материале разных литератур: испанской [Leblon, 1997], английской [Garrett, 2000; Wilder, 2004; Nora, 2008; Houghton-Walker, 2014], французской [Fucikova, 2006]. Общеευропейский «цыганский текст» рассматривается в монографии [Courthiade, Djuric, 2004], а различные аспекты социального и культурного мифа – в коллективном сборнике под редакцией S. Moussa [2008].

Взаимное наложение или субституция мифов в европейской литературе и различные варианты трактовки самой мифопоэтики позволяют выбирать между разными направлениями анализа цыганского мифа как «пучка» или «гнезда» мифов. Например, на цыганский субстрат накладывается мифологический сюжет о Вечном Жиде, представления о демоническом архетипе, роковой женщине, особых способностях к предсказанию будущего и т. п. Сам цыганский миф в русской литературе, в свою очередь, может полностью заместить собой «венгерский», как это показал польский славист В. Щукин [1999]. Мы тоже не претендуем на систематизацию всего смыслового объема цыганского мифа, ограничившись выявлением лишь одного символического компонента, связанного с разрушительной и очистительной стихией огня. Мотивы и тропы, связанные с ним, символизируют чрезмерную и несущую смерть страсть, экстатическое вдохновение, аффективное состояние.

К сожалению, в современном российском обществе наиболее распространен негативный миф об особой степени маргинальности и криминальности цыганского этноса, имеющий очень давние европейские исторические корни. Это представления об опасном Чужом. Они репрезентированы не только в официальных европейских документах, касающихся цыган, но отчасти и в литературе, особенно той, которая генетически связана с фольклором, например ранняя проза Гоголя. Но это распространялось и на высокую словесность: так, девочка, похищенная цыганами (Пресьоса, Миньона, Эсмеральда и др.) – заметный персонаж европейской литературы.

В русской дворянской культуре Нового времени, напротив, с начала XIX в. сложились не менее мифологические позитивные представления о своем Другом – особой степени свободы, смелости, независимости, личностной экспрессии, профетизме, музыкальности, свойственных прежде всего женской части цыганского этноса; чертах, отметим, которые представляют скорее классическую маскулинность. Этот миф стал по сути самопроекцией русской культуры как своего Другого, в становлении и сохранении идентичности которой важную роль сыграла экспрессивная, экстатическая составляющая. Европейский миф о «Noble savage», благородном дикаре, в русской культуре распространяется в основном на поющих и танцующих цыганок. «Благородство», противоречащее «криминальности», «бедности», «безвкусию» цыганки, рождается в момент совместного эстетического переживания исполнительницы и ее восхищенной аудитории, когда они входят в некое сакральное пространство экстаза. Французский поэт Т. Готье в воспоминаниях о выступлении цыган в Ярославле называет это «преображением» («transfiguration», слово с религиозными коннотациями): «Elle ne voyait ni la salle ni les assistants. Une transfiguration s'était opérée en elle. Ses traits ennoblés ne portaient plus aucune trace de vulgarité. Sa taille était agrandie et sa pauvre toilette s'arrangeait comme une draperie antique» («Она уже не видела ни зала, ни присутст-

вующих. Она вся преобразилась. На ее благородных чертах уже не было ни малейшего следа вульгарности. Она как бы выросла, а ее бедная одежда сидела на ней, как античная драпировка» ¹⁾ [Gautier, 1912, p. 388].

Нельзя не заметить, что аффективное состояние, в котором оказывались все участники публичных выступлений первых российских цыганских хоров в конце XVIII в., стало основанием для лирической репрезентации цыганского мифа. Его первоисточники появляются как попытки мифопоэтического (стихия огня) и учено-мифологического (вакханалия) осмысления этого живого и поразительного феномена.

Мотивика, которая легла в основание цыганского мифа в русской литературе, восходит к контексту создания и отчасти к самому тексту «Песни для цыганской пляски» (1790-е гг.) Н. А. Львова: «Потерялся следок // На лужок, // Не дождался цыганку Дружок. // Чок, чок и проч.» [Львов, 1994, с. 60]. Нельзя не заметить, аффективное состояние, в котором оказывались все участники публичных выступлений первых цыганских хоров в конце XVIII в.

«Песня для цыганской пляски» содержала подзаголовок: «на голос “Вдоль по улице молодец идет...”», который, в свою очередь, отсылал к «Собранию русских песен с их голосами» Львова и Прача (1790), где песня «Ай по улице молодец идет...» значилась под номером 28 среди «плясовых». Львов написал новый текст на мелодию русской народной песни «Ай по улице молодец идет» для ее исполнения цыганскими хорами, которые в конце XVIII в. становились все более популярными в русской дворянской среде. В обеих песнях общей стала семантика метафоры и мотива огня: «Ай по улице молодец идет, вдоль по широкой удалинькой, // **Ай жги ай жги** ²⁾, говори, вдоль по широкой удалинькой...» [Львов, 1955, с. 183] (ср. «Я возьму **уголек** // В плетешок // И пойду на лужок // Поперек < ... > Вдруг махнул ветерок // В **уголек**, // **Огонек** // **Мой зажег** // Плетешок» [Львов, 1994, с. 60]).

Через полвека эта русская по своему происхождению песня воспринималась уже как «цыганская» и исполнялась в соответствующей манере, напомним контекст из рассказа «Чертопханов и Недопускин» (1852) И. С. Тургенева, где манера пения цыганки Маши, любовницы Чертопханова, метафорически коррелирует с содержанием песни: «...сбросила шаль с плеч долой... и запела цыганскую песню... Любо и жутко становилось на сердце. “**«Ай жги, говори!..»**» [Тургенев, 1979, с. 291]; «...Машу всю поводило, **как бересту на огне**; тонкие пальцы резво бегали по гитаре, смуглое горло медленно приподнималось под двойным янтарным ожерельем»; «...заливалась она как **безумная**...» [Там же]; «Голос уходил да уходил; то замирал, то набегал чуть слышной, но все еще **жгучей** струйкой» [Там же, с. 297]. Эту стадию формирования мотивики можно назвать фольклорной, когда собственно русский фольклорный репертуар осваивается цыганами или заново сочиняется для них как «цыганский» поэтами-любителями.

В виде собственно поэтического текста более значимый массив осознанно мифологических мотивов зарождается в 1805 г. в обмене стихотворными посланиями между поэтами И. И. Дмитриевым и Г. Р. Державиным. Сначала последний упрекнул друга в лени, а первый в послании «К Г. Р. Державину» посетовал на то, что писать ему мешают цыгане, жившие возле Марьиной рощи, на месте бывшего кладбища. Так возникла изначально скорее ироническая формула будущего вакхического мифа:

Тамо встречает на каждом он шаге
Рдяных **сатиров** и **вакховых жриц**,

¹⁾ Здесь и далее перевод наш. – В. М.

²⁾ Здесь и далее жирным шрифтом выделено нами. – В. М.

Скачущих с воплем и плеском в отваге
Вкруг древних гробниц.
Гул их *эвое* несется вдоль рощи,
Гонит пернатых скрываться в кустах;
Даже далече наводит средь ночи
На путника страх.
[Дмитриев, 1967, с. 117].

В примечаниях к публикации автор объяснял читателям: «Здесь описаны цыгане и цыганки, которые во всё лето промышляют в Марьиной роще песнями и пляскою»; «Эвое, или эван, был употребительный припев вакханок при Управлении их оргий. Это примечание для детей, не знающих еще мифологии» [Там же]. В первом варианте авторский комментарий был более пространным: «Для тех, которые не жила в Москве, можно прибавить, что в этой роще было кладбище для иностранных; теперь же надгробные камни служат для гуляющих вместо столов и стульев» [Там же, с. 427]. Итак, Дмитриев первым сравнил цыган с сатирами, а цыганок – с вакханками, превратив их в служителей Вакха / Диониса. Дмитриев хотел посвятить русского читателя в мифологический пратекст.

Вакхический межавторский текст в русской поэзии как раз находился на стадии становления. Начавшись с ироикомической поэмы В. И. Майкова «Елисей, или Раздраженный Вакх» (1769), он укрепился в «Песне Вакху» (1793) А. Н. М. Карамзина, «Оде XXVII. К Вакху» (1794) Н. А. Львова и особенно развернуто – в «Песне Вакху, взятой из Афинских пиршеств» (1805) П. Беницкого. Г. Р. Державин, очевидно, заинтересовался Вакхом под влиянием Н. А. Львова и в рамках своего поэтического освоения анакреонтики, он появляется в его стихотворениях «Венец бессмертия (1793) и «Афинеяскому витязю» (1796). Вдохновившись стихами друга, но не его раздражением по отношению к нежеланным соседям, Г. Р. Державин создает настоящий гимн цыганской пляске, только что открытой русской культурой: «Возьми Египтянка, гитару, // Ударь по струнам, восклицай. // Исполнясь сладострастна **жару**, // Твоей всех пляской восхищай. // **Жги** души, **огнь** бросай в сердца // От смуглого лица» [Державин, 1957, с. 306–307].

В отличие от Дмитриева, у которого сатиры и вакханки соответствуют цыганам и цыганкам, всё его внимание сфокусировано исключительно на цыганке-вакханке. Поэт, безусловно, помнит о «русско-цыганских» песнях, которые собрал и написал его друг, Н. А. Львов, и поэтому соединяет их метафорику («жги...», «зажег огонек») с вакхической версией Дмитриева: «**Неистово**, роскошно чувство, // Нерв трепет, мление любви, // Волшебное зараз искусство // **Вакханок древних оживи**. // **Жги** души, **огнь** бросай в сердца // От смуглого лица» [Там же, с. 306].

Время и место лирической ситуации (ночь и кладбище) из стихотворения Дмитриева становятся начальной эффектной метафорой и подмостками для первой в русской поэзии цыганской «дионисийской» оргии у Державина:

Как ночь – с ланит сверкай зарями,
Как вихорь – прах плащом сметай,
Как птица – подлетаи крылами,
И в длани с визгом ударяй.
Жги души, огнь бросай в сердца
От смуглого лица.

Под лесом нощию сосновым,
При блеске бледных луны,
Топоча по доскам гробовым,

Буди сон мертвой тишины.
Жги души, огонь бросай в сердца
От смуглого лица
[Державин, 1957, с. 306].

Насмотревшись и наслушавшись цыган и явно помня Державина («египтянка» / «египетские девы»), Пушкин в дружеском послании «Всеволожскому» (1819) смело заменяет банальную идиллию экстатическим пространством цыганской песни и пляски: «А там египетские девы // Летают, выются пред тобой; // Я слышу **звонкие напевы**, // Стон неги, вопли, **дикий вой**; // Их **исступленные** движенья, // **Огонь неистовых** очей // И все, мой друг, в душе твоей // Рождает трепет **упоенья**...» [Пушкин, 1959, т. 1, с. 88].

В это время «вакхические» мотивы часто использовались поэтами пушкинского круга (К. Н. Батюшков, П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский) и самим поэтом. Отметим, что собственно аллюзии на «вакхизм» в тексте нет, но за год до этого, в 1818 г., было написано «Торжество Вакха», гимн вакханалии, с весьма похожим описанием вакханок: «**Поют неистовые девы**; // Их **сладострастные** напевы // В сердца вливают жар любви; // Их перси дышат вожделеньем; // Их очи, полные безумством и томленьем, // Сказали: счастье лови!» [Там же, с. 51–52].

Очевидно, что оргийное «сладострастие», «буйство», «безумие» пока что свойственно не цыганам, а кругу почитателей их пения и танца или классическим жрицам-вакханкам. Но, остыв к собственно дионисийским мотивам после аполлинического обрамления «Вакхической песни» 1825 г., Пушкин в 8-й главе «Онегина» разведет свою Музу-«вакханку» («И как **вакханочка** резвилась, // За чашей пела для гостей» [Пушкин, 1960, т. 4, с. 156]) и цыганский локус, наделив последний чертами «печали», «смирения», «скудости», «дикости»: «В глуши Молдавии **печальной** // Она **смиренные** шатры // Племен бродящих посещала, // И между ими **одичала**, // И позабыла речь богов // Для **скудных**, странных языков, // Для песен степи, ей любезной...» [Там же, с. 157].

Муза его романтической поэмы будет уже связана с преодолением влияния Байрона и сменой едва намечившегося вакхического цыганского мифа на руссоистско-романтический. Тем не менее «закон» «произвола страстей», мотивы «дикости» и безумия Алеко стали одной из движущих сил сюжета «Цыган». Сама поэма, став более актуальным «прецедентным текстом» и включив в себя часть «вакхических» мотивов, сдвинула устаревшую «Цыганскую пляску» Державина на обочину поэтических влияний.

Однако к 1820-м гг. заданное Державиным восприятие цыганской пляски и пения станет уже общим местом лирического «репортажа», посвященного цыганскому исполнительскому мастерству. Так, обозреватель «Северной Пчелы» описывает московского хоревода И. С. Соколова: «...Хоревод, знаменитый Илья – весь пламя, молния, а не человек. Он запекает, аккомпанирует на гитаре, бьет в такт ногами, приплясывает, дрожит, воспламеняет, жжет словами и припевами. В нем демон...» (цит. по: [Щербакова, 1984, с. 11]). «Цыганский» песенный фрагмент, тем более из самих «Цыган», воспринимается критикой в романтическом регистре: «...в исполненной дикого огня, дикой страсти и дикой поэзии песне Земфиры припоминает старого друга...» [Белинский, 1955, с. 397].

В 1828 г., находясь, по-видимому, под впечатлением только что вышедшей полной версии «Цыган» Пушкина, С. П. Шевырев создает свой «цыганский цикл» («Цыганка», «Цыганская песня», «Цыганская пляска»), в котором сплетаются различные мотивы формирующегося цыганского мифа – от счастливой бедности («Цыганская песня») до вакхических. Последнее из обозначенных выше стихотворений обнаруживает влияние как романтической поэмы Пушкина («песня вольности», «песня любви»), так и изображения вакхической пляски у Державина (пляшущая «египтянка» / «вакханка»):

Видал ли ты, как **пляшет египтянка?**
Как вихрь, она столбом взвивает прах,
Бежит, поет, как дикая **вакханка**,
Ее власы – как змеи на плечах...

Как песня **вольности**, она прекрасна,
Как песнь **любви**, она души полна,
Как поцелуй горячий – **сладострастна**,
Как буйный хмель – **неистова** она
[Шевырев, 1939, с. 55].

В «Цыганке», изображающей потерявшую супруга цыганку, складываются клише будущего цыганского сюжета и поэтического топоса «цыганского романа»: потеря возлюбленного или мужа; «роковые страсти» родом из пушкинских «Цыган», «пламенная любовь», песня, тоска, страдание, слезы, «черные глаза»: «Как ты, египтянка, прекрасна! // Как полон чувства голос твой! // Признайся: **страсти роковой** // Служила ты, была несчастна? // Зачем на **чёрные глаза** // Нашла блестящая слеза?» [Там же, с. 57–58].

В «Цыганке» (1833) А. И. Полежаева, вообще равнодушного к вакхическим мотивам («Сашка» (1825), «Узник» 1828)), мифологическая «вакханка» все еще рифмуется с «цыганка», но образ последней уже построен на сочетании романтических («дочь свободы», «поэтической мечты») и вакхическо-эротических («вакханка», «бесстыдной», «наслажденью») мотивов: «Льются сладостные речи // У **бесстыдной** с языка. // Узнаю тебя, **вакханка** // Незабвенной старины: // Ты коварная цыганка, // Дочь свободы и весны!» [Полежаев, 1833, с. 75].

Итак, к началу 1830-х гг. в стихах, посвященных описанию табора или чувств к цыганке, аллюзии к вакхическим мотивам и самому мифу перестают использоваться, а сам он, по нашему мнению, включается в более широкий романтический мотивный и тропеический комплекс. Наиболее характерной для цыганки становится метафора огненной страсти, а в ее лирическом портрете – «пламенных» или «полуденных» «очей»: «В глазах **полуденных** веселье **загорит**, // И все в них **пламенно** и **ясно выражает**, // Что чувство сильное их души шевелит» [Ростопчина, 1987, с. 24]; «Но тот блаженной, **дева ночи**, // Кто в упоении любви // Глядит на **огненные** очи» [Языков, 1858, с. 34]; «Ты прямо в очи мне глядела, // **Очами**, полными **огня**» [Там же, с. 21]. В русской поэзии миф сохранится вплоть до конца века: «И **страсти пламень** беспокойный, // Порою брызжет из очей» [Апухтин, 1991, с. 182]; «А что ж играет // **Яркий угольный зрачок?** // **Солнцем**, **золотом** сияет, // Но **бесстрастен** и далек» [Бунин, 1987, с. 47].

К началу второй половины XIX в. этот мотивный комплекс освоила и русская «реалистическая» проза: «реализм» в изображении молодых цыганок означал использование тех романтических клише, которые ожидалось читателями. Поэтому Маша в «Чертопханове и Недопюскине» Тургенева и Груша в «Очарованном страннике» (1873) Лескова – это как бы персонажи-«близнецы»: «...все черты ее лица выражали **своенравную страсть** и **беззаботную удаль**... Взор ее так и мелькал, словно **змеинное жало**» [Тургенев, 1979, с. 289]; «Лицо у ней побледнело, ноздри расширились, **взор запылал** и **потемнел** в одно и то же время. Дикарка разыгралась» [Там же, с. 89]. (Ср. у Лескова: «...и промежду всей этой публики цыганка ходит этакая... даже нельзя ее описать как женщину, а точно будто как **яркая змея**, на хвосте движет и вся станом гнется, а из **черных глаз** так и **жжет огнем**. Любопытная фигура!» [Лесков, 1989, с. 296]; «И та выходит и... враг ее знает, что она умела глазами делать: **взглянула, как сразу какую в очи** пустила» [Там же, с. 298]; «Она меня опять поневоле поцеловала, **как ужалила**, и в глазах **точно пламя темное**, а те, другие, в этот лукавый час напоследях как

заорут...» [Там же, с. 299]; «...а только **одни глаза среди темного лица как в ночи у волка горят** и еще будто против прежнего вдвое больше стали...» [Там же, с. 317]; «От **страстного** человека ведь все это легко может стать; а она ему помеха была, чтобы жениться, потому что ведь Евгенья Семеновна правду говорила: Груша любила его, злодея, всюю **страстной своею любовью цыганскою**, каторжной, и ей было то не снести и не покориться, как Евгенья Семеновна сделала, русская христианка, которая жизнь свою перед ним как **лампаду истеплила**. В этой цыганское **пламище-то**, я думаю, **дымным костром вспыхнуло**, как он ей насчет свадьбы сказал, и она тут небось неведомо что зачертила, вот он ее и покончил» [Там же, с. 315–316].)

Непрерывным элементом кочевого быта цыган был постоянно горящий или тлеющий костер. Однако лишь со времени появления пушкинской поэмы «Цыганы» он стал важной деталью литературного описания табора. Обычно полагают, что поэт непосредственно соприкоснулся с жизнью цыган во время южной ссылки. Сейчас эта версия кажется сомнительной, но зато легендарные сведения о пребывании Пушкина в цыганском таборе уравниваются точными свидетельствами о внимательном чтении им книги Грелльманна из личной библиотеки Воронцова [Проскурин, 2013], которая содержала наиболее достоверные на то время сведения по истории и этнографии цыган. Именно оттуда, даже при отсутствии какого-либо контакта *de visu* с таборной жизнью, Пушкин мог почерпнуть сообщения о значимости костра для их быта (см. [Grellmann, 1810, p. 55, 88, 95]).

Так, в поэме «Цыганы» и одноименном стихотворении (1831) находим: «Горит **огонь**; семья кругом // Готовит ужин...» [Пушкин, 1960, т. 3, с. 159]; «В шатре одном старик не спит; // Он перед **углями** сидит, // Согретый их последним жаром» [Там же, с. 160]; «Ее, бывало, в зимнюю ночь // Моя певала Мариула, // Перед **огнем** качая дочь» [Там же, с. 169]; «В пустынях часто я бродил, // Простую пищу их делил // И засыпал пред их **огнями**» [Там же, с. 179]; «...в телеге темной // Огня никто не разложил» [Там же, с. 178]; «Над лесистыми берегами, // В час вечерней тишины, // Шум и песни под шатрами, // И **огни** разложены... “Здравствуй, счастливое племя! // Узнаю твои **костры**”» [Пушкин, 1959, т. 2, с. 333]. Кроме того: «И в степи сухой, однообразной // Полюбил я табор кочевой. <...> Ночь. **Костры** пылают прихотливо; // Осветились резкие черты» [Пальм, 1957, с. 109]; «Цыгане табор свой разбили, // Кибитки вокруг поставили // И разложили **огоньки**» [Никитин, 1965, с. 52]. Эти вполне правдоподобные для кочевой жизни костры и огни уже у Полонского в «Песне цыганки» (1853) превращаются в явно романтический символ страстной любви: «Мой **костер** в тумане светит // Искры гаснут на лету...» [Полонский, 1896, с. 205]. Метафоры цыганской страстной любви (пламень и огонь чувств, выражающий себя во взгляде, пении, танце, жестах цыганки) накладываются на репрезентацию реалистических деталей кочевого быта, взаимно поддерживая друг друга. Словесная репрезентация «цыганского» переходит в семиотизацию.

Последней яркой точкой в раскрытии «цыганского огня» в XIX в. в русской литературе стал рассказ «Макар Чудра» (1892) М. Горького, вошедший в его нашумевший сборник «Очерки и рассказы». Оба его нарратора располагаются у **костра**, который «вещественно» символизирует страсти героев рассказа, вдобавок рассказчик постоянно **курит** трубку: «Изредка его **порывы** приносили с собой сморщенные, желтые листья и бросали их в **костер, раздувая пламя**; ...прямо против меня – фигуру Макара Чудры, старого цыгана» [Горький, 1968, с. 14]; «...методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма» [Горький, 1968, с. 14]. Да и в самом рассказе цыгана, поскольку он посвящен таборным страстям, место костру находится: «Остановился у **костра**, перестал играть, улыбаясь, смотрит на нас...» [Там же, с. 18].

В первой трети XX в. к цыганскому мифу в неоромантическом ключе обратятся И. Бунин, А. Блок, М. Цветаева, Б. Пастернак и др.

В европейской литературе до второй половины XIX в. не было того эстетического восторга по отношению к цыганкам, который был свойственен русской элитарной аудитории и способствовал обращению поэзии к вакхическим мотивам. Любопытно, что, попав в Россию зимой 1858–1859 гг. и послушав пение цыган, Т. Готье проникся не только настроением публики, но и как бы мотивами русской лирики: «...sentez une mortelle envie de disparaître à jamais de la civilisation et d'aller courir les bois en compagnie d'une de ces sorcières au teint **couleur de cigare, aux yeux de charbon allumé**» («...вы чувствуете смертельное желание навсегда исчезнуть из цивилизации и бежать в леса в обществе одной из этих волшебниц, смуглой, как сигара, и с глазами, как **зажженный уголь**») [Gautier, 1912, p. 319].

Однако следует напомнить, что уже в исторической драме И. В. Гёте «Гец фон Берлихинген», написанной значительно раньше (1773 г., русский перевод в 1828 г.), сцены недолгого пребывания Геца в цыганском таборе вводятся ремаркой «Nacht, im wilden Wald. Zigeunerlager. Zigeunermutter am Feuer» («Ночь, в глухом лесу. Цыганский табор. Старая цыганка у огня») [Goethes, 2005, S. 165]. Стихия огня в разных образных вариациях постоянно упоминается в репликах персонажей: «Hol mir dürr Holz, daß das Feuer loh brennt...» («Неси сухие дрова, чтоб огонь пылал...») [Ibid.]; «Dort seh ich Feuer, sind Zigeuner» («Я вижу огонь. Это – цыгане») [Ibid., S. 166]. Более широким фоном сцене служит отсвет от пожара горящих мятежных деревень: «Brennen zwei Dörfer lichterloh... Ist das dort drunten Brand, der Schein? <...> Man ist die Feuerzeichen am Himmel zeither so gewohnt worden» («Так этот отсвет от пожара? <...> К огненным знакам в небе люди теперь привыкли») [Ibid., S. 165]. Уже у Гёте пейзаж не только соответствует репрезентации цыганского быта и традиций (всегда поддерживать огонь), но и служит символическим фоном для героя (дикий лес, ночь, костер, пожар, «дикие» и подозрительные люди, к которым он, раненый, попадает в поисках помощи). Медиативная роль цыган как спасителей остается лишь отчасти реализованной: цыгане не выдерживают боя, герой попадает в плен.

Отношение стало меняться после выхода в свет исторических романов «Гай Мэннеринг» В. Скотта (1815), «Собор Парижской Богоматери» (1831) В. Гюго и особенно после повести «Кармен» (1845) П. Мериме. Примечательно, что цыганка впервые появляется в «медиативных» жанрах прозы, связывающих настоящее и прошлое, Францию с экзотической Испанией.

После романа В. Скотта изображению встречи героя с табором или цыганкой в европейской литературе почти всегда будет сопутствовать ночь, свет или пламя костра или очага, спасительная помощь цыган / цыганки или опасный соблазн, исходящий от нее, как в «Кармен». Развязка сюжета романа Скотта (поимка убийцы и смертельное ранение цыганки-пророчицы Мэг Мэриллес) тоже произойдет в пещере при свете костра. Цыганка Скотта не изображена красавицей, но она резко выделяется в своей и чуждой ей среде, наделена провидческим даром и играет роль «волшебного помощника» для главного героя.

Красавица-цыганка Кармен или лжецыганка по происхождению Эсмеральда надолго стали литературными архетипами экзотики, соблазна, колдовства, исходящих от цыганки, медиаторами встречи с неизвестным Другим в женском облики. Нельзя не заметить, что Гренгуар впервые видит Эсмеральду возле «королевского костра»: «En examinant de plus près, il s'aperçut que le cercle était beaucoup plus grand qu'il ne fallait pour se chauffer au feu du roi, et que cette affluence de spectateurs n'était pas uniquement attirée par la beauté du cent de bourrées qui brûlait» («Но, взглядевшись, он заметил, что круг был значительно шире, чем нужно для того, чтобы греться возле королевского костра, и что этот наплыв зрителей объяснялся не только видом ста роскошно пылавших вязанок хвороста») [Hugo,

1904, p. 48]. В это пространство между светом костра и толпой помещается танцующая Эсмеральда: «Dans un vaste espace laissé libre entre la foule et le feu, une jeune fille dansait» («На просторном, свободном пространстве между костром и толпой плясала девушка») [Ibid.]. На подобном же фоне «костра в ночи» происходит и чудесное спасение Гренгуара Эсмеральдой во Дворе Чудес.

Пьеру Гренгуару танцующая цыганка Эсмеральда кажется мифологическим существом: «En vérité, pensa Gringoire, c'est une salamandre, c'est une nymphe, c'est une déesse, c'est une **bacchante du mont Ménaléen!**» («В самом деле, – думал Гренгуар, – это саламандра, это нимфа, это богиня, это вакханка с горы Менад!») [Ibid., p. 49]. Очевидно, что этот ряд гипербола уникален для европейской литературы.

Так сложился в драме, романе и лирике устойчивый ракурс изображения цыган. Например, в «Цыганах» В. Вордсворта («Gipsies», 1807 г.) создан их нелюбимый портрет как сборища бедных и тупых людей, и лишь пламя костра отчасти преобразует их лица: «Only their fire seems bolder, yielding light, // Now deep and red, the colouring of night // That on their Gypsy-faces falls» («Только их костер кажется смелее, бросая отсвет, глубокий и красный, цвет ночи, на их цыганские лица») [Wordsworth, 1849, p. 148]. Н. В. Яковлевым [1923] уже высказывалось предположение, что подзаголовок «с английского» в стихотворении А. С. Пушкина «Цыганы» (1830) объясняется знакомством поэта со сборником «The poetical works of Milman, Bowles, Wilson and Barry Cornwall», в частности именно с этим стихотворением. В английской поэзии групповой портрет цыган вокруг костра сменяется изображением цыганки-гадалки, как в стихотворении Дж. Клэра «The Gypsies Evening Blaze» («Вечерний костер цыган», 1820): «And now the swarthy sybil kneels reclined, // With progging stick she still renews the blaze, // Forcing bright sparks to twinkle from the flaze» («И теперь смуглая сибилла стоит на коленях, откинувшись назад, ворованной палкой она все еще ворошит пламя костра, который разбрасывает вокруг яркие искры») [Clare, 2007, p. 14].

Заменой костра может стать угощение цыганки папиросой («papelitos») и совместное курение с ней рассказчика, как это происходит у П. Мериме: «Elle daigna en prendre un, et l'**alluma** à un bout de corde **enflammé** qu'un enfant nous apporta moyennant un sou» («Она соизволила взять одну папиросу и зажгла ее от кончика фитиля, который за один су поднес нам мальчик») [Mérimée, 1845, p. 15]. Вдобавок она работает на **сигарной** фабрике и носит туфли с огненными лентами: «...et des souliers mignons de maroquin rouge attachés avec des rubans **couleur de feu**» («...на ногах хорошенькие сафьяновые туфельки с огненными лентами вокруг щиколотки») [Ibid., p. 22]. Рассказчика и Дона Хосе объединяет не только интерес к Кармен, но и любовь к сигарам.

Особенно часто мотив «цыганского костра» будет использоваться во французской литературе: например, в драме «Кровавая монахиня» (1835), сочиненной Anicet Bourgeois и Julien de Mallian, либретто оперы «Зингаро» (1840) M. Pierrot и т. д. вплоть до популярных романов Понсона дю Террайя («Последнее слово о Рокамболе» (1867), см. «Миллионы цыганки»).

В свою очередь, влияние изображения глаз Кармен у П. Мериме («Eil de bohémien, œil de loup...» – «цыганский глаз, глаз волка» [Ibid., p. 17]; «très grands yeux» – «огромные глаза» [Ibid., p. 21]; «son grand œil noir» [Ibid., p. 84]) привело к активизации их как детали и метафоры во французской поэзии: мы обнаруживаем ее в «Путешествующих цыганах» Ш. Бодлера (1857) («La tribu prophétique aux prunelles **ardentes**» – «Племя провидцев с **горящими** зрачками» [Baudelaire, 1982, p. 199]) и в «Кармен» (1861) Т. Готье («Et de ses yeux la **lueur chaude** // Rend la **flamme** aux satiétés» – «**Горячее сияние** ее глаз возвращает **пламя** пресыщенности» [Готье, 1989, p. 150]).

Таким образом, несмотря на отсутствие «вакхических» мотивов, символика цыган и цыганского быта в европейской литературе XVIII–XIX вв. близка соответствующей образности в отечественной словесности. Индивидуальные поэтики отступают здесь на второй план по отношению к становлению межавторского поэтического топоса, обусловленного, в свою очередь, доминированием мифопоэтической основы в эстетическом восприятии и репрезентации цыган.

Список литературы

- Апухтин А. Н.* Полн. собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1991. 448 с.
- Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 7: Статьи и рецензии 1843 года. Сочинения Александра Пушкина. Статьи I–XI. 739 с.
- Бунин И. А.* Собр. соч.: В 6 т. М.: Худож. лит., 1987. Т. 1: Стихотворения, 1888–1952. Переводы. 687 с.
- Голицына В. Н.* Цыганская тема в творчестве М. Цветаевой и некоторые вопросы пушкинской традиции // Проблемы современного пушкиноведения. Межвуз. сб. науч. тр. – Л.: ЛГПИ, 1986. С. 90–99.
- Горький М.* Полн. собр. соч.: В 25 т. М.: Наука, 1968. Т. 1: Рассказы, очерки, наброски, стихи (1885–1894). 595 с.
- Готье Т.* Эмали и камеи: Сборник. М.: Радуга, 1989. 368 с. (на фр. яз. с параллельным русским текстом)
- Державин Г. Р.* Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1957. 468 с.
- Дмитриев И. И.* Полн. собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1967. 501 с.
- Лесков Н. С.* Собр. соч.: В 12 т. М.: Правда, 1989. Т. 2: Праведники. 416 с.
- Лотман Ю. М., Минц З. Г.* «Человек природы» в русской литературе XIX века и «цыганская тема» у Блока // Блоковский сборник: Тр. науч. конф., посвящ. изучению жизни и творчества А. А. Блока, май 1962 г. Тарту: Изд-во ТГУ, 1964. С. 98–156.
- Львов Н. А.* Собрание народных русских песен с их голосами на музыку положил Иван Прач / Под ред. и со вступ. ст. В. М. Беляева. М.: Музгиз, 1955.
- Львов Н. А.* Песня для цыганской пляски // Львов Н. А. Избр. соч. Кёльн; Веймар; Вена: Бёлау-Ферлаг; СПб.: Пушкинский Дом; Рус. христиан. гум. ин-т; Изд-во «Акрополь», 1994. С. 58–60.
- Махотина И. Ю.* Цыгане и русская культура: литература и фольклор: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 2012. 20 с.
- Мурьянов М. Ф.* Пушкин и цыгане // Мурьянов М. Ф. Пушкин и Германия. М.: Наследие, 1999. С. 399–415.
- Никитин И. С.* Полн. собр. стихотворений. М.; Л.: Сов. писатель, 1965. 614 с.
- Пальм А. И.* Цыганке // Поэты-петрашевцы. Л.: Сов. писатель, 1957. С. 109–110.
- Полежаев А. И.* Кальян: Стихотворения А. Полежаева. М.: Тип. Лазаревых Института Восточных языков, 1833. 144 с.
- Полонский Я. П.* Полн. собр. стихотворений. СПб.: Изд. А. Ф. Маркса, 1896. Т. 1. 480 с.
- Приходько И. С.* Пушкинская дикая краса у Александра Блока («Прискакала дикой степью...») // Philologica. 1994. Т. 1, № 1/2. С. 170–179.
- Проскурин О.* Русский поэт, немецкий ученый и бессарабские бродяги (Что Пушкин знал о цыганах и почему скрыл от читателей свои познания) // Новое литературное обозрение. 2013. № 123. С. 165–183.
- Пушкин А. С.* Собр. соч.: В 10 т. М.: ГИХЛ, 1959. Т. 1, 2; 1960. Т. 3, 4.
- Ростопчина Е. П.* Талисман: Избранная лирика. Нелюдимка (драма). М.: Моск. рабочий, 1987. 319 с.

- Степанов А. Г. Цыганское как русское в книге «Версты» (стихотворения 1917–1920 годов) // Добро и зло в мире Марины Цветаевой: Сб. докл. XIV Междунар. науч.-тем. конф. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2007. С. 304–321.
- Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1979. Т. 3. 526 с.
- Шевырев С. П. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1939. 239 с.
- Щербакова Т. А. Цыганское музыкальное исполнительство и творчество в России. М.: Музыка, 1984. 175 с.
- Щукин В. Цыганка и гусар: о «венгерском» культурно-мифическом фоне в русской классической литературе // *Studia Slavica Hungarica*. 1999. № 44 (1–2). С. 55–70.
- Языков Н. М. Стихотворения Н. М. Языкова. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1858. Т. 2. 303 с.
- Яковлев Н. В. К вопросу об английских источниках стихотворения Пушкина «Цыганы» («Над лесистыми берегами...») // Пушкин и его современники: Материалы и исследования / Комиссия для изд. соч. Пушкина при Отд-нии рус. яз. и словесности Имп. акад. наук. Пг., 1923. Вып. 36. С. 63–70.
- Baldensperger F. L'entrée pathétique des tziganes dans les lettres occidentales. *Revue de littérature compare*, 1938, t. 18, p. 587–603.
- Baudelaire Ch. Les Fleurs Du Mal. Boston, David R. Godine Publ., 1982, 365 p.
- Clare J. Poems. London: Paul Farley Faber, 2007. 127 p.
- Courthiade M., Djuric R. Les Roms dans les belles-lettres européennes. Paris, L'Harmattan, 2004, 192 p.
- Fucikova M. Les images des Tsiganes dans la littérature française du 19ème siècle. Les origines d'un mythe. *Etudes Tsiganes*, 2006, no. 25, p. 10–36.
- Garrett J. The Unaccountable “Knot” of Wordsworth’s “Gipsies”. *Studies in English Literature. 1500–1900*, Autumn, 2000, vol. 40, no. 4: The Nineteenth Century, p. 603–620.
- Gautier Th. Voyage en Russie. Paris, Nouvelle édition. Bibliothèque Charpentier, 1912, 418 p.
- Goethes J. W. Werke. “Hamburger Ausgabe”. In 14 Bänden. München, C. H. Beck, 2005, Bd. 4: Dramatische Dichtungen, 686 S.
- Grellmann H. M. G. Histoire des Bohémiens, ou tableau des moeurs, usages et coutumes de ce peuple nomade; suivie de recherches historiques sur leur origine, leur langage et leur premiere apparition en Europe. Paris, Chaumerot, 1810, 366 p.
- Houghton-Walker S. Representations of the Gypsy in the Romantic Period. Oxford, Oxford University Press, 2014, 304 p.
- Hugo V. Œuvres complètes de Victor Hugo en 45 vol. Paris; Librairie Ollendorf, 1904, vol. 1. Notre-Dame de Paris, 1904. 493 p.
- Leblon B. Le regard ambigu de la littérature espagnole. *Etudes Tsiganes*, 1997, no. 9, p. 95–106.
- Mérimée P. Carmen. In: Revue des Deux Mondes Paris, Beaux-arts, 1845, t. 12, p. 5–48.
- Moussa S. (éd.). Le Mythe des Bohémiens dans la littérature et les arts en Europe. Paris, l'Harmattan, 2008, 388 p.
- Nora E. D. Gypsies and the British Imagination, 1807–1930. Princeton, Columbia University Press, 2008, 240 p.
- Rouart M. F. Image du Tsigane à travers la littérature romantique. *Etudes Tsiganes*, 1982, no. 3, p. 19–38.
- Wilder J. Dark Wanderers: Gypsies in nineteenth-century British Poetry: A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of The University of Georgia in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy. Athens, Georgia, 2004, 222 p.

Wordsworth W. The Poetical Works of William Wordsworth. London, Moxon, 1849. 496 p.

V. V. Maroshi

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russian Federation
maroshi@mail.ru

**People of fire:
To the symbolism of the Gypsy myth in Russian
and European literature of the 19th century**

The paper puts forward the problem of “Gypsy myth” in Russian and foreign literary criticism. The focus is on the symbolism of fire, expressing passion and aesthetic experience, especially ecstasy and inspiration. In literary works, this symbolism is manifested through the set of fire metaphors, the lighting of Gypsy campfire, smoking, burning coal, in some details of the Gypsy woman portrait such as “fiery eyes.” In Russian literature, the first fire symbols became relevant at the beginning of the 19th century as an attempt to show the expression of Gypsy dances and singing. It was associated with Bacchus cult, influenced by two factors: the interest of Russian poets in the mythology of Bacchus during that period and the popularity of the Gypsy choirs in the noble class. By the early 1840s, the type of Gypsy woman character as passionate mistress with fiery eyes and heartbreaking manner of singing became a verbal pattern to follow. Her love was free, but fatal. By the beginning of the second half of the 19th century this motif complex was embodied in Russian realistic prose in two stories of I. Turgenev and N. Leskov’s tale “Enchanted wanderer.” They used the same romantic stereotypes. Burning Gypsy campfire in the darkness or light of a big fire and its symbolic effects were significant for the German, British, and French literature. In French poetry, Baudelaire and Gautier were attracted by fiery eyes of Gypsy woman. The image was complemented by the “smoking effect” of Gypsy woman in “Carmen” by Mérimée.

Keywords: Gypsies, Russian literature, European literature, indigenous peoples, myth, symbolism, fire, passion.

DOI 10.17223/18137083/68/5

References

- Apukhtin A. N. *Poln. sobr. stikhotvoreniy* [Complete poems]. Leningrad, Sov. pisatel’, 1991, 448 p.
- Baldensperger F. L’entrée pathétique des tziganes dans les lettres occidentales. *Revue de littérature compare*. 1938, vol. 18, pp. 587–603.
- Baudelaire Ch. *Les fleurs du mal*. Boston, David R. Godine Publ., 1982, 365 p.
- Belinski V. G. *Belinskiy V. G. Poln. sobr. soch.: V 13 t. Vol. 7: Stat’i i retsenzii 1843 goda. Sochineniya Aleksandra Pushkina. Stat’i 1–11* [Complete works in 13 vols. Papers and reviews of 1843. Works of Alexander Pushkin. Papers 1–11]. Moscow, AN SSSR Publ., 1955, 739 p.
- Bunin I. A. *Sobr. soch.: V 6 t. T. 1: Stikhotvoreniya, 1888–1952. Perevody* [Selected works in 6 vols. Vol. 1. Poems, 1888–1952; Translations]. Moscow, Khudozh. lit., 1987, 687 p.
- Clare J. *Poems*. London, Paul Farley Faber, 2007, 127 p.
- Courthiade M., Djuric R. *Les Roms dans les belles-lettres européennes*. Paris, L’Harmattan, 2004, 192 p.
- Derzhavin G. R. *Stikhotvoreniya* [Poems]. Leningrad, Sov. pisatel’, 1957, 468 p.
- Dmitriyev I. I. *Poln. sobr. stikhotvoreniy* [Complete poems]. Leningrad, Sov. pisatel’, 1967, 501 p.
- Fucikova M. Les images des Tsiganes dans la littérature française du 19ème siècle. Les origines d’un mythe. *Etudes Tsiganes*. 2006, no. 25, pp. 10–36.
- Garrett J. The Unaccountable “Knot” of Wordsworth’s “Gypsies”. *Studies in English Literature. 1500–1900.*, vol. 40, no. 4: *The nineteenth century*. Autumn, 2000, pp. 603–620.
- Gautier Th. *Voyage en Russie*. Paris, Nouvelle édition. Bibliothèque Charpentier, 1912, 418 p.

- Goethes J. W. Werke. "Hamburger Ausgabe": In 14 Bänden. München, C. H. Beck, 2005, Bd. 4, Dramatische Dichtungen, 686 p.
- Golitsyna V. N. Tsyganskaya tema v tvorchestve M. Tsvetaevoy i nekotoryye voprosy pushkinskoy traditsii [Gypsy theme in the works of M. Tsvetaeva and some questions of Pushkin tradition]. In: *Problemy sovremennogo pushkinovedeniya. Mezhvuz. sb. nauch. tr.* [Problems of modern Pushkin studies. Interuniv. coll. of sci. art.]. Leningrad, LSPI, 1986, pp. 90–99.
- Gor'kiy M. *Poln. sobr. soch.: V 25 t. T. 1: Rasskazy, ocherki, nabroski, stikhi (1885–1894)* [Complete works in 25 vols. Vol. 1. Stories, essays, sketches, poems. (1885–1894)]. Moscow, Nauka, 1968, 595 p.
- Got'ye T. *Emali i kamei: Sbornik* [Enamels and cameos]. Moscow, Raduga, 1989, 368 p. (In French with parallel text in Russian).
- Grellmann H. M. G. *Histoire des Bohémiens, ou tableau des mœurs, usages et coutumes de ce peuple nomade; suivie de recherches historiques sur leur origine, leur langage et leur première apparition en Europe*. Paris, Chaumerot, 1810, 366 p.
- Houghton-Walker S. *Representations of the Gypsy in the Romantic period*. Oxford, Oxford University Press, 2014, 304 p.
- Hugo V. *Œuvres complètes de Victor Hugo en 45 vols.* Paris, Librairie Ollendorf, 1904, vol. 1. Notre-Dame de Paris, 1904, 493 p.
- Leblon B. Le regard ambigu de la littérature espagnole. *Etudes Tsiganes*. 1997, no. 9, pp. 95–106.
- Le Mythe des Bohémiens dans la littérature et les arts en Europe*. S. Moussa (Ed.). Paris, l'Harmattan, 2008, 388 p.
- Leskov N. S. *Sobr. soch.: V 12 t. T. 2: Pravedniki* [Selected works: In 12 vols. Vol. 2. Saints]. Moscow, Pravda, 1989, 416 p.
- Lotman Yu. M., Mints Z. G. "Chelovek prirody" v russkoy literature 19 veka i "tsyganskaya tema" u Bloka ["Man of nature" in the Russian literature of the 19th century and "gypsy theme" by Blok]. In: *Blokovskiy sbornik: Tr. nauch. konf., posvyashch. izucheniyu zhizni i tvorchestvu A. A. Bloka, may 1962 g.* [Blok's collection: Tr. scientific. conf. devoted to the study of life and work of A. A. Blok, May 1962]. Tartu, TSU, 1964, pp. 98–156.
- L'vov N. A. *Sobraniye narodnykh russkikh pesen s ikh golosami na muzyku polozhil Ivan Prach* [Collection of folk Russian songs with their voices on the music put by Ivan Prach]. V. M. Belyaev (Ed., intr.). Moscow, Muzgiz, 1955.
- L'vov N. A. *Pesnya dlya tsyganskoy plyaski* [A song for Gypsy dancing]. In: L'vov N. A. *Izbr. Soch.* [Selected works]. Cologne, Weimar, Vienna, Belau-Ferlag; St. Petersburg, Pushkin House, Russian Christian Humanitarian Institute; "Akropol'" Publ., 1994 pp. 58–60.
- Makhotina I. Yu. *Tsygane i russkaya kul'tura: literatura i fol'klor* [Gypsies and Russian culture literature and culture]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Tver', 2012, 20 p.
- Mérimée P. *Carmen. Revue des Deux Mondes*. Paris, Beaux-arts, 1845, vol. 12, pp. 5–48.
- Mur'yanov M. F. Pushkin i tsygane [Pushkin and gypsies]. In: Mur'yanov M. F. *Pushkin i Germaniya* [Pushkin and Germany]. Moscow, Naslediye, 1999, pp. 399–415.
- Nikitin I. S. *Poln. sobr. stikhotvoreniy* [Complete poems]. Moscow, Leningrad, Sov. pisatel', 1965, 614 p.
- Nora E. D. *Gypsies and the British imagination, 1807–1930*. Princeton, Columbia University Press, 2008, 240 p.
- Pal'm A. I. Tsyganke [To a gypsy woman]. In: *Poety-petrashevtsy* [Poets of Petrashevskiy]. Leningrad, Sov. pisatel', 1957, pp. 109–110.
- Polezhayev A. I. *Kal'yan: Stikhotvoreniya A. Polezhayeva* [Kalyan: Poems of A. Polezhaev]. Moscow, Tip. Lazarevykh Instituta Vostochnykh yazykov, 1833, 144 p.
- Polonskiy Ya. P. *Poln. sobr. stikhotvoreniy* [Complete poems]. St. Petersburg, A. F. Marks Publ., 1896, vol. 1, 480 p.
- Prikhod'ko I. S. Pushkinskaya dikaya krasa u Aleksandra Bloka ("Priskakala dikoy step'yu...") [Pushkin's wild beauty in Alexander Blok's works ("Rode the wild steppe...")]. *Philologica*. 1994, vol. 1, no. 1/2, pp. 170–179.
- Proskurin O. Russkiy poet, nemetskiy uchenyy i bessarabskiye brodyagi (Chto Pushkin znal o tsyganakh i pochemu skryl ot chitateley svoi poznaniya) [Russian poet, German scientist and Bessarabian tramps (What Pushkin knew about the Gypsies and why he hid his knowledge from his readers)]. *New Literary Observer*. 2013, no. 123, pp. 165–183.
- Pushkin A. S. *Sobr. soch.: V 10 t.* [Selected works in 10 vols]. Moscow, 1959, vols 1, 2; 1960, vols 3, 4.

- Rostopchina E. P. *Talisman: Izbrannaya lirika. Nelyudimka (drama)* [Talisman: Selected lyrics. Loner (drama)]. Moscow, Mosk. rabochiy, 1987, 319 c.
- Rouart M. F. Image du Tsigane à travers la littérature romantique. *Etudes Tsiganes*. 1982, no. 3, pp. 19–38.
- Stepanov A. G. Tsyganskoye kak russkoye v knige “Versty” (stikhotvoreniya 1917–1920 godov) [Gypsy as a Russian in the book “Versty” (Poems of 1917–1920)]. In: *Dobro i zlo v mire Mariny Tsvetaevoy: Sb. dokl. 14 Mezhdunar. nauch.-tem. konf.* [Good and evil in the world by Marina Tsvetaeva: Collection of reports of 14th International scientific conf.]. Moscow, Marina Tsvetaeva House Museum, 2007, pp. 304–321.
- Shevyrev S. P. *Stikhotvoreniya* [Poems]. Leningrad, Sov. pisatel', 1939, 239 p.
- Shcherbakova T. A. *Tsyganskoye muzykal'noye ispolnitel'stvo i tvorchestvo v Rossii* [Gypsy musical performance and creative work in Russia]. Moscow, Muzyka, 1984, 175 p.
- Shchukin V. Tsyganka i gusar: o “vengerskom” kul'turno-mificheskom fone v russkoy klassicheskoy literature [Gypsy and hussar: about the “Hungarian” cultural and mythical background in Russian classical literature]. *Studia Slavica Hungarica*. 1999, no. 44 (1–2), pp. 55–70.
- Turgenev I. S. *Poln. sobr. soch. i pisem: V 30 t.* [Complete works and letters in 30 vols]. Moscow, Nauka, 1979, vol. 3, 526 p.
- Wilder J. *Dark Wanderers: Gypsies in nineteenth-century British Poetry*. A dissertation submitted to the graduate faculty of the University of Georgia in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy. Athens, Georgia, 2004, 222 p.
- Wordsworth W. *The poetical works of William Wordsworth*. London, Moxon, 1849, 496 p.
- Yakovlev N. V. K voprosu ob angliyskikh istochnikakh stikhotvoreniya Pushkina “Tsygany” (“Nad lesistymi bregami...”) [English sources of Pushkin's poem “Gypsies” (“Over the wooded banks...”)]. In: *Pushkin i ego sovremenniki: Materialy i issledovaniya* [Pushkin and his contemporaries: Materials and studies]. Commission for the publication of the works of Pushkin at the Department of Russian language and literature of the Imperial Academy of Sciences. Petrograd, 1923, iss. 36, pp. 63–70.
- Yazykov N. M. *Stikhotvoreniya N. M. Yazykova* [Poems of N. M. Yazykov]. St. Petersburg, Tip. Imp. Akad. nauk, 1858, vol. 2, 303 p.

УДК 882-31:39 (=94.23)
DOI 10.17223/18137083/68/6

Н. Н. Подрезова

Иркутский государственный университет

**Буряты как автохтоны Сибири в романе И. Калашникова
«Дочь купца Жолобова»**

Рассматривается образ бурят как автохтонов Сибири в романе И. Калашникова «Дочь купца Жолобова». Для читателя первой половины XIX в. озеро Байкал и его окрестности предстали репрезентантом экзотичной Сибири и этнохронотопом бурят. В границах оппозиции «свои – чужие» в романе бурятам противопоставлено не русское население, а разбойники, хозяйничающие на берегах Байкала. И. Калашников, акцентируя в качестве национального маркера бурят дружелюбие и невоинственность, семантизировал этнонимическое словосочетание «братский народ». Нецивилизованным формам быта и языческим верованиям братского народа автор находит аналог в античном мире.

Ключевые слова: буряты, И. Калашников, роман «Дочь купца Жолобова», автохтоны Сибири, Байкал как этнохронотоп, этноним «братские».

В историю русской литературы Иван Тимофеевич Калашников вошел как первый сибирский романист. Его романы «Дочь купца Жолобова» (1831) и «Камчадалка» (1833), действие которых происходило в Сибири, при жизни писателя имели несколько переизданий и воспринимались современниками как открытие terra incognita. Независимо от того, как оценивались художественные достоинства произведений автора, критики в один голос отмечали ценность введения самого сибирского материала в художественную словесность. Так, поддерживая ряд похвальных отзывов о романах [Пушкин, 1988, с. 491; Кюхельбекер, 1979, с. 402], Н. А. Некрасов отчетливо сформулировал этот тематический критерий ценности в рецензии на второе издание «Камчадалки»: «Подробности этого романа заставляют невольно желать, чтобы г. Калашников издал нам когда-нибудь книгу о Сибири, с которой он так коротко знаком и которую умеет так хорошо изображать в простодушном и занимательном рассказе. Мы еще очень мало знаем эту часть нашего отечества, и верная ее картина, начертанная образованным и умным пером, была бы истинным подарком для русской литературы» [Некрасов, 1989, с. 133]. В. Г. Белинский, оценивая по гамбургскому счету «Дочь купца

Подрезова Наталья Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры новейшей русской литературы Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета (ул. Ленина, 8, Иркутск, 664025, Россия; dekanat@slovo.isu.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 3
© Н. Н. Подрезова, 2019

Жолобова» как «quasi-куперовский» роман [Белинский, 1953–1959, т. 9, с. 9], резюмировал в дальнейшем: «Жаль, очень жаль, что г. Калашников, вместо плохих романов, не издает что-нибудь вроде записок о Сибири» [Белинский, 1953–1959, т. 13, с. 164].

Действительно, не только современники, но и историки сибирской литературы, отмечая специфичность художественной палитры И. Калашникова, признали уникальность полномасштабного изображения жизни Восточной Сибири, созданной в первой половине XIX в. (см. [Азадовский, 1947; Богданова, 1948; Постнов, 1985] и др.).

Выбирая Сибирь местом действия в романе «Дочь купца Жолобова», И. Калашников, с одной стороны, пытался опровергнуть расхожие представления обывателей о родном крае¹, с другой – стремился дополнить этот образ конкретными реалиями, показывая Сибирь как особый мир со своим языком, бытовым укладом и нравами. Частью сибирской экзотики в произведении предстают культура и обиход коренных народов: бурят и тунгусов.

В советском литературоведении интерес к образам автохтонных народов Сибири в творчестве Калашникова был сосредоточен прежде всего на достоверности изображения этнографических подробностей жизни инородцев, что позволяло классифицировать такой тип романа как краеведческий исторический роман [Богданова, 1948, с. 101–103] или исторический роман, обладающий «краеведческой точностью и достоверностью» [Очерки русской литературы Сибири, 1982, с. 271].

Целью нашего исследования является рассмотрение образа бурят в романе Калашникова «Дочь купца Жолобова» как семиозстетического явления, семантика которого порождена такими значимыми факторами атрибуции смысла, как сюжетная структура, система хронотопов, иерархия субъектов речи и т. д.

Сибирский хронотоп в романе представлен пространством, внешними границами которого являются Иркутск и его окрестности (западная граница) и Нерчинский уезд (восточная граница). По ходу сюжета главный герой, оклеветанный завистливыми недругами, отправляется в Забайкалье (из Иркутска в Нерчинск), чтобы избежать несправедливого наказания. Дважды он преодолевает пространство (туда и обратно), разделенное Байкалом, который оказывается особо выделенным локусом, характеризующимся наивысшей степенью экзотизма.

Маркерами экзотизма озерного пространства становятся, во-первых, его мифологизация в рассказах разбойников о байкальских чудесах, их уверенность, что нельзя безнаказанно называть Байкал озером, а только Святым морем; во-вторых, связь с преданием о великом завоевателе Чингисхане; в-третьих, осознание этого места русскими героями как чужого и крайне опасного в границах своего сибирского мира. Экстремальность байкальского локуса задается отсутствием дорог и цивилизованных форм быта, населенностью разбойниками и диким зверем, а также непредсказуемостью погодных условий. Так, представляя Култук (деревню на берегу Байкала), откуда начнется движение героев по береговой линии озера, автор подчеркивает ее чрезвычайное положение: «Она стоит на небольшой долине, посреди гор, которые, идучи по берегам озера от востока к западу, малопомалу стесняют его и наконец на сей долине, сходясь довольно близко между собою, образуют угол (по-бурятски култук), обыкновенно называемый гнилым,

¹ Например, речь идет о климате, который рисуется в воображении западных россиян как непременно экстремально холодный. «Непосвященные в таинства отечественной географии часто спрашивают: неужели в Сибири бывает также теплое лето? Бывает, и теплое время начинается гораздо ранее, нежели в здешней столице, где ладожский лед и северные ветры нагоняют стужу и тоску среди мая месяца» [Калашников, 1985, с. 18].

ибо бури, свирепствующие на Байкале, большею частию рождаются в сем углу, представляющем род воронки» [Калашников, 1985, с. 40] ².

Именно в этом чужом и опасном байкальском пространстве впервые появляется действующий герой-бурят ³, для которого это пространство является «своим». Так, при описании «Кругоморской дороги» как «единственного сообщения между Иркутским и Забайкальским краем», не единожды указывается, что она «известна одним бурятам» (с. 44–45). И если первая сюжетная функция бурят в романе связана с сопровождением русских героев по «Кругоморской дороге», то вторая – с помощью в поимке шайки разбойников, укрывающихся в прибрежных горах.

Несмотря на то, что вторым локусом, связанным с изображением бурят в романе, становится Гусиное озеро – сакральное место, где празднуется Санге-Гаара, оно оказывается факультативным для сюжетного развития. Герои туда попадают, чтобы попросить помощи у бурятского тайши в поимке разбойников на Байкале, и оказываются свидетелями бурятских праздничных ритуалов. При этом невозможно не отметить связь «озерной» семантики с образом бурят, потому что даже в номинации их родов (хоринского и селенгинского) автор прибегает к обозначению «забайкальские» (с. 71). Локус Гусиного озера оказывается двойником Байкала, приобретая такие признаки, как сакральность, нецивилизованность, культурную и бытовую чужеродность, осознаваемую русскими героями. И если пространство Байкала хранит память о величии Чингисхана, то маркером архаики на Гусином озере становится огромный каменный столб с высеченным на нем человеческим лицом («памятник какого-то забытого племени» (с. 71)). Таким образом, сюжетное построение романа связывает образ бурят с изображением архаического нецивилизованного экзотического пространства, что особенно заметно на фоне городских топосов: Иркутска, Нерчинска, Улан-Удэ, в которых действуют только русские герои.

Функциями проводников и помощников в сюжетной структуре романа буряты наделяются не только благодаря тому, что территория Байкала для них «своя» и они имеют навыки жизни в естественной среде (ориентироваться в лесу и горах, метко стрелять, чувствовать перемену погоды и т. д.). Автор акцентирует читательское внимание на особом нраве бурят, который является отражением чувства родственной общности между ними. Эпизод угощения хлебом бурят, которые «с полным радушием и согласием разделили булку на маленькие кусочки», сопровождается комментариями русских героев:

– Вот настоящий братский дележ, – сказал Алексей Неудачину.

– Да, они всегда таковы. Один у них не съест крошки, чтобы не поделиться с другим. Не так, как у нас, у русских. Оттого они, говорят, и братскими названы (с. 76).

Идеализация братских отношений между бурятами прочитывается в мотивировке решения тайши отсрочить отправку своих стрелков для поимки разбойников: «не захотел никого из своих подчиненных лишить участия в празднике» (с. 73) ⁴.

В самом тексте романа автор часто прибегает к номинации «братские» как синониму бурят, семантизируя этноним в своем произведении. Калашников изображает, с одной стороны, справедливые, братские отношения бурят между со-

² Далее ссылки на это издание даются в круглых скобках с указанием страниц.

³ Первое упоминание о бурятах появляется во второй главе в авторском примечании к описываемому угощению в иркутском доме карымским чаем. Автор поясняет, что карымский чай – чай «в виде досок или кирпичей» – используется бурятами и русскими за Байкалом (с. 11).

⁴ На значимость мотива роднения в изображении бурятского сообщества указывают фольклористы на материале улигеров [Дмитриенко, 2015, с. 56].

бой, а с другой – дружественное расположение к русским. Можно сказать, что «братскость» бурят распространяется и на русских⁵, взаимоотношения с которыми показаны в этом романе как лишённые жестких конфликтов. Это репрезентативно на фоне изображения других аборигенов Сибири – тунгусов. В Нерчинске герой останавливается у потомков легендарного Хабарова, слушая их рассказы о боях с тунгусами и воспринимая их как героическую историю освоения Сибири.

Зеркальность барочной пары⁶ (буряты и тунгусы) в границах романа особенно показательна: тунгусы представлены также приспособленными к жизни в нецивилизованном пространстве, но в их сообществе не братскость, а воинственность становится главной добродетелью. Трусость показана как страшный человеческий изъян, влекущий за собой другие грехи, в истории Шеминга Уркундуева. И если буряты показаны «устрашенными» сильным противником в сцене схватки с Коровиным (они кинулись бежать, оставив двух своих соотечественников), то тунгусы, по рассказам Хабарова, демонстрируют отчаянную смелость в сражениях. Это качество в реплике князя Гантимурова выделено как признак этнической идентификации: «Я не думал, чтобы тунгус мог быть трусом» (с. 187). Поэтому сцена деления булки между бурятами коррелирует со сценой гона своими соотечественниками трусливого вора Уркундуева, который сравнивается с зайцем, бегущим от охотников к лесу.

Объединяет изображение автохтонных народов Сибири мотив наметившейся русификации, который подчеркивается, например, в образе князя Гантимурова, управляющего эвенками, «коего род, происходя из тунгусского племени, крестился и совершенно переродился в русских» (с. 184). Черты русскости присутствуют в характеристике ряда бурятских героев: имя охотника (Васька Батур), указание на вероисповедание (первый в порядке появления герой-бурят в романе именуется как ясачный, с авторским пояснением, что это значит «крещёный бурят» (с. 41). В комментариях факты взаимовлияния русских и бурят ещё более отчетливы. Например, поясняя различие забайкальских бурят и иркутских, о последних сказано, что, «живучи между русскими селениями, они начинают строить и русские дома» (с. 63). Тенденция русификации лишена дискредитации национальной самобытности аборигенов и предстаёт закономерным приобщением к цивилизованным формам быта и следствием просвещения.

В аспекте взаимоотношений бурят с русскими репрезентативна судьба шаманки, историю которой читатель узнает из рассказа разбойника Якима. Героиня с десяти до восемнадцати лет жила «у русских в улусах», где «глупый» дьячок обучил ее русской грамоте, хотел «окрестить» и жениться на ней. В передаче этого событийного ряда нет конфликтной составляющей, взаимодействие с русскими передано как благополучный период жизни героини, естественный ход которого оказался насильственно прерван. Завязкой трагического конфликта стала встреча бурятской девушки с разбойниками: отправившись за благословением к отцу, она оказалась свидетелем жестокого убийства родителей и попала в неволю, где, по словам Якима, состарилась и «рехнулась в уме». Отсутствие сочувствия к судьбе бурятки и ее родным показательно в реплике рассказчика, отвергающего возможность сожаления атамана о содеянном преступлении: «Да разве в этих некрестях была душа? И того много, что атаман погулял с их черномазою дочкою!» (с. 83). Таким образом, мотив неполноценности аборигенов по этническому и религиозному признакам характеризует сферу сознания представителя деклассиро-

⁵ Бурятский охотник Васька Батур, с которым сталкиваются герои по дороге в Забайкалье, дважды спасает жизнь попадающему в экстремальные ситуации русскому охотнику.

⁶ Доказательно о поэтике сибирского барокко, представленной в романе Калашникова, см. исследование Н. В. Хомука [2014а; 2014б].

ванной группы, оказываясь в оппозиции к мотиву роднения русских с инородцами в кругу социализированного населения Сибири.

Автор в романе намечает сюжетную параллель между судьбами шаманки и русской героини Натальи. И если пленение Натальи бандитами – только одно из препятствий на пути к счастливому союзу с возлюбленным, то в судьбе шаманки противостояние разбойникам выходит за границы личного целеполагания, приобретая функцию сакрального служения в пределах этнической традиции.

На разных уровнях компоненты сюжетного ряда намечают отчетливый антагонизм бурят и разбойников. Показателен эпизод встречи Тимофея Брагина с охотником Васькой Батуром, который, увидев повисшего на дереве человека, стреляет в него, а потом оправдывается перед случайно спасенным знакомым: «...думал, какой-нибудь каторжный за грехи свои попал сам на виселицу» (с. 52). Повествователь объясняет этот поступок тем, что каторжных «братские обыкновенно бьют с большею охотою, нежели зверей, говоря: со зверя снимешь одну шкуру, а с каторжного часто две и три, то есть шубу, рубашку» (с. 51). Безусловно, охотничий меркантилизм не раскрывает причину антагонизма бурят и каторжников, но иллюстрирует степень остроты их конфликта. Так, ругающийся бурят в свою речь вставляет русские оскорбления, где в одном ряду оказываются «шорт», «дьявол», «каторжный» (с. 60). Глубинная природа антагонизма коренного населения Прибайкалья и каторжников, составлявших костяк разбойничьих сообществ, лежит в признании байкальской территории исконно своей. Поэтому семантика присвоения этого пространства чужими оказывается связана не с захватом и освоением русскими Сибири, а с тем, что в пространстве Байкала хозяйничают разбойники, скрываясь в прибрежных скалах и занимаясь грабежом путников и купеческих судов, идущих через Байкал. Таким образом, фабульный контекст свидетельствует о возможности категории хронотопа отражать национальное начало [Логинова, 2018]. Можно утверждать, что в романе Калашникова хронотоп Байкала связан с репрезентацией бурятского этноса, задавая тенденции развития романских коллизий.

Этнокультурными маркерами бурят в романе предстают формы их быта и верований. Мотив инородности, отличия бурятского мира от русского, оформляется в оппозиции «дикость – цивилизованность». Автор задает положительную семантику нецивилизованности (дикости), изображая аборигенов способными к существованию в экстремальном природном пространстве. Так, игры бурят во время праздника Санге-Гаара носят характер физических состязаний: борьба, беганье, стрельба из лука, в котором «забайкальские буряты столь искусны, что, пустив сверху одну стрелу, другой перешибают ее на лету» (с. 73). Отрицательные коннотации нецивилизованности порождаются показом специфических форм поведения во время еды: отсутствие столовых приборов (едоки «выдергивали с пояса ножик и, взявши один край мяса в руку, а другой в зубы, обрезывали его вверх острием так, что без особенной привычки могли бы отрезать себе нос» (с. 72), скудность и нечистота посуды, само обозначение которой в русском языке имеет снижающий оттенок («корыта», «ушаты»).

Калашников дает два ракурса освещения этнических реалий. В границах кругозора героев однозначно актуализирован второй полюс нецивилизованности: «Алексей с отвращением смотрел на жадность и чрезвычайную неопрятность, какую оказывали буряты при сем случае» (с. 72). В кругозоре повествователя открывается иное видение бурятского пиршества благодаря тому, что появляется культурный контекст, отсылающий «к тем простодушным векам», когда «цари запросто убивали сами быков и когда герои, стараясь съесть более других, поставляли в том свою славу» (с. 73). Указание на европейскую традицию, освященную именем Гомера, безусловно, сглаживает эффект безобразного в восприятии языческого праздника, акцентируя витальность физической силы как куль-

турное детство народа, «отставшего от общего течения понятий в странах образованных» (с. 73).

Наибольшей степенью экзотичности наделяется в романе Калашникова «бурятская вера». Показательно, что впервые информацию о ней читатель получает благодаря впечатлениям несведущего героя (иркутский канцелярист), чьими глазами увиден случай общения бурята со своими «истуканчиками», одного из которых, «сделанного из бараньей шкуры с ногами и хвостом и с лицом человеческим», он начал сечь прутом, а другому, «из деревянных идолов», вымазал губы сметаной (с. 60). Объяснение увиденного доверено другому русскому герою, купцу из Нерчинска, который имел торговые дела с бурятами. Передавая идейную основу чужой веры, Неудачин выделяет те моменты, которые противоречат христианской модели мира. Это, во-первых, многобожие: боги, которых «наказывают», – это не творцы вселенной, а подчиненные божки. Во-вторых, недеяние создателя Тингири Бурхана, который, разделив управление мира между божками, «сам и руки опустил – ничего не делает: ни добра, ни худа, так что Бурхана не за что ни любить, ни бояться» (с. 60). В оппозиции к христианской онтологии, в основании которой находится единобожие и жертвенная любовь создателя к человеку, идея недеяния истолковывается как равнодушие, которым отмечены бурятский бог-творец и отношение бурята к своим божкам («всыпал их *преравнодушно* в тулун и повесил его на прежнее место» (с. 60, курсив наш. – Н. П.)).

Помимо отторжения идейной составляющей языческого мировидения как «ахиней», неприятие православными персонажами бурятских верований усилено чуждостью культовой эстетики. С камланием шаманки связан комплекс мотивов, передающих впечатления главного героя: нелепой странности наряда («платье на ней было длинное, кожаное, увешанное жестяными идолами, колокольчиками, орлиными когтями, змеиными чучелами, ремешками из невыделанных кож и разного рода металлическими побрякушками»); безобразности поведения («размахивала руками, кривила рот, закатывала зрачки глаз и ревела самым диким голосом»); притворства («как бы сделавшись без чувств, она упала на землю») (с. 60–61). Религиозно-магические действия шаманки, увиденные глазами человека другой культуры, предстают как «коверканье», «ломание», «дурачества», которые лишены чинности и благообразия.

Позиции русских героев, с которых воспринимается чужая вера, в разной степени, но переданы через прием остранения, который мотивируется абсолютным неведением бурятских культовых форм (рецепция Алексея) или частичным знанием, но активным его неприятием (рецепция купца Неудачина). Это взгляд не изнутри понимания, а со стороны, заостряющий неприятие с позиции православных, уверенных в истинности своей веры и поэтому беспелляционно оценивающих чужую веру как неистинную.

Кругозор повествователя отличается от кругозора действующих лиц степенью исторической осведомленности о вероисповедании бурят⁷. Повествователь комментирует восприятие персонажей, мотивируя их точку зрения эмоциональным состоянием, природным нравом, уровнем образования. Позиция основного субъекта речи раскрывается в развитии сюжетной линии, связанной с судьбой шаманки и ее пророчествами. Читателю становится известно о верности шаманских предсказаний, которые сбывались в жизни Неудачина, сбудутся в судьбе Алексея и обстоятельствах смерти атамана.

Парадокс неприятия чужого мистического знания и подтверждающих его фактов легко разрешается в границах мировоззрения православных героев благодаря

⁷ Во второй части романа повествователь упоминает о «принятии селенгинскими братьями веры ламайской», но в «описываемое... время селенгинский род держался еще веры шаманской» (с. 71). Действие в романе происходит во второй половине XVIII в.

приравниванию бурятских шаманов к колдунам и ведьмам – хорошо известным персонажам русской фольклорной демонологии⁸. Купец Неудачин, изумляясь верности шаманских прорицаний, замечает: «Кажись, сам дьявол им помогает» (с. 60). Разбойник мистическую природу шаманки объясняет просто: она «рехнулась в уме да и попала черту в лапы – сделалась колдуньей» (с. 83). Кроме того, в изображении шаманки отчетливо прослеживаются мотивы фольклорной былички о ведьме. Например, традиционный мотив защиты креста от нечистой силы прочитывается в требовании шаманки в культовых действиях с православными «снять крест», потому что он у нее «отнимает язык» (с. 62). Сама форма пророчества носит характер иносказания, смысл которого не прозрачен для слушателя, но вызывает удивление и страх. Семантика ужасного в образах языческих жрецов порождается не только описанием их странного одеяния и жестикуляции, но и соотносительностью их действий с убийством и кровью. Эпизод обращения шамана к духам у Гусиного озера во время празднования Санге-Гаара завершается сценой жертвоприношения животных: «По окончании сей молитвы подвели к шаману обреченных, и он начал поражать их ножом в грудь: кровь полилась рекою по жертвенному месту» (с. 72). Убийство одного из разбойников шаманка сопровождает хохотом со «злостью радостью» и «диким» пением (с. 78). Нивелирование культового смысла жертвоприношения в первом случае и акцентирование на антихристианских эмоциях героини задают восприятие языческих жрецов в привычной для русского сознания традиции изображения демонического. В русской быличке ведьма или колдун являются амбивалентными персонажами, в отличие, например, от черта, змия или русалки, и могут выступать в роли помощников или защитников от других вредителей.

За границами русской фольклорной традиции можно указать на некоторые специфические моменты в изображении образа шаманки, которые намечают еще одну линию его трактовки. Отличается от простонародного восприятия точка зрения повествователя, выраженная в пояснении к «чудным предсказаниям»: «Тайна сих предсказаний могла быть объяснена частью самым естественным образом, но частью заключалась и в общей способности людей помешанных провидеть будущее» (с. 83). Указание на особые возможности психически нездоровых людей, к которым отнесены предсказатели, принадлежит кругозору образованного человека. Подтверждает это и такая номинация шаманки в речи повествователя, как «Питонисса» и «Сивилла» (с. 61, 78), которая вводит античный код толкования этого образа как наследницы языческих прорицательниц, экстатически предсказывающих будущее.

Последним штрихом к образу шаманки становится изображение ее смерти на костре, в которой можно было бы увидеть аллюзию на европейскую традицию расправы с ведьмами, если бы не предсмертная песнь героини, в которой звучит полнота удовлетворения происходящим: «Пробил ты, желанный отмщения час, – / И я умираю с отрадой! / О души родных! я погибла за вас, / Но вечность мне будет наградой» (с. 91). Автор счел нужным дать объяснение этой сцены в подстрочном примечании: «Шаманы умирают почти всегда не только безбоязненно, но и с радостью, думая, что по смерти своей будут они блаженны. Тела приказывают сжигать» (с. 91). Отсылка к этнографической реалии, в которой утверждается соразмерность такой формы смерти социальной роли героини, переводит это событие из трагического регистра в героический модус.

⁸ В XX в. эта тенденция народного восприятия не исчезла. Примерами могут быть былички русского населения Восточной Сибири, записанные В. П. Зиновьевым, где среди рассказов о ведьме встречается номинация последней как «шаманки» [Мифологические рассказы..., 1987, с. 137].

В завершение следует сказать, что И. Калашников первым в русской литературе⁹ создал этнокультурный образ бурят. Для русского читателя первой половины XIX в. озеро Байкал и его окрестности предстали репрезентантом экзотичной Сибири и этнохронотопом бурят. Калашников, акцентируя в качестве национального маркера бурят дружелюбие и невоинственность, семантизировал этнонимическое словосочетание «братский народ». Нецивилизованным формам быта и языческим верованиям бурят автор находит аналог в античном мире, показывая «чужую» культуру как находящуюся на начальной стадии развития единого движения человечества к просвещению и единобожию.

Список литературы

- Азадовский М.* Сибирская беллетристика 30-х годов // Очерки литературы и культуры Сибири. Иркутск, 1947. Вып. 1. С. 80–105.
- Белинский В. Г.* Камчадалка. Соч. И. Калашникова. Второе издание. Санкт-Петербург. 1842. В тип. А. Иогансона. Четыре части // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953–1959. Т. 13.
- Белинский В. Г.* Прокопий Ляпунов, или Междоусобие в России, продолжение Князя Скопина-Шуйского. Сочинение того же автора <О. П. Шишкиной> // Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1953–1959. Т. 9. С. 8–12.
- Богданова А. А.* Сибирский романист И. Т. Калашников // Учен. зап. Новосиб. гос. пед. ин-та. Новосибирск, 1948. Вып. 7. С. 87–120.
- Дмитриенко А. Н.* Как враги становятся друзьями в героических сказаниях алтайцев и бурят // Оппозиция «свой – чужой» в языке, фольклоре, литературе, музыке, культуре: Материалы Регион. гуманитарного форума научной молодежи. Новосибирск, 2015. С. 50–57.
- Калашников И. Т.* Дочь купца Жолобова: Романы, повесть / Сост., коммент., послесл. М. Д. Сергеева. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1985.
- Кюхельбекер В. К.* Путешествие. Дневник. Статьи / Заключ. ст., примеч. Н. В. Королевой, В. Д. Рака. Л.: Наука, 1979.
- Логинова М. А.* Этнокультурный хронотоп малой русскоязычной прозы писателей Казахстана конца XX – начала XXI в.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Омский гос. ун-т. Омск, 2018. 23 с.
- Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири / Сост. В. П. Зиновьев. Новосибирск, 1987.
- Некрасов Н. А.* Князь Курбский, исторический роман из событий XVI века. Сочинение Бориса Федорова. Четыре части. СПб., 1983. Камчадалка. Роман, сочинение И. Калашникова. Издание второе. Четыре части. СПб. // Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л.: Наука, 1989. Т. 11: Книга первая. Критика. Публицистика (1840–1849). С. 129–133.
- Очерки русской литературы Сибири / Отв. ред. В. Г. Одинокоев, Ю. С. Постнов. Новосибирск: Наука, 1982. Т. 1: Дореволюционный период.
- Постнов Ю. С.* Исторические романы И. Т. Калашникова // Литературные очерки / Сост. Н. Н. Яновский, Б. М. Юдалевич. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1985. С. 118–186.
- Пушкин А. С.* Мысли о литературе / Вступ. ст. М. П. Еремина, примеч. М. П. Еремина, П. М. Еремина. М.: Современник, 1988.
- Хомук Н. В.* Роман И. Т. Калашникова «Дочь купца Жолобова» и сибирское барокко. Статья 1 // Вестник Том. гос. ун-та. 2014. № 388. С. 35–41.

⁹ Николай Полевой в «сибирской былии» «Сохатый» (1830 г.) кратко упоминает о бурятах, участвующих в поимке разбойников в Сибири.

Хомук Н. В. Роман И. Т. Калашникова «Дочь купца Жолобова» и сибирское барокко. Статья 2 // Вестник Том. гос. ун-та. 2014. № 389. С. 46–55.

N. N. Podrezova

Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation
dekanat@slovo.isu.ru

**Buryats as Siberian autochthones in I. Kalashnikov's novel
"The Daughter of the Merchant Zholobov"**

The paper deals with the image of the Buryats as a Siberian autochthonous population in I. Kalashnikov's novel "The Daughter of the Merchant Zholobov." Kalashnikov was the first to introduce the Buryat ethno-cultural image in Russian literature. Lake Baikal and its surroundings represented exotic Siberia and Buryat ethno chronotope. It is not the Russian population that confronts Buryats in "friend-foe" opposition but the robbers who rule on the shores of Lake Baikal. By emphasizing both friendliness and unwarlike attitude of Buryats as their national marker, Kalashnikov offered an interpretation of the ethnonym "brotherly people." The function of the Buryat characters in the novel is to help and guide Russians in the Baikal locus. In the novel, Buryats ethno-cultural markers are represented by their everyday life and beliefs. The ideological basis of the Buryat faith (pagan polytheism) is comprehended in the Christian paradigm for Russian characters. The perception of shamans in line with the Russian folk tradition of the demonic portrayal is due to leveling the meaning of cult forms and emphasizing their anti-estheticism. Shamans appear in the same category with such ambivalent characters of bailichka as wizards and witches. By naming woman-shaman as Sibyl and Pitonissa, the author introduces the antique code of interpreting her as the heiress of pagan prophetess. The juxtaposition between the Buryats and the Russians is centered around the dichotomy of "savagery – civility." By drawing parallels with the Antique world, the author shows "alien," i.e., Buryat culture, to be the initial stage of unified human aspiration towards enlightenment and monotheism.

Keywords: Buryats, I. Kalashnikov, novel "The daughter of the merchant Zholobov", Siberian autochthones, Baikal as an ethno chronotope, ethnonym "bratskiye".

DOI 10.17223/18137083/68/6

References

- Azadovskiy M. Sibirskaya belletristika 30-kh godov [Siberian fiction of the 30s]. In: *Ocherki literatury i kul'tury Sibiri* [Essays on literature and culture of Siberia]. Irkutsk, 1947, iss. 1, pp. 80–105.
- Belinskiy V. G. Kamchadalka. Soch. I. Kalashnikova. Vtoroye izdaniye. SPb. 1842. V tip. A. Iogansona. Chetyre chasti [Kamchadalka. I. Kalashnikov's writing. 2nd. ed. St. Petersburg, 1842. A. Johanson's printing house. 4 pts]. In: Belinskiy V. G. *Poln. sobr. soch.: V 13 t. T. 13* [Complete works: in 13 vols. Vol. 13]. Moscow, AN SSSR Publ., 1953–1959.
- Belinskiy V. G. Prokopy Lyapunov, ili Mezhdutsarstviye v Rossii, prodolzheniye Knyazya Skopina-Shuyskogo. Sochineniye togo zhe avtora (O. P. Shishkinoy) [Prokopy Lyapunov or the Interregnum in Russia, a continuation of Prince Skopin-Shuisky. The writing of the same author (O. P. Shishkina)]. In: Belinskiy V. G. *Poln. sobr. soch.: V 13 t. T. 9* [Complete works: in 13 vols. Vol. 9]. Moscow, AN SSSR Publ., 1953–1959.
- Bogdanova A. A. Sibirskiy romanist I. T. Kalashnikov [Siberian novelist I. T. Kalashnikov]. In: *Uchenyye zapiski Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo instituta*. 1948, iss. 7, pp. 87–120.
- Dmitriyenko A. N. Kak vragi stanovyatsya druž'yami v geroicheskikh skazaniyakh altaytsev i buryat [How enemies become friends in the heroic tales of the Altaians and Buryats]. In: *Oppozitsiya "svoj – chuzhoy" v yazyke, fol'klore, literature, muzyke, kul'ture: Materialy Regional'nogo foruma nauchnoy molodezhi* [Opposition "own-alien" in language, folklore, literature, music, culture: Materials of regional forum of young scientists]. Novosibirsk, 2015, pp. 50–57.

Kalashnikov I. T. *Doch' kuptsa Zholobova: Romany, povest'* [The daughter of the merchant Zholobov: Novels, story]. M. D. Sergeyev (Comp., comm., afterword). Irkutsk, Vost.-Sib. kn. izd., 1985.

Khomuk N. V. Roman I. T. Kalashnikova "Doch' kuptsa Zholobova" i sibirskoye barokko. Stat'ya 1 [Novel of I. T. Kalashnikov "Daughter of the Merchant Zholobov" and Siberian Baroque. Art. 1]. *Tomsk State University Journal*. 2014, no. 388, pp. 35–41.

Khomuk N. V. Roman I. T. Kalashnikova "Doch' kuptsa Zholobova" i sibirskoye barokko. Stat'ya 2 [Novel of I. T. Kalashnikov "Daughter of the Merchant Zholobov" and Siberian Baroque. Art. 2]. *Tomsk State University Journal*. 2014, no. 389, pp. 46–55.

Kyukhel'beker V. K. *Puteshestviye. Dnevnik. Stat'i* [Journey. Diary. Articles]. N. V. Koroleva (Concl. Art., notes). Leningrad, Nauka, 1979.

Loginova M. A. *Etnokul'turnyy khronotop maloy russkoyazychnoy prozy pisateley Kazakhstana kontsa 20 – nachala 21 v.* [The ethnocultural chronotope of the small Russian-language prose of the Kazakhstan writers of the late 20th - early 21st centuries]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Omsk, 2018, 23 p.

Mifologicheskiye rasskazy russkogo naseleniya Vostochnoy Sibiri [Mythological stories of the Russian population of Eastern Siberia]. V. P. Zinov'yev (Comp.). Novosibirsk, 1987.

Nekrasov N. A. Knyaz' Kurbskiy, istoricheskiy roman iz sobytiy 16 veka. Sochineniye Borisa Fedorova. Chetyre chasti. SPb., 1983. Kamchadalka. Roman, sochineniye I. Kalashnikova. Izdaniye vtoroye. Chetyre chasti. SPb. [Prince Kurbsky, a historical novel from the events of the 16th century. The Boris Fedorov's writing. Four parts. SPb., 1983. Kamchadalka. Novel, I. Kalashnikov's writing. Second edition. Four parts. St. Petersburg]. In: Nekrasov N. A. *Poln. sobr. soch. i pisem: V 15 t. T. 11: Kniga pervaya. Kritika. Publitsistika (1840–1849)* [Complete works: in 15 vols. Vol. 11: Bk. 1. Criticism. Articles (1840–1849)]. Leningrad, Nauka, 1989, pp. 129–133.

Ocherki russkoy literatury Sibiri. T. 1: Dorevolutsionnyy period [Essays on Russian literature of Siberia. Vol. 1: Pre-revolutionary period]. V. G. Odinsonov, Yu. S. Postnov (Eds). Novosibirsk, Nauka, 1982.

Postnov Yu. S. Istoricheskiye romany I. T. Kalashnikova [Historical novels of I. T. Kalashnikov]. In: *Literaturnyye ocherki* [Literary essays]. N. N. Yanovskiy, B. M. Yudalevich (Comps). Novosibirsk, Zap.-Sib. kn. izd., 1985, pp. 118–186.

Pushkin A. S. *Mysli o literature* [Thoughts about literature]. M. P. Eremin (Intr.), M. P. Eremin, P. M. Eremin (Notes). Moscow, Sovremennik, 1988, p. 491.

Е. Г. Новикова

Томский государственный университет

**Карл Маркс и Фридрих Энгельс
в контексте геополитических взглядов
Ф. М. Достоевского ***

Впервые системно проанализированы материалы Ф. М. Достоевского, связанные с именами Карла Маркса и Фридриха Энгельса. В работе показано, что труд Фридриха Энгельса «О положении рабочего класса в Англии» описывается в журнале братьев Достоевских «Время» 1861 г.; политическая экономия Энгельса проверяется категориями совести и нравственности, и этой проверки здесь она не выдерживает. Если труд Энгельса осмысливается в рамках экономической проблематики, то представления о Карле Марксе в журнале «Гражданин» 1873 г. вовлечены в геополитические размышления Достоевского об исторических судьбах христианства и Российской империи. Современную ему политическую жизнь Европы писатель интерпретирует как борьбу коммунистических идей с христианством и полагает, что Карлу Марксу в этом сражении «не устоять».

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, М. А. Бакунин, «Время», «Гражданин».

Ф. М. Достоевский, Карл Маркс и Фридрих Энгельс принадлежали к одному поколению: родившиеся на рубеже 1810–1820-х гг., как деятели и мыслители они сформировались на фоне европейских революционных событий конца 1840-х гг. К. Маркс и Ф. Энгельс были участниками февральской революции 1848 г. в Париже и мартовской революции в Германии, а Достоевский в 1849 г. посещал кружок М. В. Буташевича-Петрашевского, возникновение которого также было тесно связано с этими европейскими революциями. В 1849 г. Маркс, высланный сначала из Германии, а затем из Франции, навсегда эмигрировал в Лондон, куда в конце 1849 г., после поражения немецкой революционной армии, перебрался и Энгельс. В течение этого же года Достоевский был арестован, находился в одиночной камере Петропавловской крепости, предстал перед военным судом, был приговорен

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-90020\18.

Новикова Елена Георгиевна – доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета Томского государственного университета (пр. Ленина, 36, Томск, 634004, Россия; elennov@mail.ru)

к смертной казни, которая, как известно, в последний момент была заменена четырехлетней каторгой с последующей шестилетней военной службой в Сибири.

Лондонский период жизни Маркса и Энгельса – это активная политическая деятельность, наиболее известным результатом которой стал так называемый I Интернационал, а также создание знаменитого экономического учения, книги «Капитал», первый том которой вышел в свет в 1867 г.

Достоевский же уже в Сибири отказал политическим революционным идеям в плодотворности и жизнеспособности. Из его письма А. Н. Майкову от 18 января 1856 г. из Семипалатинска: «Может быть, Вас смущал <...> наплыв французских идей в ту часть общества, которая мыслит, чувствует и изучает? <...> Но согласитесь сами, что все здравомыслящие, то есть те, которые дают тон всему, всему, смотрели на французские идеи со стороны научной – не более» [Достоевский, 1985, т. 28₁, с. 208]. Вот принципиальное подведение итогов деятельности кружка петрашевцев, по Достоевскому: «французские идеи со стороны научной – не более». И здесь же он предлагает истинную «политическую идею» России: «наша политическая идея, завещанная еще Петром» [Там же], т. е. идея Российской империи Петра I.

В свою очередь, интерес русского писателя к современным ему экономическим теориям и концепциям, с которыми он впервые познакомился именно в кружке петрашевцев [Гуидо, 2012, с. 27–30], в Сибири только возрос, более того, обогатился новыми смыслами и контекстами. В сибирских письмах Достоевский настойчиво просил брата Михаила прислать ему «экономистов и отцов церкви», «историков, экономистов», «Отечественные записки», «отцов церкви и историю церкви» [Достоевский, 1985, т. 28₂, с. 171, 173]. Экономическая проблематика постепенно становится частью картины мира писателя в сложном сочетании с религиозными, историческими и национальными вопросами [Новикова, 2013].

Наиболее очевидно это проявилось в публицистической деятельности Достоевского первой половины 1860-х гг. Высланный из центральной России в самом начале 1850 г., в 1859 г. писатель вернулся в совершенно другую страну – в Россию, стоящую на пороге масштабных социально-политических, юридических, экономических реформ. Достоевский сразу же включился в актуальную общественную жизнь, будучи уверенным в том, что реформирующейся России жизненно необходима его почвенническая концепция, сформированная Сибирью и каторгой. В это время в его деятельности отчетливо актуализируется особая позиция сочетания художественного и исторического, политического подхода к современности, характерная и для других его русских современников [Силантьев, Созина, 2013]. Во имя активной пропаганды почвеннических идей он обратился, прежде всего, к журналистике, и журналы братьев Ф. М. и М. М. Достоевских «Время» (1861–1863) и «Эпоха» (1864–1865) стали ярким явлением пореформенной России первой половины 1860-х гг. Экономическая проблематика была представлена в них с самого начала, уже во «Времени» 1861 г. Именно в этом контексте в материалах журнала братьев Достоевских и появляется имя Фридриха Энгельса.

В мартовском номере «Времени» за 1861 г. была опубликована анонимная рецензия на книгу немецкого экономиста Бруно Гильдебранда «Политическая экономия настоящего и будущего» [Hildebrand, 1848], вышедшую в свет в 1860 г. на русском языке в переводе М. П. Щепкина [Политическая экономия..., 1861].

Особого внимания заслуживает анонимный характер этой статьи. Экономические работы во «Времени» принадлежали чаще всего известному экономисту И. Н. Шиллю [Белов, 2001, с. 415], поэтому можно предположить, что он мог быть автором и данной рецензии. Однако, как указывает В. Н. Захаров, глубоко изучивший материалы «Времени» и «Эпохи», «анонимность и псевдонимность» была принципиальной стратегией братьев Достоевских как издателей и редакто-

ров, которая, в свою очередь, сочеталась с тем, что «Достоевские редактировали все публикации “Времени” и “Эпохи”: правили статьи; то, с чем были согласны, пропускали в печать; то, что вызывало возражения, отклоняли» [Захаров, 2005, с. 699, 700]. Исходя из этого утверждения авторитетного исследователя наследия Достоевских, можно предположить, что выраженный в анонимной рецензии подход к Энгельсу возражений у них не вызвал.

Книга Б. Гильдебранда представляет собой развернутый обзор немецкой экономической мысли; особое внимание в ней уделено работе Энгельса «О положении рабочего класса в Англии» [Engels, 1845]. «Наибольшее место в его книге занимает разбор сочинения Энгельса “О положении рабочего класса в Англии”», – подчеркивает автор рецензии [Политическая экономия..., 1861, с. 85].

«О положении рабочего класса в Англии» – один из первых масштабных трудов Энгельса по политической экономии, в основе которого его жизнь в Манчестере в течение 1842–1844 гг., его собственный опыт коммерческой деятельности и предпринятые им здесь специальные исследования современного положения английских рабочих. Считается, что именно эта книга Энгельса изменила к лучшему отношение к нему Карла Маркса, сначала достаточно холодное.

В свою очередь, Б. Гильдебранд и анонимный автор рецензии во «Времени» по отношению к труду Энгельса занимают иную (и единую) позицию – это позиция его резкой критики. В «Политической экономии настоящего и будущего» русского автора восхищает, прежде всего, именно критика Энгельса: «Тут сосредоточивается вся блестящая сторона критического таланта нашего автора. Он <...> победоносно опровергает его основные положения» [Там же]. По мнению автора рецензии, суть неприятия Б. Гильдебрандом политико-экономической концепции Энгельса состоит в том, что тот, «возводя частную выгоду на степень высшего начала экономической науки», разорвал «всякую связь между наукою и нравственною задачею человеческого рода» [Там же, с. 77], которая для самого Б. Гильдебранда была ключевой. Настойчивая апелляция известного немецкого политэконома к «нравственной силе народов» [Там же, с. 90] и обусловила его общее критическое отношение к труду Энгельса, полагает автор рецензии, полностью его разделяя. Для усиления этой позиции он обращается к авторитету Дэвида Юма, оригинальная философия которого сформирована сложным сочетанием позитивистского (в том числе, экономического) и специально психологического подхода к человеку: «Гениальный Юм был убежден, что “вообще участие к другим в каждом человеке гораздо сильнее, чем своя собственная выгода”» [Там же, с. 88]. Отсюда русский автор делает вывод о том, что в «нравственной природе человека» «личный интерес и совесть гармонируют друг с другом» [Там же]; но именно это и не учитывает Энгельс.

Еще находясь в Сибири, Достоевский просил присылать ему «экономистов и отцов церкви» – именно в таком сочетании. Политическая экономия Энгельса во «Времени» проверяется категориями нравственности и совести, и этой проверки она здесь не выдерживает.

Если имя Фридриха Энгельса связано в материалах Достоевского с экономической проблематикой, то имя Карла Маркса оказалось вовлеченным в геополитические размышления писателя.

Достоевский для журнала «Гражданин» некоторое время, помимо других материалов, составлял еженедельные обзоры иностранных событий, которые свидетельствуют о том, что текущую политическую жизнь Европы писатель изучал системно и глубоко. В одной из таких статей от 8 октября 1873 г., входящей в общий обзор «Иностранные события» за 1873 г., Достоевский пишет: «Рим, в первый раз за 1500 лет, поймет, что пора кончить с высшими мира сего и оставить надежду на королей! И поверьте – Рим сумеет обратиться к народу, к тому самому народу, который римская церковь всегда и высокомерно от себя отталкивала

и от которого скрывала даже Евангелие Христово, запрещая переводить его. Папа сумеет выйти к народу, пеш и бос, нищ и наг, с армией двадцати тысяч бойцов иезуитов, искусившихся в уловлении душ человеческих. Устоят ли против этого войска Карл Маркс и Бакунин? Вряд ли; католичество так ведь умеет, когда надо, сделать уступки, все согласить» [Достоевский, 1980, с. 202–203].

В этих статьях 1873 г. Достоевский подробно описывает и анализирует раз-вернувшуюся во французском Национальном собрании борьбу между сторонни-ками существующего республиканского строя и партиями, стремящимися к вос-становлению монархии. Совершенно не случайно имя Карла Маркса возникает именно в этом контексте; здесь писатель характеризует общее состояние Европы как господства «злого духа целого столетия несогласий, анархии и бесцельных французских революций» [Там же, с. 201], «социализма» [Там же, с. 203], в ко-нечном счете, «новой антихристианской веры» [Там же, с. 201], к которой обра-тились «все “малые и сирые”, трудящиеся и обремененные, уставшие ожидать Царства Христова» [Там же]. Так политическая ситуация в современной Европе, в конечном счете, оборачивается у Достоевского религиозной проблематикой и повесткой дня.

А именно, описывая текущие европейские события, писатель на первый взгляд достаточно неожиданно обращает особое внимание на «римское движение», ко-торое «пронеслось в последние полгода по всей Европе» [Там же, с. 202]: «Неко-торые наблюдатели и теперь уже угадывают, что всё это движение легитимист-ское, так вдруг и с таким напряжением разрешившееся теперь во Франции, – может быть, не что иное, как клерикальная переделка, и что первоначальное слово его вышло из Рима» [Там же]. Нетрудно предположить, что к этим «некоторым наблюдателям» Достоевский относил, прежде всего, самого себя. С его точки зре-ния, борьба между республиканцами и монархистами в Национальном собрании Франции, в сущности, – это «*последняя* (здесь и далее выделено автором. – Е. Н.) попытка римского католичества обратиться еще раз, в *последний* раз, за помощью к королям и высшим мира сего и последняя надежда на них» [Там же]. Причем, как это представлялось Достоевскому, римское католичество исчерпало свои воз-можности влияния на «королей и высших мира сего» и поэтому принципиально изменило свою европейскую политику, «в первый раз за 1500 лет» сделав ставку не на них, но на «народ», на «всех “малых и сирых”, трудящихся и обременен-ных»: «...попытки сблизиться с народом во Франции, в Германии и Швейцарии новым изобретением – устройством в массах народных богомолий, некоторые неслыханные доселе демократические выходки католического высшего духовен-ства в Германии с обращением к народу» [Там же].

В восприятии Достоевского в Европе начинается борьба за народ, и в эту борьбу вступили две силы – «Рим» и «Карл Маркс»; при этом «папа сумеет выйти к народу, пеш и бос, нищ и наг», а Карлу Марксу «не устоять».

Причем не только Карлу Марксу, но и Бакунину. В интенсивном контексте «Иностранных событий» рядом с Марксом назван М. А. Бакунин, российский революционер и идейный последователь Маркса (несмотря на очень непростую историю их личных взаимоотношений). Упоминание здесь Бакунина со всей оче-видностью свидетельствует о том, что Достоевский так или иначе вписывает и Россию в общеевропейские процессы «злого духа целого столетия несогласий, анархии и бесцельных французских революций». В частности, Бакунин, с кото-рым писатель был хорошо знаком, как известно, был одним из первых теоретиков российского анархизма.

Кроме того, Бакунин был политическим мыслителем, яростно боровшимся как с самой идеей империи, так и с Российской империей собственно: «...я, русский, открыто и решительно протестовал и протестую против самого существования русской империи. Этой империи я желаю всех унижений, всех поражений» [Баку-

нин, 1920, с. 100]. Это выдержка из его речи на Конгрессе Лиги мира и свободы в 1867 г. в Женеве – одном из конгрессов, связанном с формированием I Интернационала.

Так получилось, что этот Конгресс посетили и супруги Достоевские, жившие в это время в Швейцарии. Своими впечатлениями о нем Достоевский поделился с С. А. Ивановой в письме от 29 сентября (11 октября) 1867 г. из Женевы: «Я сюда попал прямо на *Конгресс мира* <...> что эти господа, – которых я в первый раз видел не в книгах, а наяву, – социалисты и революционеры, ввали с трибуны перед 5 000 слушателей, то невыразимо! <...> И эта-то дрянь волнует несчастный люд работников! Это грустно. Начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру. Большие государства уничтожить и поделывать маленькие» [Достоевский, 1985, с. 224]. В это время в Женеве Достоевский встречался также с А. И. Герценом, чье имя также могло бы попасть в этот «русский» контекст. Говоря в письме к С. А. Ивановой о «социалистах и революционерах», писатель сразу же обозначает их особое влияние на «работников», «на несчастный люд работников», но не «народ», не на весь народ в целом, о котором он будет размышлять в «Иностранных событиях» 1873 г. Это обращение к «работникам» очевидно коррелирует с названием работы Энгельса «О положении рабочего класса в Англии» и свидетельствует о том, что Достоевский имел достаточно отчетливое представление об основном адресате учения Маркса и Энгельса.

Далее в письме также обозначена коллизия «Рима» и «Карла Маркса»: «социалисты и революционеры», которые стремятся «истребить христианскую веру».

И наконец, фраза о том, что «большие государства уничтожить и поделывать маленькие», является прямым обращением к антиимперской позиции Бакунина, совершенно для Достоевского неприемлемой. «Здесь я за границей окончательно стал для России – совершенным монархистом <...> главный и величайший факт нашей истории <...> мысль о всеславянском значении Петра», – написал Достоевский весной 1868 г. А. Н. Майкову из той же Женевы [Там же, с. 281]. Имперское сознание писателя, восходящее к исторической деятельности Петра I, оформилось уже в Сибири, и эта позиция оставалась неизменной: «наша политическая идея, завещанная еще Петром». Причем в контексте европейской жизни 1860-х гг. имперская идея Петра в восприятии Достоевского уточняется как «всеславянская». Достоевский противопоставляет «социалистов и революционеров», «Карла Маркса и Бакунина» не только «Риму», «христианской вере», но и Российской империи, созданной Петром I.

Карл Маркс тоже воспринимал Россию как империю, империю Петра I, которая, уже с его точки зрения, угрожает современному европейскому политическому порядку. Свое отношение к России Маркс выразил в работе «Разоблачения дипломатической истории XVIII в.» (1856–1857) [Маркс, 1989], посвященной в основном вопросу создания и упрочения России как империи. Не случайно он постоянно именует здесь Россию «Московией» [Там же, с. 3 и др.], по названию ее древней столицы. В работе привлечен обширный материал русской истории, начиная с Древней Руси, многочисленные факты российско-европейских связей XVIII в., однако в центре его исторического анализа – две эпохи, татаро-монгольское иго и правление Петра I, поскольку еще одной важной особенностью отношения Маркса к России является его абсолютное убеждение в ее «азиатской» природе: «Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства» [Там же, с. 11]. Именно «школа монгольского рабства» и легла в основу империи Петра I, по мысли Маркса: «Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира» [Там же]. Так Петр предстает прямым наследником Чингисхана,

и созданная им империя – азиатская по своей природе и сущности: «Петр Великий действительно является творцом современной русской политики. Но он стал ее творцом только потому, что лишил старый московитский метод захватов его чисто местного характера, отбросил все случайно примешавшееся к нему, вывел из него общее правило, стал преследовать более широкие цели и стремиться к неограниченной власти, вместо того чтобы устранять только известные ограничения этой власти. Он превратил Московию в современную Россию тем, что придал ее системе всеобщий характер» [Маркс, 1989, с. 10]. Именно в имперской и азиатской природе России Маркс находил реальную угрозу современному европейскому миру, в том числе миру близких ему концепций и идей: «она угрожает миру восстановлением всемирной монархии» [Там же, с. 3].

В контексте современных трудов Эдварда Саида и его последователей восприятие Карлом Марксом России как азиатской империи представляется предельно актуальным [Российская империя..., 2005]. Но этот же научный контекст (от Карла Маркса до Марка Бассина, Адиба Халида, Натаниэля Найта, Марии Тодоровой и др.) позволяет ярче и отчетливее высветить специфику имперской позиции Достоевского, которая нашла наиболее развернутое выражение в материалах «Дневника писателя» 1877–1878 г., посвященных русско-турецкой войне. Они свидетельствуют о том, что «восточная» проблематика, даже заданная глубоко волновавшей писателя войной, не была для него самоценной: «...восточный вопрос <...> есть и славянский вместе»; «...восточное христианство (NB. сущность Восточного вопроса)», – утверждает писатель [Достоевский, 1984, т. 26, с. 30]. Кульминацией размышлений Достоевского о «восточном вопросе» становится (вновь!) обращение к исторической имперской миссии Петра I, связанной с царством Московским, как это было и у Карла Маркса. Но там, где у Маркса – азиатская империя, у Достоевского – «славянский вопрос» о «восточном христианстве»: «Восточный вопрос (то есть и славянский вместе) <...> родился он при первом сплочении великорусского племени в единое русское государство, то есть вместе с царством Московским. Восточный вопрос есть исконная идея Московского царства, которую Петр Великий признал в высшей степени и, оставляя Москву, перенес с собой в Петербург. Петр в высшей степени понимал ее органическую связь с русским государством и с русской душой. Вот почему идея не только не умерла в Петербурге, но прямо признана была как бы русским назначением всеми преемниками Петра. Вот почему ее нельзя оставить и нельзя ей изменить. Оставить славянскую идею и отбросить без разрешения задачу о судьбах восточного христианства (NB. сущность Восточного вопроса) – значит всё равно что сломать и вдребезги разбить всю Россию, а на место ее выдумать что-нибудь новое, но только уже совсем не Россию. Это было бы даже и не революцией, а просто уничтожением, а потому и немыслимо даже, потому что нельзя же уничтожить такое целое и вновь переродить его совсем в другой организм» [Там же]. «Сущность Восточного вопроса», по Достоевскому, – «восточное христианство»; отсюда, с его точки зрения, – христианская историческая миссия Российской империи, восходящая к Петру I. Поэтому сформированное в Женеве в 1868 г. представление о «всеславянском значении Петра» на фоне русско-турецкой войны получает окончательную формулировку: Россия как «Всеславянская империя» [Там же, с. 79].

Наконец, в январском «Дневнике писателя» за 1881 г., который стал его завещанием, дан окончательный ответ Достоевского на вопросы, заданные Марксом и Энгельсом мировому сообществу: «Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов *всесветным единением во имя Христова*. Вот наш русский социализм!» [Достоевский, 1984, т. 27, с. 19].

Список литературы

- Бакунин М. А. Речь на Конгрессе Лиги мира и свободы в 1867 г. // Бакунин М. Избр. соч.: В 5 т. Пб.; М., 1920. Т. 3. С. 99–104.
- Белов С. В. Энциклопедический словарь «Ф. М. Достоевский и его окружение»: В 2 т. СПб.: Алетейя, 2001. Т. 2. 544 с.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1980. Т. 21. 551 с.; 1984. Т. 26. 518 с.; 1984. Т. 27. 463 с.; 1985. Т. 28₁. 551 с.; 1985. Т. 28₂. 552 с.
- Захаров В. Н. Идеи «Времени», дела «Эпохи» // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Канонические тексты / Под ред. В. Н. Захарова. Петрозаводск: Изд-во Петрозавод. гос. ун-та, 2005. Т. 5. С. 695–712.
- Гуйдо К. Достоевский-экономист. Очерки по социологии литературы. М., 2012. 224 с.
- Маркс К. Разоблачения дипломатической истории XVIII в. // Вопросы истории. 1989. № 4. С. 3–48.
- Новикова Е. Г. Экономическая проблематика публицистики Достоевского // Достоевский и журнализм / Под ред. В. Н. Захарова, К. А. Степаняна, Б. Н. Тихомирова. СПб: Дмитрий Буланин, 2013. С. 58–75. (Dostoevsky Monographs; вып. 4)
- Политическая экономия настоящего и будущего; соч. Бруно Гильдебранда. Перевод М. П. Щепкина. Санкт-Петербург, 1860 г. (280 стр. in 8) // Время. 1861. № 3, март. С. 73–96.
- Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология / Сост. П. Верт, П. С. Кабытов, А. И. Миллер. М.: Новое издательство, 2005. 696 с. (Новые границы)
- Силантьев И. В., Созина Е. К. Нарратив в литературе и истории. На материале дневниковой прозы А. Герцена 1840-х гг. // Сибирский филологический журнал. 2013. № 3. С. 58–68.
- Engels F. Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Leipzig, Verlag Otto Wigand, 1845, 358 S.
- Hildebrand B. Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft. Frankfurt am Main, 1848, 329 S.

E. G. Novikova

Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation, elennov@mail.ru

F. M. Dostoevsky about Karl Marx and Friedrich Engels

It is the first time when the works of F. M. Dostoevsky related to Karl Marx and Friedrich Engels are analyzed systematically. The paper reveals that the book “The condition of the working class in England” by Friedrich Engels is interpreted within the economic context while the considerations on Karl Marx are interwoven with geopolitical thoughts of Dostoevsky on the historical destiny of Christianity and the Russian Empire.

The ideas of Marx and Engels became of particular interest to Dostoevsky in the 1860s. In the March issue of the journal of Dostoevsky brothers “Vremia” (“Time”) 1961, there was an anonymous review of the book “Political economy of the present and future” by German economist Bruno Hildebrand. The book was translated into Russian by M. P. Shchepkin and published in 1860. It is a detailed overview of Germanic economic thought, with special attention to the book “The condition of the working class in England” by Engels. Hildebrand and anonymous reviewer of the journal “Vremia” (“Time”) sharply criticized this work of Engels. In the column “Foreign events” published in “Grazhdanin” (“The Citizen”), Dostoevsky interpreted modern European political events as an opposition between Christianity and “Karl Marx and Bakunin” pointing that the latter would succumb. Marx and Bakunin are entwined into Dostoevsky’s

thoughts on Russia as an Empire and Peter I as its founder, on the fate of Orthodox as an “Eastern Christianity.” Dostoevsky states that faith in Christ is “our Russian socialism.”

Keywords: F. M. Dostoevsky, Karl Marx, Friedrich Engels, M. A. Bakunin, “Vremia” (“Time”), “Grazhdanin” (“The Citizen”).

DOI 10.17223/18137083/68/7

References

Bakunin M. A. Rech' na Kongresse Ligi mira i svobody v 1867 g. [Speech at the congress of the league of peace and freedom in 1867]. In: Bakunin M. *Izbr. soch.*: V 5 t. [Selected works: In 5 vols]. Petersburg, Moscow, 1920, vol. 3, pp. 99–104.

Belov S. V. *Entsiklopedicheskiy slovar' "F. M. Dostoyevskiy i ego okruzheniye"*: V 2 t. [Encyclopedical dictionary “F. M. Dostoevsky and his surrounding”: in 2 vols]. St. Petersburg, Aleteiya, 2001, vol. 2, 544 p.

Dostoyevskiy F. M. *Poln. sobr. soch.*: V 30 t. [Complete works: In 30 vols]. Leningrad, Nauka, 1980, vol. 21, 551 p.; 1984, vol. 26, 518 p.; 1984, vol. 27, 463 p.; 1985, vol. 28₁, 551 p.; 1985, vol. 28₂, 552 p.

Engels F. *Die Lage der arbeitenden Klasse in England*. Leipzig, Verlag Otto Wigand, 1845, 358 p.

Guido C. *Dostoyevskiy-ekonomist. Ocherki po sotsiologii literatury* [Dostoevsky – economist. An outline of literature sociology]. Moscow, 2012, 224 p.

Hildebrand B. *Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft*. Frankfurt am Main, 1848, 329 p.

Marx K. Razoblacheniya diplomatičeskoi istorii 18 v. [Revelations of the diplomatic history of the 18th century]. *Voprosy istorii*. 1989, no. 4, pp. 3–48.

Novikova E. G. Ekonomicheskaya problematika publitsistiki Dostoyevskogo [Economic theme in Dostoevsky's publicist works]. In: V. N. Zakharov, K. A. Stepanyan, B. N. Tikhomirov (Eds). *Dostoyevskii i zhurnalizm* [Dostoevsky and journalism]. St. Petersburg, Dmitrii Bulanin, 2013, pp. 58–75. (Dostoevsky Monographs; iss. 4).

Politicheskaya ekonomiya nastoyashchego i budushchego; soch. Bruno Gil'debranda. Perevod M. P. Shchepkina [Political economy of the present and future; work of Bruno Gil'debrand. Transl. by M. P. Shchepkin]. St. Petersburg, 1860 g. (280 str. in 8). *Vremya*, no. 3, March, pp. 73–96.

Rossiyskaya imperiya v zarubezhnoy istoriografii. Raboty poslednikh let: Antologiya [The Russian Empire in foreign historiography. The recent works. Anthology]. P. Vert, P. S. Kabytov, A. I. Miller (Comps). Moscow, Novoe izd., 2005, 696 p. (Novye granitsy [New borders])

Silant'yev I. V., Sozina E. K. Narrativ v literature i istorii. Na materiale dnevnikovoy prozy A. Gertsena 1840-kh gg. [Narrative in literature and history. Based on prose diary by A. Herzen in the 1840s]. *Siberian Journal of Philology*. 2013, no. 3, pp. 58–68.

Zakharov V. N. Idei “Vremeni”, dela “Epokhi” [Ideas of “Time”, affairs of “Epoch”]. In: Dostoyevskiy F. M. *Pol. sobr. soch. Kanonicheskiye teksty* [Dostoevsky F. M. Complete works. Canonical texts]. V. N. Zakharov (Ed.). Petrozavodsk, PetrSU Publ., vol. 5, pp. 695–712.

УДК 821.161.1
DOI 10.17223/18137083/68/8

А. А. Пономарева

Новосибирский государственный педагогический университет

**Сюжет «начинающая писательница-провинциалка – известный литератор» в беллетристике середины XIX века
(роман Н. Д. Хвощинской «Встреча»)**

Исследован сюжет «начинающая писательница-провинциалка – известный литератор» в беллетристике середины XIX в. Установлено, что появление этого сюжета обусловлено характерной тенденцией времени: массовым выходом женщин-писательниц на литературную сцену. На основе переписки Н. Д. Хвощинской, Е. А. Ладыженской, Н. С. Соханской определены типологические черты положения, в котором оказывалась провинциалка, решившая начать литературную карьеру: для того чтобы стать полноценной участницей литературной жизни, она, как правило, завязывала знакомство через переписку с известным столичным литератором. Ситуация развивалась одинаково вне зависимости от характера и взглядов адресанта и адресата: литератор принимал деятельное участие в жизни молодого таланта. Подробно проанализирована разработка этого биографического сюжета в романе Н. Д. Хвощинской «Встреча» («Отечественные записки», 1860).

Ключевые слова: Н. Д. Хвощинская, роман «Встреча», писательница-провинциалка, биографический сюжет, беллетристика, середина XIX века, женская эмансипация.

Отличительная тенденция литературного процесса середины XIX в. – массовый выход женщин-писательниц на литературную сцену¹. Если в первой половине XIX в. занятие литературной деятельностью считалось предосудительным для женщины, писательницы назывались «безобразными кометами», вырвавшимися из сферы своего пола, «монстрами», забывшими свое предназначение, то в рассматриваемое время взгляды образованной части общества кардинально изменились. Общим местом стало заключение о том, что мужчины и женщины имеют

¹ Назовем лишь некоторые имена женщин-писательниц, публиковавшихся в середине XIX в.: Е. И. Вельтман, А. Я. Панаева, Е. Тур, А. Я. Марченко, С. В. Энгельгардт, Е. Н. Ахматова, Е. П. Майкова, Н. С. Соханская, А. Гернер, Ю. В. Жадовская, Н. Д. и С. Д. Хвощинские и мн. др.

Пономарева Анастасия Александровна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (ул. Виллюйская, 28, Новосибирск, 630126, Россия; anastasiya.ponomareva.92@inbox.ru)

равные права на литературную деятельность. Труд писателя перестал восприниматься как «признак вздорной мечтательности от безделья» [Обозрение русской литературы..., 1851, с. 50] и вошел в число дельных женских занятий. В середине XIX в. активными участницами литературной жизни становятся не только те писательницы, которые непосредственно связаны со столичными литературными кругами (родственницы литераторов), но и провинциалки.

Одна из писательниц-провинциалок, появившаяся в конце 1840-х гг. на литературной «сцене», – Н. Д. Хвоцинская (В. Крестовский-псевдоним). Ее творчество занимает важное место в истории русской литературы середины и второй половины XIX в. Современники называли ее «первой русской писательницей» [Зотов, 1889, с. 103] и ставили в один ряд с И. С. Тургеневым [С. С., 1863; Семевский, 1890]. Как писал В. Чуйко, автор одного из некрологов, посвященных Н. Д. Хвоцинской, знакомство с некоторыми ее романами считалось «обязательным для всякого русского человека» (цит. по: [Тыминский, 1997, с. 4]). По данным А. И. Рейтблата, в конце 1850-х – начале 1860-х гг. всеобщий интерес вызвали романы «Баритон» (1857), «В ожидании лучшего» (1860), повесть «Стоячая вода» (1862) [Рейтблат, 2009, с. 188–191].

Творчество Н. Д. Хвоцинской многократно становилось объектом специальных исследований: рассматривались эстетические взгляды писательницы [Строганова, 2006], поэтика отдельных произведений ([Тыминский, 1997; Лукашевич, 2011] и др.). Наша работа посвящена малоисследованной теме: репрезентации в художественном творчестве Н. Д. Хвоцинской литературно-общественных тенденций своего времени, в частности, ситуации, связанной с массовым выходом провинциалок на литературную «сцену».

Задача исследования – на основе переписки женщин-писательниц выявить типологические черты положения, в котором оказывалась провинциалка, решившая начать литературную карьеру, и проанализировать, каким образом оно «разрабатывается» в романе «Встреча» (1860).

Творческие биографии провинциальных писательниц похожи: для того чтобы стать полноценными участницами литературной жизни, они, как правило, завязывали знакомства через переписку с известными столичными литераторами. Ситуация развивалась похоже вне зависимости от характера и взглядов адресанта и адресата: литератор принимал деятельное участие в трудной судьбе молодого таланта и помогал начать литературную карьеру.

Основной мотив корреспонденции женщин-писательниц – трудность реализации своего творческого потенциала. Конечно, об этом пишут не только провинциалки, но и женщины, приближенные к столичным литературным кругам. А. Я. Панаева, в частности, признается, что сначала ее не воспринимали как писательницу. В. Г. Белинский не мог поверить, что она – автор повести «Семейство Тальниковых», посвященной злободневной теме детского воспитания:

Если бы Некрасов не назвал вас, а потребовал бы, чтобы я угадал, кто из моих знакомых женщин написал «Семейство Тальниковых», уж извините, я ни за что не подумал бы, что это вы. <...> Такой у вас вид: вечно в хлопотах о хозяйстве. <...> Я, грешный человек... думал, что вы только о нарядах думаете [Панаева, 1956, с. 179].

Несмотря на общественное мнение, А. Я. Панаевой удастся найти поддержку в своем кругу. В частности, она отмечает, что важную роль в ее творческом становлении сыграл В. Г. Белинский. Она неоднократно вспоминает совет, данный критиком: «Плюньте на всех, пишите и пишите!» [Там же].

Провинциалкам оказывается еще труднее реализовать творческий потенциал: в отличие от столичных писательниц, у них нет «единомышленников». Чаще всего в письмах делается акцент на том, что окружение холодно или даже враждебно

относится к их литературной деятельности. В. И. Семевский, автор одной из первых статей о жизни и творчестве Н. Д. Хвощинской, отмечает, что родственники писательницы противоречиво отреагировали на публикацию ее стихотворений:

Отец Н. Д. очень сочувствовал ее литературной деятельности; мать, напротив, была очень огорчена выступлением дочери на литературное поприще, горько плакала и говорила: «Дай бог, чтобы у нее это прошло!» [Семевский, 1890, с. 54–55]

Заметим, что П. Д. Хвощинская пыталась опровергнуть картину, нарисованную В. И. Семевским. В биографическом предисловии к собранию сочинений старшей сестры она, в частности, давала следующий комментарий описанной реакции родителей:

О матери нашей почти не упоминается автором статьи в «Русской мысли», а где и говорится о ней, там она рисуется совершенно равнодушной и даже противодействующей литературным занятиям моей сестры. Этого никогда не было, да и не могло быть. Источник, из которого почерпнуты эти сведения, так же несправедлив, как и враждебен [Хвощинская, 1890].

В другой части предисловия П. Д. Хвощинская тем не менее признавалась, что сестре не хватало профессиональной оценки произведений и поддержки со стороны более опытных литераторов.

Современница Н. Д. Хвощинской, Н. С. Соханская, также подчеркивала, что ее некому было поддержать в начале литературного пути. Мать и тетя, единственные люди, с кем она ежедневно виделась на уединенном хуторе, куда переселилась после выпуска из института, равнодушно приняли ее идею посвятить себя литературе:

– Да как же, тетенька, писать-то такие пошлости, – вздор-то такой? Да это бы я лучше написала! (речь идет о современной журнальной литературе. – А. П.)

– Ну и пиши.

Я готова была вспылить. – «Ну и пиши», как будто все равно: «ну чулок важи!». Может быть, я и сама думаю об этом; да писать – это мне казалось таким великим делом, таким неизреченным даром Божиим, что и вспоминать о нем... Да мне ли иметь его? [Соханская, 1896, с. 102]

Убедившись в своем таланте, провинциалки начинали искать руководителя, который мог помочь им выйти на литературную «сцену». Как правило, они обращались с просьбой к известным столичным литераторам. Так, например, Н. С. Соханская предложила эту роль П. А. Плетневу. Свое первое письмо к нему она начала характерным образом:

Петр Александрович! Будьте моим руководителем! моим прибежищем! Подать женщине руку помощи – это так благородно, так достойно мужчины! Судите мою повесть как можно строже – я прошу вас, и решите, могу ли я что-нибудь? И если могу, дайте мне место в вашем журнале. Я жду вашего ответа, скажите мне: да или нет; только скажите что-нибудь. Это ужасно, если вы оттолкнете женщину, которая шла к вам с такою полною доверенностью... Но нет! что-то говорит мне, что в вас я найду тот именно прекрасный образец участия, о котором так отрадно мечтать молодому сердцу [Там же, с. 1].

П. А. Плетнев, заинтересованный не произведениями писательницы (повести «Графиня Д.» и «Метель» ему не понравились; по его мнению, в них проявлялась ориентация на «французскую школу»), а ее письмами, решил взять на себя роль

литературного наставника. Он попросил корреспондентку описать ее жизнь: семью, обучение в институте, домашние занятия. Знакомясь с фрагментами автобиографии, П. А. Плетнев указывал на их сильные стороны. В частности, в одном из писем он сравнивал стилистическую манеру начинающей писательницы с пушкинской.

Еще более ярко «ученическая» позиция выражена в письмах Е. А. Ладыженской к И. С. Тургеневу. Первоначальным поводом для переписки послужило желание провинциальной писательницы найти себе «умственное занятие». В первом письме она признается, что ей «опротивели романы французской школы» и «английских юмористов» и что, вместо того, чтобы тратить время на чтение скучной европейской литературы, она хочет переписываться с любимым русским писателем. Основные темы ее первых писем – современная литература и значение И. С. Тургенева в ней. Однако вскоре Е. А. Ладыженская обращается к адресату с просьбой познакомиться с ее литературными опытами и дать им беспристрастную оценку. Как и Н. С. Соханская, писательница всячески подчеркивает неопытность в литературных делах:

Моей повести я Вам еще не могу прислать, конец не совсем переписан – а посылаю Вам начало романа. Если, как я полагаю, Вы найдете, что я не имею таланта, – скажите прямо, без всяких «ménagements»: я Вам даю честное слово, что не ставлю в этом своего самолюбия, я пишу так, от нечего делать, и с тех пор, как переписываюсь с Вами, совсем бросила [Никонова, 1966, с. 367].

Не дождавшись ответа И. С. Тургенева, Е. А. Ладыженская снова отправляет письмо с литературными рассуждениями, прося в постскрипуме вернуть ей тетрадь с сочинением. В результате разбор фрагмента приходит. Содержание письма И. С. Тургенева неизвестно, но из ответа Е. А. Ладыженской понятно, что он оценен невысоко:

Благодарю Вас, Иван Сергеевич, за Ваше суждение о моем романе – мне польстило, что Вы его нашли достойным критики. Но чтоб довершить Ваше благодеяние, недостаточно показать мне раны, надобно указать и на лекарство; словом, я хочу попросить у Вас несколько объяснений и надеюсь, что Вы мне в них не откажете [Там же, с. 370].

После этой просьбы Е. А. Ладыженская, приняв на себя роль тургеневской ученицы, пересказывает сделанные ей замечания, сопровождая их комментариями-оправданиями. В принятой ученической манере она просит оценить еще одно ее произведение, повесть «Три женщины». Помня урок И. С. Тургенева, писательница пытается предугадать замечания:

Посылаю Вам свою повесть, она в другом роде, но, кажется, еще хуже и опять-таки нравоучительна. Я думаю, что Вы найдете в повести моей слог менее небрежным; я ее почти всю переписывала сама и успела несколько поправить. Но галлицизмы, верно, опять встретятся, это наследственное зло. Также и чувство, кажется, часто переходит в сентиментальность; однако, когда я писала, я **так** чувствовала в самом деле, но у меня **внешнее** выражение мыслей никогда не соответствует **внутреннему** идеалу. И это нагоняет на меня какое-то тоскливое чувство – понимаете ли Вы это? [Там же, с. 270] (выделено автором. – А. П.).

На этом фоне «ученическое» поведение Н. Д. Хвошинской отличается. Известно, что важную роль в начале ее карьеры сыграло знакомство с В. Р. Зотовым, принявшим решение представить публике новый женский талант. В своих воспо-

минаниях литератор подробно описал обстоятельства, при которых он узнал о нем:

Между множеством стихотворных посланий в редакцию «Литературной газеты» прислана была летом (1847 г. – *А. П.*) целая тетрадь из Рязани со стихами, подписанными неизвестным в литературе женским именем. Хотя на столе редакции возвышались кипы одиночных стихотворений, но правило: *place pour dames!* Требовало немедленного одоления более чем полсотни пьес, писанных мелким, явно женским, но в то же время чрезвычайно своеобразным почерком <...> с первых же строк был поражен несомненным дарованием поэтессы. Под формой стиха далеко не безукоризненного, местами вовсе не отделанного, скрывалась везде оригинальная мысль, высказывалось неподдельное, искреннее чувство. Это был положительный талант, самородок, алмаз, в котором надо было только кое-где сгладить шероховатость граней, чтобы он явился настоящим бриллиантом [Зотов, 1889, с. 94].

После публикации первых стихотворений между В. Р. Зотовым и Н. Д. Хвоцинской завязывается переписка. Предметом обсуждения становятся стилистические вопросы. По воспоминаниям литератора, ему приходилось очень подробно объяснять корреспондентке правомерность внесенных им изменений. По его свидетельству, начинающая писательница долго не соглашалась с редакторскими решениями, пыталась отстоять свои первоначальные неудачные варианты. Однако, как признается В. Р. Зотов, ему все-таки удалось убедить ее в необходимости прислушиваться к дружеским советам.

Знакомства, заведенные писательницами-провинциалками, имели разные «финалы»: Н. С. Соханская и Н. Д. Хвоцинская стали постоянными корреспондентками известных литераторов, П. А. Плетнева и В. Р. Зотова, а Е. А. Ладыженской не удалось подружиться с И. С. Тургеневым (по замечанию Т. А. Никоновой, переписка между ними прервалась, так как писателя стало тяготить ее внимание [Никонова, 1966]). Однако, несмотря на различие финалов, заведенные знакомства дали возможность провинциалкам стать заочными участниками литературной жизни.

Примечательно, что, несмотря на злободневность, ситуация, связанная с выходом провинциалки на литературную «сцену», была представлена в беллетристике середины XIX в. только однажды, причем в ироническом свете – в романе Н. Д. Хвоцинской «Встреча».

Суть фабулы этого романа можно сформулировать так: Тарнеев, молодой чиновник-беллетрист, устав от городской службы, приезжает на отдых в деревню. Соскучившись одинокой жизнью, он знакомится с соседями – помещицкой семьей (мать и три дочери, одна из которых поэтесса) и их родственницей, Александрой Ахтаровской, молодой женщиной, покинувшей мужа. Герой сразу же влюбляется в нее. В него же влюбляется поэтесса. Девушка истолковывает в свою пользу его внимание к дому и делает от его лица себе предложение. Герой, узнав о коварных планах новой знакомой, расходится с их домом и объясняется с возлюбленной. Несмотря на то, что она отвечает взаимностью, герои расстаются, так как признают невозможность быть вместе. Тарнеев после этого уезжает из поместья.

Роман «Встреча» занимает важное место в творческом наследии Н. Д. Хвоцинской. В первую очередь примечателен тот факт, что он высоко оценивался самой писательницей, обычно строго относившейся к своим произведениям. В письме к подруге О. А. Новиковой она делает характерное признание:

Скажу вам по секрету: со мной чудо. Я *люблю* (!) этот свой роман. Он, может быть, и никуда и не годится, и темен, и туманен, наконец [«Я живу от почты и до почты...», 2001, с. 100] (выделено автором. – *А. П.*).

Также примечательно, что Н. Д. Хвоцинская, недовольная отзывами критиков о романе, обращается к ряду своих постоянных адресатов (в их числе О. А. Новикова, Н. Ф. Щербина и др.) с просьбой перечитать его и высказать искреннее дружеское мнение о проблематике и персонажах. Пристальное внимание именно к этому роману она объясняет тем, что в нем есть «многое близкое... по душе», что выражается в ее сочинениях чрезвычайно редко [Там же, с. 21]². Значимо также свидетельство младшей сестры писательницы – Прасковьи Дмитриевны. По ее словам, Н. Д. Хвоцинская «...никогда не бывала довольна написанным и из всех своих произведений выше всего ценила “Встречу”» [Хвоцинская, 1892].

Любопытно, что роман, отмеченный писательницей, редко становился объектом исследований. Первый опыт его анализа принадлежит критику К. К. Арсеньеву. В работе «В. Крестовский (псевдоним)» сосредоточено особое внимание на центральном персонаже – чиновнике-беллетристе Тарнееве. По мнению критика, писательнице удалось передать характерологические особенности представителя «затерявшегося» поколения 1850-х гг.:

...это драгоценный материал для истории русской мысли в малоисследованную, сравнительно, эпоху. Люди сороковых и шестидесятых известным нам лучше, чем люди промежуточного поколения, к которому принадлежит Тарнеев. Он не «лишний человек» в том смысле, в каком понимал это выражение Тургенев [Арсеньев, 1888, с. 301].

По мысли К. К. Арсеньева, с «лишним человеком» Тарнеева объединяет только то, что ему также «не оказывается места в обществе» [Там же]. Специфика же состоит в том, что он, в отличие от тургеневского типа, готов с большой радостью выполнять «скромное предназначение», но, столкнувшись с пустотой бытия, разочаровывается и опускает руки.

Также внимание ученых привлекали героини романа – Александра Ахтаровская и Людмила Пантелеева. Довольно подробный анализ их характерологии представлен в статье В. Л. Погребной «Проблемы женской эмансипации в романе Н. Д. Хвоцинской “Встреча”». В ней сделан вывод о новаторском подходе в изображении эмансипированной женщины: «Писательница в своем творчестве изобразила различные полюса эмансипированности. В романе “Встреча” противопоставлены образы истинно эмансипированной, с точки зрения писательницы, Александры Ахтаровской... и Людмилы Пантелеевой, которая видит эмансипацию в слепом подражании, следовании моде, своеобразной игре» [Погребная, 1990, с. 60]. По нашему мнению, новаторство подхода Н. Д. Хвоцинской заключается не в том, что она представила два «полюса эмансипированности»³, а в том, что она задала нехарактерный для середины XIX в. иронический ракурс изображения женщины-писательницы.

В одном из писем к О. А. Новиковой Н. Д. Хвоцинская признавалась, что прототипом Людмилы Пантелеевой послужила она сама:

Много обнимаю вас за участие, которое вы приняли в «Встрече». Вообразите только, что я никогда не видела ни одной писательницы, следовательно *могла* писать ее только с себя, – но смею похвалиться: во мне нет ни одной черты моего создания. Я до конца была в страхе, что выйдет шарж –

² Нужно заметить, что никакое другое произведение середины XIX в. не было удостоено такого пристального внимания со стороны Н. Д. Хвоцинской. Даже высоко оцененную современниками повесть «Дневник сельского учителя» она упоминает только между делом в письмах к О. А. Новиковой.

³ Заметим, что в середине XIX в. был довольно распространен тип «ложно» эмансипированной героини. Он, в частности, представлен в повести Н. Д. Хвоцинской «Фразы. Деревенская история» (1855).

вышло, как вы говорите, «фотография» [«Я живу от почты и до почты...», 2001, с. 108] (выделено автором. – А. П.).

Однако, несмотря на признание писательницы, нельзя сказать, что сюжетная линия ее героини построена исключительно на автобиографическом материале. Примечательно с этой точки зрения наблюдение О. А. Новиковой: «вышло, как вы говорите, “фотография”» [Там же]. Корреспондентка, не обратив внимания на автобиографическую подоплеку положения, обрисованного в романе, сделала акцент на его «типологичности». Далее мы разовьем это наблюдение О. А. Новиковой и рассмотрим сюжетную линию Людмилы Пантелеевой на фоне биографических историй писательниц-провинциалок середины XIX в. (как Н. Д. Хвоцинской, так и ее современниц – Н. С. Соханской, Е. А. Ладыженской и др.).

Людмила Пантелеева, героиня романа «Встреча», действует по описанной выше модели: обнаружив у себя литературный талант, она обращается к более опытному литератору с просьбой помочь ей его развить. В качестве «наставника» выбирается Тарнеев, чиновник-беллетрист, составивший себе имя в литературе повестями и романами на злободневные темы (женская эмансипация, конфликт отцов и детей и т. д.). В отличие от рассмотренных биографических «сюжетов», в романе Н. Д. Хвоцинской представляется очное знакомство писателей: любимый романист героини, приехав на время отпуска в деревню, становится постоянным гостем в ее доме.

Как и во всех биографических «сюжетах», начинающая писательница-провинциалка жалуется на трудность самореализации. Людмила признается Тарнееву, что вынуждена вести ежедневную борьбу с пошлыми родственницами, хозяйственные занятия которых мешают ее литературной работе: «...вседневные дрязги... толки Бог знает о чем, узкие понятия... Так хочется всему этому сказать свое прямое, смелое слово» [Хвоцинская, 1860, т. 129, с. 325]. Однако в этом случае «борьба» Людмилы с окружением представляется в ироническом свете. Герой обращает внимание на несоответствие рассказов героини действительности. В частности, он замечает, что оппозиционной партии, которая препятствует ее творческой самореализации, нет, писательницу не притесняют и не заставляют заниматься хозяйством, напротив, мать переносит все бытовые хлопоты на младших дочерей.

Также в романе Н. Д. Хвоцинской иронически переосмысляются «наставническо-ученические» отношения, обычно устанавливавшиеся между начинающей писательницей и опытным литератором. В романе подчеркивается, что герой против своей воли принимает роль литературного наставника героини. Центральный эпизод биографических сюжетов – литературные «уроки», посвященные разбору произведений начинающей писательницы, – в рассматриваемом случае преобразуется: понимая, что давать советы бессмысленно, герой не старается развить литературный талант новой знакомой. Прослушав ее стихотворения, он из вежливости делает несущественные замечания о переизбытке в них шипящих звуков. Реакция начинающей поэтессы традиционна: она начинает ссылаться на свою неопытность, оправдываться и просить героя помочь ей исправить неудачные места, не замечая, что он смеется над ней.

В романе Н. Д. Хвоцинской подчеркивается, что герои имеют различные взгляды на задачи литературной деятельности. Людмила развивает идею о том, что в военное время (события происходят в 1854 г.) писатель должен приобщиться к великому делу: с помощью печатного слова поспособствовать развитию патриотических настроений в обществе. Причем героиня настаивает на том, что литературные занятия в большей степени подходят именно женщинам:

Теперь такое время, что всякий спешит высказать свою мысль и высказывает ее с неограниченной свободой, слово звучит и льется... У кого есть

оно, заветное, тот должен сказать его, сказать всем. Женщины пользуются этим правом и доказывают, что у них, именно у них, таилась сила слова могучего, родного... Они все поют! [Хвошинская, 1860, т. 130, с. 53].

По существу, в романе переосмыслиется тенденция, характерная для литературного процесса времени Крымской войны. Заметим, что в середине 1850-х гг. на литературную сцену хлынул целый поток непрофессиональных литераторов с заметками о театре военных действий, полунаучными компиляциями о Крыме и военных противниках, патриотическими драмами, повестями, романами и стихотворениями. Периодические издания единодушно отмечали, что отказываются оценивать форму таких сочинений: их основное достоинство состоит в высоком патриотическом чувстве, которое они вызывают у читателя. В романе высвечивается другая сторона этой ситуации: акцент делается на том, что Людмила только разыгрывает роль патриотически настроенной поэтессы. Обращение к остроактуальной тематике представляется ей гарантией выхода на литературную «сцену». Театральному (в контексте романа искусственному) поведению героини противопоставлена «естественная» реакция героя на современные события. В отличие от Людмилы, Тарнеев не затрагивает патриотическую тематику. Он читает хроники войны и плачет над ними вместе с другой героиней, Александрой Ахтаровской.

Также учитель и ученица не совпадают в выборе литературной программы. Людмила Пантелеева выражает приверженность к концепции «чистого искусства». По ее мнению, художественное произведение должно быть лишено связи с действительностью. Писатель, по ее мысли, должен не наблюдать за явлениями реальной жизни, а фантазировать: забывая о земле и людях, создавать идеальные миры. Эти миры открываются поэтессе в момент вдохновения. Поэтическое озарение представляется в ироническом свете: оно сравнивается с раздражением нервов. В этом состоянии, по словам Людмилы, «живется как-то разумнее, необыкновенно». Последствием, по ее признанию, являются чернильные пятна на пальцах, свидетельствующие о том, что ей удалось сказать нечто особенное, что «без этого так бы и умерло» [Там же, с. 25]. С иронией описывается то, каким образом Людмила ожидает вдохновение: она запускает руки в волосы, закатывает глаза и в таком положении придает фантазиям о любви, дружбе, гражданском долге и т. д.

В романе подчеркивается несостоятельность литературной программы, развиваемой героиней. Несмотря на очевидное пренебрежение к действительности, Людмила черпает из нее сюжеты. Ее стихотворения связаны с узкозлободневными ситуациями: они являются откликами на ссоры с родственницами (разговоры младших сестер мешают ее работе; молодой человек, их деревенский сосед, увлекается другой и т. д.).

Тарнеев придерживается другой литературной программы: он близок эстетическим позициям «натуральной школы». Описание его творческого метода строится под влиянием идей В. Г. Белинского. В романе подчеркивается, что герой — «обыкновенный талант». В отличие от «гения», который ставит «действительную, будничную жизнь» только «для соображения в углу мастерской» и «полный своего идеала... творчески облакает его силой и красотой, счастлив и наслаждается своим трудом» [Там же, т. 129, с. 276–277], Тарнеев, напротив, старается как можно точнее скопировать действительность:

Он попробовал еще род занятия, которое его друзья советовали ему давно и которое могло бы в настоящее время несколько заменить ему их беседу и оживить воображение: он стал писать повести и даже печатать их. Велико или нет было его дарование, но в своих произведениях он выражал то, что волновало его в жизни других. <...> Тарнеев не творил,

а только списывал действительную жизнь, как она есть, под влиянием того впечатления, которое она производила. Такой труд не может быть наслаждением: он только повторение на бумаге того, что подмечено и испытано в жизни, что уже довольно успело надоесть, огорчить и измучить... Тарнеев писал; потому, что все-таки это было средство что-нибудь высказать, может быть, отозваться на чье-нибудь убеждение, может быть, заставить разделить свои убеждения, и, хотя менее всего надеялся что-нибудь изменить, что-нибудь исправить, но ему казалось, что, высказываясь, он исполняет хотя часть своего долга уже тем, что не молчит... [Хвоцинская, 1860, т. 129, с. 276–277].

Творческий метод Тарнеева описывается не только повествователем, но и им самим. Герой признается в том, что литературная деятельность «обыкновенных талантов» в целом несостоятельна. С его точки зрения, произведения, точно «копирующие» действительность, не представляют художественной ценности ни для современников, ни для потомков. По его мнению, беллетристы имеют только историческое значение, «как изобразители, каждый какой-нибудь минуты своего времени» [Там же, с. 323].

На закате карьеры Тарнеев начинает развивать новую литературную программу: по его убеждению, литература должна не копировать, а преобразовать действительность, т. е. иметь утилитарный характер. Однако в романе подчеркивается, что, несмотря на то, что литератор нащупывает новый поворот в отношениях литературы к действительности, он оказывается неспособным реализовать его. Тарнеев отмечает, что ему не хватает силы таланта создать такие произведения, которые бы наставляли или утешали читателей, а не растревляли их раны точным изображением общественных пороков.

Еще одна особенность разработки биографического сюжета в романе – актуализация обычно редуцированной любовной коллизии. Для Людмилы Тарнеев представляется не столько литературным наставником, сколько выгодным женихом, которого она пытается поймать: поэтесса сочиняет и отправляет ему стихотворения, в которых недвусмысленно признается в любви, обращает внимание соседок на его частые посещения, подчеркивает общность их литературных взглядов. Однако ей не удается увлечь молодого человека: он опровергает предложение соседки, выполнившей без его согласия роль свахи, и перестает посещать дом Пантелеевых.

Итак, обращение к биографическому материалу середины XIX в. позволило Н. Д. Хвоцинской не только разнообразить сюжетный «репертуар» своего времени, введя новую сюжетную «комбинацию», отражающую одну из характерных тенденций своего времени – массовый выход писательниц-провинциалок на литературную «сцену», но и включиться с некоторым запозданием в эстетические споры, которые велись в периодических изданиях 1850-х гг. Как показано в нашей работе, писательница пытается указать на слабые стороны актуальных литературных программ (концепции «чистого искусства», идей «натуральной школы») и сформулировать свое мнение об отношении литературы к действительности. В романе – в единственном произведении Н. Д. Хвоцинской середины XIX в. – прямо выражаются эстетические взгляды писательницы: до него они формулировались в письмах к близким друзьям. С этой точки зрения примечательно, что Н. Д. Хвоцинская вскоре после публикации «Встречи» обращается к новой для себя роли – литературного критика. Однако Н. Д. Хвоцинская «опоздала» с публикацией романа, что отчасти объясняет отрицательные отзывы современников. Темы, злободневные в 1850-е гг. (выход женщин-писательниц на литературную «сцену», литература и Крымская война, значение «обыкновенных талантов» в литературе и т. д.), в 1860 г. утрачивают «остроту»: в это время в центре внимания находится уже другая эстетическая и социальная проблематика.

Список литературы

- Арсеньев К. К. В. Крестовский (псевдоним) // Арсеньев К. К. Критические этюды по русской литературе: В 2 т. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1888. Т. 1. С. 255–350.
- Зотов В. Н. Д. Хвощинская (Из воспоминаний старого журналиста) // Исторический вестник. 1889. № 10. С. 93–108.
- Лукашевич М. Роман В. Крестовского (Надежды Хвощинской) «Баритон» на фоне литературной традиции изображения семинариста // Вестн. РГГУ. Сер. История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2011. № 7 (69). С. 133–146.
- Никонова Т. А. Е. А. Ладыженская // Тургеневский сборник: Материалы к полному собр. соч. и писем И. С. Тургенева / Глав. ред. М. П. Алексеев. М.; Л.: Наука, 1966. Вып. 2. С. 354–372.
- Обозрение русской литературы за 1850 г. II. Романы, повести, драм. произведения, стихотворения // Современник. 1851. Т. 25. С. 33–63.
- Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания / Вступ. ст. К. Чуковского; примеч. Г. В. Краснова, И. М. Фортунатова. М.: Гослитиздат, 1956. 508 с.
- Погребная В. Л. Проблемы женской эмансипации в романе Н. Д. Хвощинской «Встреча» // Культура народов Причерноморья. 2005. № 69. С. 57–60.
- Рейтблат А. И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по историческое социологии русской литературы. М.: НЛЮ, 2009. 448 с.
- С. С. [Дудышкин С. С.] Скромное имя. За стеной. Рассказ В. Крестовского (Отечественные записки. 1862 г. Октябрь) // Библиотека для чтения. 1863. Т. 175. С. 26–42.
- Семевский В. И. Н. Д. Хвощинская-Зайончковская (В. Крестовский-псевдоним) // Русская мысль. 1890. № 10. С. 49–89.
- [Соханская Н. С.] Автобиография Н. С. Соханской (Кохановской) / Под ред. С. И. Пономарева. М.: Университетская тип., 1896. 193 с.
- Строганова Е. Н. «Прах и суета»: Женское творчество в оценках Надежды Хвощинской и ее современниц // Женский вызов: русские писательницы XIX – начала XX века / Под ред. Е. Строгановой, Э. Шоре. Тверь: Лилия Принт, 2006. С. 120–137.
- Тыминский А. И. Поэтика прозы Н. Д. Хвощинской: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1997. 23 с.
- [Хвощинская Н. Д.] В. Крестовский. Встреча // Отечественные записки. 1860. Т. 129. С. 265–342; Т. 130. С. 1–88.
- Хвощинская П. Д. [Биография] // Собр. соч. В. Крестовского (псевдоним). СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1892. Т. 1. URL: <https://62info.ru/history/node/6876> (дата обращения 23.11.2018).
- «Я живу от почты и до почты...»: из переписки Надежды Дмитриевны Хвощинской / Сост. А. Розенхольм, Х. Хогенбом. Fichtenwalde: Gopfert, 2001. 272 с.

A. A. Ponomareva

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russian Federation
anastasiya.ponomareva.92@inbox.ru

**The plot “aspiring provincial woman-writer – famous literary man”
in the fiction of the middle of the 19th century
(the novel “The Meeting” by N. D. Khvoshchinskaya)**

The paper presents an investigation of the plot “aspiring provincial woman-writer – famous literary man” in the fiction of the middle of the 19th century. This plot is found to be connected

with the typical tendency of that time: the mass entrance of women-writers to the literary scene. The analysis of correspondence of N. D. Khvoshchinskaya, E. A. Ladyzhenskaya, and N. S. Sokhanskaya revealed typological characteristics of the situation in which a provincial woman found herself when she decided to begin a literary career: in order to become a valuable member of literary life, one would get acquainted with famous literary man by means of correspondence. The situation developed according to the same model regardless of the nature and views of the addresser and the addressee: a literary man took an active part in the life of the young writer (he gave advice on editing manuscripts, helped with their publication, etc.). The paper gives a detailed analysis of this biographical plot development in the novel "The Meeting" by N. D. Khvoshchinskaya (1860). The basic components of the plot are found to be ironically rethought in the novel: women's complaints on the difficulty of realizing the creative potential, "teacher-student" relations between provincial woman-writer and famous literary man. The biographical plot, as developed by N. D. Khvoshchinskaya, was proved to acquire the original problematics. The writer tried to determine the inconsistency of literary programs relevant in the middle of the 19th century ("art for art" and "natural school") and to formulate her opinion on the relation of literature to reality.

Keywords: N. D. Khvoshchinskaya, the novel "The Meeting," provincial woman-writer, biographical plot, fiction, the middle of the 19th century, woman's emancipation.

DOI 10.17223/18137083/68/8

References

- Arsen'yev K. K. V. Krestovskiy (pseudonim) [K. V. Krestovsky (pseudonym)]. In: Arsen'yev K. K. *Kriticheskiye etyudy po russkoy literature: V 2 t.* [Critical studies of the Russian literature: in 2 vols]. St. Petersburg, Tip. M. M. Stasyulevicha, 1888, vol. 1, pp. 255–350.
- (Khvoshchinskaya N. D.) V. Krestovskiy. Vstrecha [Meeting]. *Otechestvennye zapiski*. 1860, vol. 129, pp. 265–342, vol. 130, pp. 1–88.
- Khvoshchinskaya P. D. (Biografiya [Biography]). In: *Sobr. soch. V. Krestovskogo (pseudonim)* [Collected works of V. Krestovsky (pseudonym)]. St. Petersburg, Tip. A. S. Suvorina, 1892, vol. 1. URL: <https://62info.ru/history/node/6876> (accessed 23.11.18).
- Lukashevich M. Roman V. Krestovskogo (Nadezhdy Khvoshchinskoy) "Bariton" na fone literaturnoy traditsii izobrazheniya seminarista Roman of V. Krestovsky (Nadezhda Khvoshchinskaya) "Baritone" on the background of the literary tradition of the image of a seminarist]. *RSUH/RGGU Bulletin. "History. Philology. Cultural Studies. Oriental Studies" Series*. 2011, no. 7 (69), pp. 133–146.
- Nikonova T. A. E. A. Ladyzhenskaya. In: *Turgenevskiy sbornik: Materialy k polnomu sobr. soch. i pisem I. S. Turgeneva* [Turgenev's collection: Materials for the complete collection of works and letters of I. S. Turgenev]. M. P. Alekseyev (Ed.). Moscow, Leningrad, Nauka, 1966, iss. 2, pp. 354–372.
- Obozreniye russkoy literatury za 1850 g. 2. Romany, povesti, dram. proizvedeniya, stikhotvoreniya [Review of Russian literature of 1850. 2. Novels, novels, dramas, poems]. *Sovremennik*. 1851, vol. 25, p. 33–63.
- Panayeva (Golovacheva) A. Ya. *Vospominaniya* [Memoirs]. K. Chukovsky (Intr.), G. V. Krasnov, I. M. Fortunatov (Notes). Moscow, Goslitizdat, 1956, 508 p.
- Pogrebnaya V. L. Problemy zhenskoy emansipatsii v romane N. D. Khvoshchinskoy "Vstrecha" [Problems of woman's emancipation in the novel "Meeting" by N. D. Khvoshchinskaya]. *The Culture of the Black Sea Peoples*. 2005, no. 69, pp. 57–60.
- Reytblat A. I. *Ot Bovy k Bal'montu i drugiye raboty po istoricheskoye sotsiologii russkoy literatury* [From Bova to Balmont. Other works of the historical sociology of Russian literature]. Moscow, New Literary Observer, 2009, 448 p.
- S. S. (Dudyshkin S. S.) Skromnoye imya. Za stenoy. Rasskaz V. Krestovskogo (Otechestvennye zapiski. 1862 g. Oktyabr') [Modest name. Behind the wall. Story by V. Krestovsky (Otechestvennye zapiski. 1862 October)]. *Biblioteka dlya chteniya*. 1863, vol. 175, pp. 26–42.
- Semevskiy V. I. N. D. Khvoshchinskaya-Zayonchkovskaya (V. Krestovskiy-pseudonim). *Russkaya mys'*. 1890, no. 10, pp. 49–89.
- (Sokhanskaya N. S.) *Avtobiografiya N. S. Sokhanskoy (Kokhanovskoy)* [Autobiography of N. S. Sokhanskaya (Kokhanovskaya)]. S. I. Ponomarev (Ed.). Moscow, Universitetskaya tip., 1896, 193 p.

Stroganova E. N. "Prakh i suyeta": Zhenskoye tvorchestvo v otsenkakh Nadezhdy Khvoshchinskoy i eye sovremennits ["Ashes and hustle": Women's Art in the assessments of Nadezhda Khvoshchinskaya and her contemporaries]. In: *Zhenskiy vyzov: russkiye pisatel'nitsy 19 – nachala 20 veka* [Women's challenge: Russian writers of 19th – early 20th century]. E. Stroganova, E. Shore (Eds). Tver', Liliya Print, 2006, pp. 120–137.

Tyminskiy A. I. *Poetika prozy N. D. Khvoshchinskoy* [Poetics of N. D. Khvoshchinskaya's prose]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Moscow, 1997, 23 p.

"Ya zhivu ot pochty i do pochty...": iz perepiski Nadezhdy Dmitriyevny Khvoshchinskoy ["I live from mail to mail...": from correspondence of N. D. Khvoshchinskaya]. A. Rozenkhol'm, Kh. Khogenbom (Comps). Fichtenwalde, Gopfert, 2001, 272 p.

Zotov V. N. D. Khvoshchinskaya (Iz vospominaniy starogo zhurnalista) [Khvoshchinskaya (From the memories of an old journalist)]. *Istoricheskiy Vestnik*. 1889, no. 10, pp. 93–108.

УДК 821.161.1
DOI 10.17223/18137083/68/9

А. А. Тулякова

*Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва*

Джон Рескин в «Круге чтения» Л. Толстого: о творческой истории легенды «Большая Медведица (Ковш)»

Рассматривается творческая история легенды «Большая Медведица (Ковш)», входящей в состав свода мудрых мыслей Л. Н. Толстого «Круг чтения» в качестве одного из «недельных чтений». Сопоставляются впервые обнаруженный английский оригинал текста и авторский перевод писателя. Анализ легенды в культурно-биографическом контексте показывает, в каком направлении Л. Толстой правил чужие тексты и какие причины побуждали его обратиться к ним. Выявлено, что дополнительной причиной интереса Толстого к английской легенде могла стать сказка Д. Рескина «Король золотой реки» со сходной проблематикой. В целом разделяя многие идеи английского философа, Л. Толстой критикует его религиозный опыт, отличный от толстовского понимания веры. Показано, каким образом писатель трансформировал религиозные мотивы легенды в соответствии с собственной религиозной этикой.

Ключевые слова: Л. Толстой, «Круг чтения», Джон Рескин, «недельные чтения», легенда, религия, засуха.

«Круг чтения» (1906, 1908) – свод мудрых мыслей, над которым Л. Толстой работал в течение последних десятилетий своей жизни. Содержание «Круга чтения» гетерогенно: он включает в себя как афоризмы, так и фикциональные и публицистические тексты, восходящие к творчеству других авторов и составляющие корпус «недельных чтений». Существующие комментарии и исследования проясняют генезис афоризмов, наполняющих каждый день года¹, в то время как причины, побудившие Толстого обратиться к тому или иному «недельному чтению», не становились предметом отдельного исследования.

В статье на примере творческой истории одного из «недельных чтений» – «Большой Медведицы (Ковш)» – мы покажем, что выбор текста для «недельного

¹ Литература об афористике «Круга чтения» не столь обширна: среди ключевых исследований в этом направлении следует отметить: [Толстой, 1991; Карлик, 1998; 2012; Кавацца, 1988; Гродецкая, 2012].

Тулякова Анастасия Андреевна – аспирант факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (Старая Басманная ул., 21/4, Москва, 105066, Россия; anastasia.tulyakova93@gmail.com)

чтения» мог быть продиктован, с одной стороны, реакцией Толстого на социальные проблемы, занимавшие его на протяжении длительного времени, а с другой – религиозными взглядами писателя, зафиксированными в его трактатах. Для этого мы расширим комментарий к «Большой Медведице», уточним ее сходство с оригинальным текстом, а также рассмотрим легенду в культурно-биографическом контексте, подсвечивающем неоднозначное отношение Толстого к мыслителям, чью позицию в отношении религии и этики он в целом разделял. Одним из таких для Толстого оказался известный английский философ и писатель Джон Рескин.

Механизмы включения текста в «Круг чтения» обусловлены либо полемическим ответом Толстого на злободневные проблемы современности [Тулякова, 2017, с. 444–455], либо его солидарностью с писателями, анализирующими эти проблемы в своих произведениях. В обоих случаях автор свода высказывается не открыто, а выражает свою позицию через перевод и переписывание чужих текстов, что позволяет ему обнаруживать сходство мыслей мудрецов всех времен². Этим может объясняться и положение «недельного чтения» относительно других текстов того же дня. Легенда «Большая медведица» напечатана в «Круге чтения» между 4 августа (тема дня – самоотречение) и 5 августа (тема дня – внушение) и примыкает к другому «недельному чтению» – стихотворению в прозе «Воробей» И. С. Тургенева. Оба текста в равной степени соотносимы с идеей любви к ближнему, милосердия и жертвенности. Вероятно, для Толстого в этом случае было существенно соположить русский и переводной тексты (подобное неоднократно встречается в «Круге чтения», например, «Единение» А. Шопенгауэра и «Морское плавание» И. С. Тургенева, «Воспитание» И. Мадзини и «Из письма о воспитании» Л. Толстого и др.), тем самым писатель демонстрирует идейную общность разных литератур поверх национальных, культурных и религиозных различий.

Комментаторы Юбилейного собрания сочинений нашли источник легенды «Большая Медведица» – журнал «Herald of Peace» (год и номер издания не указаны³), а также привели некоторые текстологические сведения, основанные на исследовании автографа текста. Мы дополним уже существующий комментарий новыми данными, которые, как мы полагаем, объясняют, в каком направлении писатель трансформирует чужие тексты и какие причины побудили его обратиться к этой легенде.

Мы просмотрели доступные нам номера «Herald of Peace» на сайте онлайн-библиотеки Гарвардского университета⁴, поиск же в номерах, ближайших к дате перевода легенды (1904), не дал положительных результатов. Однако в английском журнале «Notes and queries and historic magazine» мы обнаружили легенду, которая гипотетически могла стать источником текста, переведенного Толстым с английского языка и помещенного в «Круг чтения». Речь идет о легенде под

² См., например, одно из рассуждений Толстого: «Во все времена, у самых различных народов, великие учителя указывали людям такое благо и такую жизнь, которые точно были благом и точно были жизнью. А так как все люди в одном положении, и для всех одинаково невозможно найти каждому человеку благо для себя одного, то и учения всех мудрецов о том, что есть истинное благо и истинная жизнь, одинаково находят и указывают его не в самом человеке, а вне его [Толстой, 1936, т. 26, с. 887–888].

³ Комментарий к «Большой Медведице» в Юбилейном собрании сочинений Толстого не позволяет установить, пользовался ли писатель экземпляром журнала, хранящегося в библиотеке, или же комментаторы обнаружили источник текста при комментировании легенды: «Легенда, переведенная Толстым из английского журнала “Herald of Peace”. Сохранился автограф перевода этой легенды, написанный на незаполненной странице письма к Толстому Habenicht из Готы от 1 октября 1904 г.» [Толстой, 1957, т. 42, с. 621].

⁴ Harvard Library. URL: <http://library.harvard.edu> (дата обращения 20.05.2018).

названием «The legend of the Dipper»⁵ [The Big Dipper, 1898, p. 99], сюжет которой практически соответствует сюжету «Большой Медведицы»⁶. Можно предположить, что именно этот текст – или близкий ему – стал источником «Большой Медведицы». Приведем его целиком.

The legend of the Dipper

There is a pretty legend which tells how the seven stars came to form the dipper.

Once in a country far away, the people were dying of thirst. There had been no rain for several months. The rivers, brooks, and springs had all dried up. The plants and flowers had withered and died. The birds were so hoarse they could not sing. The whole land was sad and mournful.

One night, after the stars had come out, a little girl with a tin dipper in her hand crept quietly out of a house and went into the woods near by. Keeling down under a tree, she folded her hands and prayed that God would send rain, if it were only enough to fill her little dipper. She prayed so long that at last she fell asleep. When she awoke she was overjoyed to find her dipper full of clear, cool water. Remembering that her mother was ill and dying, she did not even wait to moisten her own parched lips, and taking up her dipper she hurried home. In her haste she stumbled, and alas! dropped her precious cup. Just at this time she felt something move in the grass beside her. It was a little dog, who, like herself, had almost fainted for want of water. She lifted her dipper, and what was her surprise to find that not a drop had been spilled. Pouring out a few drops on her hand she held it out for the dog to lick. He did so and seemed much revived; but as she poured out the water the tin dipper had changed to one of beautiful silver. Arriving home as soon as possible, she passed the dipper of water to the servant to give to her dear mother.

“Oh,” said her mother, “I will not take it. I shall not live anyway. You are younger and stronger than I”.

As she gave the servant the dipper it changed into shining gold. The servant was about to give each person in the house a spoonful of the precious water, when she saw a stranger at the door. He looked sad and weary, and she handed him the dipper of water. He took it, saying: “Blessed is he that gives a cup of cold water in His Name”.

A radiance shone all about him and immediately the golden dipper became studded with seven sparkling diamonds. Then it burst forth into a fountain, which supplied the thirsty land with water. The seven diamonds rose higher until they reached the sky, and there they changed into bright stars forming the Great Dipper, telling the story of an unselfish act of a little girl.

Four things a man must learn to do
If he would make his record true:
To think without confusion clearly,
To love his fellow man sincerely,
To act from honest motives purely,
To trust in God and Heaven securely.

⁵ Впервые легенда была опубликована в: [Wiltse, 1890]. Журнальный вариант текста существенно отличается от версии S. E. Wiltse. История републикации легенды в дальнейшем требует отдельного исследования, выходящего за пределы этой работы.

⁶ Примечательно, что номер журнала имеет подзаголовки «Altruism and Idealism» и «The Grand Man», а также на его обложке приведена мудрая мысль: «Rich is that universal self whom thou worshippest as the Soul» (The Vedas), что в переводе звучит как: «Богатый – это универсальное “я”, которому ты поклоняешься, как Душе».

Легенда о Ковше

Существует хорошая легенда, которая рассказывает, как появились семь звезд, сформировавшие ковш.

Когда-то в далекой стране люди умирали от жажды. В течение нескольких месяцев не было дождя. Все реки, ручьи и источники высохли. Растения и цветы завяли и умерли. Птицы были такими хриплыми, что не могли петь. Вся земля была грустной и скорбной.

Однажды ночью, когда взошли звезды, маленькая девочка с оловянным ковшом в руке тихонько выбралась из дома и пошла в ближайший лес. Опустившись под дерево, она сложила руки и стала молиться, чтобы Бог послал дождь, которого было бы достаточно, чтобы наполнить ее маленький ковш. Она так долго молилась, что под конец заснула. Когда она проснулась, она обрадовалась, найдя свой ковш наполненным чистой прохладной водой. Вспомнив, что ее мать была больна и умирала, она даже не смочила свои собственные пересохшие губы и, взяв ковш, поспешила домой. В спешке она споткнулась и, увы! уронила драгоценную чашу. В это время она почувствовала, как что-то двигается в траве рядом с ней. Это была маленькая собачка, которая, как и она, была почти в обмороке из-за нехватки воды. Она подняла свой ковш, и каким было ее удивление, когда она обнаружила, что ни капли не пролилось. Выливая несколько капель на руку, она поднесла ее, чтобы собака лизнула. Та сделала это и стала оживленной; но как только девочка вылила воду, то оловянный ковш превратился в прекрасный серебряный. Придя домой скоро как только возможно, она передала ковш воды слуге, чтобы тот отдал его ее дорогой матери.

«О, – сказала ее мать, – я не возьму его. Я не буду жить. Ты моложе и сильнее меня».

Когда она отдала слуге ковш, он превратился в переливающийся золотой. Слуга собирался дать каждому человеку в доме ложку драгоценной воды, но тут девочка увидела незнакомца у двери. Он выглядел грустным и усталым, и она протянула ему ковш воды. Он взял его, говоря: «Блажен, кто дает чашу холодной воды во имя Его».

Сияние разлилось вокруг него, и сразу золотой ковш усеялся семью сверкающими бриллиантами. Затем из него вырвался фонтан, который оросил истощенную от жажды землю водой. Семь бриллиантов поднимались выше, пока не достигли неба, и там они превратились в яркие звезды, образующие Великую Медведицу и хранящие историю о бескорыстном акте маленькой девочки.

Четыре вещи человек должен научиться делать,
Если он задумает улучшить свою репутацию:
Думать ясно без путаницы,
Искренне любить своего ближнего,
Действовать из честных соображений,
Доверять Богу и Небесам ⁷
(перевод наш. – А. Т.).

⁷ Стоит отметить, что стихотворение, завершающее оригинальную легенду, принадлежит американскому писателю и религиозному деятелю Генри ван Дайку-младшему. Вероятнее всего, текст стихотворения хорошо иллюстрировал ее смысл, поэтому автор, изложивший легенду, прибегнул к нему как приему, подчеркивающему нравоучительный финал.

Перевод Толстого выглядит так:

Большая Медведица (Ковш)

Была давно-давно на земле большая засуха: пересохли все реки, ручьи, колодцы, и засохли деревья, кусты и травы, и умирали от жажды люди и животные.

Раз ночью вышла девочка из дома с ковшиком поискать воды для больной матери. Нигде не нашла девочка воды и с усталости легла в поле на траву и заснула. Когда она проснулась и взялась за ковшик, она чуть не пролила из него воду. Он был полон чистой, свежей воды. Девочка обрадовалась и хотела было напиться, но потом подумала, что не достанет матери и побежала с ковшиком домой. Она так спешила, что не заметила под ногами собачки, споткнулась на нее и уронила ковшик. Собачка жалостно визжала. Девочкахватила ковшик.

Она думала, что разлила его, но нет, он стоял прямо на своем дне, и вся вода была цела в нем. Девочка отлила в ладонь воды, и собачка всё вылакала и повеселела. Тогда девочка взялась опять за ковшик, он из деревянного стал серебряным. Девочка принесла ковшик домой и подала матери. Мать сказала: «Мне всё равно умирать, пей лучше сама», и отдала ковшик девочке. И в ту же минуту ковшик из серебряного стал золотой. Тогда девочка не могла уже удерживаться и только хотела приложиться к ковшику, как вдруг в дверь вошел странник и попросил напиться. Девочка проглотила слюни и поднесла страннику ковшик. И вдруг на ковшике выскочило семь огромных брильянтов, и из него полилась большая струя чистой, свежей воды.

А семь брильянтов стали подниматься выше и выше и поднялись на небо и стали Большой Медведицей.

С английского [Толстой, 1957, т. 41, с. 550].

Перечислим основные отличия перевода легенды от ее оригинала. Как видно из сравнительной таблицы, Толстой максимально упростил изложение легенды. Однако некоторые изменения вызваны, как мы полагаем, не только стремлением писателя сделать произведение более ясным в языковом и композиционном отношении.

Стоит отметить, что оригинал легенды предваряет небольшое вступление, которое задает оценку тому, о чем пойдет речь дальше. Таким образом, в тексте появляется образ активного рассказчика, который отсутствует в переводе Толстого. Действие «Большой Медведицы» начинается с описания засухи, которая повлекла за собой беды. Оценка того или иного явления в тексте означала бы обращение к религиозному мотиву, поскольку мораль, заключенная в легенде, напрямую соотносится с Евангелием. Толстой, как мы увидим далее, упраздняет этот мотив. Также в переводе Толстого мотивировки поступков девочки усилены, в то время как в оригинале легенды они становятся очевидными ближе к середине текста. Так, в английском тексте девочка пошла в лес, чтобы отыскать воду, в переводе — принести воды умирающей матери. В оригинальном тексте о матери мы узнаем лишь тогда, когда девочка возвращается домой.

Важным представляется и то, что в оригинале девочка заснула, потому что долго и усердно молилась; в переводе же Толстого девочка не только не молится, но и засыпает от долгих поисков. Таким образом, религиозный мотив в тексте отсутствует, что подтверждает и образ странника, не резюмирующего, как в оригинальной легенде, суть поступков девочки через соотнесение их с этикой милосердия. В толстовском же тексте постоянно присутствует мотив искушения — девочка желает напиться сама, а детские порывы, как правило, приглушаются актом

милосердия, что усиливает самоотверженность героини. В оригинале потребность героини напиться не подается как ее неременное желание. Даже придя домой, она отдает ковш слуге, тем самым предоставляя ему право наделить водой каждого члена семьи.

Различия оригинала легенды о Ковше и ее перевода Л. Толстым
Differences between the original legend of the Dipper
and its translation by L. Tolstoy

Оригинал	Перевод
Вступление рассказчика	Нет вступления рассказчика
Подробное описание природы (в том числе почвы) во время засухи	Сжатое изложение последствий засухи
Не сказано, что девочка пошла за водой для матери	Мотив обозначен сразу – напоить умирающую мать
Девочка заснула, потому что долго молилась	Девочка заснула, потому что устала искать воду
Отсутствует явный мотив искушения – напиться самой	Хочет утолить собственную жажду, однако всякий раз сдерживается из милосердия и жертвенности
Оловянный ковшик	Деревянный ковшик
Эпизод со слугой	Отсутствуют эпизоды со слугой
Реплика странника как мораль легенды	Нет реплики
Подробное описание событий, следующих за появлением странника	Сжатое изложение судьбы семи брильянтов

Наконец, в тексте Толстого отсутствует образ слуги, что вызвано, по всей вероятности, стремлением писателя приблизить происходящее к русским реалиям, а точнее – крестьянским. Об этом же говорит и материал, из которого изготовлен ковш. В тексте Толстого он деревянный, в оригинале – оловянный.

Учитывая эти наблюдения, можно сказать, что Толстой, с одной стороны, дополняет переводной сюжет мотивом испытания – девочка должна пренебречь собственными желаниями во имя желания ближнего⁸, а с другой – убирает религиозные вставки, вместе с которыми из текста исчезает не только божественная детерминированность происходящего – появление воды в ковше как следствие молитвы, но и фигура Бога (напомним, что в оригинале странник отсылает к имени Господа). Можно утверждать, что подобная сюжетная схема могла иметь некоторые преимущества для писателя. Так, вся ответственность за происходящее возлагается на самого человека, а не на Бога; а сопричастность человека миру должна стать органичной его частью, а не быть поощряемой со стороны другого лица. Обе установки соответствуют религиозным представлениям Толстого, основные принципы которых писатель начал разрабатывать уже на первых порах творчества [Густафсон, 2003, с. 66]. Одним из главных представлений Толстого

⁸ Сюжет преодоления ребенком препятствий и вознаграждение за пройденное встречается в текстах Толстого и раньше. Речь идет об «Азбуке», структура произведений которой, как показали Жолковский и Щеглов [2016, с. 39], идентична. Мирная жизнь ребенка сменяется катастрофой, после которой герой ведет себя неадекватно, т. е. не в соответствии с природой, затем он понимает, как следует поступить – предпринимает спасительную акцию, наконец в жизни героя водворяются прежде утраченные покой и радость.

о Боге является апофатическое знание, согласно которому Бог при его существовании оказывается непознаваемым [Густафсон, 2003, с. 104]. Вследствие этого, божественное у Толстого лишено антропоморфных черт, а его постижение возможно только через сопричастность к нему человека. На первое место в своей философии писатель выдвигает «субъективное переживание не выдуманной никем реальности» [Там же, с. 101], понятой в той степени, насколько возможно человеку познать Бога своей жизнью и выполнить свое назначение, т. е. осознать себя частью целого – «это ясное осознание собственного “отношения ко всему бесконечному по времени и пространству миру», понимаемому как одно целое» [Там же, с. 106]. Таким образом, деятельность человека, направленная на приобщение себя к Богу, т. е. ко всему, является основополагающей [Паперный, 2000, с. 800].

Исходя из этого можно сказать, что упоминание Бога, не ставящее целью воссоединиться с ним, не имеет смысла, а лишь метафорически передает «переживание», зависящее от субъективного опыта реальности и потому неточно передаваемое словами. Кроме того, Толстой отрицает «значение личности (Бога и человека) в процессе Богообщения» [Ореханов, 2010, с. 138]⁹. Это означает, что писатель воспринимает процесс сопричастности Богу как «выход личности во всеобщее, внеличностное бытие» [Там же], вследствие которого человек преодолевает собственное «я» и действует согласно универсальному закону всеобщего блага¹⁰. С этой точки зрения демонстрация созидательной деятельности оказывается продуктивнее слов – именно это показывает Толстой, исключая понятие о Боге из легенды и вводя в нее новые мотивы. Постоянное желание девочки напиться самой – не просто искушение, а потенциальное действие, направленное на отделение себя от общности людей – «отделение части, которая любит себя, от остального» [Густафсон, 2003, с. 117] – «отчуждение» по Толстому. Но в момент помощи другим существам героиня тем самым «обретает свое место» [Там же, с. 116] в среде таких же жаждущих, как и она сама. И этот акт милосердия, т. е. сопричастности чужому горю, становится спасением как для самой девочки, так и для людей, находящихся рядом, в свою очередь проявляющих ответный акт жертвенности (мать отдает ковш с водой дочери), вследствие чего спасение приходит ко всем участникам событий (в легенде не говорится о выздоровлении матери, однако фонтан может иметь и символический смысл источника с живой водой). Ребенок, чье сознание в силу возраста не способно приобщиться к Богу через его рациональное понимание, может приблизиться к нему интуитивно, в свою очередь интуитивное представление о реальности – основа метафизики писателя [Там же, с. 106]. Подтверждением того, что девочка неосознанно обращается к Богу, является ее засыпание, вызванное усталостью во время молитвы. Внутренняя беседа с Богом не только не может утомить, по Толстому, но должна стать самоцелью как постоянное стремление воссоединиться с ним. По этой причине писатель устраняет эпизод с молитвой как бессмысленный и противоречащий его мировоззренческим установкам. По этой же причине отсутствует реплика странника, обращающегося к девочке и резюмирующего мораль легенды – ребе-

⁹ Примечательна в этом отношении следующая запись Толстого от 5 мая 1890 г.: «Обращение к Богу как к личности нужно, когда сам себя чувствуешь слабым – личностью; когда силен – не чувствуешь себя личностью и живешь, когда слаб – только просишь. Лицо – прости, помоги мне, лицу» (цит. по: [Ореханов, 2010, с. 138]).

¹⁰ «Аперсонализмом» Толстого [Там же, с. 139] обусловлено и отсутствие в переработке легенды странника, словесно поощряющего поступок девочки, подавшей ему ковш с водой, и тем самым утверждающего идею милосердия во имя Бога. Странник в этом контексте может восприниматься как посредник в Богообщении, что противоречит идее обезличенности Бога и человека в религиозной философии писателя.

нок творит добро не во благо Господа, а по интуитивному чувству, более свойственному его возрасту и сознанию.

Таким образом, изменение не только языка легенды (отсутствие образности и метафоричности, называние предметов такими, какими они есть на самом деле), но и сюжета направлено, с одной стороны, на беспрепятственное и однозначное понимание читателем идеи текста, а с другой – на его переработку в соответствии с идеологией Толстого, отражающей основные положения его философии.

Косвенным подтверждением того, что Толстой осуждал развернуто и эксплицитно присутствующие в любом тексте религиозные мотивы ¹¹, служит его оценка творчества Джона Рескина – английского философа и теоретика искусства, этические и социальные взгляды которого Толстой разделял и потому включил его высказывания в «Круг чтения». Не ставя задачей подробно описать в этой работе историю взаимоотношений Толстого и Рескина ¹², отметим только, что автор «Круга чтения» с симпатией относился к учению английского публициста. Исключение составляет лишь одно высказывание Толстого в письме к Эйлмеру Моду от 28 июля 1901 г., в котором писатель критикует религиозность Рескина:

Главная черта Рёскина это то, что он никогда не мог вполне освободиться от церковно-христианского мировоззрения. Во время начала его работ по социальным вопросам, когда он писал «Unto this last», он освободился от догматического предания, но туманно-церковно-христианское понимание требований жизни, кот[орое] давало ему возможность соединить этические идеалы с эстетическими, оставалось у него до конца и ослабляло его проповедь; ослабляло ее также искусственность и потому неясность поэтического языка. Не думайте, чтобы я денигрировал (denigrer) деятельность этого великого человека, совершенно верно называемого пророком; я всегда восхищаюсь и восхищался им, но я указываю на пятна, к[оторые] есть и в солнце. Он особенно хорош, когда умный и одинаково с ним настроенный писатель делает из него выписки, как в книге Ruskin et la Bible [Толстой, 1954, т. 73, с. 111].

Отвечая на вопрос, чем вызвана критика Толстого в адрес религиозных настроений Рескина, стоит обозначить некоторые мировоззренческие особенности писателя этого периода ¹³. Они позволяют углубить понимание причин, по которым автор «Круга чтения» трансформирует легенду о Ковше.

Помещенное за рамкой основного повествования указание на оригинальный язык легенды – английский, а также англоязычный первоисточник текста, как и его религиозно-этическая направленность, свидетельствуют о том, что легенда написана в контексте протестантской традиции, к которой принадлежал Рескин ¹⁴. Можно предположить, что именно протестантские идеи, заложенные в легенде и отчетливо прослеживающиеся в работах английского философа, вызвали очевидное неприятие Толстого ¹⁵. Среди них – личное Богообщение, представленное

¹¹ Стоит отметить, что речь идет о религиозных убеждениях, не соответствующих представлениям писателя.

¹² До сих пор не существует обширных исследований, описывающих восприятие Толстым идей Рескина. Из работ, частично затрагивающих эту тему, см., напр.: [Mehta, 1969].

¹³ Литература, посвященная этому вопросу, весьма обширна. См., напр.: [Густафсон, 2003; Ореханов, 2010; McLean, 2008; Green, 1981] и др. В данной статье мы ограничиваемся указанием лишь на ключевые аспекты мировоззрения писателя, которые кажутся нам существенными для раскрытия заявленной темы.

¹⁴ В этом случае мы руководствуемся теологической традицией причислять англиканство к протестантизму.

¹⁵ Более подробно об отношении Толстого к протестантской этике см., напр.: [Степанова, 2016].

в тексте в виде обращения девочки к Богу, и приоритет веры над добрыми делами, значение которых в протестантской этике не умаляется, однако и не ставится выше веры как основного способа приближения к прощению и спасению. Очевидно, что именно эти пассажи Толстой либо трансформирует, либо упраздняет в легенде согласно своим мировоззренческим установкам, главными из которых являются деперсонализация Бога и человека и универсальность общего блага, достижимого посредством совершения добрых дел. Эти аспекты религиозного мировидения Толстого восходят к его идее о единой истине, которая должна стать основанием веры. Однако, по мнению писателя, история религии представляет собой нескончаемую борьбу различных вероисповеданий за единоличное право обладать истиной [Степанова, 2016, с. 273]¹⁶. Таким образом, Толстой считает в легенде о Ковше под влиянием Рескина идеи, характерные для определенной христианской конфессии – протестантизма, и правит их из соображений унификации веры, по мнению писателя, единой для всех.

Как видно из высказывания Толстого о Рескине, именно «церковно-христианское мировоззрение» Рескина, соотносимое с церковными догматами, Толстой не одобряет, поскольку видит в этом, как и в церковной политике, препятствие к пониманию человеком простых и ясных вещей, заложенных в религии.

Установка на простоту и индивидуальное приятие религиозного учения – тенденция, обозначенная самим писателем еще во вступлении к «Соединению и переводу четырех Евангелий» (1882):

Отыскивать я буду в этих книгах:

1. То, что мне понятно, потому что непонятному никто не может верить, и знание непонятного равно незнанию.
2. То, что отвечает на мой вопрос о том, что такое я, что такое Бог; и
3. Какая главная, единая основа всего откровения?

И потому я буду читать непонятные, неясные, полупонятные места не так, как мне хочется, а так, чтобы они были наиболее согласны с местами вполне ясными и сводились бы к одной основе [Толстой, 1957, т. 24, с. 17–18].

Из этих принципов Толстого ясно, что упрощаться должна не только идея, но и способ ее выражения – язык. Толстой, осознавая иносказательный и метафорический характер языка, понимал тщетность точного воспроизведения реальности таким способом [Густафсон, 2003, с. 102].

Обращение к творчеству Рескина может также объяснить, почему именно сюжет «Большой медведицы» о милосердии во время засухи мог привлечь внимание Толстого. Мы полагаем, что поводом могло послужить мотивное сходство легенды со сказкой Джона Рескина «Король Золотой реки» (1841), опубликованной в 1851 г. [Ruskin, Doyle, 1851] и впоследствии многократно выходившей как отдельным изданием [Ruskin, 1873], так и под одной обложкой с другими произведениями Рескина [Ruskin, 1860]. В свою очередь интерес Толстого к сказке мог стать следствием реальных событий, свидетелем которых был сам писатель. Речь идет о засухе в Поволжье и последовавшем за ней голоде в 1873 и 1891–1892 гг.

¹⁶ Степанова Е. А. в своей работе приводит многочисленные цитаты, подтверждающие эту мысль. См., например: «Тысячи преданий, и каждое отрицает, проклинает одно другое и свое считает истинным: католики, лютеране, протестанты, кальвинисты, шекеры, мормоны, грекоправославные, староверы, поповцы, беспоповцы, молокане, менониты, баптисты, скопцы, духоборцы и пр., и пр., все одинаково утверждают про свою веру, что она единая истинная и что в ней одной дух святой, что глава в ней Христос и что все другие заблуждаются... И все знают это, и каждый, исповедующий свою веру за истинную, единую, знает, что другая вера точь в точь так же – палка о двух концах – считает свою истинною, а все другие – ересями» [Толстой, 1957, т. 24, с. 11].

В яснополянской библиотеке сохранились издания ключевых работ Рескина. По цитируемости английский философ превосходит других авторов, упомянутых в «Круге чтения». Учитывая такой интерес к нему Толстого, можно предположить, что с единственным художественным произведением Рескина – сказкой «Король золотой реки» – Толстой также мог быть знаком. Сюжет сказки заключается в следующем.

Благоприятное положение Долины Сокровищ относительно горных потоков позволяло ей процветать даже во времена сильнейших засух. Но однажды долину и ее владельцев постигло несчастье. Долина принадлежала трем братьям – Шварцу, Гансу и Глюку. Старшие братья отличались скупостью и черствостью к чужому горю, в то время как младший брат вырос их полной противоположностью. Шварц и Ганс были не только не отзывчивы к другим людям, но и даже Глюка держали в черном теле, заставляя его много работать. В одну из суровых зим, пока братьев не было дома, к Глюку постучался маленький старичок и попросил обогреться у огня. Братья приказали Глюку никого не впускать в дом, однако Глюк, видя промокшего насквозь старичка, сжалился над ним и пустил. По возвращении недовольные братья грубо попросили гостя уйти. Тот, обидевшись на хозяев, обещал вернуться в полночь. После ночного посещения старика, который оказался Господином Юго-Западным ветром, дом братьев затопило, а Долина Сокровищ превратилась в опустошенную местность с сухим песком вместо плодородной почвы. Решив подзаработать денег, братья становятся золотых дел мастерами. Их изделия в силу низкого качества плохо покупаются, а все заработанные деньги братья пропивают. Однажды, пока Глюк работал, к нему из расплавленной золотой кружки явился Король Золотой реки, который, решив отблагодарить мальчика, рассказал ему о том, как превратить один из водных потоков долины в золотой. Глюк поделился секретом с братьями. Впоследствии и Ганс, и Шварц, осквернив воды источника, превратились в черные камни, а Глюк, который помог всем встречным не умереть от жажды, в награду за свою добродетель получил Долину Сокровищ, возвращенную Золотой рекой к жизни.

Любопытно, что на пути к источнику братья и Глюк встречали живых существ, умирающих от жажды: собачонку, прелестного ребенка и седого старика. Шварц и Глюк были наказаны Королем Золотой реки за то, что не помогли страждущим, в то время как Глюк, жертвуя собственным счастьем, спас их.

Если сопоставить «Большую Медведицу» со сказкой Рескина, то мы увидим, что в сюжетном и мотивном отношении они имеют много общего. Так, девочка из английской легенды помогает собачонке, матери (стоит отметить, что на пути Шварца появляется Ганс, также умирающий от жажды, мимо которого тот проходит) и страннику, а Глюк – собаке, ребенку и старику. Общей будет и награда за добродетель – в обоих текстах положительные герои получают воду в неограниченном количестве – самое ценное в условиях засухи, при этом сама вода бьет из «драгоценного источника» – в английской легенде из золотого ковша, усеянного семью бриллиантами, а в сказке Рескина – из Золотой реки (переливающейся в лучах солнца).

Немаловажным кажется и личный опыт Толстого, организовавшего помощь голодающим, пострадавшим от засухи в 1873 и в 1891–92 гг. [Опульская, 1979]. Среди статей, написанных Толстым в этот период, стоит упомянуть следующие: «Письмо к издателям [О самарском голоде]» (1873), «О голоде» (1891), «Страшный вопрос» (1891), «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая» (1891) и др. Деятельность Толстого в это время, направленная на облегчение бедственного положения народа, еще сильнее убедила писателя в необходимости изменений давно сформировавшихся, а потому уже неприемлемых условий крестьянской жизни: «Много я за нынешний год, копаясь во внутренностях народа и пытаясь делать невозможное – помогать деньгами беде людской, многое

я узнал, передумал и более всего проверил и подтвердил известное, а именно, что внешней беды нет, а все беды внутренние. Какая будет развязка, не знаю, но что дело подходит к ней и что так продолжаться, в таких формах, жизнь не может, – я уверен» [Толстой, 1953, т. 66, с. 224]. Важно отметить, что высказывания Толстого о причинах голода 1891–1892 гг. нашли отражение и в его статье 1898 г. «Голод или не голод?», в которой писатель рассуждает о нужде крестьян Воронежской губернии. Вопрос о помощи нуждающимся, оставшимся без средств к существованию, тревожил Толстого и в то время, когда он работал над «Кругом чтения» (впервые Толстой задумался о составлении сборника мудрых мыслей на каждый день в 1884 г., в дальнейшем на протяжении более чем двадцати лет писатель развивал свой замысел [Толстой, 1957, т. 42, с. 557]). Примечательно, что помимо материальной помощи, такой как открытие столовых [Толстой, 1954, т. 29, с. 115–116] или продажи хлеба по дешевой цене [Там же, с. 151], Толстой в статье «О голоде» говорит о любви к ближнему как первоначально этой помощи:

Спасает людей от всяких бедствий, в том числе и от голода, *только любовь*. Любовь же не может ограничиваться словами, а всегда выражается делами. Дела же любви по отношению к голодным состоят в том, чтобы отдать из двух кусков и из двух одежд голодному, как это сказано не Христом даже, а Иоанном Крестителем, т. е. в жертве. Для того же, чтобы быть в состоянии это сделать, надо прежде всего видеть холодного и голодного, стать в прямые отношения с ним, разрушить те преграды, которые отделяли нас от него [Там же, с. 110].

Толстой мог заинтересоваться английской легендой о Большой Медведице, поскольку ее проблематика соотносилась сразу с двумя направлениями мысли – с одной стороны, с размышлениями о трагических последствиях засухи и помощи нуждающимся в этих условиях, а с другой – с рецепцией им творчества Рескина, чья сказка о Короле Золотой реки ярко демонстрировала механизмы подобной помощи, основанные прежде всего на любви к ближнему и приобщении через любовь к Богу, что в свою очередь является основой этического учения писателя.

Творческая история «Большой Медведицы» показывает, в каком направлении Толстой правил чужие тексты и под влиянием каких факторов помещал их в «Круг чтения». Работая с «недельным чтением», писатель обращал внимание не только на язык произведения и его идею, но и на тип религиозности и ее дидактический потенциал. Как мы выяснили на примере переработки «Большой медведицы», Толстой последовательно трансформировал те формы религиозного опыта и его репрезентации, какие не соответствовали его философии. Таким образом, наполняемость «Круга чтения» зависела от специфики религиозного видения Толстого, который правил «недельные чтения» не только в стилистическом, но и в идеологическом направлении. Можно предположить, что и другие тексты на религиозные темы в «Круге чтения» подверглись подобным изменениям, однако сопутствующие этому процессу механизмы еще предстоит выяснить.

Список литературы

- Гродецкая А. Г. «Ищи же истину – она этого хочет»: [Предисл.] // Толстой Л. Н. Мысли мудрых людей на каждый день. СПб.: Лениздат, 2012.
- Густафсон Р. Обитатель и Чужак. Теология и художественное творчество Льва Толстого. СПб.: Академический проект, 2003.
- Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. *Ex ungue leonem*. Детские рассказы Л. Толстого и поэтика выразительности. М.: НЛО, 2016.
- Кавацца А. «Круг чтения» Л. Н. Толстого // Русская речь. 1988. № 6. С. 24–29.

- Карлик Н. А.* «Круг чтения» Л. Н. Толстого: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1998.
- Карлик Н. А.* Афористика Л. Н. Толстого: Сборник мудрых мыслей «Круг чтения»: Моногр. СПб.: ГПА, 2012.
- Опульская Л. Д.* Голодный 1891/92 год. Статьи о голоде // Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1892 год. М.: Наука, 1979. С. 234–268.
- Ореханов Г. Л.* Русская Православная Церковь и Л. Н. Толстой. Конфликт глазами современников. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т, 2010.
- Паперный В. М.* К вопросу о системе философии Л. Н. Толстого // Лев Толстой: pro et contra. Личность и творчество Льва Толстого в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб.: Изд-во Рус. Христианского гуманитарного ин-та, 2000.
- Степанова Е. А.* Лев Толстой и протестантизм // Богословские размышления. 2016. № 17. С. 267–282.
- Толстой Л. Н.* Полное собрание сочинений: В 90 т. / Ред. кол.: Н. К. Гудзий, Н. Н. Гусев, Н. К. Пиксанов и др. М; Л.: Худож. лит., 1928–1964. Т. 24. 1957; Т. 26. 1936; Т. 29. 1954; Т. 41. 1957; Т. 42. 1957; Т. 66. 1953; Т. 73. 1954.
- Толстой Л. Н.* Круг чтения / Сост., вступ. ст. А. Н. Николюкина: В 2 т. М.: Изд-во полит. лит., 1991. Т. 2.
- Тулякова А. А.* Толстой, Арцыбашев и Вагнер: об одном случае полемики в «Круге чтения» Л. Н. Толстого // Slověne. 2017. Т. 6, № 2. С. 444–455.
- Green M.* Tolstoy as believer // The Wilson Quarterly. 1981. Vol. 5, No. 2. P. 166–177.
- McLean H.* In Quest of Tolstoy. Boston, 2008. P. 117–142.
- Mehta U.* Gandhi, Tolstoy and Ruskin // The Indian Journal of Political Science. 1969. Vol. 30. No. 4. P. 343–349.
- Ruskin J., Doyle R.* The King of the Golden River; or, the Black Brothers: a Legend of Stiria. London: Smith Elder & Co., 1851. URL: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc2.ark:/13960/t5x63fm25;view=1up;seq=15> (дата обращения 20.05.2018).
- Ruskin J.* The Two Paths. Chicago: Belford, Clarke and Co, 1860. P. 15–48.
- Ruskin J.* The king of the Golden River: or, The black brothers: a legend of Stiria. Boston: Lee and Shepard, 1873. URL: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hwp43h;view=1up;seq=11> (дата обращения 20.05.2018).
- The Big Dipper // Notes and Queries and Historic Magazine. 1898. Vol. 16. P. 99. URL: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=inu.30000048911840;view=1up;seq=7> (дата обращения 20.05.2018).
- Wiltse S. E.* Kindergarten Stories and Morning Talks. Boston: Ginn & Company, 1890. P. 54–57.

A. A. Tulyakova

*National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation
anastasia.tulyakova93@gmail.com*

**John Ruskin in “The circle of reading” by L. Tolstoy:
on the textual history of the legend “The Big Dipper (Bucket)”**

The paper deals with the textual history of the legend “The Big Dipper (Bucket),” which is part of Leo Tolstoy’s “The Circle of Reading” as one of the “weekly readings.” The study com-

compares the original English text, discovered for the first time, with translation by Tolstoy. The analysis of the legend in the cultural and biographical context shows the ways of Tolstoy's transforming other writers' texts and the reasons for addressing them. It is revealed that Tolstoy's intention to translate this legend may have been due to his interest in John Ruskin's works and in particular his fairy tale "The king of the golden river," that is very similar to the legend. While sharing many Ruskin's ideas, Tolstoy, nevertheless, criticizes his religious views. The paper traces how the writer transformed the religious motifs of legend according to his religious ethics.

Keywords: L. Tolstoy, "The circle of reading," John Ruskin, "weekly readings," legend, religion, drought.

DOI 10.17223/18137083/68/9

References

- Green M. Tolstoy as believer. In: *The Wilson Quarterly*. 1981, vol. 5, no. 2, pp. 166–177.
- Grodetskaya A. G. "Ishchi zhe istinu – ona etogo khochet" ["Seek the truth – she wants it"]. In: Tolstoy L. N. *Mysli mudrykh lyudey na kazhdyy den'* [Thoughts of wise people for every day]. St. Petersburg, Lenizdat, 2012.
- Gustafson R. F. *Obitatel' i Chuzhak. Teologiya i khudozhestvennoye tvorchestvo L'va Tolstogo* [Leo Tolstoy, Resident and Stranger: a Study in Fiction and Theology]. St. Petersburg, Akademicheskii proyekt, 2003.
- Kavatitsa A. "Krug chteniya" L. N. Tolstogo [L. Tolstoy's "The circle of reading"]. *Russkaya rech'*. 1988, no. 6, pp. 24–29.
- Karlik N. A. "Krug chteniya" L. N. Tolstogo [L. Tolstoy's "The circle of reading"]. Cand. philol. sci. diss. Moscow, 1998.
- Karlik N. A. *Aforistika L. N. Tolstogo: sbornik mudrykh mysley "Krug chteniya": Monogr.* [L. Tolstoy's aphoristic works: the volume of wise thoughts "The circle of reading". Monogr.]. St. Petersburg, GPA, 2012.
- McLean H. *In Quest of Tolstoy*. Boston, 2008, pp. 117–142.
- Mehta U. Gandhi, Tolstoy and Ruskin. *The Indian Journal of Political Science*. 1969, vol. 30, no. 4, pp. 343–349.
- Opul'skaya L. D. Golodnyy 1891/92 god. Stat'i o golode [Hungry 1891/92 year. Articles about hunger]. In: Opul'skaya L. D. *Lev Nikolayevich Tolstoy. Materialy k biografii s 1886 po 1892 god* [Leo Tolstoy. Materials for biography from 1886 to 1892]. Moscow, Nauka, 1979, pp. 234–268.
- Orekhanov G. L. *Russkaya Pravoslavnaya Tserkov' i L. N. Tolstoy. Konflikt glazami sovremennikov* [The Russian Orthodox Church and L. N. Tolstoy. Conflict through the eyes of contemporaries]. Moscow, Pravoslavnyy Svyato-Tikhonovskiy gumanitarnyy inst., 2010.
- Papernyy V. M. K voprosu o sisteme filosofii L. N. Tolstogo [To the question of the system of L. Tolstoy's philosophy]. In: *Lev Tolstoy: pro et contra. Lichnost' i tvorchestvo L'va Tolstogo v otsenke russkikh mysliteley i issledovateley* [Leo Tolstoy: pro et contra. L. Tolstoy's personality and creativity in the assessment of Russian thinkers and researchers]. St. Petersburg, Izd. Russkogo Khristianskogo gumanitarnogo inst., 2000.
- Ruskin J., Doyle R. *The King of the Golden River; or, the Black Brothers: a Legend of Stiria*. London, Smith Elder & Co., 1851. URL: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc2.ark:/13960/t5x63fm25;view=1up;seq=15> (accessed 20.05.2018).
- Ruskin J. *The Two Paths*. Chicago, Belford, Clarke and Co, 1860, pp. 15–48.
- Ruskin J. *The king of the Golden River: or, The black brothers: a legend of Stiria*. Boston, Lee and Shepard, 1873. URL: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hwp43h;view=1up;seq=11> (accessed 20.05.2018).
- Stepanova E. A. Lev Tolstoy i protestantizm [Lev Tolstoy and Protestantism]. *Theological Reflections*. 2016, no. 17, pp. 267–282.
- The Big Dipper. *Notes and Queries and Historic Magazine*. 1898, vol. 16, p. 99. URL: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=inu.30000048911840;view=1up;seq=7> (accessed 20.05.2018).
- Tolstoy L. N. *Polnoye sobraniye sochineniy: V 90 t.* [Collected works of L. N. Tolstoy: in 90 vols]. N. K. Gudziy, N. N. Gusev, N. K. Piskunov (Eds). Moscow, Leningrad, Khudozh. lit.,

1928–1964. Vol. 24, 1957; vol. 26, 1936; vol. 29, 1954; vol. 41, 1957; vol. 42, 1957; vol. 66, 1953; vol. 73, 1954.

Tolstoy L. N. *Krug chteniya: V 2 t. T. 2* [The circle of reading: in 2 vols. Vol. 2]. A. N. Nikolyukin (Comp.). Moscow, Izd. polit. lit., 1991.

Tulyakova A. A. Tolstoy, Artsybashev i Vagner: ob odnom sluchaye polemiki v “Krug chteniya” L. N. Tolstogo [Tolstoy, Artsybashev i Vagner: about one case of polemics in Tolstoy’s “The circle of reading”]. *Slověne*. 2017, vol. 6, no. 2, pp. 444–455.

Wiltse S. E. *Kindergarten Stories and Morning Talks*. Boston, Ginn & Company, 1890, pp. 54–57.

Zholkovskiy A. K., Shcheglov Yu. K. *Ex ungue leonem. Detskiye rasskazy L. Tolstogo i poetika vyrazitel’nosti* [Ex ungue leonem. L. Tolstoy’s stories for children and poetics of expressiveness]. Moscow, NLO, 2016.

С. Ю. Корниенко

Новосибирский государственный педагогический университет

**«Что пользы, если Моцарт будет жив...»:
Моцарт и Сальери в модернистских эстетических практиках**

Статья посвящена рецепции образа Моцарта и Сальери в литературоведческих и литературных практиках начала XX в. Выявляются зазоры между общим знанием, литературно-теоретической рефлексией и поэтическим творчеством. Протеическая (полифоническая) природа пушкинского текста позволяет представителям конкурирующих литературных групп «вчитывать» в него часто противоположные смыслы. Определяется источник сальерианской репутации В. Брюсова, ее автоинтерпретационный характер. Таким источником становится публицистика самого Брюсова, в частности статья «Право на работу» – с апологией собственного подхода к творчеству, восходящей к образу Пушкина-мастера. Младшие поэты (М. Цветаева и Вл. Ходасевич), конструирующие посмертный брюсовский миф на сальерианской платформе во многом оказались чутки к его послы.

Ключевые слова: литературное поле, «Моцарт и Сальери», «пушкинский миф», Марина Цветаева, Владислав Ходасевич, Валерий Брюсов, Борис Эйхенбаум.

В самом начале 1924 г. на страницах еженедельника «Жизнь искусства» молодой Борис Томашевский разразился гневной тирадой в адрес современной ему «пушкинианы»:

Клепать на Пушкина стало признаком хорошего литературного тона. Почему на Пушкина? Очевидно, по литературной традиции. Просто так – принято, как принято говорить о погоде и спрашивать про здоровье. Не о чем – так о Пушкине. *Пушкин – складочное место для литературных измышлений*¹. Некогда так разрывали Библию и вычитывали из нее всё, что угодно. Ныне такой экран для мыслей и безмыслия – Пушкин. Зудит у литератора «идея» – подбирается – ладно или нет – подходящий стих из Пушкина, тот или иной эпизод из его жизни – и готова новая Пушкиниана. А если нет мыслей – то «медленно» читаются любые стихи Пуш-

¹ Здесь и далее курсив наш. – С. К.

Корниенко Светлана Юрьевна – доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (ул. Вилюйская, 28, Новосибирск, 630126, sve-kornienko@yandex.ru)

кина и тягостно накручиваются любые мысли, приходящие в голову литератора по системе свободных ассоциаций.

Такой нейтрализованный Пушкин, *универсальный экран*, вытеснил совершенно из сознания современности Пушкина исторического, поэта 20-х – 30-х годов, писавшего в определенной литературной обстановке и реагировавшего на живые литературные явления [Томашевский, 1924. С. 15].

Если отвлечься от конкретного повода, послужившего источником литературоведческого раздражения и пафоса одновременно, высказывание Томашевского важно в связи с вербализацией целого ряда конфликтов, актуальных как для культурных, так и для научных социальных полей:

- между историко-литературным и теоретическим видением литературы (в данном случае Томашевский выбирает амплуа историка) – в пределах филологического научного поля;
- между филологическим знанием (в данном случае высказывание аксиоматично с позиции историка литературы) и литературными модернистскими актуализациями, когда Пушкин, действительно, становится универсальным «экраном» для транслирования собственных эстетических представлений. Проникновения модернистских практик как в прочтение пушкинских текстов, так и непосредственно в канонический пушкинский текст еще в 1910-е гг. становится привычной модернистской практикой. Наиболее острый конфликт представителей литературного и научного поля, вылившийся в публичную дискуссию, вызвало брюсовское издание «Собрание стихов» (1919) Пушкина, с исправленными и дописанными «вождем символизма» пушкинскими текстами.

В модернистских интерпретационных практиках одни и те же пушкинские тексты, причем с одинаковой степенью убедительности, часто служат декларациям противоположных эстетических принципов. Пушкин может представлять как «классик» и «романтик», «аполлонист» и «дионисиец», «потомок негров безобразный» и певец империи, «везуец» и «парнасец». Такое поле возможностей, открывающихся для пушкинского образа, связано не только с модернистскими стратегиями *прочтения* и *вчитывания*, тотальной метапоэтичностью авторских дискурсивных практик, для которых характерно установление связи с «абсолютным» поэтом (в русской национальной традиции – неминусом с Пушкиным) но и, изначально, протейической природой пушкинского гения.

Борьба за «своего Пушкина», пушкинское эстетическое наследие и пушкинское же уникальное место в культуре закономерно усиливалась в моменты культурных кризисов (перенастроек эстетических полей). Так, в самом начале 1910-х гг. дискуссии вокруг имени Пушкина своеобразно подсвечивают момент кризиса символизма и определения пантеона модернистских классиков. К примеру, в ожесточенном публичном споре В. Брюсова и К. Бальмонта, разразившемся в 1913 г., явно слышны отсылки к пушкинской «маленькой трагедии» «Моцарт и Сальери», прочитанной литературными соперниками, равно претендующими на место «классика символизма», в автопроектном ключе.

Действительно, образы из этой пушкинской трагедии значимы в корпусе модернистской «пушкинианы», часто встречаются в контекстах, непосредственно связанных с дискурсивными репрезентациями письма, типов художника и аспектов творчества. Пушкинский посыл «Маленьких трагедий» дает возможность прочтения их в метапоэтическом ключе (через метафоры творчества, письма, авторские проекции), а пластичная природа пушкинского текста и яркая драматургическая типизация позволяют использовать знаковых персонажей как в конструировании собственного персонального мифа, так и в формировании литературных репутаций современников. В статье «Сюжетная полифония “Моцарта и Сальери”», известной эффектной концепцией «самоотравления Моцарта»,

Ю. Н. Чумаков утверждает полифоническую природу изначального пушкинского сюжета, раскрывающего перед интерпретатором поле возможностей:

Возможность трагической акции Сальери в психологическом и, главное, в онтологическом смысле была художественно гораздо значительней, чем воспроизведение исторически единичного факта – даже если был отравлен реальный Моцарт. Поэтому вовсе не случайно, что «уже первые читатели пушкинской драмы почувствовали за образами Моцарта и Сальери не реальных исторических лиц, а великие обобщения, контуры большого философского замысла». Пушкин следом за Аристотелем хорошо знал, «что задача поэта – говорить не о том, что было, а о том, что могло бы быть, будучи возможно в силу вероятности или необходимости» [Чумаков, 2008, с. 251].

Через соотношение с пушкинским мифом, действительно, нередко решалась «судьба» поэта-модерниста, его права на пушкинское наследство и «пушкинское» уникальное место в культуре. В пестром модернистском сегменте литературного поля Пушкин становится отнюдь не точкой согласия, а очевидной фигурой раздора, последним аргументом, как во внутримодернистских спорах, так и в дискуссиях, захватывающих все литературное поле начала XX в.

Тем интереснее найти точку консенсуса, где возможно примирение сторон. В критике русского зарубежья такой точкой станет посмертная оценка творчества одного из классиков символизма Валерия Брюсова. На фоне вала совсем не апологетических некрологов, написанных современниками поэта, особо, прежде всего своей эстетической и аксиологической сложностью, выделяются две статьи – «Брюсов» (1924) В. Ходасевича и «Герой труда» (1925) М. Цветаевой.

И Ходасевич, и Цветаева, не сговариваясь, называют «вождя символистов» именем одного из героев «Маленьких трагедий» – Сальери. Оба младших современника Брюсова воспроизводят конвенциональную для современной почившему «классику символизма» пушкинистике точку зрения. В начале XX в. общим местом в каноническом представлении этой маленькой трагедии стала автопроективность пушкинского Моцарта. Например, в авторитетнейшем пушкинском собрании сочинений (под редакцией известного пушкиниста С. А. Венгерова), утверждается, что «Сальери это совершенно свободное создание Пушкина, не имеющее сходства с современным Моцарту композитором», но, в свою очередь, Моцарт в целом является пушкинской проекцией: «В аполлонической ясности, в душевной прозрачности, в беспечности и благодущии, в неизменной вдохновенности Моцарта трагедии много черт, которые роднят его с его создателем» [Горнфельд, 1909, с. 121, 122].

Единственное возражение «сальерианской» концепции личности Брюсова следует из лагеря эмигрантских «цеховиков», выходцев из петроградского «Цеха поэтов», генеалогически связанных с вождем символизма. Так, ведущего критика газет «Звено» и «Последние новости», постоянного оппонента В. Ходасевича, заданет одномерность суждений о Брюсове, причем параллель с пушкинским персонажем будет оценена как «жестокая и несправедливая»:

Я знаю нескольких поэтов, у которых к Брюсову общее отношение: им хочется ругать его, когда при них его хвалят, – и наоборот. Статья Ходасевича почти не поддается «опровержению», в этом-то и уместность ее. У Ходасевича острое психологическое чутье, и он подтверждает свои догадки о Брюсове тысячью черт. Получился образ полу-истукана, полу-маньяка, расчетливого, самоуверенного в юности, растерянного в последние годы. Если Брюсов и был влюблен в литературу, то как чичиковский Петрушка, любивший читать ради складывания букв. Так Брюсов комбинировал риф-

мы и размеры. Ходасевич повторяет ходучее словцо, жестокое и несправедливое: Сальери.

Надо бы дать время произвести оценку Брюсова. Это был странный поэт и странный человек. Если ему не суждено играть учительской роли, если в нем многое нелепо, то еще и через сто лет кто-нибудь повторит с волнением:

Цветок засохший душа моя,

Мы снова двое, ты и я...

Это, кстати, наименее брюсовские из брюсовских стихов, но это, может быть, самые прекрасные его стихи, – «сухие и горькие», как сказал бы Блок [Адамович, 1925, с. 2]

Любопытен парадокс: Адамович подбирает для апологетического построения, в доказательство «не-сальерианского» происхождения дара своего подзащитного – «наименее брюсовские из брюсовских стихов», подспудно укрепляя позицию противоположной стороны и невольно подчеркивая справедливый характер литературной репутации. В свою очередь, современного исследователя интересует, как и из каких компонентов складывался этот персональный миф, как он соотносился с культурными конвенциями своего времени, а также филологическими и поэтическими потенциалами интерпретации образа Сальери.

И Марина Цветаева, и Владислав Ходасевич уверенно подбирают vis-a-vis для «сальери» русского модерна (в том числе путем перебора имен претендентов на звание «классика символизма»). Таким «моцартом» – «гулякой праздным» русского символизма, светлым гением – ожидаемо становится Константин Бальмонт. Отметим, что конкурентная борьба двух потенциальных классиков символизма за уникальное «пушкинское» место в поэтическом пантеоне Серебряного века не была секретом для современников. Еще в 1905 г., на закате безоблачной дружбы, восторженный Бальмонт, в личности и поэтике которого, действительно, находили немало моцартианских черт, представлял себя с Брюсовым в качестве своеобразного поэтического дуумвирата, венчающего символистский пантеон (предложение Бальмонта вполне конгениально моцартианскому – «гений, / как ты да я»):

Я искренне думаю, что за все эти последние десятилетия в России было лишь два человека, достойные имени Поэта, священнее которого для меня нет ничего. Это ты, и это я. Хорош многим Вячеслав, но, к сожалению, он более, чем что-либо – ученый-провизор. Медоточивый дистиллятор. Балтрушайтис – какой-то после дождика в четверг. Лохвицкая – красивый романс. Гиппиус уж очень Зиночка. Тонкий стебелек, красивый, но кто его сломит? Блок не более как маленький чиновник от просвещенной лирики. Полунемецкий столоначальник, уж какой чистенький да аккуратненький. «Дело о Прекрасной Даме» всё правильно расследовано. <...> Единственно, кто мог бы носить с честью звание Поэта, это Андрей Белый. Но он изолгался перед самим собой. Говоря грубо, он какой-то проститут поэзии [Валерий Брюсов и его корреспонденты, 1991, с. 168].

Однако ответ Брюсова приобретает иную форму, а протянутая рука Бальмонта остается непожатой. С 1907 г. тема «падения Бальмонта» / гибели таланта становится лейтмотивом большинства статей, посвященных Бальмонту в подконтрольных и связанных с Брюсовым журналах. Самый распространенный упрек Бальмонту, звучащий из брюсовского лагеря, – это «порча» стихов «разными неуместными выходками», характерными «бальмонтизмами» [Брюсов, 1990, с. 251]. Брюсовские конвенции в оценке творчества Бальмонта очевидно прочитываются и в рецензии молодого Николая Гумилева:

Вечная тревожная загадка для нас К. Бальмонт. Вот пишет он книгу, потом вторую, потом третью, в которых нет ни одного вразумительного образа, ни одной подлинно-поэтической страницы и только в дикой вакханалии несутся все эти «стозвонности» и «самосожженности» и прочие «бальмонтизмы» [Гумилев, 1990, с. 137].

Если письмо Бальмонта осталось в частной переписке двух поэтов, то публичная дискуссия лета 1913 г. с яркими апологиями двух типов художника не прошла мимо внимания современников. В то время как Бальмонт выстраивает свою эстетическую позицию на узнаваемых «моцартианских» принципах (статья Бальмонта «Забывший себя» была опубликована в газете «Утро России» 3 августа 1913 г.), Брюсов совершает необычный кульбит. Свою апологию он конструирует вокруг идеи «Пушкина-труженика», много работавшего над своими текстами, причем в образе классика явно усиливаются «сальерианские» коннотаты (ответная статья «Право на работу» была опубликована на страницах той же газеты 18 августа):

...поэты не только вправе, но обязаны работать над своими стихами, добиваясь последнего совершенства выражения. Если же сам Бальмонт к такой работе не способен, об этом можно лишь жалеть, вспоминая, как часто даже лучшие его создания бывают испорчены неряшливыми, несовершенными стихами. Что творчество поэта не есть какое-то безвольное умоисступление, но сознательный, в высшем значении этого слова, труд, — это прекрасно показал еще Пушкин в своем рассуждении «О вдохновении и восторге», где встречается знаменитый афоризм: «Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии» [Брюсов, 1990, с. 416].

Имя пушкинского героя в брюсовской заметке не звучит, но подразумевается, как и связь с его создателем. Моцарт и Сальери перестают быть историческими фигурами и, с легкой руки Брюсова, начинают мыслиться как своеобразные мета-персонажи, в образах которых Пушкин одинаково выразил две стороны своего гения, аспекты творчества. Таким образом, модернистская актуализация литературного «сальерианства» начинает отличаться от общекультурного, канонически закрепленного в академической практике, — от гимназических и университетских учебников до собраний сочинений.

История создания «Моцарта и Сальери» в начале XX в. уже была серьезно разработана в филологии и известна читающей публике. Своеобразная мономания пушкинского Сальери, его тотальная сконцентрированность на фигуре Моцарта, чаще всего объяснялась «сущностью исторической драмы», которая предполагает «развитие только одной основной черты характера, пренебрегая другими» [Горнфельд, 1909, с. 121]. Научным консенсусом на тот момент было, что такой чертой является «зависть» (подчеркивалось, что сам Пушкин именно так планировал назвать трагедию), исследованию природы которой и посвящен пушкинский текст.

В очерке Ходасевича социальный и психологический портрет Брюсова пишется через параллель с героями пушкинской драмы:

Он не любил людей, потому что, прежде всего, не уважал их. Это, во всяком случае, было так в его зрелые годы. В юности, кажется, он любил Коневского. Неплохо он относился к З. Н. Гиппиус. Больше назвать некого. Его неоднократно подчеркнутая любовь к Бальмонту вряд ли может быть названа любовью. В лучшем случае это было *удивление* Сальери перед Моцартом. Он любил называть Бальмонта братом. М. Волошин однажды сказал, что традиция этих братских чувств восходит к глубокой древности — к самому Каину [Ходасевич, 2001, с. 59–60].

Ходасевич избегает ядерной конвенциональной категории в описании этого культурного типа, не общепринятая «зависть», а «удивление» становится чувством Сальери, возникшем «перед Моцартом». Младший современник «сальери русского модерна» оказывается необыкновенно чуток к послы, идущему от самого Брюсова, для которого сальерианство стало основой позитивной поэтической программы – возможностью претендовать на пушкинское наследство. С другой стороны, очерк, посвященный Брюсову, пишет пушкинист, автор «Поэтического хозяйства Пушкина», понимающий полифоническую природу пушкинского текста.

К ожидаемым «сальерианским» чертам Ходасевич отнесет брюсовский «алгебраизм», восходящий к формуле «поверил / я алгеброй гармонию», трезвый *расчет* и *трудолюбие*. Брюсов любил рассказывать своим корреспондентам о любви к математике, не забыл он упомянуть об этом факте и в автобиографии, написанной для венгерской «Русской литературы XX века»:

Учился я в гимназии Поливанова хорошо и считался в числе лучших учеников. Наилучшими были мои успехи в математике. Я всегда любил непобедимую логику математики, но в те годы, между своими 16–18 годами, особенно увлекался ею и долгое время держался намерения, по окончании курса гимназии, избрать математический факультет [Русская литература XX века..., 2004, с. 67].

В очерке Ходасевича брюсовский «алгебраизм» сводится, прежде всего, к «перестановкам» и «сочетаниям», выраженных в рационализации поэтического творчества, с пушкинским трудолюбием, но без второй стороны пушкинского гения – «божества и вдохновенья»:

...в игры «коммерческие», в преферанс, в винт, он играл превосходно – смело, находчиво, оригинально. В стихии расчета он умел быть вдохновенным. Процесс вычисления доставлял ему удовольствие. В шестнадцатом году он мне признавался, что иногда «ради развлечения» решает алгебраические и тригонометрические задачи по старому гимназическому задачнику. Он любил таблицу логарифмов. Он произнес целое «похвальное слово» той главе в учебнике алгебры, где говорится о перестановках и сочетаниях.

В поэзии он любил те же «перестановки и сочетания». С замечательным упорством и трудолюбием он работал годами над книгой, которая не была, да и вряд ли могла быть закончена: он хотел дать ряд стихотворных подделок, стилизаций, содержащих образчики «поэзии всех времен и народов»! В книге должно было быть несколько тысяч стихотворений. Он хотел несколько тысяч раз задушить себя на алтаре возлюбленной Литературы – во имя «исчерпания всех возможностей», из благоговения перед перестановками и сочетаниями [Ходасевич, 2001, с. 65].

К сальерианству Ходасевич возводит и подверженность Брюсова темным страстям, первейшими из которых становится *стремление к власти*, маниакальная *иерархичность*, мысли о литературном наследстве. Автора мемуаров чрезвычайно интересует в своем объекте парадоксальная для символиста закреплённость в материальном мире:

Он страстно, неестественно любовью любил заседать, в особенности – председательствовать. Заседая – священнодействовал. Резолюция, поправка, голосование, устав, пункт, параграф – эти слова не жили его слух. Открывать заседание, закрывать заседание, предоставлять слово, лишать слова «дискреционную власть председателя», звонить в колокольчик, интимно склоняться к секретарю, прося «занести в протокол», – всё это было

для него наслаждение, «театр для себя», предвкушение грядущих двух строк в истории литературы [Ходасевич, 2001, с. 65].

Страсть Брюсова к «академизму», закреплённости в материальном мире иронически обыгрывает Константин Бальмонт. Во время ожесточённого спора 1913 г. брюсовское собрание сочинений, в структуре которого Бальмонт безошибочно увидел претензию на позицию «живого классика», будет метафорически представлено в качестве роскошного «гроба» (материального воплощения смерти Брюсова как поэта):

Валерий Брюсов полагает, что он академик и что он уже помер. Он издает поэтому академическое посмертное собрание своих сочинений, с примечаниями, вариантами, точными датами и трогательно-подробным сборником библиографических указаний, что, где, когда напечатано, где какой стишок впервые увидел свет, где какая заметка в три строки с половиной обогатила русскую литературу. Помечены даже шаржи, карикатуры на Брюсова, помещенные в том или ином юмористическом листке. Это, как если бы в фамильную горку рядом с хрустальными и разными раритетами помещены не только ордена тщеславного деятеля, дослужившегося до чина действительного статского советника, но и стоптанные его башмачки той эпохи, когда этот заслуженный человек еще бегал в коротких штанишках, и эпох дальнейших.

Брюсов глубоко заблуждается. Он еще не помер, хотя его способ прощаться с живыми свидетелями своих истинных переживаний, – с лирическими стихами юных его дней, – его способ, переиздавая их, забивать их в гроб и добивать их вариантами и примечаниями, может заставить опасаться, – хочу думать, опасаться напрасно, – что Валерий Брюсов, как лирический поэт, близок к смерти [Бальмонт, 2007, с. 117].

В исследовательской литературе подчеркивается принципиальная разность в подходах к конструированию своего героя, продемонстрированная в очерках Вл. Ходасевича и М. Цветаевой. Так, И. Андреева отмечала, что «Цветаева своим очерком возвращает нас к тому, от чего сознательно бежит Ходасевич, – к мифу. Ее “Герой труда” выстроен словно бы из “антиматериалов”, из того, что Ходасевич изгонял, убирал, вычеркивал» [Андреева, 1992, с. 210]. Однако для Цветаевой, как и для Ходасевича, «сальерианство» Брюсова становится одним из ведущих акцентов в конструировании его личности (наряду с «Брюсовым-римлянином», об этом аспекте мы уже подробно писали в ранних работах). Концентрация этого сюжета и развертывание эффектного веера метафорических антитез произойдет в разделе «Бальмонт и Брюсов»: «Бальмонт и Брюсов. Об этом бы целую книгу, – поэма уже написана: Моцарт, Сальери». «Брюсов» и «Бальмонт» понимаются Цветаевой и как персонифицированные «два полюса творчества», и как «два лагерь, две особи, две расы» [Цветаева, 1997, с. 51–57].

Однако персонифицированные носители «моцартианства» и «сальерианства» в цветаевской статье совсем не ограничиваются парой «Брюсов – Бальмонт». В «Герое труда» устойчивой позиции Брюсова – Сальери противопоставляется целый ряд «моцартов», «наиполярнейших из солнц». И первый из «моцартов» Брюсова называется в мемуарной реконструкции шуточного разговора с мужем (здесь принципиально делегирование «другому» этой позиции):

Был сочельник 1911 г. – московский, метельный, со звездами в глазах и на глазах. Утром того дня я узнала от Сергея Яковлевича Эфрона, за которого вскоре вышла замуж, что Брюсовым объявлен конкурс на следующие две строки Пушкина:

Но Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах.

– Вот бы Вам взять приз – забавно! Представляю себе умиление Брюсова! Допустим, что Брюсов – Сальери, знаете, кто его Моцарт?

– Бальмонт?

– Пушкин!

[Цветаева, 1997, с. 27].

Для Цветаевой, в отличие от многих ее современников, Брюсов – не ничтожество, поверженный титан, чьи претензии на власть не обоснованы, так как эфемерно основание его величия – литературное мастерство, которым он не вполне владеет (в такой логике, например, будет написана рецензия С. Парнок). Брюсов Марины Цветаевой – несомненно большая величина. Единственное, в чем младший поэт ему отказывает, – в равновеликом Пушкину месте в культуре, которое Марина Цветаева еще в 1913 г. зарезервировала для себя, желая в своей личной программе стать «вторым Пушкиным или первым поэтом-женщиной» [Цветаева, 2001, с. 57].

«Брюсов в мире останется, но не как поэт, а как герой поэмы. Так же как Сальери остался – творческой волей Пушкина. На Брюсове не будут учиться писать стихи (есть лучшие источники, чем – хотя бы даже Пушкин! Вся мировая, еще не подслушанная, подслушанной быть долженствующая, музыка), на нем будут учиться хотеть – чего? – без определения объекта: всего. И, может быть, меньше всего – писать стихи» [Цветаева, 1997, с. 62–63].

В 1915 г. в регулярно читаемом Мариной Цветаевой журнале «Северные записки» выходит небольшая рецензия молодого Б. Эйхенбаума на очередной том брюсовского «Собрания сочинений». Любопытно, что критик задолго до очерков Ходасевича и Цветаевой также ставит вопрос о пушкинском наследстве и Брюсове. Рецензия начинается с физического описания книги, причем в этом описании слышны характерные некроморфные нотки: «На мертвенно-сером фоне холодно и жутко горят золотые буквы титула – такова обложка полного собрания сочинений В. Брюсова. И в этом сочетании есть действительно что-то брюсовское» [Эйхенбаум, 1915, с. 223].

Эйхенбаум, точно так, как и потом Марина Цветаева, откажет не только Брюсову, но и Бальмонту в пушкинском наследстве, причем на близких основаниях. «Заморскость», «островной» характер лирики, несвязанность с Россией и ее судьбой вменяет Цветаева своему Моцарту-Бальмонту (Бальмонт у Цветаевой – безусловный Моцарт, как и Брюсов – Сальери, но при этом ни один из них не может претендовать на пушкинское место в культуре).

Эйхенбаум, в свою очередь, не видит ни в одном из поэтов пушкинского пророческого дара, «дара непосредственного познания мира ноуменального, мира «первых сущностей, мира «кантовских вещей в себе», мира платоновских «идей»:

Брюсов и Бальмонт – два уклона, пережитые русским декадансом. Глухой, идущий из «бездны подземелий» гул Брюсовского стиха и резковзвонящий, как надтреснутая медь, стих Бальмонта звучит в душе, как воспоминанье. Бальмонт – мечта для Брюсова: «Ты на воле! На тебе ее печать!», он где-то там на высоте. Брюсов – в нижней бездне, почти в аду. Бальмонт – в верхней бездне, оба – чужие земле. <...> Они оба – поэты и оба – не пророки. Взлет Бальмонта, нового Икара, в солнечные сферы и низвержения Брюсова – в бездны подземелий – это пути для тех, кто отвергает землю, кто в заколдованном круге трансцендентности, для кого самая страсть есть «смутная алчба». А земля ждет новых прикосновений, ждет нового оправдания и настоящей любви [Там же, с. 224–225].

Марина Цветаева переберет имена претендентов на имя символистского «пушкина» и в соответствии с двумя критериями («способность на русскую песню» и «роднящую одинаковость нашей любви») назовет имя носителя пушкинского начала в символистском поколении, отказывая двум конкурирующим старшим символистам в пушкинском наследстве. Это имя – Александр Блок.

Список литературы

- Адамович Г.* Литературные беседы // Звено. 1925. № 115 (16 апр.). С. 2.
Андреева И. Два Брюсова // Marina Tsvetaeva: One Hundred Years. Berkeley, 1992. С. 202–220.
Бальмонт К. О русской литературе. Воспоминания и раздумья. М., 2007.
Брюсов В. Я. Среди стихов: 1894–1924. М., 1990.
Валерий Брюсов и его корреспонденты. М., 1991. Кн. 1. (Лит. наследство; Т. 98)
Горнфельд А. Моцарт и Сальери // Библиотека великих писателей / Под ред. С. А. Венгерова. СПб.: Изд. Брокгауза и Эфрона, 1909. Т. 3.
Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. М., 1990.
Русская литература XX века. 1890–1910 / Под ред. С. А. Венгерова. М., 2004.
Томашевский Б. Литература. И еще Пушкиниана // Жизнь искусства. 1924. № 2. С. 15–16.
Ходасевич Вл. Брюсов // Ходасевич Вл. Некрополь. СПб., 2001. С. 50–79.
Цветаева М. И. Герой труда // Цветаева М. И. Собр. соч.: В 7 т. М., 1997. Т. 4, кн. 1. С. 12–63.
Цветаева М. И. Записные книжки. М., 2001. Т. 1.
Чумаков Ю. Н. Сюжетная полифония «Моцарта и Сальери» // Чумаков Ю. Н. Пушкин. Тютчев. Опыт имманентных исследований. М., 2008. С. 249–283.
Эйхенбаум Б. Валерий Брюсов. Полное собрание сочинений и переводов. Т. III, Urbi et Orbi – Т. IV Stephanos // Северные Записки. 1915. № 4. С. 223–225.

S. Yu. Kornienko

*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russian Federation
sve-kornienko@yandex.ru*

“What use is there in Mozart living on?..”: Mozart and Salieri in modernist aesthetic practices

The paper is devoted to the reception of the image of Mozart and Salieri in literary criticism and writing practices of the early 20th century. The moment of the cultural crisis (the end of symbolism domination as the leading modernist paradigm) intensified the struggle for “one’s own Pushkin,” Pushkin’s aesthetic legacy and Pushkin’s unique place in culture. At the time of reconfiguration of aesthetic fields (at the very beginning of the 1910s), the discussion around Pushkin’s name is important in terms of defining the pantheon of modernist classics. For example, in the fierce public dispute between V. Bryusov and K. Balmont, which broke out in 1913, there are clear references to Pushkin’s “little tragedy” – “Mozart and Salieri” – read by literary rivals, equally claiming to be “classic of symbolism,” in the auto-design key. The gaps between general knowledge, literary-theoretical reflection, and poetic creativity are revealed. The proteic (polyphonic) nature of the Pushkin text allows representatives of competing literary groups to read often opposite meanings into it. The article defines the source of V. Bryusov’s Salierian reputation, its auto-interpretation character. Such a source is Bryusov’s journalism, in particular, the article “The right to work” – with an apology for his approach to creativity, which goes back to the image of the Pushkin master. The younger poets, constructing the posthumous Bryusov myth on the Salierian platform, were in many ways sensitive to his promise. Due to their aesthetic and axio-

logical complexity, the articles by V. Khodasevich and M. Tsvetaeva dedicated to Bryusov ("Bryusov" (1924) and "Hero of labor" (1925)) stand out against the background of the Bryusov's mortemology of the Russian diaspora. Vladislav Khodasevich will see the "Salierian" beginning in Bryusov's "algebraism," sober calculation and hard work. Marina Tsvetaeva examines the image of Bryusov in a similar way. Tsvetaeva refuses Pushkin's inheritance not only to Bryusov but also to his opponent Balmont. Tsvetaeva considers the basis of the inheritance to be the ability "to sing Russian songs" and "the sameness of our love that brings us together." According to Tsvetaeva, it is these qualities that are possessed by the poet of the next symbolist generation, Alexander Blok.

Keywords: literary field, "Mozart and Salieri," "Pushkin's myth," Marina Tsvetaeva, Vladislav Khodasevich, Valery Bryusov, Boris Eikhenbaum.

DOI 10.17223/18137083/68/10

References

- Adamovich G. *Literaturnyye besedy* [Literary discussions]. *Zveno*. 1925, no. 115 (Apr. 16), p. 2.
- Andreyeva I. Dva Bryusova [Two Brusovs]. In: *Marina Tsvetaeva: One Hundred Years*. Berkeley, 1992, pp. 202–220.
- Bal'mont K. *O russkoy literature. Vospominaniya i razdum'ya* [On Russian literature. Memories and reflections]. Moscow, 2007.
- Bryusov V. Ya. *Sredi stikhov: 1894–1924* [Among the poems: 1894–1924]. Moscow, 1990.
- Chumakov Yu. N. Syuzhetnaya polifoniya "Motsarta i Sal'yeri" [Plot polyphony "Mozart and Salieri"]. In: Chumakov Yu. N. *Pushkin. Tyutchev. Opyt immanentnykh issledovaniy* [Pushkin. Tyutchev. Experience of immanent research]. Moscow, 2008, pp. 249–283.
- Eykhenbaum B. Valeriy Bryusov. Polnoye sobraniye sochineniy i perevodov. T. 3, Urbi et Orbi – T. 4 Stephanos [Complete collection of works and translations. Vol. 3, Urbi et Orbi – Vol. 4 Stephanos]. *Severnyye Zapiski*. 1915, no. 4, pp. 223–225.
- Gornfel'd A. Motsart i Sal'yeri [Mozart and Salieri]. In: *Biblioteka velikikh pisateley* [Library of great writers]. S. A. Vengerov (Ed.). St. Petersburg, Brokgauz and Efron Publ., 1909, vol. 3.
- Gumilev N. S. *Pis'ma o russkoy poezii* [Letters about Russian poetry]. Moscow, 1990.
- Khodasevich Vl. Bryusov. In: Khodasevich Vl. *Nekropol'* [Necropolis]. St. Petersburg, 2001, pp. 50–79.
- Russkaya literatura 20 veka. 1890–1910* [Russian literature of the 20th century. 1890–1910]. S. A. Vengerov (Ed.). Moscow, 2004.
- Tomashevskiy B. Literatura. I eshche Pushkiniana [Literature. And also Pushkiniana]. *Zhizn' iskusstva*. 1924, no. 2, pp. 15–16.
- Tsvetaeva M. I. Geroy truda [Hero of labor]. In: Tsvetaeva M. I. *Sobr. soch.: V 7 t.* [Collected works: In 7 vols]. Moscow, 1997, vol. 4, bk. 1, pp. 12–63.
- Tsvetaeva M. I. *Zapisnyye knizhki* [Notebooks]. Moscow, 2001, vol. 1.
- Valeriy Bryusov i ego korrespondenty* [Valery Bryusov and his correspondents]. Moscow, 1991, bk. 1. (Lit. nasledstvo [Literary heritage; Vol. 98])

УДК 821.161.1
DOI 10.17223/18137083/68/11

Е. Ю. Куликова

Институт филологии СО РАН, Новосибирск

**Немецкое и французское
в балладном «Сне» Осипа Мандельштама
(«На высоком перевале...»)**

В статье речь идет о балладном подтексте стихотворения О. Мандельштама «На высоком перевале...», ориентированного как на классические немецкие баллады И. В. Гёте (с учетом последующей русской традиции XIX в. – В. А. Жуковского, А. С. Пушкина и др.), так и на французские жанровые опыты Ф. Вийона и Ш. Бодлера. Балладный мотив сна тянется через весь текст «Фаэтонщика». Как и в балладах Жуковского, у Мандельштама это путешествие в иной мир с мертвецом-проводником. Сюжет стихотворения построен на основе «Лесного царя» Гёте – Жуковского. Герои оказываются во власти страшного существа, влекущего их в свой жуткий мир. Кроме того, «Фаэтонщик» является вариацией на тему, заданную Н. Гумилевым в «Заблудившемся трамвае» – стихотворении, которое Луи Аллен назвал балладой.

Ключевые слова: жанр, баллада, традиция, лирический сюжет, «Фаэтонщик», О. Мандельштам.

...В поэзии разрушаются грани национального, и стихия одного языка перекликается с другой через головы пространства и времени, ибо все языки связаны братским союзом, утверждающимся на свободе и домашности каждого, и внутри этой свободы братски родственны и по-домашнему ауются.

О. Мандельштам. Заметки о Шенье

Стихотворение Мандельштама «На высоком перевале...»¹ можно увидеть как балладу, или текст, наделенный балладными чертами в большой степени. В эпоху Серебряного века и модернизма (и далее – авангарда) черты любого жанра становятся достаточно условными и расплывчатыми. Тем интереснее рассмотреть игру

¹ Для краткости этот текст в некоторых случаях будет называться «Фаэтонщик».

Куликова Елена Юрьевна – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора литературоведения Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия, kulis@mail.ru)

с жанровыми структурами. Собственно, XX в. превратил жанр в метафору, и эта метафоричность позволяет увидеть разнообразные напластования эпох, времен и богатое включение интертекста.

Жанр баллады разнообразен и неоднороден: «англосаксонские баллады всегда представляют собой рассказы о событиях, немецкие баллады – часто тоже, французские же баллады – почти никогда» [Шеффер, 2010, с. 112]. Если немецкие и английские баллады узнаются по сюжету, наполненному мистикой и таинственностью, по драматическим, зачастую необъяснимым рационально событиям с элементами диалога, то французские баллады сюжетно охарактеризовать невозможно: главным образом, это определенная стихотворная форма, включающая три строфы на одинаковые рифмы (*ababbcc* для семистрочной, *Ababbcbc* или *ababccdd* для восьмистрочной, *ababbccddcd* для десятистрочной строф) с рефреном в конце строфы. В XV в. появляется тяготение к квадратной строфе: восемь восьмисложников или десять десятисложников. С конца XIV в. баллада обычно завершается полустрофой-«посылкой», которая чаще всего начинается со слова «Prince» (или «Princesse»).

Лирический сюжет «Фазтонщика» как будто бы откровенно замкнут на классические балладные черты немецкой или – после В. А. Жуковского, А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, – можно сказать, и русской баллады XIX в. В основе «Фазтонщика» лежат впечатления от поездки поэта в Нагорный Карабах осенью 1930 г. и трагических событий в Шуше в 1920 г., когда в городе было вырезано 35 тысяч человек. Вот как рассказывает об этом Н. Я. Мандельштам:

Город начинался с бесконечного кладбища, потом крохотная базарная площадь, куда спускаются улицы разоренного города.

Нам уже случалось видеть деревни, брошенные жителями, состоящие из нескольких полуразрушенных домов, но в этом городе, когда-то, очевидно, богатом и благоустроенном, картина катастрофы и резни была до ужаса наглядной. Мы пошли по улицам, и всюду одно и то же: два ряда домов без крыш, без окон, без дверей.

В вырезы окон видны пустые комнаты, изредка обрывки обоев, полуразрушенные печки, иногда остатки сломанной мебели...

Говорят, что после резни все колодцы были забиты трупами. Если кто и уцелел, то бежал из этого города смерти. На всех улицах мы не встретили ни одного человека. Лишь внизу – на базарной площади – копошилась кучка народу, но среди них не было ни одного армянина.

Создалось впечатление, что мусульмане на рынке – остатки тех убийц, что разгромили город, только впрок им это не пошло: восточная нищета, чудовищные отрепья, гнойные болячки на лицах...

Мы решили ехать в Степанакерт, добраться туда можно было только на извозчике. Вот и попался нам безносый извозчик – единственный на стоянке, с кожаной нахлопкой, закрывавшей нос и часть лица.

А дальше было все точно так. Как в стихах: и мы не поверили, что он нас действительно довез до Степанакерта [Мандельштам, 1987, с. 162–163].

Балладный мотив сна тянется через весь текст, будто сжимая его в тисках: «было страшно, как во сне... Я очнулся...» [Мандельштам, 2009, с. 167–168]. Этот маркер границы сон / явь – одна из характерных черт жанра, в частности, баллад Жуковского. Г. Киришбаум писал, что у Мандельштама «пробуждающий “сон” литературного воспоминания генеалогически связан и с припоминанием “блуждающих снов” поэзии (в раннем стихотворении “Я не слышал рассказов Оссиана...”) и “вечных снов” как “образчиков крови” поэзии в “Батюшкове”» [Киришбаум, 2010, с. 278]. Сон – литературный мотив для Мандельштама, как будто за ниточку вытягивающий всю культуру – и северную (скальды), и южную /

восточную (в «Фаэтонщике» пир «со смертью» происходит «в мусульманской стороне»). Рассматриваемая баллада как раз все эти «ниточки» воедино и соединяет.

Многочисленными исследователями отмечены отсылки Мандельштама к пушкинским «Бесам» (в первую очередь, совпадение размера – четырехстопный хорей), «Пиру во время чумы», «Путешествию в Арзрум», сам фаэтонщик уподобляется Харону, перевозившему души мертвых в Аид. «Роза или жаба» напоминают есенинские строки «Розу белую с черною жабой / Я хотел на земле повенчать» [Есенин, 1995, с. 185]².

С самого начала Мандельштамом задается балладный код: лирический герой видит фантастический сон, кружится в мистической карусели, устроенной поденщиком дьявола, подобно пушкинскому герою, ведомому бесами. Это не отменяет политического звучания стихотворения и аналогии со Сталиным, но в то же время подчеркивает литературность и актуализирует жанр. «Бесы» Пушкина – баллада, образы живого и мертвого постоянно в ней накладываются друг на друга – в самых иррациональных вариациях: «Домового ли хоронят, Ведьму ль замуж выдают...» [Пушкин, 1995, с. 227]. И у Мандельштама живое и мертвое слиты воедино: «Мы со смертью пировали»; «фаэтонщик, пропеченный, как изюм» (пропеченный словно адским пламенем); «гнал коляску / До последней хрипоты»; «безносой канителью / Правит, душу веселя» (мотив смерти); «Сорок тысяч мертвых окон»; «труда бездушный кокон / На горах похоронен» [Мандельштам, 2009, с. 167–168].

Как и в балладах Жуковского, у Мандельштама это путешествие в иной мир с мертвецом-проводником. Не случайно конечной точкой оказывается Шуша, а не Степанакерт или другие нефантастические города. Онейрическое пространство как будто специально завуалировано: неизвестно, во сне совершается это путешествие или нет. То ли откликается «Людмила» (с финальной «явью» произошедших событий), то ли «Светлана» (повествование в которой строится на сновидении) Жуковского. И важно, что сюжет этих трех баллад рожден из немецкой баллады Бюргера «Ленора».

В «Фаэтонщике» сочетаются немецкая и французская традиции, «стихия одного языка переключается с другой через головы пространства и времени» [Мандельштам, 2010, с. 100], и это слияние позволяет выявить балладные свойства текста.

Г. Киршбаум прослеживает немецкие мотивы в армянском цикле Мандельштама («Фаэтонщика» не касаясь): «В Армении поэт говорил по-немецки, например, с профессором Хачатурьяном, познакомился и подружился с Б. С. Кузиным... биологом и большим знатоком немецкой литературы и музыки. В своих воспоминаниях Н. Я. Мандельштам отмечает: “Через увлечение Арменией пришла тяга к Гёте, Гердеру и другим немецким поэтам. Встреча с молодым биологом Кузиным, полным в то время философских и литературных интересов – всегда чуточку буршевских – могла бы пройти незамеченной где-нибудь в Москве, но в Армении шар попал в лузу. <...> Кузин любил Гёте, и это... пришлось кстати”... В связи с “Путешествием в Армению” исследователями... уже отмечались параллели в биографии Гёте и Мандельштама. Учитывая, что книга Гёте описывает бегство немецкого поэта из Германии на спасительный блаженный Юг, можно предположить, что мы имеем дело не просто с совпадениями, а с сознательной мандельштамовской интенцией-проекцией своего путешествия на гётевское... В Армении Мандельштам перечитывает вместе с Кузиным «Фауста», «Годы странствий Вильгельма Мейстера» и «Вертера» [Киршбаум, 2010, с. 238–239].

² См., например, об этом: [Мандельштам, 1990, с. 519; 2009, с. 605; Богатырева, 2000; Кихней, 2000, с. 91–92; Оганисян, 1982; Рубин, 1977].

Далее исследователь приводит высказывание К. Трибла, предлагающего считать армянский цикл мандельштамовским «Западно-восточным диваном» [Киршбаум, 2010, с. 240].

Сюжет стихотворения «На высоком перевале...», как нам представляется, построен на основе «Лесного царя» Гёте – Жуковского. Герои оказываются во власти страшного существа, которое влечет их в свой жуткий мир. «Мандельштам давно заметил, что мы совершенно ничего не знаем о тех, от кого зависит наша судьба» [Мандельштам, 1987, с. 164], и это ощущение близко переживаниям гётевского ребенка.

Более того, именно композиция стихотворения дает основания рассматривать эту параллель. Фаэтонщик описывается как Лесной царь, Мандельштам перечисляет важные моменты из текста Гёте и создает своего демона: внешность, голос (звук), движение (кружение / хороводы), жуткий страх героя, убивающий его.

Описание демона / чудовища:

«Он в темной короне, с густой бородой» [Goethe, 2003, с. 3] – так переводит Жуковский строки Гёте «Den Erlenkönig mit Kron' und Schweif?» [Там же, с. 2]. (Подстрочник М. Цветаевой: «Отец, ты не видишь Лесного Царя? Лесного Царя в короне и с хвостом?» [Там же, с. 4]).

Фаэтонщик Мандельштама – тоже странное, нечеловеческое существо:

...Пропеченный, как изюм, –
Словно дьявола погонщик,
Односложен и угрюм...
...Под кожаную маску
Скрыв ужасные черты [Мандельштам, 2009, с. 167–168].

Голос демона / чудовища:

У Гёте – Жуковского: «Erlenkönig mir leise verspricht» [Goethe, 2003, с. 2] – «Лесной царь со мной говорит» [Там же, с. 3] – «Лесной Царь мне шепотом обещает» [Там же, с. 4].

У Мандельштама:

То гортанный крик араба,
То бессмысленное «цо»...
...Он куда-то гнал коляску
До последней хрипоты [Мандельштам, 2009, с. 167–168].

Шепот в «Лесном царе» и хрипота в «Фаэтонщике» подчеркивают неземное происхождение голоса, он словно звучит из иного мира: *оттуда*.

Кружение:

«Meine Töchter sollen dich warten schön, / Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn / Und wiegen und tanzen und singen dich ein» [Goethe, 2003, с. 2] – «При месяце буду играть и летать, / Играя, летая, тебя усыплять» [Там же, с. 3] – «Мои дочери чудно тебя будут нянчить, / мои дочери ведут ночной хоровод, – убаюкают, упряшут, упоют тебя» [Там же, с. 4].

Хороводы, игры, которые обещает ребенку Лесной царь, в тексте Мандельштама отзываются круговертью, связанной и с «Бесами» Пушкина: «Закружились фаэтоны... вертелась каруселью кисло-сладкая земля» [Мандельштам, 2009, с. 168]. Верчение и кружение к Мандельштаму приходят из немецкой баллады Гёте и русской – Пушкина.

Земля в «Фаэтонщике» напоминает кисло-сладкое яблоко – любимый поэтом образ, часто встречающийся в поэзии и прозе Мандельштама («Державным яблоком катящиеся годы» [Там же, с. 85]; «Взят в руки целый мир, как яблоко простое» [Там же, с. 81]; «Давайте бросим бури яблоко / На стол пирующим землянам» [Мандельштам, 2009, с. 303]; «С неба упало три яблока: первое тому, кто

рассказывал, второе тому, кто слушал, третье тому, кто понял» [Мандельштам, 2010, с. 338]; «И клятвой на песке, как яблоком, играли... грызла яблоки, с шарманкой, детвора» [Мандельштам, 2009, с. 136]; «Кто веку поднимал болезненные веки – / Два сонных яблока больших... / Снег пахнет яблоком, как встарь» [Там же, с. 137–138]).

И. Сурат в статье «Яблоко простое» анализирует данный образ в творчестве Мандельштама: «Корень слова “яблоко” созвучен с общеславянским корнем “обл”, со словом “облый”, то есть круглый, округлый. Мандельштам сознательно работал с этим корневым созвучием. “Поэтическую речь живет блуждающий, многосмысленный корень”, – писал он в “Заметках о поэзии” (1923, 1927), и его образное мышление часто мотивируется именно корневыми созвучиями... Мандельштам имеет в виду то, что по-русски называлось “держава”, “державное яблоко” или “яблоко владомое”, а по-немецки “Reichsapfel” – шар-глобус из драгоценного металла, древнейший атрибут верховной власти, появившийся еще во II веке у римских кесарей и перешедший впоследствии к императорам Священной Римской империи. Эти представления отразились, например, в названии одного из самых знаменитых и старейшего из сохранившихся средневековых глобусов: “Земное яблоко” или “Erdapfel” – он был создан в Нюрнберге в конце XV века и с 1907 года по настоящий день экспонируется в нюрнбергском Национальном музее Германии (напомним, что Мандельштам в 1909–1910 годах жил и учился совсем неподалеку – в соседнем Гейдельберге, вполне мог и в нюрнбергском музее побывать или что-то слышать о “земном яблоке”))» [Сурат, 2009, с. 22]. Образ яблока как мира мог прийти к Мандельштаму из немецкой культуры. Тогда объясним эпитет к слову земля в «Фазетонщике» – «кисло-сладкая». Гётевский подтекст рождает дополнительные немецкие ассоциации, и след неназванного поэта в стихотворении читается по множеству отсылок к нему.

Страх:

Финал «Лесного Царя» – гибель ребенка, которого забрало чудовище у Гёте и который умер от страха в балладе Жуковского.

Erlkönig hat mir ein Leids getan!» –

Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
Er hält in den Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not [Goethe, 2003, с. 2]. –

Уж вот он: мне душно, мне тяжело дышать.

Ездок оробелый не скачет, летит;
Младенец тоскует, младенец кричит... [Там же, с. 3] –

Лесной Царь мне сделал больно! –
Отцу жутко, он быстро скачет,
Он держит в объятьях стонущее дитя,
доскакал до двора с трудом, через силу... [Там же, с. 4]

Страх лирического героя «Фазетонщика» –

Я изведаль эти страхи,
Соприродные душе [Мандельштам, 2009, с. 168] –

отзывается балладным ужасом: демонический образ возницы, сочетающего в себе и черты похитителя из «Лесного Царя», и черты мертвецов Жуковского и вообще всех призраков (проводник-мертвец – один из важных балладных образов), и чер-

ты пушкинских бесов, и конечно, негра из «Пира во время чумы», который везет повозку с мертвецами³. Любопытно, что стихотворение Мандельштама написано четырехстопным хореем, как и песня Мери из «Пира...», сюжетно напоминающая балладу.

Одновременно строки «Фазтонщика» создают образ другого балладного путешествия – дороги в «чумную» Францию XV в., где жил и творил «любимец» поэта Франсуа Вийон. За пять дней до создания стихотворения «На высоком перевале...» Мандельштам пишет текст, напрямую отсылающий к Вийону, – «Довольно кукситься, бумаги в стол засунем...», где французский поэт скрыт за обликом «парикмахера Франсуа»:

Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа [Мандельштам, 2009, с. 167].

И в «Фазтоннике» подспудно отзывается знаменитая «Баллада повешенных» («L'Épître Villon (Ballade des pendus)»). Баллада Вийона – французская, а соответственно, в первую очередь, это баллада по структуре. Она состоит из трех десятистопников и полустрофы-«посылки», которая начинается со слова «Prince».

Прямых реминисценций из «Баллады...» у Мандельштама нет, но переживание смерти («Я изведал эти страхи, / Соприродные душе» [Там же]), явленной в мотивах «мертвых окон», «обнаженных домов» «темно-синей чумы неба», соотносится с «мертвой плотью» и страданиями повешенных, от лица которых Вийон ведет повествование. В эссе о Вийоне Мандельштам пишет, что, размышляя о собственной смерти, поэт-визионер «изображает... в своей балладе, как ветер раскачивает тела несчастных, туда-сюда, по произволу... И смерть он наделяет динамическими свойствами, и здесь умудряется проявить любовь к ритму и движению» [Мандельштам, 2010, с. 19].

Обращаясь к личности Вийона, помня о его постоянном ожидании казни, Мандельштам в своих строках создает перекличку со стихами о повешенных, но в то же время, несомненно, имеет в виду и другого французского поэта – Шарля Бодлера, в «Поездке на Киферу» которого отразились вийоновские мотивы виселицы:

De féroces oiseaux perchés
sur leur pâture
Détruisaient avec rage un pendu
déjà mûr... [Baudelaire, 1899, с. 320]

Повешенный был весь облеплен
стаей птичьей,
Терзавшей с бешенством
уже раздутый труп...
[Бодлер, 2001, с. 132]
(пер. И. Лихачева).

Les yeux étaient deux trous,
et du ventre effondré
Les intestins pesants lui coulaient
sur les cuisses... [Ibid.]

... Зияли дыры глаз. От тяжести своей
Кишки прорвались вон и вытекли
на бедра [Там же].

³ Можно отметить обращенность к пушкинскому «Пиру...» в XX в. Много раньше «Фазтонщика» Мандельштама, летом 1913 г. в Москве В. Шершеневич организовал издательство «Мезонин поэзии», которое выпустило три альманаха – «Вернисаж», «Пир во время чумы» и «Крематорий здравомыслия». «Пир во время чумы» был иллюстрирован Львом Заком.

Сравним со стихами Вийона:

...La chair...
...est pièce dévorée et pourrie,
Et nous, les os, devenons cendre et
poudre... [Вийон, 2002, с. 328]

Наша плоть...
...висит насквозь прогнившими
 клоками,
и наши кости тлеют понемногу...
[Там же, с. 534]

Pies, corbeaulx, nous ont les yeux
cavez... [Там же, с. 330]

Сороки, вороны нам выклевали глаза...
(подстрочник наш. — Е. К.)

Как повешенные Вийона, словно пришедшие с того света поговорить с живыми, обратиться к ним с мольбой о жалости и прощении, как лирический герой Бодлера, в мертвом истекающем теле висельника видящий собственные нагие сердце и плоть («Ah! Seigneur! donnez-moi la force et le courage / De contempler mon coeur et mon corps sans dégoût!» [Baudelaire, 1899, с. 321] – в пер. И. Лихачева: «О Боже! Дай мне сил глядеть без омерзенья / на сердца моего и плоти наготу!» [Бодлер, 2001, с. 133]), так и фэтонщик Мандельштама, подобный выходцу с того света, напоминает о мертвецах Вийона и Бодлера своим стремлением захватить главного героя и увезти его на последний чумный пир.

«Поездка на Киферу» Бодлера опирается на сюжеты баллад, в которых героя-грешника посещают адские видения. Только у Бодлера адские видения – не небесные, а земные, тот ужас, который ожидает после смерти не душу, а тело. Собственно, это вариация мотива «Падали». Как ни парадоксально, «Поездка» завершается двумя стихами в духе классической балладной посылки: это обращение не к принцу, но к Бору: «Ah! Seigneur! donnez-moi la force et le courage» [Baudelaire, 1899, с. 321].

Когда мы читаем «Фазтонщика» Мандельштама, перед нами открывается не только немецкий фон драматической баллады – с диалогом, вскриками и «рваным» повествованием, потому что метафорические баллады Мандельштама сочетают многообразные обостренно-лирические сюжетные линии. В сюжете стихотворения Мандельштама через аналогию с правильной французской балладой Вийона ярко проступают черты немецкой баллады: в мистическом путешествии в тот мир обнажается не только бесстрашие и уверенность, но и внутренний страх героя перед тьмой могилы и пустотой.

Если в стихах Бодлера сердце поэта, осознающего символизм висельного столба, начинает кровоточить от вида повешенного на мрачном острове, то в душе Мандельштама возникают «страхи, соприсродные душе», перед открывающимся перед ним страшным мистическим миром. «Мертвые окна» «Фазетонщика» напоминают «дыры глаз» висельников из «Баллады повешенных» Вийона и «Поездки на Киферу» Бодлера, они пронзают бытие насквозь, открывая его бездонность и по-новому освещая смерть, показывая ее изнанку и подчеркивая оксюморонность понятий веселья и горя, пира и гибели.

«Фазтонщик» является своего рода вариацией на тему, заданную Н. Гумилевым в «Заблудившемся трамвае», который Луи Аллен назвал балладой (и это именно баллада с размытым метафорическим сюжетом, тем не менее вполне вычленяемым и соответствующим жанру). Как иррациональное движение трамвая «через Неву, через Нил и Сену» [Гумилев, 1988, с. 331] пугает лирического героя, словно движение механического существа вычерчивает трагическую линию судьбы, так и фазтонщик гонит «коляску / До последней хрипоты» [Мандельштам, 2009, с. 167]. Явной реминисценцией на строки Гумилева «Остановите, вагоновожатый, / Остановите сейчас вагон» [Гумилев, 1988, с. 331] представляется мандельштамовская строфа:

Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил, черт возьми!
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми! [Мандельштам, 2009, с. 167]

Отметим обращение к управляющему – механизмом у Гумилева («вагоновожатый»), лошадьми у Мандельштама и, конечно же, мотив заблудившихся – фаэтонщика и трамвая⁴. Если трамвай «заблудился в бездне времен» [Гумилев, 1988, с. 331], то фаэтоном у Мандельштама правит пушкинский Вальсингам, каким-то образом попавший в Нагорный Карабах XX в. В стихотворении Гумилева путешествие на мистическом трамвае нарушает законы времени и пространства. Для Мандельштама страшная поездка в Нагорном Карабахе тоже видится как «фантастическое» путешествие: по переживанию, по образам, которые ему сопутствуют и им же рождены. Как и у Гумилева, это не только пространственные искажения бытия, но и временные. И во временном искажении подспудно проступают черты Франсуа Вийона, непосредственно не обозначенные в тексте. Словно вынырнувшая из последней строки армянская чума 1930-х гг., как волной, накрывает и времена Пушкина, писавшего одну из «Маленьких трагедий», и времена английской чумы, поскольку несомненна связь «Пира во время чумы» с пьесой Вильсона, и эпоху Вийона, его судьбу, и французскую эпидемию чумы, и эпоху Гёте и русского романтизма – время творения «страшных» баллад, и трагические события 20-х гг. в России, когда был расстрелян Гумилев (об этом свидетельствует переключка с «заблудившимся трамваем»), – своего рода духовную чуму поколения.

Список литературы

- Богатырева С.* Путешествие в стихах на фоне путешествия в действительности: «Фаэтонщик» О. Мандельштама в реальном, интертекстуальном и социальном контексте // Сохрани мою речь. 2000. Вып. 3, ч. 1. С. 119–137.
- Бодлер Ш.* Стихотворения. Харьков: Фолио, 2001. 494 с.
- Вийон Ф.* Стихи: Сборник. М.: Радуга, 2002. 768 с.
- Гумилев Н. С.* Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1988. 632 с.
- Есенин С. А.* Полн. собр. соч.: В 7 т. М.: Наука-Голос, 1995. Т. 1: Стихотворения. 672 с.
- Кирибаум Г.* «Валгаллы белое вино». Немецкая тема в поэзии О. Мандельштама. М.: НЛЮ, 2010. 392 с.
- Кихней Л. Г.* Осип Мандельштам: бытие слова. М.: Диалог-МГУ, 2000. 146 с.
- Мандельштам Н. Я.* Книга третья: Воспоминания. Paris: YMCA-Press, 1987. 335 с.
- Мандельштам О. Э.* Соч.: В 2 т. М.: Худож. лит., 1990. Т. 1: Стихотворения. 638 с.
- Мандельштам О. Э.* Полн. собр. соч. и писем: В 3 т. М.: Прогресс-Плеяда, 2009. Т. 1: Стихотворения. 808 с.; 2010. Т. 2: Проза. 760 с.
- Оганисян М.* Пушкинские реминисценции в стихотворении О. Мандельштама «Фаэтонщик» // Журналист: Учеб. газ. фак. журналистики МГУ. 1982. 20 сент. С. 20–21.

⁴ Два текста Мандельштама, написанных в 1937 г., начинающиеся с одинакового четверостишия, в первом стихе вновь вводят рассматриваемый нами мотив: «Заблудился я в небе – что делать?» Своеобразная семантическая рифма к гумилевскому «Трамваю» на этот раз обыгрывает тему блуждания в пространстве. В «Фаэтоннике» «каруселью» вернется «кисло-сладкая земля», а в текстах 1937 г. герой погружается в «рукопашную лаязурь», рвет сердце на «синего звона куски».

Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 17 т. М.: Воскресенье, 1995. Т. 3, кн. 1: Стихотворения 1825–1836. Сказки. 635 с.

Рубин И. Оглянись в слезах. Иерусалим, 1977. 300 с.

Сурат И. З. Яблоко простое // Литература. 2009. № 16, 16–31 авг. С. 21–25.

Шеффер Ж.-М. Что такое литературный жанр. М.: Едиториал УРСС, 2010. 192 с.

Baudelaire Ch. *Les fleurs du mal*. Paris: Calmann-Levy, 1899. 411 p.

Goethe J. W., von = Гёте И. В. *Erlkönig*. Лесной царь (в пер. В. Жуковского). С прил. статьи М. Цветаевой «Два “Лесных царя”». Москва; Augsburg: Im Werden Verl., 2003. 8 с.

E. Yu. Kulikova

*Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Novosibirsk, Russian Federation, kulis@mail.ru*

**Something German and French
in a ballad “Dream” by Osip Mandelstam
 (“Na vysokom perevale...” (On a high pass...))**

The paper deals with the ballad implication of O. Mandelstam’s poem “Na vysokom perevale...” (On a high pass...), referring to J. W. Goethe’s classic German ballads (taking into account the subsequent Russian tradition of the 19th century – V. A. Zhukovsky, A. S. Pushkin and others), as well as to F. Villon and Ch. Baudelaire’s French genre experiments. The ballad sleep motif stretches across the entire text of “Faetonshchik” (Phaeton driver). As in Zhukovsky’s ballads, Mandelstam depicts a journey to another world with a dead guide. The plot of the poem is based on Goethe-Zhukovsky’s “Lesnoy tsar” (Forest king). Heroes are at the mercy of a terrible creature leading them to the scary world. The lines of “Faetonshchik” (Phaeton driver) also create the image of another ballad journey – the road to the “plague” France of the 15th century, where the poet’s “favorite” Francois Villon lived and worked. Mandelstam’s poem implicitly echoes “The ballad of the hanged men” by Villon and Charlot Baudelaire’s “The trip to the Kieffer.” The plot of Mandelstam’s poem reveals the features of the German ballad plot through the analogy with Villon’s correct French ballad: not only fearlessness and confidence but also the hero’s inner fear of the darkness of the grave and emptiness is uncovered in a mystical journey to another world. Also, “Faetonshchik” (Phaeton driver) is a variation on a theme given by N. Gumilev in “Zabludivshiysya tramvay” (The lost tram), a poem which was called a ballad by Louis Allen.

Keywords: genre, ballad, tradition, lyrical plot, “Faetonshchik” (Phaeton driver), O. Mandelstam.

DOI 10.17223/18137083/68/11

References

Baudelaire Ch. *Les fleurs du mal*. Paris, Calmann-Levy Ltd., 1899, 411 p.

Baudelaire Ch. *Stikhotvoreniya* [Poems]. Khar’kov, Folio, 2001, 494 p.

Bogatyreva S. Puteshestviye v stikhakh na fone puteshestviya v deystvitel’nosti: “Faetonshchik” O. Mandel’shtama v real’nom, intertekstual’nom i sotsial’nom kontekste [Travel in verse against the background of travel in reality: “The Faetonist” by O. Mandelstam in a real, intertextual and social context]. In: *Sokhrani moyu rech’* [Save my speech]. 2000, iss. 3, pt. 1, pp. 119–137.

Goethe J. W. von. *Erlkönig*. *Lesnoy tsar’* [Erl-king]. Transl. by V. Zhukovsky. With the art. by M. Tsvetayeva “Dva ‘Lesnykh tsarya’” [Two Erl-kings]. Moscow, Augsburg, Im Werden Verl., 2003, 8 p.

Gumilev N. S. *Stikhotvoreniya i poemy* [Poems]. Leningrad, Sov. pisatel’, 1988, 632 p.

- Esenin S. A. *Polnoe sobranie sochineniy: V 7 t.* [Complete works: in 7 vols]. Moscow, Nauka-Golos, 1995, vol. 1: Stikhotvoreniya [Poems], 672 p.
- Kirshbaum G. “*Valgally beloye vino*”. *Nemetskaya tema v poezii O. Mandel'shtama* [“White wine of Valhalla”. German theme in the poetry of O. Mandelstam]. Moscow, New Literary Observer, 2010, 392 p.
- Kikhney L. G. *Osip Mandel'shtam: bytiye slova* [Osip Mandelstam: word being]. Moscow, Dialog-MSU, 2000, 146 p.
- Mandel'shtam N. Ya. *Kniga tret'ya: Vospominaniya* [The third book: Memories]. Paris, YMCA-Press, 1987, 335 p.
- Mandel'shtam O. E. *Polnoye sobraniye sochineniy i pisem: V 3 t.* [Complete collection of works and letters: in 3 vols]. Moscow, Progress-Pleyada, 2009, vol. 1: Stikhotvoreniya [Poems], 808 p.; 201, vol. 2: Proza [Prose], 760 p.
- Mandel'shtam O. E. *Sochineniya: V 2 t.* [Works: in 2 vols]. Moscow, Khudozh. lit., 1990, vol. 1: Stikhotvoreniya [Poems], 638 p.
- Oganis'yan M. Pushkinskiye reministsentsii v stikhotvorenii O. Mandel'shtama “Faetonshchik” [Pushkin's reminiscences in O. Mandelstam's poem “The Faetonist”]. *Zhurnalist: Ucheb. gazeta f-ta zhurnalistiki MSU*. 1982, September 20, pp. 20–21.
- Pushkin A. S. *Polnoe sobranie sochineniy: V 17 t.* [Complete works: in 17 vols]. Moscow, Voskresen'ye, 1995, vol. 3, bk. 1. Stikhotvoreniya 1825–1836. Skazki [Poems 182–1836. Tales], 635 p.
- Rubin I. *Oglyanis' v slezakh* [Look around in tears]. Ierusalim, 1977, 300 p.
- Sheffer Zh.-M. *Chto takoe literaturnyy zhanr* [What is the literary genre]. Moscow, Editorial URSS, 2010, 192 p.
- Surat I. Z. Yabloko prostoe [A simple apple]. *Literatura*. 2009, no. 16, August 16–31, pp. 21–25.
- Viyon F. *Stikhi: Sbornik* [Poems: Collection]. Moscow, Raduga, 2002, 768 p.

УДК 821.161.1
DOI 10.17223/18137083/68/12

Е. В. Тупова

*Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва*

Толстовские мотивы в поэме Д. Самойлова «Цыгановы»

Комментируются многочисленные отголоски прозы Льва Николаевича Толстого в поэме Давида Самойлова «Цыгановы». Этот пласт поэмы ранее отдельно не рассматривался, хотя имя Толстого возникало в работах исследователей творчества Самойлова. Ставится задача поэтапно, начиная с названия, проанализировать толстовские мотивы в поэме, дополнить отмеченные ранее другими исследователями отсылки к прозе Л. Н. Толстого и ответить на вопрос, какова их роль в художественном мире поэмы. Привлекая дневниковые и мемуарные материалы, сопоставляя тексты Самойлова и Толстого, учитывая наблюдения других исследователей, автор статьи прослеживает генезис идей, получивших в поэме «толстовскую» огласовку.

Ключевые слова: «Цыгановы», идиллия, эсхатологические мотивы, Д. Самойлов, Л. Н. Толстой, «Смерть Ивана Ильича», «Анна Каренина», реминисценции, хронотоп.

Контекст создания поэмы «Цыгановы»

В сочинениях Давида Самойлова тема смерти занимает важное место и последовательно проводится по крайней мере с начала 1960-х (например, в стихотворениях «Дом-музей» (1961), «Как объяснить тебе что это может стать...» (1962), «Рождение» (1963), «Оправдание Гамлета» (1963), «Выздоровление» (1965), в драме «Сухое пламя» (1962)).

Незадолго до создания «Цыгановых», 3 июня 1976 г., Самойлов записывает в дневнике: «Жизнь без событий, соответствующая моему ощущению жизни без желаний, оконченной жизни, где есть только страх: что там, за углом, за поворотом¹. Лет десять я исследую практику умирания. Поэтому моя поэзия не для молодых» [Самойлов, 2002, т. 2, с. 101].

¹ «...Что там, За углом, за поворотом» – цитата из поэмы «Старый Дон-Жуан». О ее завершении Самойлов пишет Лидии Корнеевне Чуковской в начале июня 1976 г.: «Напи-

Тупова Екатерина Владимировна – аспирант школы филологии факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ул. Мясницкая, 20, Москва, 101000, Россия; katya.tupova@gmail.com)

Говоря о «жизни без событий», автор имеет в виду и собственную жизнь без решительных внутренних свершений, и общественную жизнь, протекающую на фоне социальной, политической и экономической стагнации – времени, получившего название «эпоха застоя».

В «Цыгановых» жизнь протекает на фоне сельской идиллии. Автор как будто спрашивает себя, как можно интерпретировать «отсутствие событий» и какой герой на этом фоне может явиться.

Возможно, в силу особенностей «фрагментарной» публикации ² широкого отклика современников поэма не получила, однако в последнее время все более привлекает внимание исследователей. Об интертекстуальности поэмы (в частности, об отсылках к текстам Державина, Некрасова, Пушкина), ее связи с другими произведениями Самойлова, писали А. С. Немзер [2005; 2007], М. М. Гельфонд [2012], А. Э. Скворцов [2015]. Одна из важнейших особенностей поэмы, отмеченная Немзером и Гельфонд, – ее связь с буколической традицией – принципиально меняет и углубляет восприятие «Цыгановых».

Напомним содержание поэмы. В пяти главках «Цыгановых» читателю представлены сцены жизни одной крестьянской семьи: «1. Запев»; «2. Гость у Цыгановых»; «3. Рождение сына»; «4. Колка дров»; «5. Смерть Цыганова». Не содержащая, на первый взгляд, каких-либо «фантастических» элементов поэма – вариант альтернативной истории [Немзер, 2005, с. 409–411]. В мире, где живут Цыгановы, из значимых событий русского XX в. была только война, но не было коллективизации и иных социальных трагедий. Через несколько лет после публикации первых фрагментов «Цыгановых», но до завершения текста, Самойлов рисует еще более смелые картины в «Струфиане» (1974) – шутливой поэме о похищении императора Александра I инопланетянами, справедливо прочтенной современниками как пародия на «Письмо Вождям Советского Союза» А. И. Солженицына ³. Было точно подмечено, что «империя, исправленная по благим намерениям Кузьмича, очень похожа на мир “Цыгановых”, любовно описываемый ровно об эту пору, на мир, чья предметная часть в общем сводится к “хомуту” и “колесу”» [Немзер, 2005, с. 416].

Развивая эти наблюдения, мы полагаем, что, оставляя мысль о своем принципиальном неприятии разного рода «социальных проектов» для «Струфиана», Самойлов в «Цыгановых» делает предположение, что идеальный мир, отчасти напоминающий тот, который предлагает построить Солженицын, мир «хомута» и «колеса», существует, и проверяет жизнеспособность героев этого мира любовью, рождением и смертью.

сал, впрочем, маленькую поэму (в сто строк) “Старый Дон-Жуан”, несколько строк которой были сочинены в Москве» [Самойлов, Чуковская, 2004, с. 38]. В следующем письме, в конце июля, Самойлов, объясняя характер своего героя, вновь использует приведенную выше цитату: «Его старость – расплата за бездуховность, за безделье, за отсутствие творчества и идеализма. Вот как я это понимаю. Он бабник, прагматик – таковы большинство из нас. И за это карает старость. Но это общая идея. А еще есть тип, который мне во многом нравится – лихой малый, дуэлянт, который Черепа испугался лишь от неожиданности. И который где-то вдруг прозревает: “А скажи мне, Череп, что там – за углом, за поворотом”» [Там же, с. 41]. Поэма «Старый Дон-Жуан», таким образом, как и «Цыгановы», встраивается в череду опытов, в которых, меняя исторические и социальные «сценарии», автор осмысливает остро тревожащее его приближение смерти.

² Поэма печаталась главами, начиная с 1971 г. «Конь взвился на дыбы, но Цыганов...» («Запев») – День поэзии. М.: Советский писатель, 1971; «Гость у Цыгановых» – День поэзии. М.: Сов. писатель, 1972; «Колка дров» – Аврора. 1974. № 3; «Рождение сына», «Смерть Цыганова» – Октябрь. 1977. № 9; полностью – Весть: Стихи. М.: Сов. писатель, 1978.

³ Подробнее об этом см. [Тупова, 2017].

Смысл названия

Первый сигнал читателю – название. Перед нами имя собственное (фамилия), произведенное от названия этнической группы. Чтобы изобразить «овеществленную в процессе» альтернативную историю в ее полноте, Самойлов выбирает семью, человека в семье. «История одной семьи – это очень много. Не просто отдельный человек, а именно человек в семейном окружении, то есть в самом малом дроблении среды, и есть истинная плоть истории, овеществление процесса» [Самойлов, 2014, с. 96], – писал Самойлов в мемуарной книге, получившей название «Памятные записки».

Выбор фамилии героев, по всей видимости, определен несколькими причинами: фамилия, прежде всего, связана с детскими впечатлениями. «В подмосковном Шульгино, где прошли детство и отрочество Самойлова, где треть крестьян этой большой деревни носили фамилию Цыгановы, он узнал быт и интересы русского крестьянства, оценил “эпический труд” крестьянской семьи» [Горелик, Елисеев, 2009, с. 283]. В «Памятных записках», описывая Шульгино, Самойлов вспоминает купание коня, необыкновенно вкусную и красивую еду, запахи и звуки природного мира – эти элементы перешли и в поэму о крестьянской семье. Мемуарный очерк «Шульгино» был создан позже, чем поэма, в известной мере – как авторский комментарий к ней; опубликован он был лишь посмертно, в 1993 г. в № 10 журнала «Дружба народов». В «Памятных записках» автор дает понять читателю, что воссоздаваемого им мира больше нет и что даже во время описываемых событий реальность не обладала сама по себе идеальными свойствами, но лишь отзывалась на сверхчувствительное к красоте восприятие ребенка: «Я был типичный дачник, городской мальчик, жадно впитавший деревенские впечатления и любивший деревню, как может любить ее горожанин, то есть любовью одержимой, возвышенной и поэтической. В те годы крестьяне работали еще всей семьей от зари до зари. Труд их был тяжел и неблагодарен. Мне странно читать сейчас о веселой жизни счастливых поселян, о которой почти открыто сожалеют наши новые народолюбцы» [Самойлов, 2014, с. 93].

Такое условие «социальной утопии», как идеальное ее восприятие, не проговаривается в поэме напрямую, однако, на наш взгляд, вполне осознается и дано в подтексте. Озаглавив поэму «Цыгановы», Самойлов добивается того, что читатель отмечает созвучие названия пушкинской поэмы «Цыганы» и наследующей ей повести Толстого «Казачьи». В результате история жизни героя читается в диалоге с текстами Пушкина и Толстого (а также в споре с идеями Руссо, которому в упомянутых текстах отдала должное оба писателя [Лотман, Минц, 1996]).

Итак, название «Цыгановы» – это и личный (только автору принадлежащий) ключ к «земному» раю, и в то же время указание на литературные координаты, следуя по которым читатель может восстановить комплекс чувств и мыслей, создающих наряду с материальной реальностью мир «полубогов».

В «Цыганах» и «Казачьи» авторы сначала последовательно поэтически представляют свои концепции идеального общества в картинах повседневной жизни, а затем сталкивают с ними героев, обнажая не только их несоответствие миру идиллии, но и уязвимость любого общественного устройства, уязвимость перед внешним вторжением, перед лицом любви и смерти. Это роковые силы, внешние для любого устойчивого мира. Похожим, но не аналогичным образом построены и «Цыгановы». Все герои поэмы – плоть от плоти крестьянского мира, в котором они живут, а значит, проблема чужого здесь редуцирована (или скрыта). На первый план выходит вопрос о рождении и смерти.

Рождение и смерть в мире «Цыгановых»

Самая узнаваемая из литературных реминисценций в «Цыгановых» заостряет проблематику умирания: это ситуация внезапной болезни, которая подталкивает героя к раздумьям о смысле жизни. Как было замечено Скворцовым, рефлексии Цыганова имеют близкий литературный аналог – «Смерть Ивана Ильича»: «В некоторых фрагментах внутреннего монолога героя Толстого можно увидеть даже текстуальные совпадения с пятой главой поэмы – от серии экзистенциальных вопросов “зачем?” до мысли об отсутствии Творца, выраженной в финале женой героя» [Скворцов, 2015, с. 222]. Исследователь обращает внимание на то, что жизнь Ивана Ильича показана Толстым как несправедливая, в то время как жизнь Цыганова «изображается Самойловым как почти безупречная» [Там же]. Скворцов приходит к выводу о том, что на самом деле Самойлов отрицательно относится к жизни Цыганова, и поэму стоит читать не как «новейший эпос в гесиодовом ключе, а, скорее, “Смерть Ивана Ильича” в декорациях “Старосветских помещиков”». Это трагедия внешне здоровых и житейски безупречных, но внутренне полных людей, не задумывавшихся о собственной духовной неполноценности» [Там же, с. 226]. Соглашаясь с тем, что аллюзия на текст Толстого подталкивает читателя сравнить жизни Ивана Ильича и Цыганова, мы не можем присоединиться к финальному выводу исследователя. Чтобы лучше понять значение отсылки в главе «5. Смерть Цыганова», обратим внимание на эпизод в главе «3. Рождение сына»:

Тут он увидел сына. Он не знал,
Что так младенец немощен и мал.
Он только понял, что за это тело
Он всё бы отдал, чем душа владела,
И то свершил, чего не совершал.
Но вдруг ребёнок сморщил свой носишко
И раз чихнул.
– Чихать умеет, вишь-ко, –
Промолвил с уважением отец
[Самойлов, 2005, с. 104] ⁴.

Этот отрывок напоминает эпизод «Анны Карениной», в котором Левин видит своего ребенка. Чих новорожденного также удивляет и умиляет его:

Посмотри теперь, – сказала Кити, поворачивая к нему ребенка так, чтобы он мог видеть его. Личико старческое вдруг еще более сморщилось, и ребенок чихнул.

Улыбаясь и едва удерживая слезы умиления, Левин поцеловал жену и вышел из темной комнаты.

Что он испытывал к этому маленькому существу, было совсем не то, что он ожидал. Ничего веселого и радостного не было в этом чувстве; напротив, это был новый мучительный страх. Это было сознание новой области уязвимости. И это сознание было так мучительно первое время, страх за то, чтобы не пострадало это беспомощное существо, был так силен, что из-за него и незаметно было странное чувство бессмысленной радости и даже гордости, которое он испытал, когда ребенок чихнул [Толстой, 1935, т. 19, с. 296–297].

Жалость к ребенку, страх за него, о которых прямо говорит Толстой, сохранены Самойловым, но показаны более емко. Если первое чувство, испытанное Ле-

⁴ Далее ссылки на это издание делаются в круглых скобках с указанием страниц.

виным, было гадливостью, затем пришла жалость, и, только после того как ребенок чихнул, – умиление, то Цыганов гадливости не испытывает. Это отсутствие значимо: Самойлов, описывая рождение и смерть, опираясь на очень разные толстовские сюжеты, меняет, «очищает» их. Цыганов, так же как и герои Толстого, уязвим для «проклятых» вопросов, которые усложняют как встречу с новой жизнью, так и расставание со своей. Но, постигая мир одновременно чувственно, интеллектуально и духовно, Цыганов находит ответ на вопрос о смысле своей жизни, который не могут обнаружить толстовские герои. Сравнивая жизни Цыганова, Ивана Ильича и Левина, читатель может сделать вывод, что универсальны внешние события – семья, рождение детей, работа, общение с другими людьми. Различно содержание. Пустота и тщеславие в жизни Ивана Ильича противопоставляются сопричастности миру природы, удовольствию труда и общения в жизни Цыганова. Жалость, любовь к близким и стремление к правде сближают столь разных Цыганова и Левина.

Ставя Цыганова в ситуацию неясной болезни, напоминающей ту, в которую Толстой помещает Ивана Ильича, Самойлов не обесценивает гармоничную крестьянскую жизнь, а, напротив, показывает, что она может пройти толстовский экзамен.

Существует еще одно важное пересечение, влияющее на организацию всей поэмы и связанное с темой смерти, – с «Тремя смертями», где Толстым рассказаны истории ухода барыни, мужика и дерева. В первой истории Толстой разоблачает привязанность к земной жизни, фальшивое отношение к смерти. С большим сочувствием рассказано о судьбе мужика, в смерти которого нет лжи. Третья смерть, смерть дерева, сюжетно и символически связана со второй. Кухарка видит сон, в котором умерший в ту ночь Федор рубит дрова:

– Чудно что-то я нынче во сне видела, – говорила кухарка, в полусвете потягиваясь на другое утро. – Вижу я, будто дядя Хведор с печи слез и пошел дрова рубить. Дай, говорит, Настя, я тебе подсоблю; а я ему говорю: куда уж тебе дрова рубить, а он как схватит топор да и почнет рубить, так шибко, шибко, только щепки летят. Что ж, я говорю, ты ведь болен был. Нет, говорит, я здоров, да как замахнется, на меня страх и нашел. Как я закричу, и проснулась. Уж не помер ли? Дядя Хведор! а дядя [Толстой, 1935, т. 5, с. 59–60].

В финале дерево срубают для того, чтобы оно стало крестом на могиле Федора. При этом только в сцене рубки дерева Толстой описывает собственно расставание с жизнью:

Топор низом звучал глуше и глуше, сочные белые щепки летели на росистую траву, и легкий треск послышался из-за ударов. Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колебаясь на своем корне. На мгновение все затихло, но снова погнулось дерево, снова послышался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив ветви, оно рухнулось макушкой на сырую землю. Звуки топора и шагов затихли [Там же, с. 64–65].

Сравним, как автор представляет две других смерти. Уход барыни:

– Нет, сюда поцелуй, только мертвых целуют в руку. Боже мой! Боже мой!

В тот же вечер больная уже была тело, и тело в гробу стояло в зале большого дома [Там же, с. 63].

Смерть ямщика:

Ночью в избе слабо светил ночник. Настасья и человек десять ямщиков с громким храпом спали на полу и по лавкам. Один больной слабо кряхтел, кашлял и ворочался на печи. К утру он затих совершенно [Толстой, 1935, т. 5, с. 58].

Давая взгляд на смерть «изнутри» дерева, автор утверждает мысль о безличности смерти, о ее сверхсознательной природе, универсальности.

Символическая связь колки дров с мыслями о прохождении земного пути и о грядущей смерти отчетливо звучит у Самойлова в главе «4. Колка дров». Образы, возникающие при описании, подобраны так, что читатель может восстановить материальное и духовное наполнение жизни героя:

Мужского пота запах грубоватый.
Сухих поленьев сельский ксилофон.
Поленец для растопки детский всхлип.
И полного полена вскрик разбойный.
И этим звукам был равновелик
Двукратный отзвук за речною поймой.
А Цыганов, который туговат
Был на ухо, любил, чтоб звук был полон.
Он так был рад, как будто произвёл он
И молнию, и грозовой раскат.
Он знал, что в колке дров нужна не сила,
А вздох и взмах, чтобы тебя вносило
К деревьям – густолистным облакам,
К их переменчивым и вздутым кронам,
К деревьям – облакам тёмно-зелёным,
К их шумным и могучим сквознякам
(с. 105).

«Детский всхлип» и «вскрик разбойный» одновременно напоминают о событиях предыдущей главы, в которой Цыганов стал отцом, а также обращают внимание читателя на цикличность времени и заставляют задуматься о его быстротечности.

Строки о том, как Цыганов «любил, чтоб звук был полон», перекликаются со следующими далее характеристиками его мышления («Был истым тугодумом Цыганов, / И мысль не споро прилегал к речи»). Глухота Цыганова сочетается с его любовью к полноте звука, музыкальностью, позволяющей уловить «равновеличье» отзвука, доносящегося от реки. Также и «истовое тугодумие» героя неоднозначно – это не только медлительность, но и особенная тщательность, с которой для мысли подбираются слова.

Следующий за эпизодом анекдот (строящийся вокруг темы смерти!) предсказывает финал поэмы, где Цыганов тяжело движется к осознанию собственного конца. Напряжение от попытки понять «соль анекдота» разряжается пониманием и смехом, аналогично тому, как в последней главе думы о цели бытия венчаются обретением смысла в красоте – обретением, за которым и следует сама смерть. После ухода героя, как в «Трёх смертях» после гибели дерева, возникает картина занимающегося утра.

В «Трёх смертях»:

Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу, блеснули в небе и пробежали по земле и небу. Туман волнами стал переливаться в лощинах, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачные побелевшие тучки спеша разбегались по синевшему своду. Птицы гомозились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое; сочные листья радостно и спокойно шепта-

лись в вершинах, и ветви живых деревьев медленно, величаво зашевелились над мертвым, поникшим деревом [Толстой, 1935, т. 5, с. 60].

В «Цыгановых»:

...Когда под утро умер Цыганов,
Был месяц в небе свеж, бесцветен, нов;
И ветер вдруг в свои ударил бубны,
И клёны были сумрачны и трубны.
Вскричал петух. Пастух погнал коров.
И поднялась заря из-за яров –
И разлился по белу свету свет
(с. 108).

Уход Цыганова природа встречает так же, как в «Трёх Смертях» – гибель дерева. Это сходство ярче обнаруживает контраст между концепцией крестьянской жизни в двух произведениях. Да, смерть крестьянина у Толстого и Самойлова символически связана с колкой дров. Но в «Трёх смертях» это сон о колке дров, в котором герой и ведёт себя по законам сна, отрицая свое нездоровье. А в «Цыгановых» это сцена из реальной жизни, в которой подготавливается осознанное принятие смерти. Не утрачивая связи с естественным миром, Цыганов наделяется способностью к рефлексии, ясности, осознанному проживанию реальности, которой не обладает крестьянин у Толстого. Тугодумие, направленное духовное и интеллектуальное усилие, помогает Цыганову преодолеть состояние сомнения в осмысленности бытия, настигшее его перед концом, но оно же, по всей видимости, сделало возможным и само появление этих вопросов. Таким образом, неясность, сомнения, настигающие человека перед смертью, не являются здесь последствием неправильной жизни, а одним из жизненных этапов, одним из «поленьев», которое должен перерубить Цыганов, чтобы закончить свою земную работу. Обращение Цыганова к вопросу смерти усложняет звучание поэмы и выводит ее за пределы идиллии. Согласно Бахтину, идиллию характеризуют такие признаки, как «органическая прикрепленность, приращенность жизни и ее событий к месту», в частности родному краю, «строгая ограниченность ее только основными многочисленными реальностями жизни», такими как еда, сон, рождение, смерть, и «третья особенность, тесно связанная с первой, – сочетание человеческой жизни с жизнью природы, единство их ритма, общий язык для явлений природы и событий человеческой жизни». Идиллия не знает быта, потому что быт и составляет самую главную ее часть [Бахтин, 1975, с. 377–384].

Как замечает М. М. Гельфонд, «“идилличность Цыгановых” столь очевидна, что нарушение законов утопического эпоса становится видимым не сразу» [2012, с. 169]. Самое яркое отступление от канона – сомнения Цыганова о смысле прожитой жизни. Еще одно, менее яркое, но не менее важное, встречаем в главе «2. Гость у Цыгановых». Рассказ о праздничном застолье, основная часть которого вызывает множество литературных ассоциаций (от Державина и Филимонова до Гоголя и Заболоцкого [Немзер, 2005, с. 402; Гельфонд, 2012; Скворцов, 2015, с. 218–219]), заканчивается неожиданной нотой:

Окно открыли. Двое пацанов
Соседских с боем бились на кулачки.
По яблоку им кинул Цыганов,
Прицкнув: – Натё вот и не варначьте! –
Тут наконец хозяйка рядом с мужем
Присела. Байки слушала она
Мужские – кто где ранен, где контужен.
Но снова два соседских пацана

Затеяли возню...
Уже смеркалось.
Тележным осям осень откликалась.
Но в каждом звуке зрела тишина.
Гость чокнулся с хозяйкой: – Будь здорова!
– Будь! – крикнул Цыганов.
А Цыганова
Печально отвернулась от окна.
(с. 102)

Печаль, которую испытывает Цыганова, может, с одной стороны, быть мотивирована чуждостью ей мужских разговоров, чувством одиночества, но может быть и намеком на бездетность героини в этот период. Второе предположение, не отменяющее, однако, и первого, кажется еще более вероятным на фоне частого сочетания в идиллии двух компонентов – детей и еды⁵. В любом случае финал главы добавляет в образ героини неожиданный штрих, намекает на разлад с жизненным циклом, возможно, запаздывание («Но в каждом звуке зрела тишина»). Но тема бездетности не развивается, и в следующей главе мы уже узнаем о рождении сына Цыгановых. Жизненные процессы, таким образом, идут своим чередом, но они не всегда, как в традиционной идиллии, синхронны с ожиданиями и чаяниями героев.

Смысл жизни и Бог в мире «Цыгановых»

Красота плавного движения простой жизни, как будто и не замечающей тяжести решаемых ею задач и поднимаемых проблем, была предметом постоянного восхищения Толстого в зрелые годы, но еще до известного поворота рубежа 1870–1880-х гг. отразилась в «Идиллии» и «Тихоне и Маланье», создававшихся одновременно с «Казаками» (по замыслу, видимо, эти тексты были частью одного целого⁶). Сложно сказать, повлияли ли на оптику Самойлова незаконченные тексты Толстого, но так же, как и Толстой в «Тихоне и Маланье», Самойлов считает важным изобразить крестьянский праздник, передать практические застольные разговоры («про холсты, про гумно, про стадо, про соседа, про прохожих солдат» [Толстой, 1935, т. 7, с. 90]), подчеркнуть такие особенности супружеских отношений в крестьянской семье, как простота, прямота и честность. Герои не хотят обмануть, выглядеть лучше, чем они есть, они не напуганы и не смущены (мотивы, нередко встречающиеся там, где Толстой пишет о семьях дворянских).

Неизвестно, читал ли Самойлов поэтический набросок Толстого, предшествующий написанию повести «Казаки» («Эй, Марьяна, брось работу!» (1853)),

⁵ Бахтин отмечал: «Типично для идиллии соседство еды и детей (даже в “Вертере” – идиллическая картина кормления детей Лоттой); это соседство проникнуто началом роста и обновления жизни» [Бахтин, 1975, с. 376]. Такое соседство присутствует, например, в «Овсяном киселе» Жуковского, автора, весьма значимого для Самойлова (см. [Немзер, 2013, с. 860–880]).

⁶ «Тихона и Маланью» принято считать началом более пространной редакции «Идиллии». Если история в «Идиллии», судя по всему, рассказана и завершается прощением Маланьи мужем после увлечения, то в «Тихоне и Маланье» написан только праздник и приезд Тихона (мужа Маланьи) со станции в деревню на побывку. Описания увлечения и неверности в этой версии нет, хотя можно предположить, что сюжет с Андрюшкой был бы продолжен [Толстой, 1935, т. 7, с. 350–351]. В этой связи интересно предположение, высказанное А. С. Немзером [2008, с. 490], о том, что поэма дает возможность прочесть последние строки главы «Гость у Цыгановых» как «рефлекс скрытой любовной драмы». Даже если он не был намеренно введен автором, то, оставляя здесь вариативность прочтения, Самойлов добавляет поэме сходство с наброском «Тихона и Маланьи».

в котором описывается, как Марьяна узнает о смерти Куприяшки, своего «побочина» [Толстой, 1935, т. 1, с. 300–301]. Как заметил В. Б. Шкловский [1973, с. 112], в этом отрывке у Толстого нет героя со стороны. Описывая цельный крестьянский мир, автор обращается к несвойственной ему поэтической форме. Текст Толстого построен на контрасте: основную его часть занимает описание наряда Марьяны и ее радостного ожидания и лишь небольшую, завершающую, – диалог, из которого героиня узнает о беде. В главе «Гость у Цыганова» при обращении Цыганова к жене несколько раз повторяется повелительная конструкция с восклицательным знаком («– Встречай, хозяйка! – крикнул Цыганов»; «– Хозяйка, выпей! – крикнул Цыганов»), созвучная началу толстовского стихотворения. Если предположить, что Самойлов имел в виду связь с «Тихоном и Маланьей» и «Эй, Марьяна, брось работу!», то по-новому прочитывается линия отношений Цыганова и его жены. От главы к главе мы видим, что повелительные интонации сменяются утвердительными и вопросительными, любовь, проходя через время, через праздники и работу, обретает духовную глубину, которая и объясняет обращение героини, вслед за мужем, к вопросу о существовании Бога. Слова Цыгановой («– Жалко, Бога нет») многозначны. Они заставляют нас и вспомнить финал «Цыган» («И всюду страсти роковые, / И от судеб защиты нет»), и вернуться к ассоциативному ряду, порожденному названием поэмы (ряд разрушенных идиллий).

Оказавшись в сильной позиции, завершая поэму, эти строки вновь заставляют вспомнить о печали Цыгановой в конце второй главы. Они возвращают нас в промежуток безответной растерянности, сродни той, перед которой оказался на пороге смерти Цыганов. Почему автор оставляет нас на этой ноте, почему усиливает ощущения хрупкости идиллии?

Развивая начатое Немзером [2005, с. 416] сопоставление «Цыгановых» с поэмой «Цыганы», можно сказать, что Самойлов, как и Пушкин, показывает людей, живущих в согласии с природой. Это согласие основано на межличностных («горизонтальных») отношениях, не подразумевающих социальной регламентации (общественной «вертикали»). Здесь нет «закона», насилия сильного над слабым. В то же время Самойлов по-своему разворачивает мысль о тех внутренних, не заданных извне условиях, которые делают возможным существование такого общества. Идиллия подразумевает равенство людей перед лицом надмирных сил. В мире поэмы Пушкина проверкой на причастность к идиллии становится любовь, в мире поэмы Самойлова – смерть. Алеко стремится к «воле», наслаждается ею, но, принимая «волю для себя», не может признать права на волю для Земфиры. Внутри мира идиллии каждый волен любить и каждый свободен уйти. Существование вне мира закона требует отказа от кары за нарушение общественных правил. Цена существования вне насилия закона, обеспечивающая равновесие мира, – добровольный отказ от права «вершить закон» – оказывается слишком высока для Алеко. Старый цыган, тоже жертва несчастной любви, принимает выпавший ему жребий, не посягая на свободу женщины, это и отличает его, человека внутри идиллии, от человека «вне ее мира».

В финале поэмы «Цыгановы» читатель произвольно задается вопросом: каким станет мир семьи после смерти мужа? Слова Цыгановой показывают нам горе и несогласие с внезапностью смерти и воспринимаются в контрасте с предсмертными размышлениями самого Цыганова – человека, через чей способ восприятия мира и дана семейная история.

В общем дневнике за 1977 г. Самойлов оставил две записи, из которых становится понятно, что вопрос о существовании Бога для него был тесно связан с вопросом о смысле жизни, ее подчиненности (или неподчиненности) высшей причине:

Все практические объяснения – труд, творчество, деторождение и пр. – упираются в ответ о бессмысленности бытия. Бог – рабочая гипотеза о смысле

жизни. Но, с другой стороны – божественное начало опять-таки признание непознаваемости смысла жизни. Опять мы не знаем, для чего живем. Только предполагая (16 мая).

Если есть случайность, нет бога. Видимость необходимости всегда есть. Если пьяный шофер наехал на меня, без всякой моей вины и даже въехав на тротуар, то можно объяснить, что накануне он имел неприятность, оттого напился и совершил наезд. Однако, если необходимость гибели меня-духа зависит от такого рода цепи событий, то необходимость эта мнимая. Значит цепь событий, независимых от жизни моего духа, может прервать его земное существование и насильственно перевести в другую ипостась. Что же это такое? Ну а смерть, естественная, намного ли она отличается от пьяного наезда? (2 июля) [Самойлов, 2002, т. 2, с. 288].

Таким образом, в «Цыгановых» Самойлов указывает на место Бога через его отсутствие для Цыгановой в момент смерти мужа: Бог равен проживаемому смыслу. Там, где нет смысла, там нет Бога. Идиллия держится не на внешних основаниях, а на внутренней гармонии с переживаемым смыслом.

Принятие мира в поэме

Подведем итоги. В «Цыгановых» автор пытается представить мир, приближенный к идиллии, но, что важнее и сложнее, душу и сознание взрослого человека, проходящего через жизнь в состоянии гармонии и принятия мира. Толстовские мотивы работают на нескольких уровнях, помогая воплощению авторского замысла.

Улавливая (возможно, иногда и бессознательно) отголоски прозы Толстого, читатель приближается к авторскому чувству уважения и восхищения жизнью «без событий», одновременно открывая для себя отношение Самойлова к созданному им идеальному миру.

Однако особенно ярко толстовский контекст проступает там, где речь заходит о смерти, рождении и любви – экзаменах, которые не исчезнут в мире, устроенном гармонично и справедливо. Актуализируя в читательской памяти встречу Ивана Ильича со смертью, Самойлов указывает отнюдь не на сходство Цыганова с героем Толстого, а на его отличие. Сцена с сыном, в которой крестьянин неожиданно оказывается сопоставлен с Левиным, а также ряд значимых переключек поэмы с «Тремя смертями» показывают, что характер и мировоззрение Цыганова мыслились Самойловым как идеальный синтез природного и духовного.

Обретение смысла в переменчивой красоте противопоставлено поэтом историям смертей толстовских героев, которые либо вовсе не обрели смысл, либо нашли его, но как нечто противоположное, а не равное их жизни. То, что именно красота (а не Бог, долг, необходимость, сын) и есть ответ Цыганова на вопрос о скоротечности земного, свидетельствует о его равенстве самому себе, постоянно красоту переживавшему.

Список литературы

- Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
- Горелик П., Елисеев Н. Борис Слуцкий и Давид Самойлов // По течению и против течения...: Борис Слуцкий: жизнь и творчество. М., 2009. С. 275–289.
- Гельфонд М. М. Идиллическое и элегическое в поэзии Давида Самойлова: «Цыгановы» и «Пярнуские элегии» // Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике. Таллин, 2012. Т. 12. С. 166–175.
- Лотман Ю. М., Минц З. Г. «Человек природы» в русской литературе XIX века и «цыганская тема» у Блока // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 599–653.

Немзер А. С. Поэмы Давида Самойлова // Самойлов Д. Поэмы. М., 2005. С. 355–464.

Немзер А. С. Пушкин в стихотворении «Ночной Гость» // Пушкинские чтения в Тарту 4. Пушкинская эпоха: проблемы рефлексии и комментария: Материалы междунар. конф. Тарту, 2007. С. 152–190.

Немзер А. С. Дневник читателя: русская литература в 2007 году. М., 2008.

Немзер А. С. Из «Тютчевяны» Давида Самойлова // Статьи на случай: Сборник к 50-летию Р. Г. Лейбова. 2013. URL: http://www.ruthenia.ru/leibov_50/Nemzer.pdf (дата обращения 04.04.2018).

Самойлов Д. С. Памятные записки. М., 2014.

Самойлов Д. С. Поденные записи: В 2 т. М., 2002.

Самойлов Д. С. Поэмы. М., 2005.

Самойлов Д. С., Чуковская Л. К. Переписка: 1971–1990. М., 2004.

Скворцов А. Э. «Цыгановы» Давида Самойлова: генезис и семантика // Учен. зап. Казан. ун-та. 2015. Т. 157, кн. 2. С. 215–228.

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1935. Т. 1, 5, 7, 19.

Тупова Е. В. Полемическое переосмысление сочинений Л. Н. Толстого и А. И. Солженицына в поэме Давида Самойлова «Струфиан» // Вестник Том. гос. ун-та. 2017. № 414. С. 29–33.

Шкловский В. Собр. соч.: В 3 т. М., 1973. Т. 2.

E. V. Tupova

*National Research University "Higher School of Economics"
Moscow, Russian Federation, katya.tupova@gmail.com*

**The reception and elaboration of Tolstoy's Plot motifs
in the poem "The Tsyganovs" by David Samoylov**

David Samoylov in the poem "The Tsyganovs" refers to the idyllic topos and comprehensively changes it, undermining the reliability of social utopia by questioning (through the inner voices of Tsyganov) the sense of all its elements: work, family and love. The tragic uncertainty in which we find Tsyganov in the last part of the poem, as it was noted by scholars, reminds the plot of "The death of Ivan Ilyich" by Leo Tolstoy. We invite the reader to a closer look into Tolstoy's motifs in the poem.

Using Samoylov's memoirs and diaries, adding the literature and biographic context, we show different aspects of the dialog between poet and writer. This side of "The Tsyganovs" was not in the focus of researchers previously. Broadening and correcting a common interpretation of the correspondence between the episode of death of Tsyganov and the "The death of Ivan Ilyich", we comment other references: the birth of Tsyganov's son corresponds to the episodes of Levin's son birth in "Anna Karenina"; the motif of chopping wood reminds several scenes of "Three deaths". We assume that Samoylov reconstructs the ideal peasant world, using references to "Cossacks," "Anna Karenina," "The death of Ivan Ilyich," "Idyll," "Tikhon and Malanya" and enters into a polemic dialogue about the sense and content of simple happy life.

Keywords: "The Tsyganovs," idyll, eschatological motifs, D. Samoilov, L. N. Tolstoy, "The death of Ivan Ilyich," "Anna Karenina," reminiscences, chronotope.

DOI 10.17223/18137083/68/12

References

Bahtin M. M. *Voprosy literatury i ehstetiki* [Issues of literature and aesthetics]. Moscow, 1975.

Gel'fond M. M. *Idillicheskiye i elegicheskiye v poezii Davida Samoylova: "Tsyganovy" i "Pyarnuskiye elegii"* [The idyllic and elegiac in the poetry of David Samoilov: "Gypsies" and

“Pärnu elegies”]. In: *Baltiyskiy arkhiv: Russkaya kul'tura v Pribaltike. T. 12* [Baltic archive: Russian culture in the Baltic States. Vol. 12]. Tallin, 2012, pp. 166–175.

Gorelik P., Eliseyev N. Boris Slutskiy i David Samoylov [Boris Slutskiy and David Samoylov]. In: *Po techen'yu i protiv techen'ya...: Boris Slutskiy: zhizn' i tvorchestvo* [Downstream and upstream...: Boris Slutskiy: life and work]. Moscow, 2009, pp. 275–289.

Lotman Yu. M., Mints Z. G. “Chelovek prirody” v russkoy literature 19 veka i “tsyganskaya tema” u Bloka [“The man of nature” in Russian literature of the 19th century and Blok’s “Gypsy theme”]. In: Lotman Yu. M. *O poetakh i poezii* [On poets and poetry]. St. Petersburg, 1996, pp. 599–653.

Nemzer A. S. Poemy Davida Samoylova [Poems by David Samoilov]. In: Samoylov D. *Poemy* [Poems]. Moscow, 2005, pp. 355–464.

Nemzer A. S. Pushkin v stikhotvorenii “Nochnoy Gost” [Pushkin in a poem by David Samoylov “The night guest”]. In: *Pushkinskiye chteniya v Tartu 4. Pushkinskaya epokha: problemy refleksii i kommentariya: Materialy mezhdunar. konf.* [Pushkin’s readings in Tartu 4: the Pushkin’s epoch: problems of reflection and review: Proc. of the intern. conf.]. Tartu, 2007, pp. 152–190.

Nemzer A. S. *Dnevnik chitatel'ya: russkaya literatura v 2007 godu* [Reader’s diary: Russian literature in 2007]. Moscow, 2008.

Nemzer A. S. Iz “Tyutcheviany” Davida Samoylova [From “Tyutcheviana” by David Samoylov]. In: *Stat'i na sluchay: Sbornik k 50-letiyu R. G. Leybova* [Articles in case: Collection for the 50th anniversary of R. G. Leibov]. 2013. URL: http://www.ruthenia.ru/leibov_50/Nem-zer.pdf (accessed: 04.04.2018).

Samoylov D. S. *Pamyatnyye zapiski* [Memoirs]. Moscow, 2014.

Samoylov D. S. *Podennyye zapisi: V 2 t.* [Daily records: in 2 vols]. Moscow, 2002.

Samoylov D. S. *Poemy*. [Poems]. Moscow, 2005.

Samoylov D. S., Chukovskaya L. K. *Perepiska: 1971–1990* [Correspondence: 1971–1990]. Moscow, 2004.

Shklovskiy V. *Sobr. Soch.: v 3 t. t. 2* [Collected works: in 2 vol. Vol. 2]. Moscow, 1973.

Skvortsov A. E. “Tsyganovy” Davida Samoylova: genezis i semantika “Tsyganovy” by David Samoylov: genesis and semantics]. *Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Gumanitarnye Nauki* [Proceedings of Kazan University. Humanities Series]. 2015, vol. 157, no. 2, pp. 215–228.

Tolstoy L. N. *Poln. sobr. soch.: V 90 t.* [Complete works: in 90 vols]. Moscow, 1935, vols. 1, 5, 7, 19.

Tupova E. V. Polemicheskoye pereosmysleniye sochineniy L. N. Tolstogo i A. I. Solzhenitsyna v poeme Davida Samoylova “Strufian” [Polemic rethinking of works by L. N. Tolstoy and A. I. Solzhenitsyn in David Samoylov’s poem “Strufian”]. *Tomsk State University Journal*. 2017, no. 414, pp. 29–33.

УДК 81
DOI 10.17223/18137083/68/13

И. В. Новицкая

Томский государственный университет

Лингвистика XXI века на пути к интегративной теории метафоры *

Представлены результаты аналитического обзора зарубежных публикаций двух последних десятилетий, посвященных исследованию феномена метафоры. Обозначаются наиболее актуальные исследовательские направления, демонстрирующие тенденцию к интеграции когнитивного, коммуникативно-прагматического и собственно лингвистического подходов и методов анализа. Кратко освещается понятийно-терминологический аппарат, представленный в зарубежных работах по теории метафоры. Обобщаются мнения американских и европейских метафорологов, в работах которых обосновывается необходимость комплексного интегративного подхода к анализу метафорических единиц, включающего учет их лингвистических, когнитивных и коммуникативных характеристик. Анализируются новейшие теоретические концепции метафоры (гибридные теории М. Тендаля и Х. Штёвер), базирующиеся на интеграции положений теории концептуальной метафоры и теории релевантности.

Ключевые слова: теория метафоры, гибридная теория, концептуальная теория метафоры, теория релевантности, европейская лингвистика, американская лингвистика.

Введение

Метафора – важное явление коммуникации и когниции, поскольку человек выражает свои мысли, используя метафоры, мыслит метафорами и с их помощью познает мир. Всеобщее признание метафоры в качестве одной из основных ментальных операций в процессах познания, концептуализации, категоризации, оценки и объяснения мира породило значительный исследовательский интерес широкого круга лингвистов, психологов, философов к этому феномену.

На современном этапе проблемное поле метафорологических исследований в зарубежной науке охватывает широкий диапазон явлений, связанных с изучени-

* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 18-18-00194, проект «Образная система русского языка в полидискурсивном пространстве современных коммуникаций».

Новицкая Ирина Владимировна – доктор филологических наук, профессор кафедры английской филологии Томского государственного университета (пр. Ленина, 36, Томск, 634050, Россия; irno2012@yandex.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 3
© И. В. Новицкая, 2019

ем природы, функционирования и типологии метафорических единиц [Cameron, Low, 1999; Style, 2002; Gibbs, 2008; Kövecses, 2010; Ritchie, 2013; Semino, Demjén, 2016]. Можно с уверенностью говорить об устойчивом интересе зарубежных психологов и лингвистов к таким аспектам, как природа метафоры, метафора и психологическая теория, типология метафор, методики идентификации метафорических единиц в тексте и корпусе, методологические подходы к исследованию метафоры, включая корпусные исследования, прикладные возможности теории метафоры в области анализа текста и мультимедийного анализа. Выход теории метафоры в прикладную область затрагивает такие сферы, как литература и искусство, реклама, политика, образование, здравоохранение, юриспруденция, экономика, Интернет и другие каналы мультимедийной коммуникации.

Обзор англоязычных публикаций (более 150 работ) за последние двадцать лет позволяет идентифицировать несколько актуальных направлений исследований в области метафорологии, разработкой которых активно занимаются научные коллективы в Европе (Нидерланды, Великобритания, Венгрия, Германия) и США. Одной из важнейших задач современной зарубежной метафорологии является разработка теоретической концепции под общим названием «теория метафоры», в рамках которой затрагивается проблема определения самого термина «метафора» с точки зрения различных подходов (например, семантического, стилистического, психолингвистического, когнитивного), а также выявления динамических и статических характеристик метафорических единиц. Особо следует отметить усилия лингвистов, философов и психологов, направленные на изучение процесса восприятия и понимания метафорических единиц в условиях реальной коммуникации, в сфере культуры и эмоционального интеллекта, что порождает значительный интерес к исследованию универсальных и индивидуальных закономерностей функционирования и бытования образного лексикона в языках и культурах, мультимодальных форм реализации метафорического языка, прикладных возможностей когнитивной теории метафоры в области обучения и изучения иностранных языков и перевода, применению методов корпусного анализа и т. д. Ключевыми фигурами в научном сообществе метафорологов, задающими направления и тон исследований, являются такие широко известные и авторитетные ученые, как Lynne Cameron (Open University, UK), Robyn Carston (University College London, UK), Alice Deignan (University of Leeds, UK), Zsófia Demjén (University College London, UK), Dedre Gentner (Northwestern University, Illinois, USA), Raymond W. Gibbs, Jr. (University of California, Santa Cruz, USA (retired 2018)), Rachel Giora (Tel Aviv University, Israel), Matthew S. McGlone (University of Texas at Austin, USA), Sam Glucksberg (Princeton University, New Jersey, USA), Zoltán Kövecses (Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary), Jeannette Littlemore (University of Birmingham, UK), Andreas Musolff (University of East Anglia, UK), David L. Ritchie (Portland State University, Oregon, USA), Elena Semino (Lancaster University, UK), Gerard Steen (University of Amsterdam, the Netherlands), Markus Tendahl (Technische Universität Dortmund, Germany), Deidre Wilson (University College London, UK).

Приходится констатировать, что работы этих ведущих авторов, как и многих других зарубежных исследователей метафоры, до настоящего времени остаются неизвестными российским лингвистам-метафорологам, поскольку они не переведены на русский язык и крайне редко упоминаются в публикациях российских исследователей образного языка. Несомненно, знакомство с теоретическими, эмпирическими и эвристическими наработками зарубежных коллег может способствовать поиску точек соприкосновения российской науки, обладающей богатой традицией, с мировой практикой метафорологических изысканий и интеграции в глобальное научное пространство.

Большое разнообразие обсуждаемых в зарубежной лингвистике вопросов, касающихся порождения, восприятия и понимания метафоры, а также ее функцио-

нирования в многочисленных типах дискурса, стилях и жанрах привело к разработке оригинальных теоретических концепций данного феномена [Gibbs, 1992; Steen, 2011], часть которых не получила должного освещения в отечественной научной литературе.

Из большого количества концепций метафоры наибольшую известность и распространение в России получила *теория концептуальной метафоры* (the conceptual metaphor theory [Lakoff, Johnson, 1980]), о чем свидетельствуют многочисленные исследования, выполненные в рамках данной методологии на разнообразном языковом материале. Именно эта теория определяет вектор развития отечественной метафорологии в настоящее время и получает уникальное переосмысление в трудах российских ученых. Упомянутая теория послужила отправной точкой для *дескрипторной теории метафоры*, разрабатываемой исследовательским коллективом под руководством А. Н. Баранова (см. [Баранов, 2014]). Иные известные в российской лингвистике концепции включают в себя *гипотезу инвариантности* (invariance hypothesis, G. Lakoff), *теорию концептуальной интеграции* (theory of conceptual integration, M. Turner, G. Fauconnier), *теорию первичных метафор* (claim about primary and compound metaphors, J. Grady), *когерентную модель метафоры* (coherence model, B. Spellmann), *коннективную теорию метафорического моделирования* (connectivity theory of metaphor, L. D. Ritchie), *интеракционистскую теорию метафоры* (interaction theory, P. Ricoeur), *теорию метафорического моделирования* (см. [Будаев, Чудинов, 2013]). Все перечисленные выше метафорологические теории выполнены в русле когнитивного направления, они предлагают уточнение или переосмысление некоторых положений теории концептуальной метафоры и тем самым всячески способствуют ее дальнейшей эволюции.

Большинство упомянутых теоретических концепций метафоры были первоначально представлены в зарубежной англоязычной метафорологической литературе и фрагментарно освещены в публикациях российских лингвистов [Будаев, Чудинов, 2006]. Однако следует признать, что этот список теорий далеко не полный, поскольку не включает в себя такие современные концепции, как *теорию карьеры метафоры* (the career of metaphor theory, D. Gentner, B. F. Bowdle), *теорию релевантности* (the relevance theory, D. Sperber, D. Wilson), *нейронную теорию метафоры* (the neural theory of metaphor, G. Lakoff), *теорию атрибутивной категоризации* (the attributive categorization view / model, S. Glucksberg), *гибридные теории метафоры* (hybrid theories of metaphor) и некоторые другие (metaphor as anomaly, gestalt-interactionist theory of metaphor, theory of metaphor as embodied schema). Именно эти концепции оказывают значительное влияние на формирование современных исследовательских программ в отношении метафорического языка. С данным обстоятельством также связано и то, что теория концептуальной метафоры, обозначенная авторами как *современная теория метафоры* [Lakoff, 1993], сегодня не только активно дополняется и уточняется, но и закономерно утрачивает статус единственной. Все больше ученых склоняются к мысли о том, что многие аспекты когнитивной теории метафоры остаются дискуссионными, не охватывают иных характеристик образного словаря (например, дискурсивных, социальных) и не позволяют полноценно и всесторонне объяснить феномен метафоры.

В этой связи в англоязычной критической литературе достаточно давно обозначена потребность в разработке единой, интегративной теории метафоры (иными словами, *новейшей теории метафоры*), в которой каждая известная сегодня концепция нашла бы достойное место и признание [Gibbs, 1992; Tendahl, 2009; Steen, 2011; Kövecses, 2011] и др. Более того, принцип интегративности выступает в качестве ведущего не только в области теоретических разработок в метафорологии, но и в сфере эмпирических исследований функционального аспекта метафоры [Semino et al., 2016; Holyoak, Stamenković, 2018].

Цель настоящей статьи заключается в представлении зарубежных теоретических концепций метафоры, базирующихся на интеграции когнитивного и прагматического подходов к интерпретации указанного феномена. Данные концепции известны в зарубежной лингвистике как гибридные теории метафоры и рассматриваются в качестве вклада ученых в разработку *новейшей теории метафоры*.

Образный язык и метафора: толкование понятий

Приступая к обсуждению основных теоретических положений интегративных подходов к теории метафоры, следует дать пояснения ключевым терминам (*метафора, образный язык, метафоричность*) и их рабочим определениям в контексте данной статьи.

Считается, что наиболее точно общее свойство обсуждаемых лексических единиц отображено в таком термине, как «образный язык» (*figurative language*)¹, охватывающем разноструктурные единицы словарного состава, объединенные на основе их метафоричности / образности (*metaphoricity*) [Deignan et al., 2013, p. 11].

Понятие «образный язык» включает в себя такие специфические языковые явления, как метафора (метафорические выражения (*metaphorical expressions*), сравнения (*similes*), аналогии (*analogies*) и др.), метонимия (*metonymy*), ирония (*irony*), гипербола (*hyperbole*), эвфемизм (*euphemism*) [Ibid.]. Среди них метафора и метонимия занимают особое положение, поскольку они являются «двумя основными образными каналами, посредством которых люди концептуализируют свой опыт» [Gibbs, 1992, p. 13], и «двумя основными типами использования образности» [Croft, Cruse, 2004, p. 183].

Сущность образности (или метафоричности) определяется через понятие метафоры, в узком смысле понимаемой как ‘device for seeing something in terms of something else’ [Burke, 1945] (цит. по: [Cameron, 2010a, p. 3]). Иными словами, метафора – это способ представления и понимания одного явления (например, концепта, события, предмета) посредством свойств и характеристик другого явления [Richardson, 2011, p. 63].

С учетом формально-структурного критерия все метафорические единицы (т. е. лексические единицы в метафорическом значении, или, в терминологии М. Блэка, *the focus, the focal word*) могут быть включены в состав следующей типологии: лексические (*lexical*), идиоматические (*idiomatic*), шаблонные, стереотипные (*formulaic*), концептуальные (*conceptual*) и новаторские, авторские (*novel*) [Sanford, 2010, p. 31]. Учет синтаксических характеристик метафоры (*syntactic form of metaphor*) позволяет различать ее именные (*nominal*), предикатные (*predicate*), атрибутивные (*attributive*) формы, а также конвенциональные локативные выражения, базирующиеся на предлогах (*conventionalized locative expressions based on prepositions*), например: *He’s feeling up today* «Он чувствует себя приподнято сегодня / Он в приподнятом настроении». Несколько более сложной формой именной метафоры является пропорциональная (*proportional*) метафора, в которой между *focal word* и концептом целевой сферы устанавливается некоторое соотношение, например: «Религия – это *опиум* для народа». При этом отмечается, что пропорциональная метафора может быть преобразована в четырехчастную аналогию: религия – народ – опиум – наркозависимые) [Holyoak, Stamenković, 2018, p. 644].

Структурно метафора включает в себя тему (*the tenor, the topic, the subject*) и средство репрезентации (*the vehicle, the base*) [Richards, 2001; Black 1962]. Средство выражения метафоры представляет собой «сети ассоциаций» (*networks*

¹ Здесь и далее перевод мой. – И. Н.

of associations), из множества которых одна сеть, или сфера-источник (source domain), проецируется на целевую сферу (target domain) [Richardson, 2011, p. 63].

При формировании метафоры, в зависимости от контекстных условий, только часть характеристик сферы-источника проецируется на сферу-цель, остальные характеристики сферы-источника остаются неактуализированными, что означает обусловленность выбора актуализируемых свойств в метафоре. Произвольность и контекстуальная зависимость выбора актуализируемых характеристик указывает на такие свойства метафоры, как ее реляционность и таксономичность. Это позволяет метафоре организовывать мысли, выявлять или создавать отношения между ними [Ibid.]. При этом, с точки зрения лингвистов, перенос семантических характеристик между сферами рассматривается либо только как всегда однонаправленный (unidirectional), т. е. всегда от источника к цели [Lakoff, Johnson, 1980], либо как обоюднонаправленный (bi-directional) процесс [Black, 1962, p. 44].

При помощи своей двухчастной структуры метафора сигнализирует о связи – в виде грамматически оформленной идеи эквивалентности двух элементов – между языком и личностью. В ходе этого процесса ассоциативная сеть образов, относящихся к целевому концепту, трансформируется за счет их сочетания по определенным признакам с ассоциациями, соотносящимися с концептом(ами)-источниками [Richardson, 2011, p. 61]. При создании метафоры определенные характеристики сферы-источника используются для того, чтобы высветить или проиллюстрировать некоторые аспекты сферы-цели, что в терминологии Лакоффа и Джонсона обозначено как высвечивание (highlighting) и сокрытие (hiding) [Lakoff, Johnson, 1980, p. 10–13]. Эта реляционная структура метафоры позволяет преобразовать абстрактную идею в более конкретную, которая, в свою очередь, вызывает отклик в воображении слушателя и тем самым запускает процесс трансформации восприятия или поведения [Richardson, 2011, p. 62]. В более широкой социокультурной перспективе реляционность метафоры обеспечивает ее способность не только представлять обозначаемую действительность в определенном ракурсе, но и создавать новые ракурсы восприятия: “metaphors may create realities for us, especially social realities” [Lakoff, Johnson, 1980, p. 156].

В более широкой трактовке метафора понимается как некий «ресурс, который используется людьми в ходе речемыслительного процесса в контекстно уникальных условиях коммуникации» [Cameron, 2010b, p. 88]. В рамках такого подхода контраст между базовым значением метафорических выражений и конкретной обсуждаемой темой снимается за счет «переноса значения в контексте» [Cameron, 2010a, p. 102]. Данный подход предполагает представление метафоры двояко: с одной стороны, как процесса, а с другой – как некоего результата, продукта. “Metaphor understanding is a continuous mental event that takes place in real time, starting with the first milli-seconds of processing and potentially extending through long-term, reflective analysis” [Gibbs, 1992, p. 576]. С учетом данного противопоставления внимание при исследовании образного лексикона может быть сосредоточено на отдельных этапах этого континуума: восприятии (comprehension), распознавании (recognition), интерпретации (interpretation) и осознании или присвоении (appreciation) метафорических единиц. Отсюда следует, что понимание метафоры предполагает последовательную реализацию упомянутых выше этапов, при этом сами этапы не обязательно являются дискретными или облигаторными для процесса лингвистической обработки метафоры [Ibid.].

Таким образом, в современной трактовке в качестве ключевых характеристик метафоры как языкового и ментального явления выступают ее двухчастная структура, процессуально-результативная сущность, а также контекстуально и дискурсивно обусловленная актуализация элементов содержания.

Проблемное поле новейшей теории метафоры

Современное состояние области теоретического осмысления феномена метафоры можно охарактеризовать как парадигмальный плюрализм. В настоящее время метафорологи имеют возможность выстраивать свои исследования образного языка с опорой на различные теоретические модели метафоры, часто рассматриваемые как конкурирующие.

В целом, по признанию одного из ведущих метафорологов Джерарда Стена (Gerard Steen), многогранность метафоры позволяет структурировать поле ее исследования по многочисленным параметрам, главными из которых выступают сфера бытования метафоры и дисциплинарный ракурс (см. таблицу) [Steen, 2011, p. 4].

Исследования метафоры: параметры и подходы
Studies of metaphor: parameters and approaches

Сфера бытования	Ракурс изучения		
	семиотический (лингвистический)	психологический	социальный
Язык	Языковые / лингвистические формы метафоры	Индивидуальные процессы и результаты использования метафоры	Коллективные процессы и результаты использования метафоры
Мышление	Концептуальные структуры метафоры	Индивидуальные процессы и результаты использования метафоры	Коллективные процессы и результаты использования метафоры
Коммуникация	Коммуникативные функции метафоры	Индивидуальные процессы и результаты использования метафоры	Коллективные процессы и результаты использования метафоры

В обширной метафорологической литературе отмечается, что метафора как явление имеет три локализации: мышление (metaphor in thought), язык (metaphor in language) и коммуникация (metaphor in communication), в каждой из которых метафору можно изучать в рамках методологии трех подходов: лингвистического, психологического и социального (см. таблицу). Обзор исследований показывает, что представленные в научной литературе концепции и подходы к анализу метафоры сосредоточены на отдельных участках исследовательского поля. Так, например, теория Дж. Лакоффа и М. Джонсона затрагивает лишь первую строку таблицы, а концепция, разрабатываемая группой ученых [Charteris-Black, 2004; Caballero, 2006; Semino, 2008; Musolff, Zinken, 2009; Steen et al., 2010] и др., охватывает только последнюю колонку.

Расширение предметного поля метафорологических исследований «высветило» потребность в разработке единой интегративной теории метафоры, которая учитывала бы различные ракурсы и теоретические рамки изучения данного явления. Положительный потенциал подобной обобщенной теории метафоры видится в том, что она позволила бы более четко и обоснованно определить методику выявления метафорических единиц, цели и контекст исследований метафоры в каждом из девяти участков исследовательского поля, совместимые с общим теоретическим осмыслением данного явления, например, как пересечения концептуальных сфер [Steen, 2011, p. 45]. Более того, множественность подходов

и ракурсов анализа метафоры, признание ее двойственного характера (как процесса и результата) обеспечивает получение *качественно* различных результатов, отражающих ее когнитивные и дискурсивные характеристики [Semino et al., 2016, p. 18]. В этой связи всестороннее и полноценное описание метафоры может быть достигнуто только в условиях комплексного многоуровневого исследования ее особенностей [Ibid.], а также с учетом отдельных этапов лингвистической обработки образных единиц [Gibbs, 1992, p. 578].

Перечисленные выше теории метафоры представляют собой решения, найденные в отношении образных единиц с точки зрения какого-либо определенного подхода, например семиотического или психологического. На современном этапе, как уже отмечалось, более плодотворным считается рассматривать существующие теории метафоры как взаимодополняющие, поскольку каждая из них углубляет наше понимание отдельных участков единого процесса порождения и понимания метафорического лексикона. На суд научной общественности уже вынесены концепции метафоры, которые по своей сути являются комбинированными и интегративными, позволяющими более тонко настроить объяснительный инструментарий этих теорий на описание многочисленных граней изучаемого феномена. В качестве подобных интегративных теорий выступают гибридная теория Маркуса Тендаля (Markus Tendahl) и новая гибридная теория Ханны Штёвер (Hanna Stöver).

Гибридные теории

В основе обеих теорий лежит принцип интеграции положений теории концептуальной метафоры и теории релевантности [Sperber, Wilson, 2008]. Обе теории сосредоточены на исследовании процесса восприятия метафорических единиц, что одновременно затрагивает такие области ее бытования, как мышление и язык. Различия в теориях вызваны тем фактом, что М. Тендаль комбинирует теорию релевантности и теорию концептуальной метафоры с опорой на положения когнитивной лингвистики, в то время как Х. Штёвер на первый план выводит принципы теории релевантности. Оба автора считают плодотворным и взаимовыгодным слияние двух теорий, поскольку теория концептуальной метафоры сосредоточена на описании взаимосвязей и иерархий различных метафор в памяти, но не касается вопроса о восприятии и понимании метафор в реальной коммуникации с учетом механизма отбора релевантных признаков в процессе интерпретации, что составляет фокус исследований теории релевантности.

Гибридная теория метафоры М. Тендаля

Будучи приверженцем когнитивного подхода, М. Тендаль [Tendahl, 2009, p. 184, 251] разделяет идеи теории концептуальной метафоры и формулирует свою теорию, опираясь на понятие концептуальной проекции (conceptual mapping). Из теории релевантности он заимствует идею о том, что восприятие метафоры осуществляется посредством конструирования ситуационного / спонтанного концепта (ad hoc concept).

В своей теории М. Тендаль придерживается мнения о том, что слова изначально кодируют концепты с нечетко обозначенным, схематично представленным содержанием. В процессе прагматической обработки слово, употребленное в конкретных контекстных условиях, становится обозначением полнозначного концепта с четко очерченным специфическим содержанием [Stöver, 2010, p. 169]. Данное положение согласуется с мнением Робин Карстон о процессе конструирования концептуальной единицы в сознании говорящего: “Could it be that the word ‘happy’ does not encode a concept, but rather ‘points’ to a conceptual region, or maps to an address (or node, or gateway, or whatever) in memory? This pointing or mapping provides

access to certain bundles of information from which the relevance-constrained processes of pragmatic inference extract or construct the conceptual unit which features in the speaker's thought" [Carston, 2002, p. 360–361].

В качестве операционного понятия М. Тендаль вводит термин «концептуальная область» (conceptual region), который он понимает как репрезентационный базис (representational basis) или стартовую точку, с которой начинается процесс восприятия любого концепта [Stöver, 2010, p. 170]. М. Тендаль предлагает соотносить conceptual region с лексической семантикой в силу того, что она обеспечивает тот контент, уже хранящийся в памяти, который затем может модифицироваться или обогащаться в конкретном контексте. В этот контент входят ключевые компоненты значения (the encoded content of the lexical concept или the core features of a concept), неизменные в любом контексте. Однако conceptual region не содержит всей информации, формирующей «значение слова» полностью, она лишь предоставляет доступ к различным репрезентационным формам, участвующим в восприятии.

Conceptual region включает в себя различные структуры знания в различных репрезентационных форматах. В качестве форматов выступают сиюминутные / спонтанные концепты (ad hoc concepts), концептуальные сферы (conceptual domains – source and target) и ментальные области (mental spaces в трактовке теории концептуальной интеграции). С точки зрения автора теории, принципиально различаются и противопоставляются ad hoc concepts и conceptual domains, поскольку ad hoc concepts являются временными образованиями, в высокой степени зависящими от контекста, в то время как conceptual domains – достаточно устойчивые, уже сформированные образования, хранящиеся в долгосрочной памяти, доступ к которым осуществляется по необходимости. Mental spaces тоже временны, как и ad hoc concepts, однако содержат не один концепт, а несколько [Stöver, 2010, p. 171]. Частота использования приводит к закреплению или укоренению (entrenchment) некоторых структур знания, например к формированию устойчивых лексических концептов, если они берут свое начало из ad hoc concepts, или к формированию концептуальных сфер (conceptual domains), если своим происхождением они обязаны mental spaces [Ibid.].

Conceptual region имеет специфическую структуру, включающую свободные слоты (free slots), понимаемые как точки доступа к структурам знания различных типов. Наполнение этих свободных слотов происходит при посредстве так называемых коннекторов (connectors), соединенных с внешними структурами знания (external knowledge structures). Отсюда следует, что в формировании контекстуально обусловленного содержания лексической единицы участвуют структуры знания двух видов: внешняя и внутренняя, при этом под последней понимается закодированное инвариантное содержание концепта. Внешние структуры знания становятся частью сиюминутного концепта в процессе когнитивной обработки информации, чему содействуют свободные слоты в conceptual region. Сами свободные слоты являются либо сиюминутными концептами, либо укорененными (entrenched free slots). Укорененные слоты – это часть нашего долговременного знания, связанного с отдельным словом, однако они не являются частью лексического концепта, поскольку они сами обогащаются в ходе взаимодействия с внешними структурами знания [Tendahl, 2009, p. 238].

Conceptual region в теории М. Тендаля выступает как некий шаблон для создания сиюминутных концептов. Эта область только предоставляет контекстуально независимую информацию, которая затем контекстуально адаптируется в различной степени. В задействованных при этом процессах участвуют укорененные и неукорененные свободные слоты, которые наполняются внешними структурами знания при помощи коннекторов. Контекстуальная адаптация в итоге приводит к сужению или расширению содержания концептов.

Когнитивный механизм восприятия и понимания метафор в данной теории описывается автором как немодульный и работающий со всеми типами репрезентаций (например, image schemas, propositional representations, conceptual metaphors and metonymies, factual information) одинаково, на основе прагматического принципа релевантности. Различные форматы репрезентаций различаются только типом связи с концептуальной областью, т. е. является ли структура знания внутренней или внешней, а свободные слоты – укорененные или неукорененные. В процессе обработки метафоры участвуют различные репрезентационные форматы, и они позволяют осуществлять как концептуальное проецирование (согласно теории концептуальной метафоры), так и когнитивные процессы на основе инференции / вывода (согласно теории релевантности). В этом процессе основная задача заключается в том, чтобы установить связь между словом, выражающим концепт, и концептуальной схемой (conceptual schema), которая активирует хранящуюся в памяти концептуальную метафору и тем самым провоцирует понимание метафорической единицы [Stöver, 2010, p. 167, 196].

Гибридная модель Х. Штёвер

Гибридная теория метафоры Х. Штёвер представляет собой усовершенствованный вариант концепции М. Тендаля, в которой сделан разворот в сторону принципов теории релевантности.

Автор гибридной теории выстраивает свою концепцию на основе представления о метафоре как об «особом» явлении (не соглашаясь в этом с теорией релевантности). Эта отличительность (specialness) метафоры кроется в «относительной метафоричности, которая создается у языковой единицы в процессе ее метафорического использования» [Stöver, 2010, p. 10]. Данное понятие лежит в основе всей теории и трактуется как отношение между закодированным в слове концептом (encoded concept) и его интерпретацией в конкретном контексте употребления. Метафоричность (metaphoricity) выступает в качестве релевантного параметра в тех случаях, когда при восприятии языкового выражения человек испытывает диссонанс, вызванный «конфликтом» между конвенциональным в данной языковой общности, буквальным содержанием концепта (encoded concept) и сообщаемым в определенных контекстных условиях содержанием концепта (communicated concept), например, He is a pig. В таких случаях метафоричность проявляется как осознание различия между концептами на метарепрезентационном уровне, что обозначается как осознаваемая напряженность (tension) между двумя репрезентациями [Ibid., p. 11]. “Metaphoricity is an intuitively felt gap between literal and intended meaning, where the first provides a perspective for constructing the second” [Camp, 2007, p. 14]. Именно эта специфическая когнитивная напряженность, возникающая в процессе обработки различных репрезентаций и их метафорических отношений друг с другом, обуславливает осознание исключительности, особенности метафоры и приводит к пониманию выражения. Осознаваемая метафоричность, следовательно, предполагает и особую метарепрезентацию, отличающую ее от когнитивной метарепрезентации буквального содержания метафорического выражения [Stöver, 2010, p. 12]. Отсюда Х. Штёвер заимствует мнение Робин Карстон (Robyn Carston) о двояком процессе когнитивной обработки на метарепрезентационном уровне [Carston, 2010], ставшее одним из трех опорных положений гибридной теории в дополнение к гибридной теории Тендаля (2009) и концепции ментальной симуляции Л. Барсалоу [Barsalou, 2005].

В отличие от М. Тендаля, Х. Штёвер представляет архитектуру ментального пространства как модульную, что разграничивает различные уровни или модули обработки информации [Stöver, 2010, p. 2–3]. Это означает, что каждый модуль имеет дело только с той входной информацией (имеющей либо пропозициональную, либо наглядно-образную репрезентацию), которая является специфичной

для конкретной сферы. В структуру концептуальной области, ассоциированной с концептом, включены как пропозициональные, так и непропозициональные форматы репрезентаций, причем последние находятся в подчиненном положении по отношению к пропозициональным.

Процесс восприятия языкового выражения локализуется в среде языка мышления (*the language of thought*) и опирается на процедуру инференции. Пропозициональные репрезентации, как операторы рационального мышления, обрабатываются в одном модуле и по необходимости дополняются результатами обработки наглядно-образных репрезентаций, осуществляемой в отдельном модуле. В случае с метафорическими выражениями, наглядно-образные репрезентации проходят обработку еще на одном уровне – метарепрезентационном.

Иными словами, на пропозициональный (*propositional*) уровень входная информация для обработки поступает из наглядно-образного (*imagistic-experiential*) уровня при посредничестве метарепрезентационного уровня, на котором образно-наглядные репрезентации преобразуются в пропозициональный материал, обрабатываемый на инференциальном уровне. Такой процесс обеспечивает понимание буквальных значений. При обработке метафорических выражений на метарепрезентационном уровне имеют место два процесса: 1) преобразование непропозиционального материала в пропозициональную схему (*schema*), если это требуется для выработки в случае контекстуально обусловленного содержания, и 2) удерживание буквального значения выражения для дальнейшего осмысления. Поскольку буквальное значение не представляет собой существенно значимый контент, наглядно-образные аспекты буквального значения не обрабатываются как пропозициональная входная информация, а, наоборот, удерживаются на метарепрезентационном уровне и учитываются как очень сильные впечатления, которые могут передать только метафоры [Stöver, 2010, p. 198–201]. В итоге автор называет свою модель “*triple processing account*”, предполагающей три уровня обработки [Ibid., p. 184].

Таким образом, обе гибридные теории ставят перед собой цель объединить в себе достижения теории концептуальной метафоры, прагматических исследований, теории релевантности и ментального моделирования. В рамках данных теорий метафора рассматривается, с одной стороны, как статическое образование, а с другой – как динамический процесс, связывающий язык, мышление, познание и культуру. Благодаря комбинированию различных теоретических положений, метафора в гибридной теории представляется как мыслительный феномен, который проецируется на естественный язык и на абстрактные образные схемы (*image-schema*). Как следствие подобного проецирования, формируются концептуальные метафоры, т. е. области пересечения концептуальных сфер и лингвистических способов представления этих сфер. Концептуальные метафоры хранятся в долговременной памяти человека, так же как и лексические концепты. Понимание метафор тесно связано с контекстом, влияние которого заключается в том, что слушающий выбирает тот контекст, который придает высказыванию наибольшую значимость. Это означает, что в условиях конкретного контекста у слушающего на базе лексического значения формируется ситуационный концепт комбинированной, интегративной природы. Понимание некой единицы в высказывании как метафорической обуславливается тем, что ситуационный концепт наполняется содержанием, отличным от общепринятого, что и выявляется в контексте.

Комбинированный подход к анализу метафоры

В метафорологической литературе представлены и другие попытки совмещения различных теорий для объяснения процесса интерпретации метафорического лексикона. Так, например, З. Кёвечеш (2011) предлагает авторскую методику ана-

лиза метафоры на основе совмещения положений теории концептуальной метафоры, теории концептуальной интеграции, теории релевантности, теории атрибутивной категоризации и нейронной теории метафоры. Известен также подход, совмещающий гипотезу объединенной входной информации с теорией релевантности [Ruiz de Mendoza, Perez Hernandez, 2011].

Заключение

В XXI в. в зарубежной метафорологии наметился отчетливый сдвиг в сторону создания «3D» (Three-Dimensional) модели метафоры, которая позиционирует ее как одновременно языковую, концептуальную и коммуникативную единицу. Подобная установка не отрицает, что метафора может самостоятельно и плодотворно исследоваться в каждой из обозначенных плоскостей с целью выявления ее семиотических, когнитивных (психолингвистических) и коммуникативных (индивидуальных и коллективных) характеристик. Однако программы исследования метафоры только в одном ракурсе ограничивают возможности ученых смоделировать целостное представление об изучаемом феномене. Полноценная и всеобъемлющая модель метафоры интегрирует сведения о ее статических (структурно-функциональных) и динамических (процессуальных) характеристиках. При этом процессуальная сторона охватывает сведения о бытовании метафоры в социальных процессах на микро- (индивидуальные и социальные закономерности использования метафоры) и макроуровне (как часть более глобального процесса создания, конвенционализации и освоения образных единиц). Именно комплексный подход, предполагающий учет лингвистических, когнитивных, психологических и социокультурных факторов в их взаимодействии рассматривается как перспективный для дальнейших метафорологических исследований.

Когнитивный поворот, внедренный в лингвистику Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, со всей очевидностью прочно занял ведущие позиции в исследовании метафоры. Он позволил продемонстрировать тот факт, что метафора является не только феноменом языка и риторики, но также и мышления. Следует подчеркнуть, что метафорическая репрезентация не ограничивается только сферой мышления, поскольку ментальные структуры могут манифестироваться помимо языка средствами и других семиотических систем. В этой связи теория концептуальной метафоры является универсальным теоретическим инструментом, позволяющим углубить понимание механизмов метафорической концептуальной проекции при взаимодействии различных модусов символизации.

Тем не менее, современный полипарадигмальный ландшафт теоретической лингвистики уже «высветил» своеобразную ограниченность теории концептуальной метафоры, опирающейся на психологический по своей сути ракурс изучения метафоры и не затрагивающей в должной мере коммуникативные и социальные параметры бытования образного языка. Современная динамика и многонаправленность научных изысканий расширили предметную область метафорологии и тем самым задали очертания новейшей теории метафоры, в основе которой – ее определение в терминах теории концептуальной метафоры как a cross-domain mapping in conceptual structure. Данное теоретическое определение может служить ядром новейшей концепции, на которое надстраиваются все иные черты и характеристики метафоры, выявляемые при исследовании ее бытования в мышлении, языке и коммуникации с точки зрения трех подходов: семиотического, психологического и социального. В таком дизайне новейшей теории “metaphor may be theoretically defined as a matter of conceptual structure, but in empirical practice it works its wonders in language, communication, or thought” [Steen, 2011, p. 60]. Подобная установка влечет за собой разумное совмещение и структурирование теоретических наблюдений, сформулированных в рамках иных известных теорий

метафоры, позволяющих объяснить особенности данного феномена на различных этапах его «карьеры» (в языке, мышлении и дискурсе). Именно такое развитие можно констатировать в современной зарубежной метафорологии, где активно обсуждаются интегративные концепции метафоры, разработанные на основе со- вмещения и комбинирования когнитивных и прагматических теорий.

Список литературы

- Баранов А. Н.* Дескрипторная теория метафоры. М.: Языки славянской культуры, 2014. 632 с.
- Будаев Э. В., Чудинов А. П.* Метафора в политическом интердискурсе. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 2006. 215 с.
- Будаев Э. В., Чудинов А. П.* Когнитивная теория метафоры: новые горизонты // Изв. Уральского федерального университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2013. № 1. С. 6–13.
- Barsalou L.W.* Situated conceptualization // Handbook of categorization in cognitive science. St. Louis: Elsevier, 2005. P. 619–650.
- Black M.* Models and Metaphors: Studies in Language and Philosophy. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1962. 267 p.
- Burke K.* A Grammar of Motives. New York: Prentice Hall, 1945. 530 p.
- Caballero M. R.* Re-viewing Space: Figurative Language in Architects' Assessment of Built Space. Berlin: Mouton de Gruyter, 2006. 261 p.
- Cameron L.* What is metaphor and why does it matter? // Cameron L., Maslen R. (eds.). Metaphor Analysis: Research Practice in Applied Linguistics, Social Sciences and the Humanities. London: Equinox, 2010a. P. 3–25.
- Cameron L.* The discourse dynamics framework for metaphor // Cameron L., Maslen R. (eds.). Metaphor Analysis: Research Practice in Applied Linguistics, Social Sciences and the Humanities. London: Equinox, 2010b. P. 77–94.
- Cameron L., Low G.* (eds.). Researching and applying metaphor. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 295 p.
- Camp E.* Showing, Telling and Seeing. Metaphor and “Poetic” Language // Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication. 2007. Vol. 3 (1). P. 7.
- Carston R.* Metaphor, ad hoc concepts and word meaning – more questions than answers // UCL working papers in linguistics. 2002. Vol. 14. P. 83–105.
- Carston R.* Metaphor: ad hoc concepts, literal meaning and mental images // Proceedings of the Aristotelian Society, 2010. Vol. 110 (3). P. 297–323.
- Charteris-Black J.* Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis. London: Palgrave MacMillan, 2004. 263 p.
- Croft W., Cruse D. A.* Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 356 p.
- Deignan A., Littlemore J., Semino E.* Figurative language, genre and register. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 327 p.
- Gibbs R. W., Jr.* When is metaphor? The idea of understanding in theories of metaphor // Poetics today. 1992. P. 575–606.
- Gibbs R. W., Jr.* (ed.). The Cambridge handbook of metaphor and thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 550 p.
- Holyoak K. J., Stamenković D.* Metaphor comprehension: A critical review of theories and evidence // Psychological Bulletin. 2018. Vol. 144 (6). P. 641–671.
- Kövecses Z.* Metaphor: A practical introduction. Oxford: Oxford University Press, 2010. 375 p.
- Kövecses Z.* Recent developments in metaphor theory: Are the new views rival ones? // Review of Cognitive Linguistics. Published under the auspices of the Spanish Cognitive Linguistics Association. 2011. Vol. 9 (1). P. 11–25.

- Lakoff G.* The contemporary theory of metaphor // Ortony A. (ed.). *Metaphor and Thought*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. 678 p.
- Lakoff G., Johnson M.* *Metaphors we live by*. Chicago: University of Chicago Press, 1980. 242 p.
- Musolff A., Zinken J.* (eds.). *Metaphor and Discourse*. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2009. 269 p.
- Richards I. A.* *The Philosophy of Rhetoric* [1936]. Ed. by John Constable. London: Routledge, 2001. 94 p.
- Richardson J. E.* Religious Metaphor and Cross-Cultural Communication: Transforming National and International Identities // *Brigham Young University Studies*. 2011. Vol. 50 (4). P. 61–74.
- Ritchie L. D.* *Metaphor (Key Topics in Semantics and Pragmatics)*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 230 p.
- Ruiz de Mendoza Ibáñez F. J., Perez Hernandez L.* The contemporary theory of metaphor: Myths, developments and challenges // *Metaphor and Symbol*. 2011. Vol. 26 (3). P. 161–185.
- Sanford D.* *Figuration & Frequency: A Usage-Based Approach to Metaphor*. Doctoral dissertation. University of New Mexico, 2010. 183 p.
- Semino E.* *Metaphor in Discourse*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 247 p.
- Semino E., Demjén Z.* (eds.). *The Routledge handbook of metaphor and language*. Taylor & Francis, 2016. 541 p.
- Semino E., Demjén Z., Demmen J.* An integrated approach to metaphor and framing in cognition, discourse, and practice, with an application to metaphors for cancer // *Applied Linguistics*. 2016. Vol. 39 (5). P. 625–645.
- Sperber D., Wilson D.* A deflationary account of metaphors // Gibbs R. W. (ed.). *The Cambridge handbook of metaphor and thought*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. Vol. 18. P. 84–105.
- Steen G. J.* The contemporary theory of metaphor – now new and improved! // *Review of Cognitive Linguistics*. Published under the auspices of the Spanish Cognitive Linguistics Association. 2011. Vol. 9 (1). P. 26–64.
- Steen G. J., Dorst A. G., Herrmann J. B., Kaal A., Krennmayr T.* Metaphor in usage // *Cognitive Linguistics*. 2010. Vol. 21 (4). P. 757–788.
- Stöver H.* *Metaphor and Relevance Theory: A New Hybrid Model*. Doctoral dissertation. University of Bedfordshire, 2010. 230 p.
- Style. *Cognitive Approaches to Figurative Language*. 2002. Vol. 36, no. 3. P. 572–574.
- Tendahl M.* A hybrid theory of metaphor: Relevance theory and cognitive linguistics. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. 282 p.

I. V. Novitskaya

*Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
irno2012@yandex.ru*

**Linguistics of the 21st century
on the path to the integrated theory of metaphor**

The philosophical, linguistic, and psychological debate about the phenomenon of metaphor has been going on for a long time. This debate encompasses many issues concerning various aspects of metaphor and its applications. This paper draws on dozens of European and American metaphor studies and presents the results of their analytical overview. This analysis enables one

to summarize a range of topical issues addressed and examined in multiple research programs all over the world. One of the challenging research issues is the development of a comprehensive theory of metaphor that will integrate cognitive, communicative, pragmatic and linguistic approaches to the interpretation and study of this phenomenon. To date, the most ground-breaking and influential theoretical model of metaphor has been the conceptual metaphor theory of J. Lakoff and M. Johnson for it simulated the evolution of a cognitive-linguistic approach to the figurative vocabulary analysis. So far, several hypotheses about the cognitive reality of metaphorical thought and language have been proposed. However, none of them has turned out to be a single theory capable of accounting for a complex nature and all peculiarities of functioning of metaphor. On these grounds, a multi-dimensional and multi-disciplinary framework for studying metaphor has been proposed, including the analysis of metaphor in language, thought, and communication. Including the latter parameter in the research focus has triggered the development of hybrid or integrated theoretical models of metaphor (e.g., hybrid theories by M. Tendahl and H. Stöver). These theories are grounded in a combination of conceptual metaphor theory with pragmatically based theories, which is expected to offer new perspectives on the interpretation of the interaction of linguistic, cognitive, and communicative characteristics of metaphor in discourse.

Keywords: theory of metaphor, hybrid theory of metaphor, conceptual metaphor theory, relevance theory, European linguistics, American linguistics.

DOI 10.17223/18137083/68/13

References

- Baranov A. N. *Deskriptornaya teoriya metafory* [The descriptive theory of metaphor]. Moscow, LRC Publishing House, 2014, 632 p.
- Barsalou L. W. Situated conceptualization. In: *Handbook of categorization in cognitive science*. St. Louis, Elsevier, 2005, pp. 619–650.
- Black M. *Models and metaphors: Studies in language and philosophy*. Ithaca, New York, Cornell University Press, 1962, 267 p.
- Budaev E. V., Chudinov A. P. Kognitivnaya teoriya metafory: novye gorizonty [A cognitive theory of metaphor: new horizons]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 1. Issues in Education, Science and Culture*. 2013, no. 1, pp. 6–13.
- Budaev E. V., Chudinov A. P. *Metafora v politicheskoy interdiskurse* [The metaphor in political interdiscourse]. Ekaterinburg, USPU Publ., 2006, 215 p.
- Burke K. *A grammar of motives*. New York, Prentice Hall, 1945, 530 p.
- Caballero M. R. *Re-viewing space: figurative language in architects' assessment of built space*. Berlin, Mouton de Gruyter, 2006, 261 p.
- Cameron L., Low G. (Eds.). *Researching and applying metaphor*. Cambridge, Cambridge University Press, 1999, 295 p.
- Cameron L. The discourse dynamics framework for metaphor. In: Cameron L., Maslen R. (Eds.). *Metaphor analysis: research practice in applied linguistics, social sciences and the humanities*. London, Equinox, 2010b, pp. 77–94.
- Cameron L. What is metaphor and why does it matter? In: Cameron L., Maslen R. (Eds.). *Metaphor analysis: research practice in applied linguistics, social sciences and the humanities*. London, Equinox, 2010a, pp. 3–25.
- Camp E. Showing, telling and seeing. Metaphor and “Poetic” Language. *Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication*. 2007, vol. 3 (1), p. 7.
- Carston R. Metaphor, ad hoc concepts and word meaning – more questions than answers. *UCL working papers in linguistics*. 2002, vol. 14, pp. 83–105.
- Carston R. Metaphor: ad hoc concepts, literal meaning and mental images. *Proceedings of the Aristotelian Society*. 2010, vol. 110 (3), pp. 297–323.
- Charteris-Black J. *Corpus approaches to critical metaphor analysis*. London. Palgrave Macmillan, 2004, 263 p.
- Croft W., Cruse D. A. *Cognitive linguistics*. Cambridge, Cambridge University Press, 2004, 356 p.
- Deignan A., Littlemore J., Semino E. *Figurative language, genre and register*. Cambridge, Cambridge University Press, 2013, 327 p.

- Gibbs Jr. R.W. When is metaphor? The idea of understanding in theories of metaphor. In: *Poetics today*. 1992, pp. 575–606.
- Gibbs Jr. R. W. (Ed.). *The Cambridge handbook of metaphor and thought*. Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 550 p.
- Holyoak K. J., Stamenković, D. Metaphor comprehension: A critical review of theories and evidence. *Psychological bulletin*. 2018, vol. 144(6), pp. 641–671.
- Kövecses Z. *Metaphor: A practical introduction*. Oxford, Oxford University Press, 2010, 375 p.
- Kövecses Z. Recent developments in metaphor theory: Are the new views rival ones? *Review of Cognitive Linguistics*. Published under the auspices of the Spanish Cognitive Linguistics Association. 2011, vol. 9 (1), pp. 11–25.
- Lakoff G. The contemporary theory of metaphor. In: Ortony A. (Ed.). *Metaphor and Thought*. 2nd ed. Cambridge, Cambridge University Press, 1993, 678 p.
- Lakoff G., Johnson M. *Metaphors we live by*. Chicago, University of Chicago Press, 1980, 242 p.
- Musolff A., Zinken, J. (Eds). *Metaphor and Discourse*. Houndmills, Palgrave Macmillan, 2009, 269 p.
- Richards I. A. *The philosophy of rhetoric*. Ed. by John Constable. London, Routledge, 2001, 94 p.
- Richardson J. E. Religious metaphor and cross-cultural communication: Transforming national and international identities. *Brigham Young University Studies*. 2011, vol. 50 (4), pp. 61–74.
- Ritchie L. D. *Metaphor (key topics in semantics and pragmatics)*. Cambridge, Cambridge university press, 2013, 230 p.
- Ruiz de Mendoza Ibáñez F. J., Perez Hernandez L. The contemporary theory of metaphor: Myths, developments and challenges. *Metaphor and Symbol*. 011, vol. 26 (3), pp. 161–185.
- Sanford D. *Figuration & frequency: A usage-based approach to metaphor*. Doctoral dissertation. University of New Mexico, 2010, 183 p.
- Semino E. *Metaphor in discourse*. Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 247 p.
- Semino E., Demjén, Z. (Eds). *The Routledge handbook of metaphor and language*. Taylor & Francis, 2016, 541 p.
- Semino E., Demjén Z., Demmen J. An integrated approach to metaphor and framing in cognition, discourse, and practice, with an application to metaphors for cancer. *Applied Linguistics*. 2016, vol. 39 (5), pp. 625–645.
- Sperber D., Wilson D. A deflationary account of metaphors. In: Gibbs R. W. (Ed.). *The Cambridge handbook of metaphor and thought*. Cambridge, Cambridge University Press, 2008, vol. 18, pp. 84–105.
- Steen G. J., Dorst A. G., Herrmann J. B., Kaal A., Krennmayr T. Metaphor in usage. *Cognitive Linguistics*. 2010, vol. 21(4), pp. 757–788.
- Steen G. J. The contemporary theory of metaphor – now new and improved! *Review of Cognitive Linguistics*. Published under the auspices of the Spanish Cognitive Linguistics Association. 2011, vol. 9 (1), pp. 26–64.
- Stöver H. *Metaphor and relevance theory: A new hybrid model*. Doctoral dissertation. 2010, 230 p.
- Style. Cognitive Approaches to Figurative Language*. 2002, vol. 36, no. 3, pp. 572–574.
- Tendahl M. *A hybrid theory of metaphor: Relevance theory and cognitive linguistics*. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2009, 282 p.

УДК 81'373.612.2
DOI 10.17223/18137083/68/14

Л. И. Горбунова, Цай Вэй

Иркутский государственный университет

Область-источник когнитивной метафоры: status quo и перспективы исследования

Систематизируются данные об области-источнике когнитивной метафоры, изложенные в книге Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем». Дается краткий обзор работ, в которых задействовано изучение области-источника когнитивной метафоры, а также их группировка в соответствии с аспектом рассмотрения области-источника. Демонстрируется сосредоточенность современной когнитивной метафорологии на области-мишени. Намечаются перспективы целостного описания отдельных концептуальных областей как источников когнитивной метафоры и доказывается необходимость такого рода исследований.

Ключевые слова: когнитивная метафора, концептуальная метафора, область-источник, область-мишень.

Развитие научной мысли со второй половины XX в. во многом обусловлено следующим выводом Дж. Лакоффа и М. Джонсона: «Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафорична» [Лакофф, Джонсон, 2004, с. 25]. Главной революционной идеей в понимании метафоры стало выделение ее новой функции – когнитивной, а сама она была определена как процесс и результат установления связи между областью-источником (*source domain*, далее – ОИ) и областью-мишенью (*target domain*, далее – ОМ): «сущность метафоры состоит в осмыслении и переживании явлений одного рода в терминах явлений другого рода» [Там же, с. 27]. Так как метафоры, представленные в языке, соотносятся с метафорическими представлениями о действительности, то изучение метафорических выражений можно использовать для исследования когнитивной деятельности человека.

Концептуальная система формируется в результате функционирования человека в материальном и культурном окружении. Характеризуя концептуальные

Горбунова Людмила Ивановна – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и общего языкознания Иркутского государственного университета (ул. Ленина, 8, Иркутск, 664000, Россия; ludgorbunova@mail.ru)

Цай Вэй – аспирант кафедры русского языка и общего языкознания Иркутского государственного университета (ул. Ленина, 8, Иркутск, 664000, Россия; cwnhm312@yandex.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 3
© Л. И. Горбунова, Цай Вэй, 2019

области, которые используются как ОИ, Дж. Лакофф и М. Джонсон рассматривают два важнейших соотношения: конкретное – абстрактное и перцептуальное – культурное. Как следует из изложения, эти виды отношений тесно переплетены, сложно взаимодействуют.

ОИ и ОМ не эквиваленты с точки зрения направления метафоризации. Авторы теории концептуальной метафоры характеризуют ОИ как более конкретное знание, оно формируется как результат физического взаимодействия человека с окружающим миром. Противопоставление ОИ и ОМ по степени конкретности стало довольно часто воспроизводимым тезисом в современной метафорологии¹. «Метафора позволяет нам понимать довольно абстрактные или неструктурированные по своей природе сущности в терминах более конкретных или, по крайней мере, более структурированных сущностей» [Lakoff, 1993, p. 245]².

Именно тезис об однонаправленности метафоры от конкретного к абстрактному стал и наиболее критикуемым. Работы по когнитивной метафоре доказывают, что в качестве ОИ могут выступать и нематериальные области [Попова, Клименко, 2017; Ковалев, 2017] и, более того, что метафора обратима. При этом уже описанный языковой материал свидетельствует, что все-таки, во-первых, среди выявленных ОИ нематериальные сферы встречаются намного реже, чем конкретные, материальные; во-вторых, в случаях обратимости метафор взаимодействуют чаще, хотя и не исключительно, также материальные области («человек – машина», «человек – дом», «человек – растение», «человек – животное») [Резанова, 2012; Ковалев, 2017; Абрамова, 2018].

В разделе о структурных метафорах Дж. Лакофф и М. Джонсон анализируют и метафоры с ОИ, не относящиеся напрямую к конкретно-предметной области: «война», «ресурс», «вещество», «азартная игра», «колдовство». Обоснование возможности использования знаний о данных областях действительности в функции ОИ – осмысление мира «в достаточно более точных терминах» [Лакофф, Джонсон, 2004, с. 97], «в терминах, более удобных для понимания» [Там же].

В этой работе о метафорах предпринимается попытка объяснить, почему метафорический процесс обычно направлен от материальных областей к нематериальным. Говоря о базовом опыте человека, к которому относится не только сенсорно-моторный, но и эмоциональный, ментальный, культурный, Дж. Лакофф и М. Джонсон особо выделяют физический опыт, так как он определяется в терминах функций человеческого тела, рождается из двигательной активности человека, поэтому конкретен, структурирован и не нуждается в дальнейшем истолковании. Эмоциональный же опыт «существенно менее четко определен в терминах функций человеческого тела» [Там же, с. 94] и «никакая ясно определенная понятийная структура для эмоций не возникает исключительно на базе пережитых эмоций» [Там же]. Поэтому эмоции, будучи также частью опыта, не могут быть определены сами по себе, их определение нуждается в когнитивной опоре.

Итак, поскольку физический опыт определен более четко, это является одной из причин того, что нефизическое обычно концептуализируется в терминах физического.

Дж. Лакофф и М. Джонсон отвечают на вопрос о соотношении перцептуального и концептуального в метафоре. Одним из важнейших положений когнитивного подхода к пониманию метафоры является следующее: «Для описания осно-

¹ Ср., например: «С точки зрения исследователей, функция концептуальных метафор состоит в представлении сложных и отвлеченных событий с помощью более простых и конкретных. Метафора является единственным способом осмысления абстрактных сущностей» [Попова, Клименко, 2017, с. 53].

² Metaphor allows us to understand a relatively abstract or inherently unstructured subject matter in terms of a more concrete, or at least highly structured subject matter.

ваний понятийной системы, пожалуй, наиболее важно разграничить опыт и то, как мы его концептуализируем» [Лакофф, Джонсон, 2004, с. 95].

М. Джонсон является автором термина **образная схема** (или *образ-схема*, *image-schema*), который используется при обосновании когнитивного представления о метафоре. ОИ формируется на основе обобщения опыта обыденного взаимодействия с миром и представляет собой систему образ-схем (*image schema*), которые регулярно воспроизводятся при физическом взаимодействии с миром. Образ-схема – это динамический образец (pattern) восприятия моторных программ, схематическая структура, с помощью которой организуется наш опыт, придающая ему связность и упорядоченность. Именно категории, связанные с физическим опытом, продемонстрированы в классическом труде «Метафоры, которыми мы живем» («верх», «низ», «перед», «зад», «путь», «вместилище»).

При этом Дж. Лакофф и М. Джонсон подробно описывают роль физического опыта и культуры в формировании ОИ. Ученые не определяют, что такое физический и культурный опыт, однако из изложения материала можно понять, что физический опыт складывается из впечатлений о функционировании тела, его положения в пространстве, соотношения функций тела и локализации. Культурный же опыт формируется на основе практического взаимодействия с окружающим миром, использования его составляющих, выделения роли фрагментов мира в жизни человека, целесообразности их использования.

Утверждая, что многие метафоры основаны на телесном опыте, Дж. Лакофф и М. Джонсон подчеркивают, что даже он не определяется только формой тела – любой опыт вплетен в культуру. Нельзя также говорить, что телесный опыт просто интерпретируется культурой, как бы накладывается на него. «Более корректно утверждение, что опыт составляет плоть нашей культуры, что мы познаем “мир” так, что наша культура уже включена в каждый акт познания-опыта» [Там же, с. 94]. Говоря о культурной обусловленности метафор, Дж. Лакофф и М. Джонсон утверждают и их физическую обусловленность, отмечая, что об этом мало что известно, поэтому здесь выводы могут быть неточными.

Таким образом, даже ориентационные метафоры, которые являются отражением физического опыта, того, что «наше тело обладает определенными свойствами и функционирует определенным образом в окружающем нас физическом мире» [Там же, с. 35], не самоочевидны, они отличаются тем, как вплетены пространственные понятия в ту или иную культуру, как они концептуализированы. «Подобные метафорические ориентации отнюдь не произвольны – они опираются на наш физический и культурный опыт. Хотя полярные оппозиции “верх – низ”, “внутри – снаружи” и т. п. имеют физическую природу, основанные на них ориентационные метафоры могут варьировать от культуры к культуре» [Там же], поэтому, изучая содержание таких метафорических выражений, можно установить содержание опыта, не только культурного, но и физического, приобретенного носителями той или иной культуры.

Если попытаться вычленив из анализа метафорических выражений, представленных в книге, какие знания о пространстве наиболее актуальны для англоязычной культуры, то можно утверждать, что, например, локализация наверху связывается с общим позитивным состоянием. Согласованность же метафор позволяет сказать, что к позитивному относится власть, сила, успех, увеличение, веселье, предсказуемость, будущее, неизвестное, добродетель, рациональное, здоровье, жизнь. Разнообразные представления о верхе объясняются тем, что «вертикальное измерение различными способами вторгается в область нашего опыта» [Там же, с. 43], в результате создается целый комплекс представлений о фрагменте действительности, который позже используется для познания чего-то иного, т. е. об ОИ.

Таким образом, согласно Дж. Лакоффу и М. Джонсону, перцептуальное и культурное сложным образом взаимодействуют в метафорическом процессе. Но все же в познании-опыте выделяются более физические (например, принятие вертикального положения) и более культурные установки.

Ставится задача по возможности выявить эмпирические и культурные основания представлений о «верхе» и других ОИ. Описание же ОИ позволяет сделать выводы о картине мира носителей языка. Предполагая, что многие пространственные концепты встречаются во всех культурах, авторы считают, что то, «как концепты ориентированы и какие ориентации важнее, в разных культурах различно» [Лакофф, Джонсон, 2004, с. 48]. Именно потому, что в англосаксонской культуре «верх» связывается с положительной зоной аксиологической шкалы, он и способен быть ОИ для представления перечисленных смыслов. Само существование оппозиции «верх – низ» как важнейших ОИ также говорит о центральности и значимости вертикальной ориентации для англосаксов, хотя в других культурах эта оппозиция может не быть настолько значимой, уступая место, например, противопоставлению центра и периферии. Дж. Лакофф и М. Джонсон приводят примеры представлений о «верхе» и «ниже», отличающихся от англосаксонских.

Составляющим физического опыта, выбранным данной культурой как основание метафор, присваивается статус базовых. Вводя понятие *базовые концепты*, Дж. Лакофф и М. Джонсон не определяют его, однако приводят примеры: «физическая ориентация», «объекты», «субстанции», «виденье», «путешествия», «война», «сумасшествие», «пища», «строение». При первом приближении понятно, что этот список не исчерпывающий, далеко не системно представляет базовый опыт человека и включает не только представления, сформированные на основе перцептуального опыта.

Основной вывод, который следует из изложения соотношения между перцептуальным и культурным, таков: «Материальное основание метафоры неотделимо от культурного, так как выбор материального основания из множества возможностей регулируется культурными факторами» [Там же, с. 43].

Составляющие ОИ и их характеристики Дж. Лакофф и М. Джонсон называют фрагментами концепта, которые играют неодинаковую роль в метафорическом процессе.

Согласно исследованиям Дж. Лакоффа и М. Джонсона, ОИ имеет традиционно используемую и не используемую в метафоре часть. «Метафорические концепты лишь фрагментарно используются для структурирования наших обычных понятий. Метафорические концепты выходят за область буквального, так как неизбежно содержат части, которые в обычном случае не используются для осмысления обыденных представлений человека» [Там же, с. 90].

В нескольких главах своей работы авторы подчеркивают идею отбора характеристик ОИ для использования в структурировании мира. Отбор осуществляется под влиянием культуры. Сами результаты этого отбора являются значимыми для познания когнитивной деятельности человека. Очевидно, что задействованные в метафоре фрагменты ОИ оказываются особыми.

Таким образом, важно выявить те характеристики ОИ, которые эксплицируются в метафорических выражениях, отражают наиболее существенные с точки зрения данной культуры признаки и свойства. Это важно для когнитивной лингвистики, поскольку позволит выявить состав базовых знаний. Это необходимо также и для составления традиционных толковых словарей. Например, если проанализировать признаки металлов, которые указываются в словарных дефинициях

наименований металлов, то возникает впечатление некоторой случайности отбора³.

Это существенно также и для словарей активного типа, поскольку позволит более обоснованно составить словники, отобрать лексику, отражающую ключевые понятия и представления языкового коллектива. Кроме того, выявление и изучение характеристик, используемых как источники когнитивной метафоры, будет основанием для включения сведений о них в словарь, так как именно эти сведения служат когнитивной опорой при использовании и понимании единиц языка. В таком случае становится в полной мере понятно, что имел в виду человек, употребляя то или иное слово.

По словам Дж. Лакоффа и М. Джонсона, словарные дефиниции, фиксируя производные метафорические значения слов, отражают результаты регулярного использования фрагментов ОИ. Однако именно в потенциале неиспользуемых частей состоит образность авторских метафор, «в особых контекстах вполне можно создать новые метафоры, основанные на этих компонентах метафорического концепта» [Лакофф, Джонсон, 2004, с. 91]. Участие в когнитивном освоении ОМ используемой или неиспользуемой в метафоре части ОИ – основание для квалификация речи как обычной или образной, творческой.

Поскольку, как считают Дж. Лакофф и М. Джонсон, авторские метафоры не структурируют обыденный опыт человека, а возникают чаще в субкультурах, то такого рода метафоры представляют относительный интерес для науки. Однако, как показывает анализ языкового материала, использование новых аспектов ОИ происходит не так уж редко и реализуется всем языковым коллективом. Например, словари не отмечают колористического и ценностного значений прилагательного *платиновый*, однако они довольно частотны в речи современного человека и не привязаны к какой-либо группе (*платиновая блондинка*, *платиновая карта*). Использование новых аспектов ОИ для освоения ОМ отражает динамику картины мира, что также значимо для когнитивных исследований.

В связи с анализом категории каузации Дж. Лакофф и М. Джонсон говорят о сложности устройства некоторых базовых категорий, которые одновременно являются холистичными, функционируют как некая целостность, так как формируются на основе постоянно повторяющегося комплекса характеристик, но при этом допускают неограниченно глубокий анализ. Как представляется, и фрагменты материальной действительности также являют собой разложимую целостность, что обусловлено синтетичностью человеческого восприятия и способностью к анализу.

Итак, целостные ОИ можно разложить на составляющие, выделить характеристики, которые разнообразно вовлекаются в процесс метафорического освоения мира.

Огромное количество и многоаспектность современных когнитивных исследований метафоры свидетельствует об устойчивом интересе к теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Метафора признается средством познания действительности, инструментом организации опыта человека, структурирования его знаний о действительности. И если изучать метафору в первом из названных аспектов, то в фо-

³ Ср, например: *золото* ‘химический элемент, благородный металл желтого цвета, обладающий большой ковкостью и тягучестью (употребляется для выделки драгоценных изделий и в качестве мерила ценности)’; *медь* ‘металл красноватого цвета, вязкий и ковкий’ [Словарь русского языка, 1981–1984]. Чем, например, вызвано то, что по отношению к меди не указывается, что это тоже химический элемент, что медь тоже включена в шкалу ценностей (золото – серебро – медь), что медь также является материалом для изготовления артефактов. Это тем более некорректно, если учесть, что по крайней мере два из последних указанных признаков задействуются в формировании производных значений существительного *медь*, отмечаемых этим же словарем.

кусе должна находиться ОМ, если же в двух последующих, то внимание необходимо направить скорее на ОИ.

Однако изложение новых представлений о метафоре в книге Дж. Лакоффа и М. Джонсона выстроено таким образом, что имплицитно задан и основной вектор изучения метафоры в когнитивной лингвистике – сосредоточенность на ОМ: задача когнитивной лингвистики, в том числе и метафорики, – описать участие языка в мышлении и познании; результатом и целью метафоры является новое знание, следовательно, чтобы через метафору понять работу когнитивного механизма, надо исследовать ОМ.

Дж. Лакофф и М. Джонсон формулируют и описывают некоторые метафорические модели. При этом даже в этих формулировках ОМ выдвигается на первый план, занимая место подлежащего. ОИ выступает здесь как характеристика ОМ, соотносимая с предикатом. В результате получается некоторый перечень ОМ, вводимый формулой «они концептуализируются как...» [Лакофф, Джонсон, 2004, с. 76]. Сама синтаксическая конструкция предполагает, что здесь представлено именно знание об ОМ.

ОИ при анализе метафорических моделей характеризуется опосредованно, только для того, чтобы описать ОМ, например: «Метафора машины создает представление о *разуме как об устройстве*, которое характеризуется фазами включения-выключения, эффективностью, произведенной мощностью, в котором есть внутренний механизм, источник энергии, которому свойственны те или иные условия эксплуатации» [Там же, с. 53]⁴. Если бы именно характеристики ОИ находились в фокусе, то следовало не просто перевернуть высказывание, но необходимы были бы и серьезные уточнения.

В современной русской метафорологии ОИ также воспринимается чаще только как источник когнитивной информации, позволяющий получить знания об ОМ: говоря о том, что в результате метафорической проекции высвечиваются отдельные свойства ОИ, авторы перечисляют эти свойства исключительно для характеристики ОМ. Наиболее типичные проблемы, которые решаются в работах, где в качестве объекта исследования заявляется некоторая ОИ, связаны с тем, как используются знания об ОИ, с результатами метафорической проекции, при этом вопрос о содержании знаний об ОИ не ставится (см., например: [Потураева, 2011; Алексеева, Басалаева, 2014; Мусси, 2014]): авторы не сосредоточены на том, какие характеристики ОИ актуальны при метафорическом познании мира, каково содержание, культурная составляющая этих характеристик, данные об ОИ берутся как самоочевидные, не нуждающиеся в проверке и описании. Доказательством тому служат выводы, которые делаются в исследованиях указанного типа, например: «Витальная сфера моделирует власть как живое существо, наделенное зрением, как организм, который переживает смерть естественным или насильственным способом» [Пименова, 2012, с. 148]; или «итак, в целом метафорически представленная в библейских образах сфера экономического благополучия и кризиса» [Попова, Клименко, 2017, с. 57]. Какие свойства ада и рая актуальны для выражения этого противопоставления, как они истолкованы данной культурой, какую роль этим свойствам отводит языковой коллектив – эта информация в данном типе работ выпадает из поля зрения.

Описание характеристик ОИ в некоторых работах присутствует как сопутствующий результат. В такого рода исследованиях типичной является следующая формулировка предмета рассмотрения: «специфика использования и прагматический потенциал метафор с исходной концептуальной областью “Неживая природа» в текстах современных российских средств массовой информации» [Чудакова,

⁴ См. также с. 97, 101 и др.

2005, с. 4]. Так, например, в [Овсянникова, 2010] не ставится задача изучить составляющие ОИ, однако в выводах имеется информация, касающаяся этого компонента метафорического процесса:

«В сфере-источнике “Человек” актуализированы-признаки человека как существа с присущими ему состояниями и процессами, этапами на протяжении всего жизненного цикла от рождения до смерти, с внешним обликом и внутренним строением, а также свойственной человеку деятельностью, включая социальную деятельность.

Активному метафорическому переосмыслению в области геологии подвергаются образы сферы-источника “Дом”, связанные с домом как завершенным строением, состоящим из определенных частей и элементов, а также с процессами разрушения дома.

В сфере-источнике “Одежда” заимствуются образы, связанные с **изготовлением** одежды и ткани, готовыми предметами одежды, их частями, элементами, украшением, а также с головными уборами и обувью» [Там же, с. 171], см. также [Чудакова, 2005].

Косвенное описание ОИ представлено в работах, которые изучают многозначность через использование когнитивного термина **образ-схема**. Здесь производные значения слов анализируются через выявление компонентов образ-схем. Вот типичный ход рассуждения: «Регулярное семантическое варьирование лексем АСП [ассоциативно-семантического поля] “круг”, реализующих образ-схему соотношения центра и периферии, обнаруживается в актуализации сем “всеохватность” (*круговой обзор, вокруг ни души, окружить вниманием, кругозор, горизонт*), “полнота” (*круговой обзор, круглый сирота, круглый отличник, кругом виноват, кругом прав*), “объединение” (*свой круг, окружение политика, кружок Петрашевского, забота об окружающих людях, кругозор личности, горизонты интересов*), а также деактуализации семы “граница”, в отличие от других образ-схем концепта “круг” (*тишина кругом, оглядеться вокруг, окружение человека, круглый сирота, кругом виноват, занять круговую оборону, политический кругозор, быть окруженным вниманием, в ореоле славы, на периферии сознания и др.*)» [Резникова, 2015, с. 161]. Но, как следует из формулировок, избранных автором, его прежде всего интересует не образ-схема, а результаты ее применения к освоению других областей действительности. Как представляется, даже расстановка ключевых слов в таких статьях является неслучайной: на первом месте слова, сопряженные с результатами применения образ-схемы⁵, а только затем ее характеристики.

Определенный аспект изучения ОИ реализован в достаточно редких работах, где исследуется структура ОИ [Пименова, 2012; Овсянникова, 2010; Мишанкина, 2012]. Например, в [Пименова, 2012] ОИ «растение» охарактеризована через выделение ее структурных частей, эксплуатирующихся в метафоре: корни, стебли, крона, стволы и т. д. Кроме того, дается и краткая характеристика этих признаков.

Из всех областей действительности, используемых как источник когнитивной метафоры, наиболее изученным является «пространство» в его категориях, объектах и отношениях [Кустова, 2004; Горбунова, 2010]. При этом авторы ставят перед собой цель получить именно знания о пространстве, зафиксированные в языке. Метафорическое осмысление пространственных категорий как источник знаний о новых областях жизни в такого рода работах является не главной, а сопутствующей задачей.

⁵ См., например: «регулярная многозначность, семантическое варьирование, метафора, концепт, образ-схема, центр, периферия, круг» [Резникова, 2015, с. 158].

Сложилось устойчивое мнение, что теория когнитивной метафоры «не дает ясного ответа на вопрос о том, как, в сущности, происходит сам процесс взаимодействия когнитивной ОИ и ОМ в процессах метафоризации» [Баранов, 2004, с. 9]. Основной причиной этого принято считать неразработанность метаязыка представления знаний, зафиксированных в языковых единицах, невыявленность инвентаря формальных процедур преобразования знаний.

Однако, на наш взгляд, здесь важно еще и то, что отсутствует сама номенклатура знаний, которые подвергаются обработке в ходе метафорического освоения мира. Элементы этой номенклатуры выявляются в исследованиях, посвященных изучению метафор, но опять же косвенным образом. В результате в качестве ОИ из работы в работу называются «вместилище», «путь», «человек», «фауна», «флора», «ландшафт», «артефакты», «дом», «война», «игра» и др. [Чудинов, 2001; Овсянникова, 2010; Мишанкина, Деева, 2013]. Совершенно очевидно, что список таких сфер и категорий гораздо более широк.

Следует отметить, что в лингвистике предпринимаются попытки инвентаризации метафорических моделей в применении к определенному типу дискурса. Однако при этом акцент все же делается на результатах метафоризации, т. е. извлекаются данные об ОМ.

Итак, несмотря на то что задача изучения ОИ поставлена достаточно давно и детализирована по отношению к разным отраслям лингвистики⁶, она далека от решения в том числе и потому, что как цель когнитивного исследования метафоры доминирует именно ОМ.

В результате анализа ставших уже классическими установок авторов теории когнитивной метафоры и достижений русской когнитивной метафористики представляется необходимым сформулировать и обосновать перспективы изучения ОИ когнитивной метафоры.

Метафора играет ведущую роль в познании. Знания об ОИ квалифицированы как базовые. Увеличение количества работ, где в фокусе будет находиться именно ОИ, позволит выявить состав и содержание базовых знаний.

В ОМ отражаются результаты метафорического познания действительности. Они суть следствие соотнесения с данными об ОИ. Целостное и целенаправленное описание отдельных ОИ позволит верифицировать и уточнить выводы, уже сделанные о некоторых ОМ.

Авторы когнитивной теории метафоры также говорят о необходимости описать метафорические модели, которые возникают в результате сформированности устойчивых связей между некоторыми ОИ и ОМ. Для решения той задачи необходимо иметь детальное представление об обеих составляющих метафорического процесса. Поэтому целостное изучение ОИ необходимо как первоначальный, исходный этап решения указанной задачи.

Свойства объектов, эксплицированные с помощью метафор, согласно Дж. Лакоффу и М. Джонсону, не являются свойствами объектов как таковые, а основываются на человеческих представлениях о функциях, на человеческой перцепции, они являются интерактивными, имеющими смысл только относительно человеческой деятельности. Таким образом, изучение источников метафоры позволит говорить о тех свойствах объектов, которые человек выделяет из общего комплекса свойств.

Исследование номенклатуры этих свойств позволит установить, какие характеристики объектов и целостных фрагментов действительности задействованы в когнитивной деятельности, каковы их сущностные и концептуальные характеристики, выделить среди них универсальные и национально-специфические. По-

⁶ Ср., например: «полное исследование метафористики дискурса предполагает... разработку метаязыка описания области источника и области цели» [Баранов, 2004, с. 15].

добные данные позволят выйти на дальнейшее изучение таких значимых для современной лингвистики понятий, как *механизмы понимания, языковая картина мира, значение языковой единицы*.

Определяя установки когнитивной лингвистики, Дж. Лакофф и М. Джонсон пишут: «Мы в основном озабочены тем, как люди понимают свой опыт. Мы рассматриваем язык как источник данных, с помощью которых можно выявить общие принципы понимания» [Лакофф, Джонсон, 2004, с. 148]. Базовой составляющей понимания опыта являются знания, функционирующие в составе ОИ. Поэтому Дж. Лакофф и М. Джонсон считают, что результаты анализа метафор должны быть учтены при изучении языковых значений и обязательно представлены в словарях, что облегчит, например, понимание метафорических значений многих слов и выражений (*мы далеко зашли 'о любви'*). Для этого необходимо определить список ОИ и их характеристики, что позволит установить, каков состав базового опыта, как люди его понимают и как пользуются этим знанием.

Роль метафоры не ограничивается функцией познания. «Поскольку значительная часть социальной реальности осмысливается в метафорических терминах и поскольку наше представление о материальном мире отчасти метафорично, метафора играет очень существенную роль в установлении того, что является для нас реальным» [Там же, с. 176]. Изучение характеристик ОИ, регулярно подвергающихся метафорической обработке, поможет в выявлении этой реальности.

Таким образом, несмотря на огромное количество исследований метафоры в когнитивном аспекте, еще имеется значительное количество лакун, многие из которых связаны с фокусировкой на ОМ. Рассмотрение ОИ в указанных научных ракурсах позволит получить новое знание и верифицировать уже имеющееся.

Список литературы

Абрамова А. А. Обратимость метафорических моделей «человек – это механизм» и «механизм – это человек» в русской языковой картине мира: Дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2018. 275 с.

Алексеева М. П., Басалаева Е. Г. О метафорическом потенциале зоонимов в латинском языке (на материале лексикографических источников) // Проблемы интерпретационной лингвистики: Межвуз. сб. науч. тр. Новосибирск: Изд-во Новосибир. пед. ун-та, 2014. С. 26–34.

Баранов А. Н. Предисловие редактора // Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 7–21.

Горбунова Л. И. Когнитивный образ ситуации как основа семантической структуры языковой единицы (на материале единиц атрибутивно-локативной языковой модели). Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. 361 с.

Ковалев Н. А. Метафорика холодной войны в диахроническом аспекте (на материале СМИ США) // Вестн. Череповец. гос. ун-та. 2017. № 6 (81). С. 97–105.

Кустова Г. И. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М.: Языки славянской культуры, 2004. 472 с.

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.

Мишанкина Н. А. Метафора в терминологических системах: функции и модели // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2012. № 4 (20). С. 32–45.

Мишанкина Н. А., Деева А. И. Нефтегазовая метафорическая терминология: асимметричность и эквивалентность перевода (на материале русского и английского языков) // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2013. № 6 (26). С. 29–37.

Мусси В. Семантические и лингвокультурологические аспекты изучения энтомологических метафор в русском языке (в сопоставлении с итальянским): Дис. ... канд. филол. наук. Новосибирск, 2014. 262 с.

Овсянникова В. В. Метафорические модели терминообразования научного геологического дискурса (сферы-источники «Артефакт», «Животное», «Растение») // Актуальные проблемы литературоведения и лингвистики: Материалы конф. молодых ученых. Томск, 2010. Т. 1, вып. 11: Лингвистика. С. 160–165.

Пименова М. В. Власть и политика: метафоры в дискурсе СМИ // Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. 2012. № 17. С. 147–153.

Попова Г. В., Клименко А. Н. Библийские метафоры в экономике (на материале современных публицистических текстов) // Изв. Юго-Запад. гос. ун-та. Сер. Лингвистика и педагогика. 2017. Т. 7, № 2 (23). С. 52–61.

Потураева Е. А. Метафорическая интерпретация концептуальной сферы «дом» в русской языковой картине мира: Дис. ... канд. филол. наук. Кемерово, 2011. 233 с.

Резанова З. И. Обратимые метафорические модели: семантико-функциональная асимметрия // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2012. № 2 (18). С. 29–43.

Резникова Е. В. Образ-схема «центр – периферия» в аспекте регулярной многозначности // Изв. Самар. НЦ РАН. 2015. Т. 17, № 1. С. 158–161.

Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Рус. яз., 1981–1984.

Чудакова Н. М. Концептуальная область «Неживая природа» как источник метафорической экспансии в дискурсе российских средств массовой информации (2000–2004 гг.): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2005. 24 с.

Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000). Екатеринбург, 2001. 238 с.

Lakoff G. The contemporary theory of metaphor. In: *Metaphor and Thought*. Cambridge: Cambridge Uni. Press, 1993, p. 202–251.

L. I. Gorbunova¹, Cai Wei²

*Irkutsk State University
Irkutsk, Russian Federation*

¹ ludgorbunova@mail.ru, ² cwnhm312@yandex.ru

**Source domain of cognitive metaphor:
status quo and prospects of research**

The paper is devoted to the problem of studying a source domain of cognitive metaphors in linguistics. The authors analyze in detail the data on a source domain of metaphor, which G. Lakoff and M. Johnson set forth in the book “*Metaphors We Live By*.” G. Lakoff and M. Johnson emphasize the target domain because it is the result of a metaphorical process. This fact has largely determined that in modern Russian metaphorology, only the target domain is the object of research. The authors of this works use the data on the source domain as self-evident that do not need to be studied. In addition, these data are given only to reveal the results of the metaphor, that is, to describe the target domain. The researchers tend to provide the characteristic of the source domain as a by-product, not the object of the study.

Knowledge of the source domain is fundamental and thus extremely important for a full and adequate characterization of the cognitive process. Identifying the composition and content

of basic knowledge will allow verifying the conclusions about the target domains that linguists have already made; establishing the characteristics of individual objects and integral fragments of reality that are most important for this culture; revealing how they are conceptualized. These results should be taken into account in the study of language meanings and language picture of the world.

Keywords: cognitive metaphor, conceptual metaphor, source domain, target domain.

DOI 10.17223/18137083/68/14

References

- Abramova A. A. *Obratimost' metaforicheskikh modeley "chelovek – eto mekhanizm" i "mekhanizm – eto chelovek" v russkoy yazykovoy kartine mira* [The reversibility of the metaphorical models "a man is a mechanism" and "a mechanism is a man" in the Russian language picture of the world]. Cand. philol. sci. diss. Tomsk, 2018, 275 p.
- Alekseyeva M. P., Basalayeva E. G. O metaforicheskom potentsiale zoonimov v latinskom yazyke (na materiale leksikograficheskikh istochnikov) [On the metaphorical potential of zoonyms in the Latin language (by the material of lexicographical sources)]. In: *Problemy interpretatsionnoy lingvistiki: Mezhevuz. sb. nauch. tr.* [Interuniv. coll. of sci. papers "Problems of interpretative linguistics"]. Novosibirsk, 2014, pp. 26–34.
- Baranov A. N. Predislovie redaktora [Editor's preface]. In: Lakoff G., Johnson M. *Metafora, kotorymi my zhivem* [Metaphors we live by]. Moscow, "Editorial URSS", 2004, pp. 7–21.
- Chudakova N. M. *Kontseptual'naya oblast' "Nezhivaya priroda" kak istochnik metaforicheskoy ekspansii v diskurse rossiyskikh sredstv massovoy informatsii (2000–2004 gg.)* [Conceptual area "Inanimate nature" as a source of metaphorical expansion in the discourse of the Russian mass media (2000–2004)]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Ekaterinburg, 2005, 24 p.
- Chudinov A. P. *Rossiya v metaforicheskom zerkale: kognitivnoye issledovaniye politicheskoy metafor (1991–2000)* [Russia in the metaphorical mirror: a cognitive study of political metaphor (1991–2000)]. Ekaterinburg, 2001, 238 p.
- Gorbunova L. I. *Kognitivnyy obraz situatsii kak osnova semanticheskoy struktury yazykovoy edinitsy (na materiale edinits atributivno-lokativnoy yazykovoy modeli)* [Cognitive image of the situation as the basis of the semantic structure of a language unit (based on the attribute-locative language model units)]. Irkutsk, ISU Publ., 2010, 361 p.
- Kovalev N. A. *Metaforika kholodnoy voyny v diakhronicheskom aspekte (na materiale SMI SSHA)* [Cold war metaphors in the diachronic aspect (by the material of the US media)]. *Cherepovets State University Bulletin*. 2017, no. 6 (81), pp. 97–105.
- Kustova G. I. *Tipy proizvodnykh znacheniy i mekhanizmy yazykovogo rasshireniya* [The types of derivative meanings and mechanisms of language extensions]. Moscow, LRC Publishing House, 2004, 472 p.
- Lakoff G. The contemporary theory of metaphor. In: *Metaphor and Thought*. Cambridge, Cambridge Uni. Press, 1993, pp. 202–251.
- Lakoff G., Johnson M. *Metafora, kotorymi my zhivem* [Metaphors we live by]. Moscow, "Editorial URSS", 2004, 256 p.
- Mishankina N. A. *Metafora v terminologicheskikh sistemakh: funktsii i modelimodeli* [Metaphor in terminological systems: functions and models]. *Tomsk State University Journal of Philology*. 2012, no. 4 (20), pp. 32–45.
- Mishankina N. A., Deyeva A. I. *Neftegazovaya metaforicheskaya terminologiya: asimmetrichnost' i ekvivalentnost' perevoda (na materiale russkogo i angliyskogo yazykov)* [Oil and gas metaphoric terminology: asymmetry and equivalence of translation (based on Russian and English languages)]. *Tomsk State University Journal of Philology*. 2013, no. 6 (26), pp. 29–37.
- Mussi V. *Semanticheskiye i lingvokul'turologicheskiye aspekty izucheniya entomologicheskikh metafor v russkom yazyke (v sopostavlenii s ital'yanskim)* [Semantic and linguocultural aspects of the study of entomological metaphors in Russian (in comparison with Italian)]. Cand. philol. sci. diss. Novosibirsk, 2014, 262 p.
- Ovsyannikova V. V. *Metaforicheskkiye modeli terminoobrazovaniya nauchnogo geologicheskogo diskursa (sfery-istochniki "Artefakt", "Zhivotnoye", "Rasteniy")* [Metaphorical models of the term formation of scientific geological discourse (source domains "Artifact", "Animal", "Plant")]. *Aktual'nyye problemy literaturovedeniya i lingvistiki: Materialy konf. molodykh*

uchenykh [Actual problems of literary criticism and linguistics: Proceedings of the conf. of young scientists]. Tomsk, 2010, vol. 1, iss. 11: Linguistics, pp. 160–165.

Pimenova M. V. Vlast' i politika: metafory v diskurse SMI [Power and politics: metaphors in media discourse]. *Linguistic paradigm: theoretical and applied aspects*. 2012, no. 17, pp. 147–153.

Popova G. V., Klimenko A. N. Bibleyskiye metafory v ekonomike (na materiale sovremennykh publitsisticheskikh tekstov) [Biblical metaphors in economics (on the material of modern journalistic texts)]. *Proceedings of South-West State University. Series Linguistics and Pedagogical*. 2017, vol. 7, no. 2 (23), pp. 52–61.

Poturayeva E. A. *Metaforicheskaya interpretatsiya kontseptual'noy sfery "dom" v russkoy yazykovoy kartine mira* [Metaphorical interpretation of the conceptual sphere "dom" (house) in the Russian language picture of the world]. Cand. philol. sci. diss. Kemerovo, 2011, 233 p.

Rezanova Z. I. Obratimyye metaforicheskiye modeli: semantiko-funktsional'naya asimmetriya [Reversible metaphorical models: semantic-functional asymmetry]. *Tomsk State University Journal of Philology*. 2012, no. 2 (18), pp. 29–43.

Reznikova E. V. Obraz-skhema "tsentr – periferiya" v aspekte regul'yarnoy mnogoznachnosti ["Center – periphery" image in the aspect of regular multi-value]. *Izvestia RAS SamSC*, 2015, vol. 17, no. 1, pp. 158–161.

Slovar' russkogo yazyka: V 4 t. [Russian language dictionary: in 4 vols]. A. P. Evgen'yeva (Ed.). Moscow, Rus. yaz., 1981–1984.

Ю. В. Коноваленко

Новосибирский государственный педагогический университет

Образная составляющая концепта *ВЫСОКОМЕРИЕ*

Анализируется образная составляющая, которая, наряду со сценарной, характеризует концепт *ВЫСОКОМЕРИЕ* в русском языке. Концептуальная информация моделируется как связанные между собой перцептивный и когнитивный образы. На материале Национального корпуса русского языка выявляются основные особенности этих элементов образа *ВЫСОКОМЕРИЕ*. Среди перцептивных компонентов, «опредмечивающих» абстрактное содержание концепта, анализируются температурные, цветовые, вкусовые, тактильные, звуковые характеристики, рассматривается размер, масса и пространственное расположение концепта. В качестве когнитивного элемента выделяются метафоры, описывающие концепт *ВЫСОКОМЕРИЕ*: скала, воздух, жидкость, барьер, болезнь и дикий зверь. Выявляются отношения этого фрагмента языковой картины мира с соседними концептуальными областями.

Ключевые слова: русский язык, концепт, образ, перцептивные характеристики, когнитивные характеристики, метафора.

В работе анализируется образная составляющая концепта *ВЫСОКОМЕРИЕ*, которая, наряду со сценарной частью, входит в его структуру. Материалом исследования послужили лексикографические источники и материалы Национального корпуса русского языка¹.

Концепт – это сложное ментальное формирование, характеризующееся структурной неоднородностью. Ученые вычлениют в его структуре различное количество составляющих, в числе которых фигурирует образная часть. Так, об образе говорят С. Г. Воркачев [2003, с. 276; 2012, с. 12], М. В. Никитин [2004, с. 59], И. А. Стернин [Попова, Стернин, 2010, с. 106–107], М. В. Пименова [2013, с. 129], Н. Н. Болдырев [2016, с. 6] и др. Именно с этого смыслового слоя начинается формироваться концепт в ходе онтогенеза, и именно он продолжает оставаться самой яркой составляющей некоторых концептов у взрослых людей [Бурмакова, Маругина, 2015, с. 30]. Р. Л. Голдстоун и Л. В. Барсалу, например, считают, что кон-

¹ Национальный корпус русского языка (НКРЯ). URL: <http://www.ruscorpora.ru/>

Коноваленко Юлиана Викторовна – аспирант Института филологии, массовой информации и психологии Новосибирского государственного педагогического университета (ул. Вилюйская, 28, Новосибирск, 630126, Россия; jf0303@yandex.ru)

цептуальные структуры базируются на процессах перцепции и далее несут в себе перцептивные черты [Goldstone, Barsalou, 1998, с. 234]. Эту же точку зрения разделяют и многие другие ученые [Пименова, 2013, с. 127; Горбунова, 2017, с. 7; Крапивкина, 2017, с. 218].

В психологических словарях идет речь о разделении образа на перцептивную и когнитивную части. Перцептивный образ создается в результате восприятия, складывается на основе ощущений (зрительных, слуховых, тактильных и других)². Когнитивный же образ является субъективной репрезентацией предмета с набором признаков, который является избыточным³. Той же точки зрения придерживаются и некоторые лингвисты, разделяющие образ как составляющую концепта на перцептивную и когнитивную части [Попова, Стернин, 2010, с. 108]. И. А. Стернин и З. Д. Попова утверждают, что перцептивный образ включает зрительные, тактильные, вкусовые, звуковые и обонятельные характеристики, а когнитивный образ формируется в результате метафорического осмысления предмета или явления. Когнитивный образ отсылает абстрактный концепт к материальному миру. Метафоры формируют тот когнитивный чувственно-наглядный образ, который «приземляет» абстрактный концепт, наполняет его конкретным образным содержанием, позволяющим закрепить его в универсальном предметном коде мышления [Попова, Стернин, 2010, с. 108–109; Калиткина, 2014, с. 22].

В. Эванс считает, что концепт организован по полемому принципу и в его образную часть входят перцептивные когнитивные составляющие. Он указывает, что перцептивные черты возникают в сознании носителей языка в результате воздействия внешних раздражителей на органы чувств. В образную часть концепта также входят характеристики, которые отражают метафорическую интерпретацию объектов и явлений [Evans, 2009].

Говоря о метафорической части образа, следует также учитывать позицию Дж. Лакоффа, выделяющего такие типы метафор в структуре концепта как ориентационную и онтологическую [Лакофф, Джонсон, 2004, с. 35, 49].

На основании анализа примеров, взятых из НКРЯ, определим, каковы перцептивная и когнитивная части образной составляющей концепта *ВЫСОКОМЕРИЕ*, а также соотнесем когнитивную часть с типом метафоры по Дж. Лакоффу.

Перцептивная составляющая образа *ВЫСОКОМЕРИЕ* включает температурные, тактильные, обонятельные, зрительные, вкусовые характеристики, а также признаки, связанные с массой и пространственным положением.

1. **Температурные** характеристики образной части концепта *ВЫСОКОМЕРИЕ* несколько противоречивы. С одной стороны, подавляющее большинство примеров демонстрирует наличие холодной температуры, описывающей концепт: *Он не позволял непрошено приближаться к себе вплотную, появлялась надменность, высокомерие породистого аристократа, неприятное, замораживающее любого* (Д. Гранин); *В обществе, где холодное высокомерие и равнодушие считались признаком хорошего воспитания и благородного нрава, следует прятать свою страсть* (А. П. Чехов); *Уехавшего в Лондон Пула сменил холодный, высокомерный Бриггс* (М. А. Шолохов); *Маша ограничилась тем, что поглядела на хранительницу очень холодно и высокомерно* (Н. Александрова); *С литературными собратьями он держался холодно, почти высокомерно, разговаривал ледяным тоном, иногда «забывал» здороваться* (Э. Ф. Голлербах).

² Душков Б. А., Королев А. В., Смирнов Б. А. Энциклопедический словарь: Психология труда, управления, инженерная психология и эргономика, 2005. URL: <https://vocabulary.ru/termin/perceptivnyi-obraz.html> (дата обращения 13.06.2018).

³ Кондаков И. Психологический словарь // Душков Б. А., Королев А. В., Смирнов Б. А. Энциклопедический словарь: Психология труда, управления, инженерная психология и эргономика, 2005. URL: <http://psi.webzone.ru/st/070100.htm> (дата обращения 13.06.2018).

С другой стороны, встречаются примеры, характеризующие **ВЫСОКОМЕРИЕ** как нечто горячее: *И пусть, шепнуло ей с жаркого бархата еще не остывшее юное высокомерие* (И. Ратушинская); *Это происходило, впрочем, не от любви к ближнему или к самому себе; он опасался вспыльчивости старого сакса и предвидел, что запальчивое высокомерие храмовника, уже не раз прорывавшееся наружу, в конце концов, вызовет весьма неприятную ссору* (В. Скотт, пер. Е. Беке-товой).

Анализируя температурную составляющую, мы видим противопоставление «холод» – «жар», в котором «холод» встречается в большинстве случаев. Высокомерие описывается как горячее лишь в примерах, касающихся молодых людей, у которых оно еще не приобрело обычную холодную температурную характеристику (не «остыло»), или импульсивных людей, все эмоции которых обладают этой чертой («запальчивость»).

2. Что касается **тактильных** ощущений, концепт **ВЫСОКОМЕРИЕ** характеризуется сухостью, твердостью и жесткостью, даже колючестью: *Софья если и хочет играть роль гдовской царицы, то не выражает своих претензий обидным для соседей образом, а соседи сами, по своей склонности к пересудам, видят в ней и высокомерие и сухость* (А. В. Дружинин); *Рядом со мной на ступеньках сидел в полотняной блузе совсем не тот Бунин – неприятно-желчный, сухой, высокомерный – каким его считали окружающие* (В. П. Катаев); *Высокомерно-пренебрежительное отношение к людям, иссушавшее его душу, могло дать только карикатуристу, а не художника революции* (В. М. Чернов); *Колючая проволока высокомерия – а вы ее пробовали?* (Б. А. Слуцкий); *И лицо у Нины было совсем иным – резкий прямой нос, злая бледность, прямые черные брови, занесенные на лоб, и высокомерный и твердо замкнутый рот* (Ю. Домбровский).

3. Если говорить о **массе**, то **ВЫСОКОМЕРИЕ** воспринимается, с одной стороны, как нечто тяжелое: *Не скрывая усмешки, Панафидин тяжело, высокомерно бросил...* (А. Вайнер, Г. Вайнер); однако, с другой стороны, оно может «разлететься в пух и прах», что свидетельствует о его хрупкости и малом весе: *Однако с открытием радиоактивности и дифракции электронов высокомерие физиков разлетелось в пух и прах* (В. Ф. Турчин); *Потом, после того как спела, высокомерие как сдуло!* (М. Шишкин). Масса, таким образом, является противоречивой характеристикой перцептивного образа, но она соотносится с когнитивными метафорами, о которых речь пойдет чуть далее.

4. **Вкусовая** часть образа связана с неприятными вкусами – «желчный» и «горький»: *Он немного порывал, сокрушаясь о своей близкой смерти, но затем вдруг стал сухим, желчным и раздражительным* (Е. Попов); *И долго покачивает головой с закрытыми глазами, чуть улыбаясь, горько и высокомерно* (Ф. Кнорре).

5. **Цветовая** палитра образной части концепта **ВЫСОКОМЕРИЕ** включает блеклые, неяркие, тусклые и мрачные цвета в основном холодной гаммы: зелено-серый, серо-черный, серый, темный, мрачный, меркнувший, бледный, неяркий: *Глаза большие, зеленовато-серые, дерзко-холодные выражали высокомерие и надменность* (Н. А. Лухманова); *Вблизи он казался еще более отчужденным из-за своей готической устремленности вверх – высокомерный, холодный, серо-черный...* (С. Осипов); *Его бледное сморщенное лицо было высокомерно вскинуто, и хотя он был маленький, казалось, что на всех встречных поглядывает свысока* (Ю. В. Трифонов); *Наконец дверь медленно раскрывается, и на пороге показывается мажордом в пышной ливрее, высокомерно окидывающий меня холодными серыми глазами из-под густых бровей...* (Ф. И. Шаляпин).

Однако в этой части образа мы сталкиваемся с противоречием, так как иногда **ВЫСОКОМЕРИЕ** характеризуется потерей яркости и интенсивности цвета, таким образом, первоначально оно все же являлось ярким: *И высокомерие взрослого меркнет в стекле озер* (Божидар); *Легкое чувство правоты потяжелело, высо-*

комерие победителя **потускнело**, *потерлось*, словно старая одежда, *порастрепалось* (Б. Окуджава). Вероятно, это связано с первоначальной интенсивностью чувства и последующей ее потерей. Поскольку примеров высокомерия яркого цвета не встречается, мы можем судить об исходной «яркости» высокомерия только по косвенным признакам.

6. **Звуковая** характеристика образа **ВЫСОКОМЕРИЕ** включает в подавляющем большинстве случаев ссылки на молчание, тишину, негромкий голос: *Мой сосед, полуобернувшись, давал указания Петру Францевичу, высокомерно молчавшему* (Б. Хазанов); *Он говорит о том же, о чем думает Клавдия Васильевна, о чем высокомерно молчит Мытицин, о чем остальные ребята еще не умеют – все еще не умеют!* (Л. Р. Кабо). В некоторых случаях голос высокомерного человека описывается как жесткий: *И голос не невучий, а жесткий и высокомерный* (Т. А. Луговская). Здесь мы сталкиваемся с явлением синестезии.

7. Что касается **запаха**, то обонятельная часть концепта не выражена четко, она смешивается с жидкостной метафорой. Высокомерие источается подобно запаху, но не указывается, какому именно. Однако источаться может и жидкость. Мы можем предположить на основании анализа вкусовых характеристик, что запах также будет неприятным: *«Железный Винни-Пух», как всегда, источал спесь и высокомерие, отметал робкие сомнения собеседниц и задавил-таки их самоуверенностью победителя, которого все равно не судят* (Труд-7, 2003.03.27).

8. К перцептивным составляющим образа мы также отнесем **размер** как визуальную характеристику. Высокомерие описывается как *значительное, небывалое, чрезвычайное, безграничное, необъятное, непомерное, огромное*, высокомерный человек *надутый*, его высокомерие *не знает границ, превосходит всякие границы, сверх границ, переходит все пределы*. Таким образом, мы видим, что высокомерие отличается большими размерами и стремится увеличиться в объеме: *Высокомерие, наблюдающееся уже у развитых гимназистов старших классов, у студентов достигает огромных размеров* (А. Изгоев); *Его бритое, жирное и бугристое от когда-то бывших прыщей лицо на сей раз выражает два противоположных чувства: смирение перед неисповедимыми судьбами и тупое, безграничное высокомерие перед мимо проходящими чуйками и пестрыми платками* (А. П. Чехов); *Необъятное высокомерие выразилось в его лице* (Ф. М. Достоевский).

9. При анализе **пространственных характеристик** **ВЫСОКОМЕРИЯ** можно заметить следующую закономерность. С одной стороны, высокомерный человек отстранен от других, с другой стороны, он находится выше других людей. Таким образом, мы можем представить его находящимся на высоте на большом расстоянии, изолированно от других людей.

Позиция высокомерного человека в вертикальной плоскости характеризуется как «положение наверху»: *Да, я высокомерен, но мое высокомерие слишком высоко для окружающих* (А. Кириллин); *Но мне так и не удалось перебороть такое дипломатическое высокомерие, взгляд сверху вниз, которые чувствовали посетители консульства* (А. Бовин); *Высокомерный до нестерпимой заносчивости, ставивший себя выше всех по уму и познаниям, презиравший всегда и начальников своих, и всех равных, он по часту со всеми ссорился и затевал истории, а что еще хуже, все свои дарования подавлял жестокой, цинической ленью* (М. А. Корф). Положение высокомерного человека в вертикальной плоскости показано словами *выше, высоко, высокое положение, глядеть свысока, распрямиться во весь рост, подниматься выше, возвыситься, свыше пределов, возвышать себя, превосходство, стоять над обществом, устремленность вверх, ставить себя выше, задирать нос, взгляд сверху вниз, великий, разить сверху, в своей возвышенности*.

Эта позиция перекликается с ориентационной метафорой «верх – низ» Дж. Лакоффа, где высокий социальный статус соответствует верху, а низкий социальный

статус – низу; власть и сила ориентированы наверх, а подчинение контролю и силе – вниз [Лакофф, Джонсон, 2004, с. 37–39].

Если говорить об изолированности высокомерного человека, его нежелании включать в свой круг общения других людей, подпускать к себе других, ее можно представить несколькими способами. Во-первых, высокомерие рассматривается как некий барьер, порог, через который другим нельзя переступать. В этом актуализируется уже когнитивная часть образа. *Деревенское высокомерие – единственное препятствие на пути укрупнения регионов* (Новый регион 2, 2004.02.27); *Высокомерие отчерчивало грань, за которую Митя, оставшийся в ряду не приобщенных, не имел права шагнуть* (Е. Чижова); *Там свои правила, свой язык, свои игры и небывалое высокомерие по отношению ко всем, стоящим за оградой* (А. Макаревич); *Высокомерие было, вероятно, также защитой его ранимой и так опасно раненой души – в самом начале жизни две великие потери: Родины и отца...* (Т. Любецкая).

Во-вторых, высокомерие иногда подразумевает включенность в круг избранного меньшинства. *Ее царственная осанка, небрежно спущенные на плечи платиновые локоны, снисходительно-высокомерный взгляд дают понять, что она входит в некий избранный круг* (А. Кириллин); *Она резко остановилась и села напротив меня на достаточно близком для общения и в то же время вполне безопасном расстоянии и, облизнувшись, уставилась на меня взглядом, в котором в точной пропорции сочеталось удивление, легкое раздражение и неуловимое высокомерие завсегдатая небольшого закрытого читального зала для докторов и почетных академиков, обнаружившего на своем насиженном, уютном месте у окна листающего детектив посетителя, вид и манеры которого убедительно свидетельствуют, что никакого пропуска в этот зал у него нет и в ближайшие пятьдесят лет не будет* (М. Ибрагимбеков). Однако таких случаев насчитывается небольшое количество.

В-третьих, высокомерие характеризуется самим процессом и результатом отделения от остальных людей. Этот случай демонстрируется подавляющим большинством примеров: *Он не позволял непрошено приближаться к себе вплотную, появлялась надменность, высокомерие породистого аристократа, не приятное, замораживающее любого* (Д. Гранин); *Врожденное высокомерие и нежелание подпустить к себе всяких там безродных на близкое расстояние* (Д. Рубина); *Откуда у Чацкого это высокомерие, отгороженность?* (В. Рецептер); *Вышед замуж за Скавронского, которого фамилия ввела ее в родство со двором, она получила от Елизаветы Петровны штатс-дамское достоинство, и высокомерие ее еще в молодости отлучило от домашних связей* (И. М. Долгоруков); *Я человек высокомерный и скрытный, склонный к уединению, так что собственную публичность расцениваю как испытание* (А. Федорова); *Держался Гоголь по отзывам современников часто нелюдимо и высокомерно* (А. Воронский).

Итак, если сводить воедино перцептивные характеристики образной составляющей концепта **ВЫСОКОМЕРИЕ**, мы получаем нечто одинокое, изолированное, находящееся вверху, огромного размера, холодной температуры, сухое, твердое и жесткое, тяжелое, неприятное на вкус и запах, холодной цветовой гаммы мрачного оттенка, не издающее громких звуков.

Обратимся к когнитивной части образа. Помимо описанного выше «барьера, порога или ограды», она представлена несколькими метафорами. Во-первых, высокомерие предстает в качестве жидкости, что характерно для большинства эмоций. *Самодовольное высокомерие, в котором они купаются, ужасно* (А. Семенов); *Ведь надменность и высокомерие Беллы по отношению к режиму – они должны были вылиться в форму какого-то презрения* (В. Ерофеев); *Как элегантно они курили, как легко и привычно вливали в себя крепкие напитки, как*

небрежно и властно обращались с девушками, как **высокомерно цедили слова** и разяще острили с каменными лицами, как резали в середину и с каким шиком забивали в угол, а их фланелевые брюки и пиджаки из синей рогожки! (Ю. М. Нагибин). Если принимать во внимание первую часть анализа, касающуюся перцептивной составляющей, то логично предположить, что жидкость будет обладать соответствующими температурными, цветовыми и вкусовыми характеристиками, то есть быть холодной, неприятной на вкус, тяжелой, холодной цветовой гаммы.

Во-вторых, высокомерие иногда предстает в образе воздуха. В Ваших писаниях **сквозит** некоторое высокомерие: о мужицком деле что могут сказать «писатели не из народа» (В. Г. Короленко); Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние; ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива; он был приветлив с ней и сердечен, но все же в обращении с ней, в его тоне и ласках **сквозила** тенью легкая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее (А. П. Чехов).

Интересно, что этот метафорический образ входит в разрез с другим, а именно высокомерием как скалой. Не хочу залезать на **скалу** под названием гордость или высокомерие, но не могу я с этим смириться. (А. Кириллин); Все попытки побудить переименовать заводы и фабрики на советский лад **разбивались о** высокомерие главкократа и непонимание психологической и даже политической стороны этого дела (П. А. Флоренский). Однако если принять во внимание противоречивую природу перцептивного образа, касающуюся массы (оно может быть тяжелым и легким), то можно провести параллель между этими двумя метафорами. В таком случае, образ высокомерия как скалы вполне оправдан, поскольку скала характеризуется вертикальной отстраненностью, а ее пик – изолированностью, она также ассоциируется с твердостью, тяжелой массой и холодом. С другой стороны, высокомерие как воздух характеризуется легкой массой и передвижением по вертикали.

В-третьих, высокомерие предстает в образе болезни. Как недуг оно трактуется не с позиции высокомерного человека, а с позиции окружающих. **Высокомерие и самоуверенность таились в нем как болезнь**; в опасную минуту наступил кризис (Д. Биленкин); Не будет на земле покоя, покуда, как чертополох, не выдернут с корнем русскую **заразу**: бред, мечту, высокомерие, непомерность (А. Н. Толстой); **Гнойное еврейское высокомерие** (А. Городницкий).

Однако наибольшее количество примеров характеризует высокомерие как живое дикое существо, зверя. Оно деструктивно по своей природе, однако его можно укротить, побороть или убить. Это хищник, который таится в человеке, может нанести ему вред, даже убить человека. Движения этого зверя плавны и быстры, он преследует человека. Прообраз такого зверя в русской языковой традиции неясен, поскольку, хотя этот зверь и дикий, но высокомерие можно **обуздать**, оно может **пришпорить**, а это характеристики, связанные с лошадьми.

Итак, высокомерие как живое существо обладает следующими характеристиками: оно может **рождаться, расти, питаться, порождать, оживать**, то есть в этих примерах мы видим описание жизненного цикла живого организма. Не следует, говорит Дарий, будучи смертным, чересчур полагаться на свой ум; высокомерие **порождает** роковую кару, и боги призывают к отчету (О. М. Фрейденберг); Это высокомерие, **рождающееся** в старших классах гимназии, еще более **развивается** в душе юноши в университете и превращается бесспорно в одну из характерных черт нашей интеллигенции вообще, духовно высокомерной и идейно нетерпимой (А. Изгоев); Конечно, процесс идет не так однозначно, как я его изображаю, но, тем не менее, налицо высокомерие новой российской элиты, **подпитываемое** нефтяным бумом (РИА Новости, 2007.02.19);

Как тотчас **ожило** и юношеское Венино высокомерие (В. Маканин); Высокомерие **питается** набором чувств и качеств – от сознания большого стиля, который ленинградцы волей-неволей разделяют, до неприязни, вызываемой причинами помельче (А. Найман).

Что касается взаимодействия с хозяином (высокомерным человеком), высокомерие может **таиться** в нем, **быть скрыто** в нем, **спрятаться** в нем, **пристать** к нему, **привязываться** к нему, **вселяться** в душу. Таким образом, оно может пристать к человеку с внешней стороны, но в большинстве случаев оно находится глубоко в человеке. Но какой при этом плебейский холод сохраняется в их глазах, какое высокомерие **таится** в холеных улыбках! (С. Есин); **В нем скрыто** высокомерие неяркого, тайного человека (Н. Крышук); Пал Палыч, какие отрицательные качества никогда **не пристанут** к вашим детям? – Высокомерие и черствость (М. Синельников); Смирennemудрие, скромность и повиновение удаляются от сердца богача и на место сих **вселяется в душу** его высокомерие, гордость и неуступчивость (С. Е. Десницкий).

По характеру движения высокомерие характеризуется, с одной стороны, резкостью: Он любит этих детей, хотя нет-нет да и **проскакивает** с его стороны какое-то снисходительное высокомерие по отношению к ним... (Форум: Класс – Франция, 2008–2011); Вот здесь-то спесь и высокомерие с нашего брата и **слетели**, здесь-то мы и сообразили, что одно дело – открыть Арктику и совсем другое – завоевать ее, пройтись, как говорят, плугом, посеять, снять, обработать и сохранить урожай (В. Санин); Все высокомерие его взгляда на современников **разом соскочило**, и в нем загорелась мечта: примкнуть к движению и показать свои силы (Ф. М. Достоевский); с другой стороны, плавностью и быстротой: В его письме **не проскользнуло** ни единой нотки огорчения, что фильм в России не состоится. Один лишь апломб и высокомерие (Э. Рязанов). С третьей стороны, высокомерие может **таиться**, **быть скрыто**, **спрятаться**, **стоять за чем-либо**. Высокомерие, **спрятанное** за простоту поступка (Г. Бурков); Но по всей этой сцене была очень характерная для поведения Сталина противоречивость: пренебрежение ко всякому блеску, ко всякому формальному чиновничеству и в то же время чрезвычайное высокомерие, **прятавшееся** за той скромностью, которая паче гордости (К. Симонов).

Что касается деструктивного характера, высокомерие, бесспорно, наносит вред своему хозяину с точки зрения окружающих. Оно в состоянии **мешать**, **портить**, **вытеснять** добрые чувства, **ослепить**, **задушить**, **разрушить**, **убить**; высокомерие имеет ярко выраженный активный посыл, так как, кроме всего прочего, может **руководить** человеком. Здесь мы наблюдаем пересечение когнитивного образа со сценарием, также входящим в структуру концепта. Высокомерие становится действующей силой, а человек – ее объектом. Ведь Раскольников... не одолел чтения Евангелия в тюрьме: **его задушило-таки** под конец – только придавленное Соней, но снова вспыхнувшее – **высокомерие** (И. Ф. Анненский); **Им руководило** прежде всего высокомерие (Ю. Азаров); Высокомерие, сытость, разврат и бездуховность **разрушили** Древний Рим (А. Бовин); Присущее ограниченности самодовольство и высокомерие **мешали** почувствовать глубинную точность сатиры Высоцкого, понять ее истинную направленность (И. Дьяков); Но из-за того, что у него нет демократического полномочия на такие действия – он избран американскими, а не российскими гражданами, – такое **высокомерие разрушает** сложившийся социальный контакт (Д. Лафлэнд); Не это ли **высокомерие** и **убило Акакия Акакиевича?** (И. Руденко); **Высокомерие может ослепить человека** (М. Ли, пер. М. Авдокушина); **Высокомерие не только портило** величие ее черт, оно **убивало** его (Ш. Бронте, пер. В. Станевич).

С другой стороны, с высокомерием в образе животного есть возможность бороться: его можно **побороть**, **перебороть**, **унять**, **укротить**, **обуздать**, **сломить**,

*сбить, искоренить, громить, преодолеть. Нам надо **побороть** высокомерие (Д. Навоша); Тогда Федя вытащил из кармана кусок хлеба, поднес к влажным розовым ноздрям лошади, потом положил его на землю. Запах хлеба **сломил** Лискино высокомерие (А. И. Мусатов); Если наши отцы опирались на народ, чтобы **сломить** высокомерие знати, то теперь, когда знать унижена, было бы справедливо подавить наглость народа с ее помощью (А. К. Дживелегов); Гордость человеческая, гордыня, высокомерие, вот что надо **искоренить** дотла (И. С. Тургенев); Маркиз Паулуччи был со всеми ласков и даже фамильярен, но не допускал никого забываться перед ним, и **громил** высокомерие и гордость своими убийственными сарказмами, в которых только один Вольтер мог с ним сравняться (Ф. В. Булгарин).*

Итак, образная составляющая концепта **ВЫСОКОМЕРИЕ** содержит две части – перцептивную и когнитивную. Перцептивная часть отражает температурные (холод), тактильные (неприятное на ощупь, жесткое, колючее, твердое), обонятельные (неприятное по запаху), вкусовые (горькое, желчное), зрительные (холодной цветовой гаммы, тусклое, мрачное) характеристики. Помимо этого, сюда же относится и зрительное восприятие образа как чего-то большого и тяжелого, находящегося наверху в изоляции от окружающего. Образ соотносится с ориентационной метафорой «верх – низ» по Дж. Лакоффу [Лакофф, Джонсон, 2004, с. 35–39]. «Верх» связан с высоким социальным статусом, властью, являющимися основанием для высокомерия. Это же касается заложенного в образе большого размера, характеризующего высокомерие. Когнитивная часть образной составляющей концепта **ВЫСОКОМЕРИЕ** заключается в следующих метафорах: высокомерие – это жидкость, воздух, скала, болезнь, зверь, барьер, разрушительная сила. Жидкостная метафора универсальна для концептов, характеризующих эмоциональные состояния человека [Арутюнова, 1998, с. 389–392]. В связи с этим подчеркнем, что концепт **ВЫСОКОМЕРИЕ** является сложным и характеризует поведение, отношение и эмоциональное состояние. Метафорическое представление высокомерия как дикого зверя, болезни, разрушительной силы отражает негативное восприятие высокомерия окружающими.

Список литературы

- Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1998. 896 с.
- Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика: Сб. ст. Москва; Берлин: Директ Медиа, 2016. 222 с.
- Бурмакова Е. А., Маругина Н. И. Антропоморфная метафора в художественном дискурсе (на материале автобиографических рассказов В. М. Шукшина) // Научный диалог. 2015. № 3 (39). С. 29–45.
- Воркачев С. Г. Культурный концепт и значение // Тр. Кубан. гос. технологического ун-та. Сер. Гуманитарные науки. 2003. Т. 17, вып. 2. С. 268–276.
- Воркачев С. Г. Образная составляющая концепта happiness // Anglica selecta: Избр. работы по лингвоконцептологии. Волгоград, 2012. С. 12–16.
- Горбунова Л. И. Перцептивная основа наивной категоризации предметного мира // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2017. № 48. С. 5–18.
- Калиткина Г. В. Когнитивная метафора контейнера и лингвокультурная специфика концептуализации времени // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2014. № 6 (32). С. 17–36.
- Кративкина О. А. Лингвосемиотический анализ концепта и понятия (на материале текстов научного и научно-популярного дискурса) // Вестн. Новосиб. гос. пед. ун-та. 2017. Т. 7, № 4. С. 209–222.
- Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.

Никитин М. В. Развернутые тезисы о концептах // Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. № 1. С. 53–64.

Пименова М. В. Типы концептов и этапы концептуального исследования // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 2013. Т. 2, № 2 (54). С. 127–131.

Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. М.: АСТ, 2010. 314 с.

Evans V. *How words mean*. New York: OUP, 2009. 320 p.

Goldstone R. L., Barsalou L. W. Reuniting perception and conception // *Cognition*. 1998. No. 65. P. 231–262. URL: <http://www.cogsci.ucsd.edu/~coulson/203/goldstone.pdf> (дата обращения 13.06.2018).

Yu. V. Konovalenko

*Novosibirsk State Pedagogical University
Novosibirsk, Russian Federation
jf0303@yandex.ru*

Image component of the concept *ARROGANCE*

The author analyzes the image component of the concept *ARROGANCE* in Russian. The investigation is based on the material from the National Corpus of the Russian Language. The concept, being a complex formation, consists of image and script components. The image part can include different elements, for example, perceptive and cognitive ones. A perceptive image can refer to visual, tactile, taste, sound and smell characteristics, and a cognitive image is formed as a result of metaphorical conceptualization. The perceptive element of the *ARROGANCE* image includes temperature, tactile, visual and taste characteristics, weight and position in space. *ARROGANCE* is associated with cold temperature, dark and bleak colors, low sounds or silence, bitter taste, dryness, hardness, big size, isolation in space from other objects and top position. A controversial feature of the perceptive element of the image *ARROGANCE* is its characterization both with the heavy and light weight. This controversy is traced later in the cognitive part of the image, with *ARROGANCE* being treated as “rock” and “air” metaphors. The cognitive part of the image *ARROGANCE* is represented in the metaphors: “arrogance is liquid,” “arrogance is air,” “arrogance is a rock,” “arrogance is an illness,” “arrogance is a wild animal,” “arrogance is a barrier” and “arrogance is a destructive force.” A liquid metaphor is common for the concepts characterizing a person’s emotional state. It is explained by the fact that the concept *ARROGANCE* is a complex one and not only reflects person’s behavior, attitude to other people and characteristics, but also describes his or her emotional state.

Keywords: Russian language, concept, image, perceptive features, cognitive features, metaphor.

DOI 10.17223/18137083/68/15

References

Arutyunova N. D. *Yazyk i mir cheloveka* [Language and human world]. Moscow, LRC Publishing House, 1998, 896 p.

Boldyrev N. N. *Kognitivnaya semantika: Sb. st.* [Cognitive semantics: coll. of art.]. Moscow, Berlin, Direkt Media, 2016, 222 p.

Burmakova E. A., Marugina N. I. Antropomorfная метафора в khudozhestvennom diskurse (na materiale avtobiograficheskikh rasskazov V. M. Shukshina) [Antropomorphical metaphor in artistic discourse (on the material of autobiographic stories by V. M. Shukshin)]. *Nauchnyy Dialog (Scientific Dialogue)*. 2015, no. 3 (39), pp. 29–45.

Evans V. *How words mean*. New York, OUP, 2009, 320 p.

Goldstone R. L., Barsalou L. W. Reuniting perception and conception. *Cognition*. 1998, no. 65, pp. 231–262. URL: <http://www.cogsci.ucsd.edu/~coulson/203/goldstone.pdf> (data obrashcheniya 13.06.2018).

Gorbunova L. I. Pertseptivnaya osnova naivnoy kategorizatsii predmetnogo mira [Perceptive base of naïve categorization of object world]. *Tomsk State University Journal of Philology*. 2017, no. 48, pp. 5–18.

Kalitkina G. V. Kognitivnaya metafora konteynera i lingvokul'turnaya spetsifika kontseptualizatsii vremeni [Cognitive metaphor of a container and linguo-cultural peculiarities of time conceptualization]. *Tomsk State University Journal of Philology*. 2014, no. 6 (32), pp. 17–36.

Krapivkina O. A. Lingvosemioticheskiy analiz kontsepta i ponyatiya (na materiale tekstov nauchnogo i nauchno-populyarnogo diskursa) [Linguo-semiotic analysis of a concept and notion (on the material of texts of scientific and popular scientific discourse)]. *The Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin*. 2017, vol. 7, no. 4, pp. 209–222.

Lakoff G., Johnson M. *Metafora, kotorymi my zhivem: Per. s angl.* [Metaphors we live by: transl. from English]. A. N. Baranova (Ed.). Moscow, Editorial URSS, 2004, 256 p.

Nikitin M. V. Razvernutyte tezisyy o kontseptakh [Extended abstracts on concepts]. *Issues of cognitive linguistics*. 2004, no. 1, pp. 53–64.

Pimenova M. V. Tipy kontseptov i etapy kontseptual'nogo issledovaniya [Types of concepts and stages of concept investigation]. *Bulletin of Kemerovo State University*. 2013, vol. 2, no. 2 (54), pp. 127–131.

Popova Z. D., Sternin I. A. *Kognitivnaya lingvistika* [Cognitive linguistics]. Moscow, AST, 2010, 314 p.

Vorkachev S. G. Kul'turnyy kontsept i znachenie [Cultural concept and meaning]. In: *Trudy Kubanskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta. Ser. Gumanitarnyye nauki*. [Proceedings of Kuban State Technological University. Ser. Humanities]. 2003, vol. 17, iss. 2, pp. 268–276.

Vorkachev S. G. Obraznaya sostavlyayushchaya kontsepta happiness [Image component of the concept happiness]. In: *Anglica selecta: izbrannyye raboty po lingvokontseptologii* [Anglica selecta: selected works on linguistic conceptology]. Volgograd, 2012, pp. 12–16.

УДК 811.512.151 + 811.512.153:81'366.587
DOI 10.17223/18137083/68/16

Е. В. Тюнтешева, О. Ю. Шагдурова

Институт филологии СО РАН, Новосибирск

**Эмотивные глаголы и глаголы межличностных отношений
алтайского и хакасского языков в сравнении с другими
тюркскими языками**

Статья посвящена исследованию лексико-семантических соответствий алтайских и хакасских эмотивных глаголов и глаголов межличностных отношений в кыпчакских языках. Общетюркские лексемы преобладают среди межъязыковых соответствий. На общетюркской основе формировались как новые слова, так и новые значения, общие для южносибирских языков. Алтайско-хакасские соответствия в большинстве имеют тюркское, собственно сибирское происхождение. Лексику, общую для трех южносибирских языков, составляют в основном монгольские заимствования. В алтайском и хакасском языках имеются соответствия глаголов с кыпчакскими языками. Алтайский язык, по ряду признаков относящийся к кыпчакским, по сравнению с хакасским языком не выделяется большим количеством кыпчакских лексических соответствий. Выявляется также некоторое количество соответствий с киргизским языком. Тюркские языки Сибири, гетерогенные в своей основе, контактировали с языками разных классификационных групп. Общая лексика, особенно вторичные образования от общетюркских основ, а также общность развития семантики исследуемых глаголов свидетельствуют о взаимодействии тюркских языков между собой на контактной территории и об общности исторических факторов, влияющих на развитие данных языков.

Ключевые слова: тюркские языки Сибири, кыпчакские языки, алтайский язык, хакасский язык, лексико-семантическая группа, эмотивные глаголы, глаголы межличностных отношений, лексико-семантические соответствия, глагольная лексика.

Сравнительное изучение лексики языков Сибири дает возможность проследить историю формирования этого сложного в языковом отношении региона. О сложности говорит тот факт, что в лингвистических классификациях языки Сибири либо попадают в разные группы [Баскаков, 1981; Щербак, 1994], либо объе-

Тюнтешева Елена Валерьевна – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора языков народов Сибири Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия; tyunteshvae@mail.ru)

Шагдурова Ольга Юрьевна – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора языков народов Сибири Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия; kokoshnikova@mail.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 3
© Е. В. Тюнтешева, О. Ю. Шагдурова, 2019

диняются в одну большую группу [СИГТЯ, 2006]. У всех этих языков есть как признаки разных групп, так и общие черты. Исследования в области грамматики тюркских языков Сибири показывают, что «тюркские языки Южной Сибири поменяли, по крайней мере, два-три раза базовые признаки своего языкового типа» под влиянием разных типов тюркских языков (огузского, уйгурского, кыпчакского). Последняя волна – кыпчакская – охватывала Южную Сибирь [Широбокова, 2015, с. 249]. Следы этих процессов отражены также в лексике, что подтверждают работы, посвященные сравнительному исследованию отдельных тематических и лексико-семантических групп как именной, так и глагольной лексики тюркских языков Сибири (см. [Историческое развитие..., 1961; Дыбо, 1996; СИГТЯ, 1997; Левин, 2001; Салчак, 2005; Саналова, 2007; Чертыкова, Салчак, 2017] и др.).

Данная статья посвящена анализу эмотивных глаголов и глаголов межличностных отношений в алтайском и хакасском языках, общих с другими, прежде всего кыпчакскими, языками. Все проанализированные здесь глаголы и их значения зафиксированы в словарях, перечисленных в конце статьи в списке использованных словарей. Эмотивные глаголы в алтайском и хакасском, а также в некоторых других тюркских языках были рассмотрены в монографии Т. А. Козырева [2015] и монографии М. Д. Чертыковой [2015]. Глаголы межличностных отношений в тюркских языках Сибири в сравнительном аспекте не были еще предметом исследования.

Исследователи отмечают сложность и неоднозначность выделения глаголов межличностных отношений, так как «к ним причисляются такие лексические единицы, в значениях которых сочетаются два разных типа доминирующих сем». Например, сочетание сем «отношение» и «поведение» в глаголах *фамильярничать, панибратствовать, гнушаться*, сем «отношение» и «чувство» в глаголах *любить, ненавидеть, презирать, уважать*, «отношение», «речь» и «чувство» в глаголах *осуждать, насмехаться*. В зависимости от того, какую из доминирующих сем считать идентифицирующей, эти глаголы могут быть отнесены к полю отношения или к группе глаголов поведения, речевой деятельности или к эмотивным глаголам [Гайсина, 1981, с. 58, 59]. Таким образом, эмотивные глаголы часто рассматривают в составе лексико-семантической группы (далее ЛСГ) межличностных отношений внутри поля «Отношение» как глаголы эмоционально-оценочного отношения [Гайсина, 1981; Фролова, 2008; Бабенко, 1999]. Мы считаем целесообразным рассматривать эмотивные глаголы отдельно, так как они представляют собой большую группу, которая имеет особенности в плане соотношения общетюркской лексики и лексики, корреспондирующей с отдельными группами языков или с отдельными языками.

В группу глаголов межличностных отношений мы включили глаголы рационально-оценочного отношения (с семантикой ‘уважать’, ‘верить’, ‘одобрять’ и др.), социального и духовного контакта / разобщения / восстановления контакта (‘дружить’, ‘ладить’, ‘расставаться’, ‘мириться’ и др.), проявления отношения (‘хвалить’, ‘ругать’, ‘высмеивать’ и др.). К группе эмотивных глаголов мы отнесли глаголы, основная семантическая функция которых – выражение эмоции.

В рассматриваемых языках в обеих ЛСГ были обнаружены разные типы соответствия глаголов.

1. Глаголы, совпадающие по внешнему облику (с учетом фонетических особенностей языков) и одинаковые или близкие по семантике во всех сравниваемых языках:

хак. *ǰrǰk* = ‘сильно напугаться, бояться’, алт. *ǰрки* = ‘пугаться (о животных)’; кирг. *ǰрк* = ‘пугаться, шарахаться в сторону’; башк. *ǰрк* = 1) внезапно испугаться, шарахнуться; в сторону (о животных); 2) пугаться, бояться (о человеке); к.-балк. *юрк* = ‘пугаться шарахаться (об овцах)’; тур. *ǰrk* = ‘пугаться, бояться, страшиться, ужасаться, вздрагивать’;

алт., тув., башк., тат., к.-балк. *таныш*=, хак., каз. *таныс*=, кирг. *тааныш*= 1) знакомиться; 2) узнавать; тур. *taniş*= знакомиться, быть знакомым.

2. Глаголы, различающиеся на уровне словообразования:

алт. *күнүрке*= 'ревновать'; хак. *күнне*= 'ревновать'; тув. *хүнне*= 'ревновать'; кирг. *күнүлө*= 'ревновать (о женщинах)'; каз. *күнде*= 1) завидовать; 2) соперничать, проявлять ревность (о женах одного мужа); башк. *көнлө*= 1) ревновать; 2) завидовать; 3) соперничать. Глагол произошел от существительного **kūni* в значениях 'ревность'; 'жена-соперница' [Clauson, 1972, p. 727], которое встречается в древнетюркских памятниках. В алтайском выделяется монгольский аффикс =*рка*, в остальных языках – глаголообразующий аффикс =*ла*. Здесь есть и различие в семантике. «Особенность южно-сибирских языков и примыкающего к ним кыргызского состоит в том, что в них семантика ревности... является единственной» [Козырев, 2015, с. 36], в то время как в остальных языках у этого глагола имеется также значение 'завидовать';

хак. *уйат=тыр*= 1) стыдить, укорять кого-л. за что-л. 2) стыдить; порочить, позорить; тув. *ыят=тыр*= 'стыдить'; алт. *уйат=та*= 'стыдить', кирг. *уйат=кар*=, уял=*т*=, каз. *уял=т*=, башк., тат. *оял=т*=, к.-балк. *уял=тыр*=, узб. *уял=тир*=, туркмен. *уял=дыр*= с тем же значением. Приведенный пример представляет три способа образования глагола со значением 'стыдить'. Алтайский и киргизский (*уйаткар*=) глаголы образованы от именной основы *уйат* 'стыд' посредством глаголообразующих аффиксов =*ла* (алт.) и =*кар* (кирг.); в других языках лексемы произошли от глагольных основ и аффикса понудительного залога =*тыр*. При этом основы хакасского и тувинского глаголов (*уйат*= ~ *ыят*= 'стыдиться') отличаются от таковых в остальных приведенных выше языках (*уял* ~ *уял* ~ *оял* 'стыдиться'). Вероятно, эти две основы можно возвести к глагольной основе **уяа-* ~ **ыйа-* [ЭСТЯ, 1974, с. 563] + показатель понудительного залога *-т* или страдательного *-л* с возвратным значением.

3. Глаголы, различающиеся семантикой: алт. *катулан*= 1) затвердевать, становиться тверже; 2) **рассвирепеть**; хак. *хатыглан*= 1) **гневаться, сердиться**; 2) требовать, быть строгим, суровым; кирг. *катуулан*= 1) быть крепким, стойким; 2) **разъяриться, разгневаться**; каз. *қатулан*= 1) становится суровым, грозным, жестоким (о человеке); 2) **разъяриться, гневаться**;

тув. *кадыглан*= 1) становится твёрдым; 2) **мужаться, держать себя в руках**; 3) поступать строго, сурово; 4) *уст.* не надеяться, потерять надежду (*о тяжело больном*); др.-т. *qatylan*= 1) становится крепким, стойким; **проявлять стойкость**; **мужать**; 2) быть старательным, трудолюбивым; усердствовать; 3) стремиться; стараться достигнуть, добиться чего-л.; прилагать усилия к чему-л.;

башк. *катылан*= 1) делаться твёрдым, крепким, жёстким; твердеть, отвердевать, затвердевать; 2) становится крутым (*от варки или замешивания*); 3) ожесточаться, становится строгим, жёстким; 4) суроветь, ожесточаться, становится суровым, строгим; 6) **становиться скупым, прижимистым**; тат. *катылан*= 1) делаться твёрдым, жёстким, крепким; 2) густеть; 3) крепнуть, крепчать, усиливаться (например, о ветре); 4) становится громким, зычным (о голосе); 5) грубеть, черстветь (о характере); становится строгим, суровым, грубым; 6) **становиться скупым, прижимистым**.

Как видно из примера, по некоторым значениям определенные языки объединяются в группы: по значению 'сердиться, гневаться' – алтайский, хакасский, киргизский, казахский; по значению 'становиться скупым, прижимистым' – башкирский, татарский; по значению 'мужаться; проявлять стойкость; держать себя в руках' – тувинский и древнетюркские языки;

алт. *апта*= **очаровывать**; хак. *апта*= 1) привораживать; 2) **очаровывать**, зачаровывать, пленять; заколдовывать; 3) заинтересовать, заинтриговать;

каз. *апта*= 'заговаривать, лечить заговором'.

В последнем примере в алтайском и хакасском языках наблюдается общность по одному из значений; казахский глагол имеет другое значение, хотя и здесь существует определенное семантическое сходство.

Следует отметить, что «в чистом виде» перечисленные типы соответствий наблюдаются редко. Чаще всего встречается смешанный тип, в котором присутствуют различия в словообразовании и семантике: алт. *jǫrekciŋe* = 'волноваться' (<*jǫrek* 'сердце' + =*сыра* со значением 'выражать какое-либо чувство'); хак. *čǫrekci* = волноваться; робеть (<*čǫrek* 'сердце' + =*сы* со значением 'чувствовать, переживать то, что обозначено основой');

кирг. *жүрөксү* =, *жүрөксүн* = 'бояться, трусить'; каз. *жүрексін* = 'робеть' (<*жүрөк* ~ *жүрек* 'сердце' + аффикс =*сы(н)*);

к.-калп. *жүрексин* =, узб. *юраксин* =, тат. *йөрәксен* = 'осмеливаться'; туркмен. *йүреклен* = 'храбреть, смелеть; набираться храбрости';

башк. *йөрәкһе* = 'рваться, порываться, стремиться куда-л., к чему-л.; гореть желанием что-л. делать'; тат. *йөрәксе* = диал. 'стремиться, гореть желанием'.

Сердце связывается у тюркских народов с эмоциональной жизнью и храбростью. Особняком стоит тувинский, в котором также отражено представление о связи сердца с трудолюбием: тув. *чүрексире* = 1) томиться, ощущать усталость; 2) лениться, лодырничать; 3) тосковать, скучать; ср. *чүрек чок* (букв.: сердце нет) 'ленивый'. Таким образом, здесь имеют место омонимы, образованные по одной словообразовательной модели. В этом случае, как и с глаголом *катулан* =, языки объединяются преимущественно по признаку территориальной близости.

Существует определенная близость развития переносных значений названий частей тела в разных тюркских языках, основанная на общности наивной картины мира данных языковых коллективов. Однако в глаголах, производных от этих лексем, доминирующими могут оказаться различные признаки, которые связываются с теми или иными характеристиками частей тела. Ср. также:

хак. *мойынна* = разг. 1) одолевать, осиливать; победить, побороть *кого-л.* (например, в борьбе, состязании); 2) умирять (<*мойын* 'шея' + глаголообразующий аффикс =*ла*); ср. значение хак. фразеологизма *мойнына ал* = (букв.: на шею=свою брать) 'брать на себя ответственность', аналогичное значению киргизского и казахского глагола;

кирг. *моюнда* = 'брать на себя ответственность, признав свою вину', каз. *мойында* = 'признавать, осознавать (свою вину, ошибку)'; ср. каз. *мойынсұн* = со значением 'слушаться, смиряться, подчиняться, повиноваться, покоряться' <*мойын ұсын* = (букв.: шею протянуть), близким к значению хакасского глагола *мойынна* = (2) 'умирять'.

В нашем материале по рассматриваемым лексико-семантическим группам алтайского и хакасского языков были выявлены лексемы, общие с какими-либо другими языками или группами языков: в алтайском языке – 65 эмотивных глаголов, 100 глаголов межличностных отношений; в хакасском – 50 эмотивных и 98 глаголов межличностных отношений. Среди этих межязыковых соответствий выделяются слова: 1) общетюркские; 2) общие с кыпчакскими языками; 3) общие с киргизским и казахским языками; 4) общие с киргизским языком; 5) характерные для языков Южной Сибири; 6) объединяющие попарно алтайский и хакасский, алтайский и тувинский, хакасский и тувинский языки.

1. Общетюркские глаголы. В алтайском языке общетюркские глаголы составляют в группе эмотивных глаголов ≈ 22 % от общего числа соответствий в этой ЛСГ (14 лексем из 65), в ЛСГ межличностных отношений – ≈ 47 % (47 лексем из 100). В хакасском языке выявлено в ЛСГ эмотивных глаголов 36 % общетюркской лексики от общего числа соответствий в этой ЛСГ (18 лексем из 50), в ЛСГ межличностных отношений – 38 % (38 лексем из 98) (см. таблицу).

Количество соответствий алтайских и хакаских глаголов с глаголами в других языках*
The number of correspondences of the Altai and Khakas verbs with other Turkic languages

Языки	Лексико-семантические группы глаголов									
	алтайского языка					хакаского языка				
	эмотивные (65 лексем)			межличностные (100 лексем)		эмотивные (50 лексем)		межличностные (98 лексем)		
	%	количество лексем	%	количество лексем	%	количество лексем	%	количество лексем	%	количество лексем
Общeturкский	22	14	47	47	36	18	38	38		38
Кыпчакский	18	12		1	24	12				1
Киргизский и казахский	11	7	6	6	16	8	4	4		4
Киргизский	8	5	9	9	12	7	4	4		4
Сибирские	9	6	17	17	12	6	17	17		17
Алтайский					16	8	18	18		18
Хакасский	12	8	18	18						
Тувинский	15	10	11	11		1				1

* Процент соответствий в каждом языке посчитан от общего количества лексем той или иной ЛСГ.

Примеры общетюркских глаголов:

алт. *јарат* = 1) одобрять, поддерживать; влюбляться; хак. *чарат* = 1) одобрять, принимать; 2) удовлетворять; 3) разрешать, позволять; кирг. *жарат* = одобрять, считать подходящим, пригодным; 2) выбирать то, что нравится; 3) тренировать; каз. *жарат* = 1) одобрять, склоняться к чему-л.; 2) тренировать, готовить к скачкам (коня); 3) употреблять, использовать; 4) тратить, издерживать; башк. *јрат* = 1) любить; 2) одобрять; тат. *јрат* = 1) любить, симпатизировать; 2) одобрять; к.-балк. *джарат* = 1) использовать, употреблять; 2) одобрять. Это слово в разных значениях широко распространено в тюркских языках [ЭСТЯ, 1989, с. 139];

алт. *кызы* = 1) накаляться; 2) *перен.* горячиться; кирг. *кызы* = 1) накаляться, нагреваться; каз. *кызы* = 1) нагреваться; 2) температурить; 3) горячиться; башк. *кызы* = 1) накалиться, раскалиться; нагреваться; 2) преть, гореть, гнить; 3) *перен.* горячиться, возбуждаться, распалиться; 4) разгораться; 5) зариться; тат. *кыз* = 1) накаливаться, раскаляться; 2) преть, гореть (о сене, зерне); 3) горячиться, вспылить, возбуждаться; к.-балк. *кыз* = 1) греться, нагреваться, накаляться; 2) разгоняться, набирать скорость; 3) заводиться, начинать работать; 4) температурить; 5) преть, гнить, перегорать (о зерне, сене); 6) подниматься (о солнце); 7) гореть, разгораться; 8) горячиться, вспыхнуть, вспылить; 9) пристраститься к чему-л.; тур. *kız* = 1) делаться горячим, раскаляться; 2) раздражаться, сердиться; горячиться, возбуждаться.

Среди общетюркских соответствий эмотивных глаголов большинство представляют лексемы, различающиеся значением, и смешанный тип:

алт., хак. *ачын* =, тув. *ажын* = ‘обижаться’; кирг. *ачын* = в значении ‘обижаться’;

кирг. *ачын* = в значении ‘испытывать боль, душевную горечь’; к.-калп. *ашын* = 1) чувствовать душевную боль; 2) раскаиваться, сожалеть о ком-л., о чем-л.; башк. *эсен* = ‘огорчаться, горевать, страдать, переживать’; тат. *ачын* = 1) горевать, печалиться; чувствовать (испытывать) душевную боль, болеть душой; скорбеть; 2) испытывать жалость, сострадание; огорчаться; к.-балк. *ачын* = ‘страдать душевно за кого-л., испытывать сострадание к кому-л.’; узб. *ачин* = 1) жалеть, сожалеть; сочувствовать; 2) скорбеть, горевать, огорчаться; болеть душой; тур. *açın* = ‘жалеть, испытывать жалость, сострадание’;

каз. *ашын* = ‘быть сильно и глубоко разгневанным’;

др.-т. *açın* = 1) заботиться, печься о ком-л.; 2) оказывать милость, вознаграждать, благодетельствовать.

В алтайском, хакасском и киргизском, в отличие от других языков, у глагола *ачын* = развилось значение ‘обижаться’; в остальных языках значение ‘испытывать жалость, сострадание’ ближе к значению древнетюркской лексики ‘заботиться, печься о ком-л.’. Особняком стоит казахский глагол со значением ‘быть сильно и глубоко разгневанным’;

алт. *ökpölä* = ‘досадовать, сердиться, гневаться’; *ökpölän* = ‘досадовать, сердиться, гневаться’; хак. *өкпелен* = ‘гневаться, горячиться, негодовать’; тур. *öfkelen* = ‘приходить в гнев (ярость), гневаться, раздражаться’; др.-т. *örkele* = ‘сердиться, гневаться’;

тув. *өкпеле* = ‘быть недовольным’;

кирг. *өпкөлө* = каз. *өкпеле* =, башк., тат. *үпкәлә* =, ‘обижаться’; к.-балк. *өпкеле* = ‘обижаться’, ‘быть недовольным’; узб. *ўпкалан* = 1) обижаться; 2) пенять.

Как видно из примера, в алтайском, хакасском языках, а также в турецком сохраняется значение древнетюркской лексики.

Что касается глаголов межличностных отношений, здесь общетюркские соответствия представлены в основном лексемами, тождественными как по внешнему облику, так и по значению. Следует заметить, что семантическая близость глаголов обеих ЛСГ наблюдается преимущественно по первому значению, т. е. эмо-

тивное значение или значение отношения является для этих глаголов основным или единственным.

2. Глаголы, общие с кыпчакскими языками: киргизским, казахским; башкирским, татарским; карачаево-балкарским. Наряду с ними часто оказываются соответствия рассматриваемых глаголов в узбекском языке, вероятно, он испытал кыпчакское влияние. На данном этапе выявлено в алтайском в ЛСГ эмотивных глаголов 12 лексем, встречающихся в других кыпчакских языках, что составляет $\approx 18\%$ от общего числа соответствий в данной ЛСГ. При этом 7 лексем имеются также в хакасском языке. Среди глаголов, связывающих алтайский с кыпчакскими языками, но отсутствующих в других сибирских языках, чаще всего нет карачаево-балкарских слов. В хакасском – 12 глаголов ($\approx 24\%$), общих с кыпчакскими языками, 5 из них не найдены нами в других языках Южной Сибири (см. таблицу).

Примеры соответствий глаголов с кыпчакскими языками:

алт. *эрик* = 'скучать, тосковать'; хак. *ирік* = 1) надоедать, наскучить; 2) приедаться; тув. *эрик* = 'разочаровываться, становиться равнодушным, терять интерес'; кирг. *эрик* = 1) скучать; 2) лениться; каз. *ерік* = 'слоняться, болтаться без дела, праздно шататься, скучать от безделья'; башк. *ирек* = диал. 'лениться'; тат. *ирек* = 'тяготиться своим положением; скучать'; к.-балк. *эрик* = 1) скучать; 2) пресыщаться;

алт. *таңарка* = 'удивляться'; кирг. *таңырка* = 'удивляться, изумляться'; каз. *таңырка* = 'любопытствовать, проявлять любопытство; удивляться (с оттенком любопытства)'; башк. диал. *таңырка* = 'удивляться';

алт. *жалтан* = 'остерегаться, опасаться; пугаться'; хак. *чалтан* = 1) робеть, смущаться, стесняться; 2) бояться; тув. *чалдан* = 1) избегать, остерегаться; 2) уклоняться, отклоняться, увертываться (например, от удара); кирг. *жалтан* = 'пугливо дёрнуться, шарахнуться в сторону, вздрогнуть от испуга'; каз. *жалтаңда* = 1) поглядывать на кого-л. (многократно); 2) боязливо озиаться, смотреть с опаской; 3) действовать, говорить с оглядкой, опасаться; башк. *ялтан* = 'увильнуть, отпрянуть (в сторону), отскочить, отойти, метнуться (в сторону)'.

В группе глаголов межличностных отношений выявлена только одна лексема, общая для алтайского, хакасского и кыпчакских языков – киргизского, казахского и башкирского:

алт. *кыйала* = 1) огибать; двигаться наискось, по склону; 2) **сторониться, отталкивать**; каз. *кияла* = 4) делать что-л. окольным путем; 5) **намекать**; ср. также каз. однокоренное *кияста* = 1) двигаться по склону, косоугор; 2) действовать в обход, стороной; 3) **избегать, сторониться** (< *кяс* 1) кривой, изогнутый; 2) кривой, обходной); башк. *кыяла* = 1) делать косым, наклонным; 2) двигаться по косой, наклонно; *кыялат* = 1) делать косым, наклонным; 2) приводить в косое, наклонное положение; 3) намекать; ср. также хак. *хыйыт* = с тем же корнем 1) уклоняться от кого-л., чего-л., **избегать** кого-л., чего-л.; 2) взять что-л. без спроса; стащить, своровать; кирг. *кыйыт* = говорить намеками.

3. Число лексем, общих с киргизским и казахским языками, в хакасском языке 8 ($\approx 16\%$ от общего количества выявленных соответствий), в алтайском – 7 ($\approx 11\%$) (см. таблицу).

Алт. *чамынты* = 'сердиться, раздражаться'; кирг. *чамырман* = 'злобствовать'; *чамын* = 1) мчаться (например, о птице, энергично взмахивающей крыльями, о коне, далеко выбрасывающем передние ноги); 2) разъяряться, бушевать, яростно набрасываться; каз. *шамырқан* = 'разъяриться'; ср. монг. *цамчих* 'буйствовать, буянить; скандалить'.

алт. *сергин* = 'успокаиваться'; кирг. *серги* = 1) проветриваться, освежаться; 2) освобождаться, облегчаться; каз. *сергі* = 'приободриться, освежиться, отдохнуть'.

В ЛСГ межличностных глаголов обнаружено небольшое количество соответствий в алтайском и казахском языках, а также киргизском – 6 лексем (6 %), хакасском – 4 (4 %) (см. таблицу). Некоторые из этих соответствий имеются и в тувинском языке:

алт. *сонырка* = ‘интересоваться, любопытствовать’; хак. *сонырха* = ‘поражаться, изумляться’; тув. *сонуурга* = ‘интересоваться’; кирг. *сонурка* = 1) удивляться, поражаться; считать что-л. необычным, странным, удивительным; 2) увлекаться; каз. *сонырка* = ‘искать новых впечатлений; увлекаться; считать что-л. необычным, новым’ < монг. *сонирхох* ‘интересоваться, проявлять интерес; с любопытством рассматривать’.

4. Глаголы, общие с киргизским языком. По сравнению с некоторыми другими группами, рассмотренными нами ранее, наблюдается малое количество соответствий алтайских эмотивных глаголов в киргизском языке (5 глаголов, причем большинство из них имеется также в других южносибирских языках (см. таблицу). Так, в группе глаголов поведения их выявлено 15. Три общие лексемы встретились нам в хакасском языке. Единичны случаи общих эмотивных глаголов в трех исследуемых сибирских языках и киргизском. Все общие с киргизским языком глаголы являются монгольскими заимствованиями.

Алт. *сүрнүк* = ‘быть подавленным, переживать’; хак. *сүрде* = ‘тревожиться, переживать, страдиться’, кирг. *сүрдө* = ‘стесняться, смущаться, теряться, робеть’ < монг. *сүрдэх* ‘бояться, пугаться, трепетать, робеть, трусить’;

алт. *санаарка* = 1) переживать; 2) печалиться, грустить, тосковать, унывать; кирг. *санаарка* = ‘думать, задумываться; печалиться’; як. *санаарба* = ‘грустить, печалиться; скорбеть, горевать’ < монг. *санаархах* 1) намереваться; 2) думать; мечтать; витать;

алт. *санан* = 1) думать, намереваться, помышлять; 2) скучать, тосковать; кирг. *сана* = 1) думать, помышлять; замышлять; 2) скучать, тосковать < монг. *санах* 1) думать, мыслить, размышлять; предполагать; вообразить; принимать; считать; 2) помнить, вспоминать; держать в мыслях, заботиться; надеяться; 3) скучать, тосковать о ком-л.; любить, желать; страдать.

В ЛСГ глаголов межличностных отношений в алтайском языке 9 соответствий с киргизским языком (только одно не встречается в других сибирских языках), в хакасском – 4 случая (см. таблицу). Например:

алт. *кыйыкта* = ‘притеснять’; хак. *хыйыхта* = 1) унижать, обижать, притеснять, обделять кого-л.; 2) забивать, закалывать (домашнее животное); кирг. *кыйыкта* = ‘обижать, огорчать; относиться пренебрежительно, поносить’.

5. Выявлено 6 эмотивных глаголов и 17 глаголов межличностных отношений, используемых, по-видимому, только в сибирских тюркских языках (см. таблицу). Практически все они являются монголизмами. Например:

алт. *кайка* = ‘удивляться’; хак. *хайха* = ‘удивляться, поражаться, изумляться’; тув. *кайга* = 1) удивляться; 2) смотреть в упор; як. *хайба* = ‘хвалить, одобрять, поощрять’ < монг. *гайхах* 1) удивляться, изумляться, дивиться; любоваться; 2) поражаться, ахать от удивления; 3) восхищаться, восторгаться. Близкими по семантике оказываются языки Южной Сибири, в то время как якутский глагол развил другое значение;

алт. *калжуур* = ‘сильно гневаться, беситься’; хак. *халчаах* = саг. ‘неистовствовать, буйствовать’; тув. *калчаара* = 1) беситься, становиться бешеным, болеть бешенством; 2) бесноваться; неистовствовать; 3) вести себя нагло; распоясываться; 4) дурачиться, озорничать < монг. *галзуурах* 1) заражаться бешенством, приходиться в бешенство, страдать водобоязнью; 2) сойти с ума, свихнуться, спятить, помешаться, потерять рассудок; 3) обезуметь; одуреть; ополоуметь, обалдеть, сдуреть; 4) неистовствовать, буйствовать, бушевать, бесноваться, безумствовать; яриться.

Б. И. Татаринцев относил тувинскую и хакасскую лексему к старым заимствованиям. В тувинском глаголе «сохраняется шипящая аффриката *дж...* которой соответствует современная монгольская свистящая *дз* (орфогр. *з*)... Долгий гласный второго слога (*аа*) образован в тув. языке самостоятельно, по “тюрк. образцу” из долготного комплекса *-ауи-*, которому в совр. монгол. формах соответствует *уу*». В алтайском слово «было заимствовано в то время, когда в монгольском сформировалась долгота гласного, но еще сохранялось шипящее качество аффрикаты» [Татаринцев, 2002, т. 3, с. 81];

алт. *бурула*=, хак. *пырола*= ‘винить, обвинять’ < монг. *бүрүү* ‘ложный, неправильный; вина, проступок; виновный’ [Рассадин, 1980, с. 22], тув. *буруудат*= ‘винить, обвинять’ < *бурууда*= ‘быть обвиняемым, виновным в чем-л.’ (монг. *буруудах* ‘повиниться; ошибаться, заблуждаться’ [Татаринцев, 2000, т. 1, с. 300]) + аффикс понудительного залога =*т*.

В алтайском языке монголизмов больше (16 лексем в ЛСГ эмотивных глаголов и 17 лексем в ЛСГ межличностных глаголов), чем в хакасском (10 лексем в ЛСГ эмотивных глаголов и 7 лексем в ЛСГ межличностных глаголов), что отмечал и В. И. Рассадин [1980].

б. Глаголы, попарно объединяющие сибирские языки: алтайский и хакасский, алтайский и тувинский, хакасский и тувинский. В группе эмотивных глаголов мы нашли только один пример хакасско-тувинского соответствия: хак. *чансы*= ‘удивляться, изумляться’; тув. *чанта*= ‘любоваться (детьми); смотреть с умилением на детей, на детёнышей животных’.

В ЛСГ эмотивных глаголов обнаруживается практически равное число алтайско-тувинских и алтайско-хакасских глаголов (10 и 8 лексем соответственно). Т. А. Козырев отмечает преобладание алтайско-тувинских соответствий эмотивных глаголов над алтайско-хакасскими [2015, с. 177]:

алт. *яныкса*= ‘скучать по дому’; тув. *чаныкса*= ‘хотеть домой (на родину)’, ‘скучать по дому (по родине)’;

алт. *кородо*= 1) горевать; скорбеть; убиваться; 2) сердиться, злиться, досадовать; тув. *хорада*= ‘сердиться, злиться’; монг. *хордох* ‘злобствовать, таить злобу; досадовать, сердиться’;

алт. *мокот*= 1) обижаться; тув. *могат*= 1) капризничать (о ребёнке); 2) обижаться; 3) куражиться; монг. *моготор* 1) капризный, упрямый; 2) горячий, вспыльчивый; 3) недалёковидный, глупый.

Среди алтайско-тувинских глаголов половина монгольские заимствования, тогда как среди алтайско-хакасских всего 2 монголизма:

алт. *катуркан*= ‘сердиться; суроветь, свирепеть’; хак. *хатырган*= 1) быть сердитым, строгим, суровым; 2) быть скупым, жадным; монг. *хатуурхах* 1) стараться быть строгим, суровым; быть чересчур требовательным; 2) затрудняться, испытывать затруднения; 3) выходить из себя; грубить, дерзить; 4) быть скупым, скупиться;

алт. *энеле*= диал. ‘тосковать, сетовать, скорбеть’; хак. *инел*= ‘печалиться, тосковать’ < монг. *энэлэх* ‘горевать, сокрушаться; печалиться, скорбеть, страдать; мучиться’.

В ЛСГ межличностных глаголов, напротив, алтайско-хакасских соответствий больше, чем алтайско-тувинских (18 и 11 слов соответственно). Обнаружено только одно хакасско-тувинское соответствие (см. таблицу).

Определение происхождения остальных глаголов, за исключением некоторых, образованных от общетюркских корней, вызывает затруднение:

алт. *канык*= ‘гневаться, свирепеть, разъяриться’; хак. *ханых*= шор. 1) наливать кровью (о глазах); 2) злиться, вспылить, рассердиться < □*анн* ~ *хан* ‘кровь’ + аффикс глаголообразования =*ык* ~ =*ых*;

алт. *кӧӧрдӧ* = 'воодушевляться, сильно радоваться; веселиться; быть в приподнятом настроении'; хак. *кӧӧре* = 'волноваться';

алт. *ӧӧндӧ* = 'сердиться, гневаться; нервничать' < *ӧӧн* 'обида, гнев' + глаголющий аффикс =ла; хак. *ӧӧнтелен* = злиться про себя (не показывая вида).

Как видно из таблицы, в обеих ЛСГ и в алтайском и в хакасском языках первое место по числу соответствий занимают общетюркские. При этом в алтайском языке общетюркских глаголов межличностных отношений значительно больше, чем общетюркских эмотивных.

Алтайских эмотивных глаголов, общих с другими кыпчакскими языками (киргизским, казахским, татарским, башкирским, карачаево-балкарским – соответствия с последним представляют единичные примеры), практически столько же, сколько и общетюркских. Хакасско-кыпчакские соответствия по количеству также занимают второе место после общетюркских, однако в процентном соотношении их даже несколько больше, чем алтайско-кыпчакских. Включение в эту общность тувинского языка наблюдается только в единичных случаях. Общая лексика говорит о влиянии кыпчакских языков на хакасский язык. В то же время в ЛСГ межличностных глаголов соответствия с кыпчакскими языками практически отсутствуют как в хакасском, так и в алтайском языке. Таким образом, алтайский язык, по ряду фонетических и грамматических признаков относящийся к кыпчакским, по сравнению с хакасским языком не выделяется большим количеством кыпчакских лексических соответствий.

Соотношение алтайско-тувинских и алтайско-хакасских соответствий в двух ЛСГ неодинаково: примерно равное количество алтайско-тувинских и алтайско-хакасских соответствий эмотивных глаголов и значительное преобладание алтайско-хакасских соответствий над алтайско-тувинскими в ЛСГ межличностных глаголов. Общность алтайского, хакасского и тувинского языков ярко проявляется в развитии семантики. Особенно близкими в этом отношении оказываются алтайский и хакасский языки. Возможно, это связано с их территориальной близостью. Обращает на себя внимание общая алтайско-хакасская лексика, не заимствованная из монгольских языков.

На третьем месте в ЛСГ эмотивных глаголов по количеству соответствий общая южносибирская лексика. В ЛСГ межличностных отношений ее существенно больше. Однако, как уже говорилось, большую ее часть составляют разновременные монгольские заимствования.

Кроме того, выделяется некоторое количество лексем, общих с киргизским и казахским (а также с каракалпакским и ногойским) языками, алтайско-киргизские и хакасско-киргизские соответствия.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что в лексическом составе алтайского и хакасского языков имеются разные слои лексики: общетюркская, на основе которой происходило образование новых слов и развитие новых значений, общих для южносибирских языков в целом или часто для алтайского и хакасского. В алтайском и хакасском языках в ЛСГ эмотивных глаголов видно кыпчакское влияние, которое мало затронуло тувинский язык. Лексику, общую для алтайского, хакасского и тувинского языков, составляют в основном монгольские заимствования. Таким образом, тюркские языки Сибири, гетерогенные в своей основе, контактировали с языками разных классификационных групп. Общая лексика, особенно вторичные образования от общетюркских основ, а также общность развития семантики исследуемых глаголов свидетельствуют о взаимодействии тюркских языков между собой на контактной территории, об общности исторических факторов, влияющих на развитие данных языков (в том числе монгольское влияние).

Список литературы

- Бабенко Л. Г.* Толковый словарь русских глаголов: Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы. М.: АСТ-Пресс, 1999. 704 с.
- Баскаков Н. А.* Алтайская семья языков и ее изучение. М.: Наука, 1981. 134 с.
- Гайсина Р. М.* Лексико-семантическое поле глаголов отношения в современном русском языке. Саратов, 1981. 195 с.
- Дыбо А. В.* Семантическая реконструкция в алтайской этимологии. Соматические термины (плечевой пояс). М.: Языки русской культуры, 1996. 389 с.
- Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961. 466 с.
- Козырев Т. А.* Лексикологические связи казахского языка с тюркскими языками Саяно-Алтая (на примере лексико-семантической группы эмотивных глаголов). Астана, 2015.
- Левин Г. Г.* Лексико-семантические параллели орхоно-тюркского и якутского языков (в сравнительном плане с алтайским, хакасским, тувинским языками). Новосибирск: Наука, 2001. 187 с.
- Рассадин В. И.* Монголо-бурятские заимствования в сибирских тюркских языках. М.: Наука, 1980. 115 с.
- СИГТЯ, 1997 – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика. М.: Наука, 1997. 800 с.
- СИГТЯ, 2006 – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные реконструкции. М.: Наука, 2006. 767 с.
- Салчак А. Я.* Лексико-семантическая группа глаголов поведения в тувинском языке (в сопоставительном аспекте): Дис. ... канд. филол. наук. Новосибирск, 2005.
- Саналова Б. Б.* Глаголы мыслительной деятельности в алтайском языке (в сопоставлении с киргизским языком). Горно-Алтайск, 2007. 168 с.
- Татаринцев Б. И.* Этимологический словарь тувинского языка. Новосибирск: Наука, 2000. Т. 1. 341 с.; 2002. Т. 3. 440 с.
- Фролова М. В.* Функционирование глаголов межличностных и социальных отношений в произведениях русской литературы 20-х годов XX века: на материале текстов А. П. Платонова и М. А. Булгакова: Дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2008. 225 с.
- Чертыкова М. Д.* Глаголы со значением эмоции в хакасском языке: парадигматика и синтагматика. Абакан, 2015. 160 с.
- Чертыкова М. Д., Салчак А. Я.* Глаголы со значением поведения в хакасском и тувинском языках. Идеографический словарь-справочник. Абакан, 2017. 112 с.
- Щербак А. М.* Введение в сравнительное изучение тюркских языков. СПб.: Наука, 1994. 192 с.
- Широбокова Н. Н.* О смене классификационного типа (на материале тюркских языков Сибири) // Сибирский филологический журнал. 2015. № 4. С. 242–250.
- ЭСТЯ, 1974 – Этимологический словарь тюркских языков. М.: Наука, 1974. 768 с.
- ЭСТЯ, 1989 – Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на буквы «Ж», «Ж», «Й». М.: Наука, 1989. 293 с.
- Clauson G.* An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford, 1972.

Список словарей

- Алтайско-русский словарь. Горно-Алтайск, 2018.
- Башкирско-русский словарь / Под ред. З. Г. Ураксина. М.: Дигора, Рус. яз., 1996.

- Большой академический монгольско-русский словарь. М., 2001–2002.
 Большой турецко-русский словарь / Сост. А. Н. Баскаков и др. М.: Рус. яз., 1998.
 Древнетюркский словарь. Л.: Наука, 1969.
 Казахско-русский словарь. Алматы, 2008.
 Каракалпакско-русский словарь / Под ред. Н. А. Баскакова. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958.
 Карачаево-балкарский словарь. М.: Сов. энцикл., 1965.
 Киргизско-русский словарь: В 2 т. / Сост. К. К. Юдахин. М.: Сов. энцикл., 1965–1985.
 Татарско-русский словарь. М.: Сов. энцикл., 1966.
 Тувинско-русский словарь / Под ред. Э. Р. Тенишева. М., 1968.
 Узбекско-русский словарь / Под ред. С. Ф. Акобировой, Г. Н. Михайловой. Ташкент: Гл. ред. Узбекской Советской энциклопедии, 1988.
 Хакасско-русский словарь / Под ред. О. В. Субраковой. Новосибирск, 2006.

Список сокращений

Алт. – алтайский язык; **др.-т.** – древнетюркские языки; **башк.** – башкирский язык; **каз.** – казахский язык; **к.-балк.** – карачаево-балкарский язык; **кирг.** – киргизский язык; **к.-калп.** – каракалпакский язык; **монг.** – монгольский язык; **ног.** – ногойский язык; **общетюрк.** – общетюркское слово; **саг.** – сагайский диалект хакасского языка; **тат.** – татарский язык; **тув.** – тувинский язык; **тур.** – турецкий язык; **турк.** – туркменский язык; **узб.** – узбекский язык; **хак.** – хакасский язык; **шор.** – шорский язык; **як.** – якутский язык.

E. V. Tyuntesheva ¹, O. Yu. Shagdurova ²

*Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
 Novosibirsk, Russian Federation*

¹ tyunteshevae@mail.ru, ² kokoshnikova@mail.ru

Emotive verbs and verbs denoting interpersonal relationships of Altai and Khakas in comparison with other Turkic languages

We analyze the lexical-semantic correspondences of Altai and Khakas emotive verbs and verbs denoting interpersonal relationships in other languages, primarily Kipchak ones. Altai and Khakas lexis has different levels. All-Turkic lexemes are the most numerous ones among the interlinguistic correlations. On the basis of all-Turkic lexis, new words were formed, and new meanings were developed, either for all Southern Siberian languages in general or specifically for Altai and Khakas. It is demonstrated that the emotive verbs uniting the Siberian Turkic languages are mostly Mongolian loan words. Among the emotive verbs, the Altai-Tuvan correspondences are the most common, and among these, most are Mongolisms. The Altai-Khakas correspondences appear to be Turkic in origin, namely Siberian Turkic. Altai and Khakas are shown to be particularly close, including the evolution of their verb semantics. Large numbers of words uniting Altai, Khakas, and Kipchak languages show how Altai and Khakas have been influenced. According to its phonetic and grammatical traits, Altai is a Kipchak language; however, it does not contain many Kipchak interlinguistic correlations in contrast with Khakas. Some parallels with Kyrgyz may also be observed. Siberian Turkic languages, which are mostly heterogeneous, tended to contact with languages from various groups. Their common lexical traits reveal the existence of an interaction between Turkic languages on contact territories, and the presence of common historical factors influencing the evolution of these languages (particularly the Mongolian influence).

Keywords: Siberian Turkic languages, Kipchak languages, Altai language, Khakas language, Emotive verbs, Verbs denoting interpersonal relationships, the Lexical-Semantic Group, lexical-semantic correspondences, verbs.

DOI 10.17223/18137083/68/16

References

- Babenko L. G. *Tolkovyy slovar' russkikh glagolov: Ideograficheskoye opisaniye. Angliyskiye ekvivalenty. Sinonimy. Antonimy* [Explanatory dictionary of Russian verbs: Ideographic descriptions. English equivalents. Synonyms. Antonyms]. Moscow, AST-Press, 1999, 704 p.
- Baskakov N. A. *Altayskaya sem'ya yazykov i eye izucheniye* [Altai family of languages and the studies thereof]. Moscow, Nauka, 1981, 134 p.
- Chertykova M. D. *Glagoly so znacheniyem emotsii v khakasskom yazyke: paradigmatika i sintagmatika* [Verbs denoting emotion in the Khakas language: paradigm and syntagmatics]. Abakan, 2015, 160 p.
- Chertykova M. D., Salchak A. Ya. *Glagoly so znacheniyem povedeniya v khakasskom i tuvinskom yazykakh. Ideograficheskiy slovar'-spravochnik* [Verbs denoting behavior in Khakas and Tuvan: an ideographic guide vocabulary]. Abakan, 2017, 112 p.
- Clauson G. *An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish*. Oxford, 1972.
- Gaysina R. M. *Leksiko-semanticheskoye pole glagolov otnocheniya v sovremennom russkom yazyke* [Lexical-semantic field of relationship verbs in the modern Russian language]. Saratov, 1981, 195 p.
- Dybo A. V. *Semanticheskaya rekonstruktsiya v altayskoy etimologii. Somaticheskoye terminy (plechevoy poyas)* [Semantic reconstruction in Altai etymology. Somatic terms (Pectoral arch)]. Moscow, LRC Publishing House, 1996, 389 p.
- Etimologicheskii slovar' tyurkskikh yazykov* [Turkic etymological dictionary]. Moscow, Nauka, 1974, 768 p.
- Etimologicheskii slovar' tyurkskikh yazykov. Obshchetyurkskiye i mezhtyurkskiye osnovy na bukvy "Ж", "Ж", "Й"* [Turkic etymological dictionary. All-Turkic and inter-Turkic stems starting with "Ж", "Ж", "Й"]. Moscow, Nauka, 1989, 293 p.
- Frolova M. V. *Funktsionirovaniye glagolov mezhluchnostnykh i sotsial'nykh otnosheniy v proizvedeniyakh russkoy literatury 20-kh godov 20 veka: na materiale tekstov A. P. Platonova i M. A. Bulgakova* [Functioning of verbs denoting personal and social relations in Russian literature of 1920s: on the basis of works by A. P. Platonov and M. A. Bulgakov]. Cand. Phil. Sci. Diss. Volgograd, 2008, 225 p.
- Istoricheskoye razvitiye leksiki tyurkskikh yazykov* [Historical development of Turkic languages]. Moscow, 1961 p.
- Kozyrev T. A. *Leksikologicheskiye svyazi kazakhskogo yazyka s tyurkskimi yazykami Sayano-Altaya (na primere leksiko-semanticheskoy gruppy emotivnykh glagolov)* [Lexical relations between Kazakh and Turkic languages of Sayan-Altai (on the example of lexical-semantic group of emotive verbs)]. Astana, 2015.
- Levin G. G. *Leksiko-semanticheskoye paralleli orkhono-tyurkskogo i yakutskogo yazykov (v sravnitel'nom plane s altayskim, khakasskim, tuvinskim yazykami)* [Lexical-semantic parallels between Orkhon-Turkic and Yakut (in contrast with Altai, Khakas, and Tuvan)]. Novosibirsk, Nauka, 2001, 187 p.
- Rassadin V. I. *Mongolo-buryatskiye zaimstvovaniya v sibirskikh tyurkskikh yazykakh* [Mongolian-Buryat loan words in Siberian Turkic languages]. Moscow, Nauka, 1980, 115 p.
- Salchak A. Ya. *Leksiko-semanticheskaya gruppa glagolov povedeniya v tuvinskom yazyke (v sopostavitel'nom aspekte)* [Lexical-semantic group of behavior verbs in the Tuvan language (comparative aspect)]. Cand. philol. sci. diss. Novosibirsk, 2005.
- Sanalova B. B. *Glagoly myslitel'noy deyatelnosti v altayskom yazyke (v sopostavlenii s kirgizskim yazykom)* [Verbs of mental activity in Altai language (in contrast with Kyrgyz language)]. Gorno-Altaysk, 2007, 168 p.
- Shcherbak A. M. *Vvedeniye v sravnitel'noye izucheniye tyurkskikh yazykov* [Introduction to comparative Turkic studies]. St. Petersburg, Nauka, 1994, 192 p.
- Sravnitel'no-istoricheskaya grammatika tyurkskikh yazykov. Leksika* [Comparative and historical grammar of Turkic languages. Lexis]. Moscow, Nauka, 1997, 800 p.

Sravnitel'no-istoricheskaya grammatika tyurkskikh yazykov. Regional'nyye rekonstruktsii [Comparative grammar of Turkic languages. Regional reconstructions]. Moscow, Nauka, 2006, 767 p.

Shirobokova N. N. O smene klassifikatsionnogo tipa (na materiale tyurkskikh yazykov Sibiri) [On the shift in classification type (on the basis of Siberian Turkic languages)]. *Siberian Journal of Philology*. 2015, no 4, pp. 242–250.

Tatarintsev B. I. *Etimologicheskii slovar' tuvinskogo yazyka* [Tuvan etymological dictionary]. Novosibirsk, Nauka, 200, vol. 1, 341 p.; 2002, vol. 2, 440 p.

Tyuntseva E. V. Leksiko-semanticheskie sootvetstviya glagolov povedeniya altayskogo yazyka v tyurkskikh yazykakh Yuzhnoy Sibiri, kirgizskom i kazakhskom [Lexical-semantic equivalents of Altai verbs denoting behavior in Southern Siberian Turkic languages, Kyrgyz and Kazakh]. In: *Materialy regional'noy nauchno-prakticheskoy konferentsii "Yazyk i kul'tura altaytsev: sovremennyye tendentsii razvitiya"* [Materials of regional scientific and practical conference "Altai language and culture: modern development trends". July 5–9, 2016]. Inst. of altaistiki im. S. S. Surazakova, Gorno-Altaysk, 2006, pp. 94–104.

Tyuntseva E. V., Shagdurova O. Yu., Bayyr-ool A. V., Shirobokova N. N. Glagoly intelektual'noy deyatel'nosti v tyurkskikh yazykakh i dialektakh Sayano-Altaya [Verbs denoting intellectual activities in Turkic languages and Sayan-Altaï dialects]. *Siberian Journal of Philology*. 2015, no. 4, pp. 251–266.

List of dictionaries

Altaysko-russkiy slovar' [Altai-Russian dictionary]. Gorno-Altaysk, 2018.

Bashkirsko-russkiy slovar' [Bashkir-Russian dictionary]. Z. G. Uraksin (Ed.). Moscow, Digora, Rus. yaz., 1996.

Bol'shoy akademicheskii mongol'sko-russkiy slovar' [Great academic Mongolian-Russian dictionary]. Moscow, 2001–2002.

Bol'shoy turetsko-russkiy slovar' [Great Turkish-Russian dictionary]. A. N. Baskakov et al. (Comps). Moscow, Rus. yaz., 1998.

Drevnetyurkskiy slovar' [Ancient Turkic dictionary]. Leningrad, Nauka, 1969.

Karachaevo-balkarskiy slovar' [Karachay-Balkar dictionary]. Moscow, Sov. entsikl., 1965.

Karakalpaksko-russkiy slovar' [Karakalpak-Russian dictionary]. N. A. Baskakov (Ed.). Moscow, Gos. izd. inostr. i nats. slovary, 1958.

Khakassko-russkiy slovar' [Khakas-Russian dictionary]. O.V. Subrakova (Ed.). Novosibirsk, 2006.

Kazakhsko-russkiy slovar' [Kazakh-Russian dictionary]. Almaty, 2008.

Kirgizsko-russkiy slovar' [Kyrgyz-Russian dictionary]. K. K. Yudakhin (Comp.). Moscow, Sov. entsikl., 1965–1985.

Tatarsko-russkiy slovar' [Tatar-Russian dictionary]. Moscow, Sov. entsikl., 1966.

Tuvinsko-russkiy slovar' [Tuvan-Russian dictionary]. E. R. Tenishev (Ed.). Moscow, 1968.

Uzbeksko-russkiy slovar' [Uzbek-Russian dictionary]. S. F. Akobirov, G. N. Mikhaylov (Eds). Tashkent, Gl. red. Uzbekskoy Sov. entsikl., 1988.

И. М. Чебочакова

Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, Абакан

**Особенности производных единиц,
образованных от основы прилагательного «хара» ‘черный’,
в хакасском языке**

Рассматриваются структурно-семантические особенности производных слов, образованных от основы прилагательного *хара* ‘черный’ в хакасском языке. Отнесенность слова *хара* ‘черный’ к колоративам обусловила появление аффиксальных производных со значением неполноты и интенсивности цветового признака, диминутивного прилагательного, сложных прилагательных, несущих цветовую характеристику, глагола со значением проявления цветового признака. Аналитические производные представлены прилагательными и существительными. Сложные прилагательные выражают интенсивность цветового признака и служат для обозначения смешанных оттенков. Сложные существительные с первым компонентом *хара* называют преимущественно конкретные объекты: живые и мифические существа, растения, объекты природы, разновидности продуктов, место (строение). Выявлена национально-культурная специфика производных, объясняющаяся особенностями традиционного мировоззрения хакасов.

Ключевые слова: словообразование, прилагательные, производные, словообразовательное гнездо.

Целью статьи является выявление структурно-семантических особенностей производных слов, образованных от основы колоратива *хара* ‘черный’, в хакасском языке. К анализу были привлечены слова, входящие в словообразовательное гнездо с вершиной *хара*, в том числе диахронно связываемые с ним. Данная тема в хакасском языкознании не подвергалась специальному изучению, названия основных цветов ранее рассматривались с точки зрения их сочетаемости с существительными и морфологических особенностей Т. Н. Тугужековой [2007; 2009; 2015].

Изучение проблем тюркского словообразования во многом опиралось на традиции отечественного языкознания, но все же следует отметить определенное отставание этого направления в тюркологии. В 1988 г. М. В. Зайнуллин и А. Н. Ти-

Чебочакова Ирина Максимовна – кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории (ул. Щетинкина, 23, Абакан, 655017, Россия; irina.chebochakova@mail.ru)

хонов отмечали, что в специальных работах по тюркскому словообразованию не используются важнейшие словообразовательные понятия «производящее слово» («производящая основа»), «производное слово» («производная основа»), «словообразовательная пара», «словообразовательный тип», «словообразовательная цепочка», «словообразовательная парадигма», «словообразовательное гнездо» и многие другие. Они выделили такие направления для изучения словообразования в тюркских языках, как разработка проблем системного устройства словообразования, определение состава основных единиц, места каждой единицы в системе, исследование их связей и отношений [Зайнуллин, Тихонов, 1988, с. 180]. Обозначенные исследователями направления до сих пор остаются малоработанными, особенно это касается сибирских тюркских языков. Следует сказать, что исследователи в последние годы ведут изыскания в сфере словообразования указанных языков. Например, работы А. В. Есиповой по теоретическим проблемам словообразования в тюркских языках на примере шорского языка [Есипова, 2011а; 2011б]. Аффиксальное словообразование алтайского языка нашло отражение в трудах А. В. Колесниковой [2004], в «Грамматике современного алтайского языка» [2017]. Большой вклад в изучение якутского словообразования внесли работы Н. К. Антонова [1952], Е. И. Убрятовой [1948; 2011]. Отглагольные имена существительные современного якутского языка описаны И. Б. Ивановой [2011]. Автор настоящей статьи опубликовала две монографии по проблемам именного словообразования хакасского языка [Тараканова, 2008; 2011]. Некоторые проблемы словообразования в тувинском языке нашли отражение в работах Н. Д. Сувандии [2011], М. В. Бавуу-Сюрюн [2007; 2015]. Таким образом, несмотря на определенное продвижение в деле изучения словообразовательных систем тюркских языков Сибири, семантический аспект словообразования этих языков нельзя считать полностью исследованным.

В тюркологии первым наиболее ясно высказал идею о необходимости учета всех составляющих элементов словообразовательного процесса и обоснования моделирования в словообразовании М. М. Хусаинов. Он отмечал, что связь производящей основы с аффиксом не следует представлять как формальный механический процесс их слияния, поскольку при такой трактовке не учитываются внутренние механизмы словообразования [Хусаинов, 1975, с. 13–14]. Он разработал понятие поликомпонентной словообразовательной модели, которая имеет следующий состав:

- а) семантика производных слов (она же выражает и семантику модели);
- б) семантика производящих слов, которые являются семантической основой (базой словопроизводства);
- в) семантика словообразовательного аффикса, вводящего производимое слово в системное отношение с производными словами соответствующих, находящихся во взаимодействии, разрядов;
- г) смысловая словопроизводная связь между производящей основой и производными элементами (что особенно важно учитывать в тех случаях, когда производящая основа имеет несколько значений);
- д) звуковой состав производящей основы;
- е) звуковой состав словообразовательного форманта, то есть аффикса [Там же, с. 13].

Таким образом, М. М. Хусаинов разработал понятие поликомпонентной модели, в которую входят как формальные, так и семантические признаки. К сожалению, перспективные идеи этого исследователя не получили дальнейшего развития в тюркологии.

В трудах специалистов в области русской дериватологии разрабатывались вопросы, связанные со словообразующими возможностями слов (словообразовательным (деривационным) потенциалом слов) [Резанова, 1983; Свечкарева, 2006].

Отмечалось, что понятие «потенциал» не получило однозначного научного определения: «Так, исследователи выделяют потенциалы лексический, семантический, словообразовательный и др., не имеющие в литературе однозначной интерпретации» [Свечкарева, 2006, с. 15]. В применении к единицам словообразования выделяют широкое и узкое понимание словообразовательного (деривационного) потенциала. «Широкое понимание связано со словообразовательной системой языка, обладающей совокупностью словообразовательных ресурсов, благодаря которым язык развивается. <...> Он (словообразовательный потенциал) складывается из многообразия мотивирующих единиц, способов и средств деривации, взаимодействующих друг с другом. <...> Словообразовательный потенциал в узком смысле – это деривационные возможности отдельного элемента словообразовательной системы» [Там же, с. 15]. Отмечается, что на словообразовательный потенциал влияют следующие факторы: «стилистическая окраска, широта сочетаемости, частеречная характеристика слова, его частота употребления, культурная разработанность слова и связь слова с целенаправленной деятельностью человека, с важными явлениями для жизни и безопасности человека» [Там же].

Соглашаясь с исследователями, добавим, что словообразовательный потенциал слова как вершины словообразовательного гнезда влияет на его развитие. Также ясно прослеживается связь между лексико-семантическими разрядами производящих слов и семантикой производных единиц. Мы исходим из мнения, что на особенности семантики производных слов влияет принадлежность производящего слова к определенной лексико-семантической группе. Большое значение имеет также состав семемы производящей основы [Васильева, 2014, с. 215].

Приведем словарную статью прилагательного *хара*, представленную в «Хакасско-русском словаре» [2006, с. 805–806]. Авторы словаря выделили пять значений для прилагательного *хара*: «1) черный, темный; 2) употр. для обозначения оттенков цвета и масти животных; *хара ат* в знач. сущ. вороной; ... 3) употр. для образования сложных терминов; *хара ортек* зоол. турпан; ... 4) перен. употр. для обозначения отриц., злые духи, нечисть; *таг харазы* горные (злые) духи; ... 5) употр. для образования формы усиления; *хара пасхачыл* очень странный...» [Там же, с. 805–806]. Такая подача материала не отображает подлинную структуру семемы прилагательного *хара* ‘черный’, значительно редуцируя ее. Кроме этого, в словарную статью прилагательного включены сложные производные, которые являются самостоятельными словами, а не его значениями. Рассмотрение семантических особенностей производных, образованных от основы *хара*, дает возможность установить те мотивирующие значения, которые не отражены в словаре или не сохранились в современном хакасском языке. Это важно для хакасского исторического словообразования, лексикологии и этимологии.

Отнесенность слова к колоративам позволяет предположить, что на его базе возможно (ожидаемо) образование прилагательных со значением неполноты и интенсивности цветового признака, диминутивного прилагательного, сложных прилагательных, сложных существительных, глагола со значением проявления цвета. Основы производных глаголов как в чистом виде, так и через залоговые трансформации служат базой для создания имен действия, которые, в свою очередь, далее могут наращиваться словообразовательными аффиксами со значением наличия, местонахождения. В таблице представлены типы значений производных слов, образованных путем словообразовательной аффиксации.

Проиллюстрируем таблицу примерами. На базе прилагательного *хара* образован глагол *хара=л* ‘чернеть’, ‘темнеть’, который, в свою очередь, служит основой для производства названия опредмеченного состояния, существительного *харалыс* ‘чернота’, ‘темнота’, и названия предмета *хара=л=ды* ‘навес, тент (от солнца или непогоды)’ [Левитская и др., 1997, с. 298–299]. Отмечается, что при помощи этого аффикса образуются непереходные глаголы [Erdal, 1991, p. 499]. Основы существ-

вительных служат базой для образования прилагательных наличия *харалыс=тыг* 'имеющий черноту', 'имеющий темноту', *хара=л=ды=лыг* 'имеющий навес, тент' и прилагательных местонахождения *хара=л=ыс=тагы* 'находящийся в черноте', 'находящийся в темноте', *хара=л=ды=дагы* 'находящийся на навесе, тенте'. Также этот глагол послужил базой для образования залоговых производных, в частности, в словаре отмечены каузатив *харалт*= 1) 'чернить', 2) 'зачернить, замазать, заштриховать что-л.', 3) 'очернить, оклеветать, несправедливо обвинять'; на его базе при помощи орудийного аффикса *=хыс* было образовано слово *харалтхыс* 'краска (полученная из ржавчины железа и используемая для чернения обуви)', интенсив *хара=л=ыс* 'темнеть, чернеть'.

Типы значений аффиксальных производных,
образованных от основы *хара* 'черный'
Types of meanings of affixal derivatives,
formed from the base *khara* 'black'

Характеристика производных основ	Семантические особенности производных		
	проявление цвета, признака	неполнота	уменьшительность
Частеречная принадлежность производных основ	Глагол	Прилагательное	Прилагательное
Тип значений производных	Орудийность, наличие, локативность	При субстантивации: наличие, локативность	Усилительность, при субстантивации: наличие, локативность

Прилагательные со значением неполноты образованы путем присоединения аффиксов *=мдых*, *=мзых*: *хара=мдых* / *хара=мзых* 'черноватый', 'темноватый'. При их субстантивации возможно появление таких производных, как *хара=мдых=тагы* / *хара=мзых=тагы* 'находящийся у черноватого', 'находящийся у темноватого'. В случае потребности выразить необходимое значение возможны производные наличия типа *хара=мдых=тыг* / *хара=мзых=тыг* со значениями 'имеющий черноватое', 'имеющий темноватое'.

Диминутивное прилагательное *харацах* 'черненький', 'темненький' при частичной и полной редупликации выражает усилительность: *харацах-харацах* 'очень черненький', 'очень темненький', *хап-харацах* с таким же значением. При переходе в разряд существительных потенциально возможно выражение смысла локативности и наличия.

Следует отметить, что этимологи не исключают возможности существования глагольных основ *кар*= 'чернеть' (Э. В. Севортян, Б. И. Татаринцев) и *кара*=, семантически близкой к *кар*= (Б. И. Татаринцев): «В ЭСТЯ отмечена фиксация в некоторых источниках глагольной основы *кар*= 'чернеть' и высказано предположение о том, что *кара* – отглагольное имя с аффиксом *=а*, что вполне обоснованно. В плане подтверждения указанной версии представляет интерес тувинское *караш* – “образоподражание мелькнувшему... темному предмету”, употребляемое в качестве компонента сложных подражательных глаголов. Подражательная основа *караш* – отглагольное образование того же характера, что и тофаларские формы с конечным *=с*. <...> Можно полагать, что существовала и глагольная основа *кара*=, соотносительная с *кара* 'черный, темный' и семантически близкая или тождественная *кар*= 'чернеть'» [Татаринцев, 2004, с. 101]. Возможно, что

и хакасское слово *харасхы* «1. 1) темнота, тьма; мрак; 2) сумерки, сумрак; 2. 1) темный; ... 2) *перен.* неграмотный, необразованный; ... 3. темно» [Хакасско-русский словарь, 2006, с. 809] было образовано от подобной основы *харас*=, не сохранившейся в чистом виде в современном хакасском языке. Связь с основой *хара*, очевидно, имеет слово *хара=ган* ‘кизильник’: «*Қараган* образовано по модели, используемой для наименования растений и животных в тюркских и чаще монгольских языках: производящая основа + аффикс =ган, =гана (ср. монг. *хар-гана* ‘карагана’, *алгана* ‘окунь’, бур. *хулгана* ‘мышь’, *улаагана* ‘красная смородина’); *қараган* – производное от *қара* ‘черный’» [Левитская и др., 1997, с. 294].

С прилагательным *хара* ‘черный’ диахронно связаны слова *хараа* ‘ночь’ (оно послужило базой для производства относительного прилагательного *хараа=гы* ‘ночной’, от которого, в свою очередь, возникло наречие *хараагызын* ‘ночью’) и кызыльское диалектное слово *харачы* ‘зрачок’, которое предположительно образовано путем сочетания основы *хара* и диминутивного аффикса =чы [Там же, с. 296].

Перейдем к рассмотрению аналитических производных, содержащих в своем составе компонент *хара*. Производные слова аналитической структуры представляют большое разнообразие в номинативном плане.

С одной стороны, выделяется группа сложных прилагательных со значениями интенсивности, обозначающими оттенки цветов.

Прилагательные со значением интенсивности цветового признака образуются путем частичной и полной редупликации основы: *хап-хара*, *хара-хара* ‘очень черный’, ‘очень темный’.

Сложные прилагательные: *хара көк* ‘темно-синий’ (*көк* ‘синий’), *хара-күрең* ‘темно-коричневый’ (*күрең* ‘коричневый’), *хара пора* ‘темно-серый’ (*пора* ‘серый’), *хара торыг* ‘темно-гнедой’ (*торыг* ‘гнедой’), *хара халтар* ‘темно-мухортый’ (*халтар* ‘мухортый’), *харой* ‘серый (о масти лошади)’ (*ой* ‘буланый’). Приведенные наименования позволяют говорить об участии в процессе словосложения семы ‘темный’.

Наименования смешанных оттенков передают прилагательные *хара хасха* ‘черно-лысый (о масти)’ (*хасха* ‘белолобый, имеющий белое пятно на лбу’); *чылтың хара* 1) ‘вороной’, 2) ‘блестяще черный (о ткани и т. п.)’ (компонент *чылтың* в современном хакасском языке самостоятельно не употребляется, но, принимая во внимание особенности семантики, предположительно связан с глаголами *чылтыра*= ‘блестеть, сверкать’, *чылтыңна*= ‘сверкать, поблескивать’).

Основа прилагательного *хара* в качестве первого компонента сложных слов участвовала в создании сложных существительных, называющих людей, живые и мифические существа, объекты растительного мира, объекты природы, названия продуктов, мест, времени (периода).

Приведем примеры.

Наименование человека: *хара пас* ‘черноголовый, представитель азиатского народа’ (*пас* ‘голова’).

Наименования живых существ: а) птицы: *хара хус* ‘орел’ (разновидность: *тас пастыг хара хус* ‘черный орел’, компонент *хус* переводится как ‘птица’), *хара сабан* ‘самец глухаря’, *хара тас* ‘черный дятел’, *хара өртек* ‘турпан’ (*өртек* ‘утка’), *хара пахтар* кыз. ‘скворец’, *хара турна* ‘черный аист’ (*турна* ‘журавль’), *хара хас* ‘баклан’ (*хас* ‘гусь’), *хара хайлах* ‘черная крачка’ (*хайлах* ‘чайка’), *хара хорды* ‘черный аист’ (*хорды* саг. ‘цапля’), *хара палыхчы* ‘баклан большой’ (*палыхчы* ‘рыбак’); б) животные: *хара түлгү* ‘черно-бурая лиса’ (*түлгү* ‘лиса’), *хара паар* ‘хомяк’ (*паар* ‘печень’), *хара хузурух* горноста́й (*хузурух* ‘хвост’); в) рыбы: *хара палых* ‘линь’ (*палых* ‘рыба’); г) насекомые: *хара хурт* жук (*хурт* ‘червь’), *хара сеек* ‘домовая муха’ (*сеек* ‘муха’), *хара хоос* ‘жук-долгоносик’ (*хоос* ‘жук’); д) пресмыкающиеся: *хара чылан* ‘уж обыкновенный’ (*чылан* ‘змея’).

Наименования растений: *хара пугдай* ‘гречиха’ (*пугдай* ‘пшеница’), *хара сарып* ‘ракита’ (*сарып* ‘кустарник’), *хара сіген* ‘полынь’ (*сіген* ‘сухой стебель травы’), *хара хазың* ‘ольха’ (*хазың* ‘береза’), *хара от* ‘полынь-черная лапка’ (*от* ‘трава’), *хара тоо* ‘вид боярышника’ (*тоо* ‘боярышник’), *хара тал* ‘чернотал’ (*тал* ‘ива’), *харагат* ‘смородина’ (*хат* устаревшее ‘ягода’).

Названия объектов природы: *хара суғ* ‘ключ, источник, родник’ (наименование ключа мотивировано не цветом, а местом, землей, т. е. «вода, выходящая из земли» [Сравнительно-историческая грамматика..., 2001, с. 594]), *хара тас* ‘каменный уголь’ (*тас* ‘камень’), *хара тобырах* ‘чернозем’ (*тобырах* ‘земля’, ‘почва’, ‘грунт’), *хара чир* ‘чернозем’ (*чир* ‘земля’).

Названия продуктов: *хара ит* ‘постное мясо’ (*ит* ‘мясо’), *хара чей* ‘незабелённый чай (без примеси молока)’ (*чей* ‘чай’).

Название места: *хариб* ‘тюрьма’ (*иб* ‘юрта’).

Название праздника: *Хара нымырха* ‘Родительский день’ (*нымырха* ‘яйцо’).

Название периода: *хара хогын* ‘время, когда мелеют реки (середина лета)’ (слово *хогын*, очевидно, связано отношениями производности с глаголом *хох* = ‘убывать, спадать (о воде)’, =*ын* – аффикс словообразования существительных). Основа *хара* в данном случае является носителем значения усиительности.

Если принять во внимание семантические особенности компонентов сложных слов, подвергающихся этимологизации, то оказывается, что большая часть производных (26 слов) была мотивирована схожестью объекта номинации с другим объектом. Малая часть производных (4 слова) появилась в результате переноса часть → целое. Это соотношение говорит о продуктивности семантического переноса, основанного на принципе схожести признаков у участников номинативного процесса.

Названия натурфактов и биофактов потенциально могут послужить основой для создания производных глаголов со значением ‘собирать обозначенный объект’, ‘охотиться на обозначенный объект’, например, *хара тоола* = ‘собирать боярышник’, *хара хуста* = ‘охотиться на орла’, но в хакасско-русском словаре представлены только производные от слова *харагат* ‘черная смородина’: *суғ харагады* 1) ‘черная смородина’, 2) ‘морoshка’ (*суғ* ‘вода’); *тағ харагады* 1) кач. ‘черная смородина’, 2) саг. ‘крыжовник’ (*тағ* ‘гора’); *хайа харагады* ‘крыжовник’ (*хайа* ‘скала’); *харагатта* = ‘собирать смородину’. Существительные – названия ягод мотивированы местом произрастания, на что указывают слова *суғ* ‘вода’, *тағ* ‘гора’, *хайа* ‘скала’. Таким образом, можно сказать, что при возможности выразить словообразовательными средствами понятия ‘собирать обозначенный объект’, ‘охотиться на обозначенный объект’ в словаре получило отражение наиболее типичное и распространенное действие *харагатта* = ‘собирать смородину’.

Принимая во внимание особенности значений производных слов аффиксального и аналитического типов, образованных с участием основы *хара*, и данные этимологии, можно представить структуру лексического значения данного прилагательного в хакасском языке следующим образом (выделены отсутствующие в хакасско-русском словаре значения):

- 1) черный;
- 2) темный;
- 3) **смуглый, темнокожий**;
- 4) вороной;
- 5) **крупный**;
- 6) **голый**;
- 7) **простой**;
- 8) **большой, обильный** (значение интенсивности);
- 9) **дурной, злой**.

Также, кроме прилагательного *хара*, следует выделять существительное *хара* с первоначальным значением ‘суша, земля, материк’, от которого на основе семантического переноса отщепилось значение ‘злой дух’ (ср. сложное слово *таг харазы* ‘горные (злые) духи’, букв.: ‘гора + темное=ее’, построенное на основе изафетной связи). Исследователи отмечают по этому поводу следующее: «Значение “злой дух” вряд ли метафорически выводится из “черный”, “темный” или “мрачный”, скорее, это метонимический перенос с значения “земля”: “земля как место обитания и владения злого духа, подземное царство злого духа” → “злой дух”. Значения “злой, жестокий”, “злосчастный, несчастливый”, “хула, клевета” следует, вероятно, интерпретировать как признаки и деяния злого духа; того, что им или с его помощью насылается на человека – характер, судьба или оговор. Если связь “земля” – “злой дух” верна, то распространенность по тюркским языкам значений рассматриваемой группы, которые можно предполагать как семантически производные (переносные) от “злой дух”, указывает на общетюркский и, следовательно, очень древний, домусульманский и добуддийский, характер представления о злом духе» [Сравнительно-историческая грамматика..., 2001, с. 595]. Земля в традиционном мировоззрении хакасов являлась местом, где обитали вредящие людям духи разного вида во главе с их предводителем Ирлік-ханом [Бурнаков, 2006, с. 69].

Большое влияние на формирование переносных значений у слов – наименований цвета и, как следствие этого, образование производных слов на базе таких значений оказала символика цвета в культуре и мировоззрении народа. А. Н. Кононов отмечает, что черный цвет у тюрков, как и у многих других народов, символизировал темную (северную) сторону небосклона, севера, связывался с теневой стороной и ночью [Кононов, 1978, с. 165–166]. Согласно сведениям, записанным этнографами в среде хакасов, черный цвет является одной из характеристик нижнего мира (наряду с пестрым, бледным и желтым цветами): «В нижнем мире есть горы, бездонные моря, водоемы, наполненные слезами или черной водой» [Львова и др., 1988, с. 95]. Также черный цвет связан с ночью, низом, отрицательным началом [Там же, с. 96]. Ночь, в свою очередь, представлялась как время действия темных сил [Бурнаков, 2006, с. 83]. Эти представления мотивировали создание производных единиц *харан* ‘дух, темная сила’, *хара ұзұт* ‘злая душа умершего’, ‘нечисть’ (ср. слово с противоположным смыслом *ах ұзұт* ‘добрая душа умершего’, очевидно противопоставление компонентов *хара* с переносным значением ‘злой’ и *ах* с переносным значением ‘добрый’). Таким образом, в хакасских производных словах, образованных при участии компонента *хара*, получили отражение очень древние представления народа о символике черного цвета мировоззренческого характера.

Анализ производных слов, образованных от основы *хара*, позволяет сделать следующие выводы.

- Прослеживается связь между семантикой производящего прилагательного и производных от него единиц. Отнесенность слова *хара* ‘черный’ к колоративам обусловила появление аффиксальных производных со значением неполноты и интенсивности цветового признака, диминутивного прилагательного, сложных прилагательных, несущих цветовую характеристику, глагола со значением проявления цветового признака.
- Выявлены слова, диахронно связанные с рассматриваемой основой (*харасхы* ‘темнота’, ‘сумерки’, *хараган* ‘кизильник’, *хараа* ‘ночь’, *харачы* ‘зрачок’). Также анализ производных единиц, образованных при участии основы *хара*, дал возможность выделить шесть значений, не отмеченных в словаре.
- Аналитические производные представлены прилагательными и существительными. Сложные прилагательные выражают интенсивность цветового признака и служат для обозначения смешанных оттенков. Сложные существительные

с первым компонентом *хара* называют преимущественно конкретные объекты: живые и мифические существа, растения, объекты природы, разновидности продуктов, место (строение). Только два слова обозначают праздник и период времени. Названия растений и животных могут служить основой для создания глаголов со значениями 'собирать обозначенное растение', 'охотиться на обозначенное животное'.

На формирование производных единиц на базе переносных значений рассматриваемого прилагательного оказала влияние символика цвета в культуре и мировоззрении народа. Черный цвет связывался с темной стороной, севером, ночью, нижним (подземным) миром. Благодаря этой символичности появились производные слова *харан* 'дух, темная сила', *хара үзүт* 'злая душа умершего'.

Список литературы

- Антонов Н. К.* Именное словообразование в якутском языке: Автореф. ... канд. филол. наук. Л., 1952. 18 с.
- Бавуу-Сюрюн М. В.* Влияние монгольского языка на словообразовательную систему тувинского языка // Казань и алтайская цивилизация: 50-я ежегод. междунар. науч. алтаистическая конф., Казань, 1–6 июня 2007 г.: Тр. и материалы / Под общ. ред. З. Г. Нигматова. Казань: Идел-Пресс, 2007. С. 27–29.
- Бавуу-Сюрюн М. В.* Современные словообразовательные процессы, обусловленные языковыми контактами (на материале тувинского языка) // Сибирский филологический журнал. 2015. № 2. С. 114–123.
- Бурнаков В. А.* Духи среднего мира в традиционном мировоззрении хакасов. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2006. 208 с.
- Васильева Е. В.* Словообразовательный потенциал многозначных прилагательных в сфере производства имен лиц // Сибирский филологический журнал. 2014. № 4. С. 215–219.
- Грамматика современного алтайского языка. Морфология / Под ред. И. А. Невской. Горно-Алтайск, 2017. 576 с.
- Есипова А. В.* Теоретические проблемы словообразования в тюркских языках: На материале шорского языка: Автореф. ... д-ра филол. наук. М., 2011а. 50 с.
- Есипова А. В.* Тюркское словообразование как языковая система. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2011б. 198 с.
- Зайнуллин М. В., Тихонов А. Н.* Проблемы теории тюркского словообразования // Тюркология-88. Фрунзе: Илим, 1988. С. 180–181.
- Иванова И. Б.* Аффиксальное именное словообразование в современном якутском языке (на материале отглагольных имен существительных): Автореф. ... канд. филол. наук. Якутск, 2011. 22 с.
- Колесникова А. В.* Аффиксальное глаголообразование в алтайском языке в сопоставлении с древнетюркским языком: Автореф. ... канд. филол. наук. Новосибирск, 2004. 28 с.
- Кононов А. Н.* Семантика цветообозначений в тюркских языках // Тюркологический сборник – 1975. М.: Наука, 1978. С. 159–179.
- Левитская Л. С., Дыбо А. В., Рассадин В. И.* Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские лексические основы на буквы «К» (~ «Г») и «Қ» (~ «Ң» ~ «К»). Вып. 1 / Отв. ред. Г. Ф. Благова. М.: Языки русской культуры, 1997. 368 с.
- Львова Э. Л., Октябрьская И. В., Сагалаев А. М., Усманова М. С.* Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. Новосибирск: Наука, 1988. 225 с.

Резанова З. И. Словообразующие возможности существительного (на материале современного русского литературного языка): Автореф. ... канд. филол. наук. Томск, 1983. 20 с.

Свечкарева Я. В. О деривационном потенциале слова как языковой категории // Вестн. Том. гос. ун-та. Бюл. оперативной науч. информации. 2006. № 111. С. 15–17.

Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Лексика / Отв. ред. Э. Р. Тенишев; Ин-т языкознания РАН. М.: Наука, 2001. 822 с.

Сувандиш Н. Д. Тувинская антропонимия. Кызыл, 2011. 153 с.

Тараканова И. М. Словообразование имен существительных в хакасском языке (в сопоставительном аспекте). Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2008. 174 с.

Тараканова И. М. Диминутивы в хакасском языке. Абакан: Сервисный пункт, 2011. 116 с.

Татаринцев Б. И. Этимологический словарь тувинского языка. Новосибирск: Наука, 2004. Т. 3: К, Л. 440 с.

Тугужекова Т. Н. Сочетаемость прилагательного *синий* с существительными, называющими человека, в русском языке // Вестн. Хакас. гос. ун-та. Сер. 5. 2007. вып. 8. С. 12–15.

Тугужекова Т. Н. Прилагательное желтый и его сочетаемость с существительными, называющими человека в русской языковой картине мира // Язык, культура, коммуникация: аспекты взаимодействия: Науч.-методический бюл. / Отв. ред. И. В. Пекарская. Абакан: Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2009. Вып. 5. С. 135–147.

Тугужекова Т. Н. Морфологические особенности прилагательного *хызыл* в хакасском языке // Научное обозрение Саяно-Алтая. 2015. № 2. С. 37–40.

Убрятова Е. И. Парные слова в якутском языке // Язык и мышление. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. Вып. 2. С. 297–328.

Убрятова Е. И. Удвоение основы слова в якутском языке // Убрятова Е. И. Избр. тр. Исследования по тюркским языкам / Отв. ред. Н. Н. Широкова. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2011. С. 211–218.

Хакасско-русский словарь = Хакас-орыс сөстүк. Ок. 22 000 слов / М-во образования и науки Респ. Хакасия, Хакасский науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории; под общ. ред. О. В. Субраковой. Новосибирск: Наука, 2006. 1111 с.

Хусаинов М. М. О природе словообразовательных моделей // Советская тюркология. 1975. № 3. С. 10–19.

Erdal M. Old Turkic Word-Formation. A Functional Approach to Lexicon: In 2 vols. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1991. Vol. 2. 874 p.

Список использованных языков и диалектов

Бур. – бурятский язык; **кач.** – качинский диалект хакасского языка; **монг.** – монгольский язык; **саг.** – сагайский диалект хакасского языка.

I. M. Chebochakova

Khakas Research Institute of Language, Literature and History
Abakan, Russian Federation
irina.chebochakova@mail.ru

Features of derived units formed from the stem of adjective *khara* “black” in the Khakas language

The paper analyzes the derivatives formed from the stem of adjective *khara* “black” in the structural-semantic aspect. The relatedness of word *khara* “black” to color words leads

to the formation of adjectives with the meaning of incompleteness and intensity of a color characteristic, diminutive adjective, compound adjectives with meanings of intensity, which are used to convey shades of colors, compound nouns, and a verb with the meaning of a color's development degree. Analytical derivatives are represented by adjectives and nouns. Compound adjectives express the intensity of a color trait and are used to denote mixed shades. Compound nouns with the first component *khara* name mainly specific objects: living and mythical creatures, plants, objects of nature, kinds of products, place (building). Only two words denote a holiday and a period of time. Names of plants and animals can serve as a stem for the formation of verbs with meanings "to collect the designated plant," "to hunt the designated." The symbolism of colors in the people's culture and worldview has influenced on the formation of figurative meanings of words naming colors and, as a consequence, on the formation of derivative words on the basis of such meanings. Black color was associated with the dark side, the North, night, lower (underground) world. Derivatives *khara* "a spirit, dark power," *khara uzut* "a dead's evil soul" appeared due to this symbolism. Thus, Khakas derivatives, formed with the participation of component *khara*, reflect ancient ideas about the symbolism of black color.

Keywords: Khakas language, word formation, adjectives, derivatives, word-formation family.

DOI 10.17223/18137083/68/17

References

- Antonov N. K. *Imennoye slovoobrazovaniye v yakutskom yazyke* [Word-formation of nomina in Yakut language]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Leningrad, 1952, 18 p.
- Bavuu-Syuryun M. V. Sovremennyye slovoobrazovatel'nyye protsessy, obuslovlennyye yazykovymi kontaktami (na materiale tuvinskogo yazyka) [Modern word-formation processes, conditioned by language contacts (on the material of Tuvan language)]. *Siberian Journal of Philology*. 2015, no. 2, pp. 114–123.
- Bavuu-Syuryun M. V. Vliyaniye mongol'skogo yazyka na slovoobra-zovatel'nyuyu sistemu tuvinskogo yazyka [The influence of Mongolian language on the word-formation system of the Tuva language]. In: *Kazan' i altayskaya tsivilizatsiya: 50-ya yezhegodnaya mezhdunarodnaya nauchnaya altaicheskaya konferentsiya, Kazan', 1–6 iyunya 2007 g. Trudy i materialy* [Kazan and the Altai civilization: the 50th annual intern. sci. altaistic conf., Kazan, June 1–6, 2007: Proc. and materials]. Z. G. Nigmatov (Ed.). Kazan', Idel-Press, 2007, pp. 27–29.
- Burnakov V. A. *Dukhi srednego mira v traditsionnom mirovozzrenii khakasov* [The spirits of the average world in the traditional world view of the Khakas]. Novosibirsk, IAET SB RAS Publ., 2006, 208 p.
- Erdal M. *Old Turkic word-formation. A functional approach to lexicon: In 2 Vols. Vol. 2*. Wiesbaden, Otto Harrassovitz, 1991, 874 p.
- Esipova A. V. *Teoreticheskiye problemy slovoobrazovaniya v tyurkskikh yazykakh: na materiale shorskogo yazyka* [Theoretical problems of word formation in Turkic languages: on the material of the Shor language]. Abstract of Dr. philol. sci. diss. Moscow, 2011, 50 p.
- Esipova A. V. *Tyurkskoye slovoobrazovaniye kak yazykovaya sistema* [Turkic word formation as a language system]. Novosibirsk, SB RAS Publ., 2011, 198 p.
- Grammatika sovremennogo altayskogo yazyka. Morfologiya* [Grammar of the modern Altai language. Morphology]. I. A. Nevskaya (Ed.). Gorno-Altaysk, 2017, 576 p.
- Ivanova I. B. *Affiks'al'noye imennoye slovoobrazovaniye v sovremennom yakutskom yazyke (na materiale otglagol'nykh imen sushchestvitel'nykh)* [Affixed nominal word formation in the modern Yakut language (based on verbal nouns)]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Yakutsk, 2011, 22 p.
- Khakassko-russkiy slovar' Ok. 22 000 slov* [Khakas-Russian dictionary about 22 000 words]. Khakas Research Inst. of Language, Literature and History; O. V. Subrakova (Ed.). Novosibirsk, Nauka, 2006, 1111 p.
- Khusainov M. M. O prirode slovoobrazovatel'nykh modeley [On the nature of word-formation models]. *Soviet Turkology*. 1975, no. 3, pp. 10–19.
- Kolesnikova A. V. *Affiks'al'noye glagoloobrazovaniye v altayskom yazyke v sopostavlenii s drevnetyurkskim yazykom* [Affixed verbal formation in the Altai language in comparison with the ancient Türkic language]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Novosibirsk, 2004, 28 p.

- Kononov A. N. Semantika tsvetoooboznacheniy v tyurkskikh yazykakh [Semantics of colors in Turkic languages]. In: *Tyurkologicheskiy sbornik – 1975* [The Turkological collection – 1975]. Moscow, Nauka, 1978, pp. 159–179.
- Levitskaya L. S., Dybo A. V., Rassadin V. I. *Etimologicheskiy slovar' tyurkskikh yazykov. Obshchetyurkskiye i mezhtyurkskiye leksicheskiye osnovy na bukvy "K" (~ "G") i "K" (~ "J" ~ "K")*. Vyp. 1 [Etymological dictionary of Turkic languages. Common Turkic and inter-Turkic lexical bases on the letters "K" (~ "G") and "K" (~ "J" ~ "K"). Iss. 1]. G. F. Blagova (Ed.). Moscow, LRC Publ. House, 1997, 368 p.
- L'vova E. L., Oktyabr'skaya I. V., Sagalayev A. M., Usmanova M. S. *Traditsionnoye mirovozzreniye tyurkov Yuzhnoy Sibiri. Prostranstvo i vremya. Veshchnyy mir* [The traditional world view of the Turks of Southern Siberia. Space and time. Real world]. Novosibirsk, Nauka, 1988, 225 p.
- Rezanova Z. I. *Slovoobrazuyushchiye vozmozhnosti sushchestvi-tel'nogo (na materiale sovremennoy russkoy literaturnoy yazyka)* [Word-forming abilities of the noun (based on the material of the modern Russian literary language)]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Tomsk, 1983, 20 p.
- Sravnitel'no-istoricheskaya grammatika tyurkskikh yazykov: Leksika* [Comparative-historical grammar of Turkic languages. Vocabulary]. E. R. Tenishev (Ed.). Moscow, Nauka, 2001, 822 p.
- Suvandii N. D. *Tuvinskaya antroponimiya* [Tuvan anthroponymy]. Kyzyl, 2011, 153 p.
- Svechkareva Ya. V. *O derivatsionnom potentsiale slova kak yazykovaya kategoriya* [On the derivational potential of a word as a language category]. *Tomsk State University Journal*. 2006, no. 111, pp. 15–17.
- Taranova I. M. *Diminutivy v khakasskom yazyke* [Diminutives in the Khakas language]. Abakan, Servisnyy punkt, 2011, 116 p.
- Taranova I. M. *Slovoobrazovaniye imen sushchestvitel'nykh v khakasskom yazyke (v сопоставител'nom aspekte)* [Word formation of nouns in Khakas language (in comparative aspect)]. Abakan, Khakas. kn. izd, 2008, 174 p.
- Tatarintsev B. I. *Etimologicheskiy slovar' tuvinskogo yazyka* [Etymological dictionary of Tuvan language.]. Novosibirsk, Nauka, 2004, vol. 3, 440 p.
- Tuguzhekova T. N. Morfologicheskiye osobennosti prilagatel'nogo khyzyl v khakasskom yazyke [Morphological features of the adjective khyzyl in the Khakas language]. *Sayan-Altay Scientific Review*. 2015, no. 2, pp. 37–40.
- Tuguzhekova T. N. Prilagatel'noye zheltyy i ego sochetayemost' s sushchestvitel'nyimi, nazyvayushchimi cheloveka v russkoy yazykovoy kartine mira [Adjective yellow and its compatibility with nouns, who call the person in the Russian language picture of the world]. In: *Yazyk, kul'tura, kommunikatsiya: aspekty vzaimodeystviya: Nauch.-metodicheskiy byul. Vyp. 5* [Language, culture, communication: aspects of interaction: scientific and methodological bulletin. Iss. 5]. I. V. Pekarskaya (Ed.). Abakan, Khakas State Univ. Publ., 2009, pp. 135–147.
- Tuguzhekova T. N. Sochetayemost' prilagatel'nogo siniy s sushchestvitel'nyimi, nazyvayushchimi cheloveka, v russkom yazyke [Compatibility of the adjective blue with nouns that call a person in Russian]. *Vestnik Khakasskogo gosudarstvennogo universiteta im. N. F. Katanova*. 2007, ser. 5, iss. 8, pp. 12–15.
- Ubryatova E. I. Parnyye slova v yakutskom yazyke [Paired words in the Yakut language]. In: *Yazyk i myshleniye. Vyp. 2* [Language and thinking. Iss. 2]. Moscow, Leningrad, AN SSSR, 1948, pp. 297–328.
- Ubryatova E. I. Udvoeniye osnovy slova v yakutskom yazyke [Doubling the foundations of a word in the Yakut language]. In: Ubryatova E. I. *Izbr. tr. Issledovaniya po tyurkskim yazykam* [Selected Works. Studies on the Turkic languages]. N. N. Shirobokova (Ed.). Novosibirsk, Editorial and Publ. Center of NSU, 2011, pp. 211–218.
- Vasil'yeva Ye. V. Slovoobrazovatel'nyy potentsial mnogoznachnykh prilagatel'nykh v sfere proizvodstva imen lits [Word-formation potential of many-valued adjectives in the sphere of the production of person names]. *Siberian Journal of Philology*. 2004, no. 4, pp. 215–219.
- Zaynullin M. V., Tikhonov A. N. Problemy teorii tyurkskogo slovoobrazovaniya [Problems of the theory of Turkic word formation]. In: *Tyurkologiya-88* [Turkology-88]. Frunze, Ilim, 1988, pp. 180–181.

С. В. Мирзаева

Калмыцкий научный центр РАН, Элиста

**О буддийской терминологии
монгольских и ойратских переводов
«Царя молитв-устремлений» («Бхадрачарья»)**

Рассматривается буддийская терминология монгольского и ойратского языков, представленная в текстах известного переводного сочинения «Царь молитв-устремлений» («Бхадрачарья»). Это сочинение было переведено с санскрита на тибетский в VIII–IX вв., а затем – с тибетского на монгольский и ойратский языки в период активного распространения буддизма в Монголии в XVI–XVII вв. На материале тибетского, монгольского и ойратского текстов автор, используя сравнительно-текстологический метод, анализирует буддийские термины, выделяет следующие лексические группы: антропонимы, топонимы, понятия буддийской мифологии, философские термины. В монгольской и ойратской версиях сочинения автором отмечен ряд заимствований из санскрита, уйгурского, китайского, тохарского языков. Сравнительный анализ монгольского и ойратского переводов показывает, что для монгольского текста характерно более активное использование уйгурских форм санскритских слов, в то время как переводчик ойратского текста старается восстановить оригинальную санскритскую форму слова. В ойратском тексте отмечается более строгое следование тибетскому оригиналу: каждый тибетский термин имеет лишь один перевод в ойратском, тогда как в монгольской версии одно и то же тибетское слово может быть переведено по-разному.

Ключевые слова: «Царь молитв-устремлений» («Бхадрачарья»), буддийская лексика, монгольский перевод, ойратский перевод.

Неотъемлемую часть средневековой монгольской литературы составляют переводные буддийские сочинения. Несмотря на общепринятое мнение о том, что буддизм попал к монголам из Тибета, среди ученых существуют альтернативные точки зрения относительно начала распространения буддизма среди монгольских народов: одни полагают, что монголы познакомились с буддизмом во время походов в Северный Китай ([Кучера, 1970; Златкин, 1983] и др.); другие придерживаются мнения о том, что знакомство монголов с буддизмом произошло через уйгуров в XIII–XIV вв. [Shogaito, 1991]. Академик Б. Я. Владимирцов отмечает, что «монголы... познакомились с буддизмом... еще при Чингисхане, а может быть, и ранее того. Монгольским племенам на заре их истории пришлось столкнуться с уйгурами, народом им родственным этнически, уйгуры были народом турецкого происхождения, живущими в условиях как оседлой, так и кочевой жизни».

Мирзаева Саглар Викторовна – научный сотрудник отдела монгольской филологии Калмыцкого научного центра РАН (ул. им. И. К. Илишкина, 8, Элиста, 358000, Россия; kundgabo@list.ru)

ни. <...> От них-то монголы и позаимствовали свои первые понятия о буддизме, который... был принят многими» [Владимирцов, 2005, с. 39]. А. Рона-Таш [Rona-Tas, 1965], Д. Кара [1972], Ш. Бира [1978], Г. Ц. Цыбиков [1981] и др. писали о том, что именно уйгурские буддийские учителя стали первыми наставниками монголов в постижении учения Будды.

Вместе с письменностью монголы позаимствовали и сложившуюся в уйгурском языке буддийскую терминологию. Несмотря на то, что, по предположениям многих ученых, уже в XII–XIV вв. в Монголии развивалась деятельность по переводу буддийских сочинений (см. [Успенский, 1988; Введение в изучение Ганчжура..., 1989; Ванчикова, 2016]¹), до нашего времени дошли лишь единичные тексты. В их числе можно назвать переводы «Бодхичарья-аватары» и «Панчараки» Чойджи-Одсэра, «Сутры золотого света», «Манджушри-намасамгити», «Лалитавистара-сутры» Шераб-сенге (Шаравсенге) и пр. В ходе своей работы переводчики пользовались и уйгурскими версиями, упоминание о чем содержится в колофоне монгольской версии «Сутры золотого света»: «Эту высочайшую, величественную и могучую златочистую книгу позже (т. е. после завершения тибетского перевода. – Д. К.) перевел с тибетских и уйгурских писаний на монгольский язык сакьяский монах Шераб-сенге...» (цит. по: [Кара, 1972, с. 22]). Кроме того, японский ученый М. Шогайто предполагает, что Шераб-сенге пользовался уйгурской версией и при переводе на монгольский «Лалитавистара-сутры», несмотря на то, что в самом тексте об этом упоминаний нет. Свой вывод исследователь обосновывает тем, что текст изобилует уйгурскими заимствованиями: в частности, вместо монгольского *köl* 'нога' используется уйгурское *adaq* [Shogaito, 1991, с. 30].

После падения династии Юань деятельность по переводу буддийских сочинений на монгольский язык практически прекратилась и возобновилась лишь в конце XVI в., когда среди монголов получил широкое распространение тибетский буддизм и в 1628–1629 гг. был осуществлен перевод с тибетского на монгольский язык Ганджура, а затем в 40-х гг. XVIII в. – Данджура, представляющие собой сборники тибето-монгольского буддийского канона. Буддийские переводы рубежа XVI–XVII вв., т. е. времени перевода Ганджура на монгольский язык, характеризуются отсутствием строгих принципов перевода, использованием большого количества уйгурских буддийских терминов. Техника, используемая переводчиками в сочинениях данного периода, описывается учеными как способ смыслового перевода [Монголын уран зохиолын тойм, 1976; Музраева, 2013]. Ко времени же перевода Данджура монгольскими учеными была проведена колоссальная работа по кодификации норм и принципов перевода буддийских терминов с тибетского на монгольский язык, для чего были составлены многочисленные лексикографические словари, в том числе словарь «Источник мудрецов» (монг. «Merged yaṅqu-yin oḡon») ². Буддийские сочинения данного периода, для которых характерен дословный перевод, отличаются строгим следованием тибетскому оригиналу как в плане синтаксиса, так и в плане морфологии, зачастую в ущерб строю монгольских языков. Техники смыслового и дословного перевода, которыми пользовались переводчики при переводе с тибетского на монгольский и ойратский языки, и их основная проблематика рассматриваются в работах А. Д. Цендиной [2001], Д. Н. Музраевой [2013; 2015].

В данной статье описывается буддийская терминология в монгольских и ойратских переводах сочинения «Царь молитв-устремлений» (санскр. «Ārya-bhadra-

¹ Некоторые ученые даже высказывают предположение о существовании монгольского перевода Трипитаки, осуществленного в перевод правления династии Юань [Shogaito, 1991, с. 30].

² Список использованных в статье языков: **монг.** – монгольский; **ойр.** – ойратский; **санскр.** – санскрит; **согд.** – согдийский; **тиб.** – тибетский.

cārya-pranidhāna-rāja»; тиб. «'Phags pa bzang po spyod pa'i smon lam gyi rgyal po»; монг. «Qutuq-tu sayin yabudal-un irüger-ün qayan»; ойр. «Xutuqtu sayin yabudaliyin iröliyin xān»). Это сочинение принадлежит к жанру *пранидхан* – своеобразных религиозных клятв или молитв [Корнеев, 2014], «молитв благопожелания» [Патрул Ринпоче, 2007].

«Царь молитв-устремлений» – произведение, созданное в Индии и получившее окончательное оформление в центральноазиатской буддийской литературе в виде заключительной части «Аватамсака-сутры», одного из ключевых текстов буддизма Махаяны [Торчинов, 2005, с. 71]. «Аватамсака-сутра» представляет собой собрание из двадцати двух сутр, в которых повествуется о девяти встречах Будды, прежде всего в облике Будды Вайрочаны, с бодхисаттвами и богами. «Царь молитв-устремлений» был переведен с санскрита на тибетский язык в VIII–IX вв. «индийским наставником Джинамитрой, лоцзавой банди Еше Де и др. Редакцию перевода осуществил великий редактор и лоцзава Вайрочана» (цит. по: [Корнеев, 2014, с. 113]). В Данджуре содержатся многочисленные комментарии на данный текст, составленные известными буддийскими мыслителями – Нагарджуной, Ланкабхадрой, Васубандху и др. [Цыбиков, 1981]. Кроме того, известны комментарии тибетских авторов – Джанджа Ролби Дордже, Гьялцаб Дарма Ринчена, Лочена Дхармашри, Адзома Гьялсе Гьюрмэ Дордже и др. На монгольский язык текст «Царя молитв-устремлений» впервые был переведен, скорее всего, в составе Ганджура, а затем получил распространение в виде отдельной сутры. Этот текст также очень популярен в современной буддийской традиции: тибетские буддисты читают его во время посвящения заслуг, а также во время похоронных обрядов. И. Шарле отмечает, что «во Внешней и Внутренней Монголии миряне просят монахов читать именно этот текст первым» [Charleaux, 2015, с. 375]. Кроме того, «Царь молитв-устремлений» представлен в традиции домашних молений калмыков, описанной в работах Э. П. Бакаевой [Bakaeva, 2010; Бакаева, 1994; 1998; 2004; 2011], Г. Ю. Бадмаевой [2010], Г. Б. Корнеева [2014; 2015] и др.

В статье нами использованы три текста «Царя молитв-устремлений»:

- тибетский текст «Bzang spyod smon lam bzhugs so» из молитвенного сборника «Bstod smon phyogs bsgrigs» («Сборник восхвалений и молитв-устремлений») (Bstod smon, 1959);
- монгольский текст «Qutuq-tu sayin yabudal-un irüger-ün qayan oruṣiba» из факсимильного издания ксилографического Ганджура (Qutuqtu sayin, 1979);
- фотокопия ойратского текста «Xutuqtu sayin yabudaliyin iröliyin xān oroṣiboï» из коллекции ламы Г. Ядамжава (сомон Манхан, Кобдоский аймак, Монголия) (Sayin yabudaliyin, колл. Г. Ядамжава).

Несмотря на популярность этого текста в традициях Тибета и Монголии, он еще не выступал объектом специального исследования. В работе мы хотим, используя сравнительно-текстологический метод, описать некоторые особенности буддийской терминологии на материале тибетского, монгольского и ойратского текстов «Царя молитв-устремлений».

Лексические заимствования в монгольском письменном языке рассматривались в публикациях Н. Н. Поппе [Poppe, 1955], М. Шогайто [Shogaito, 1991], Б. Я. Владимирцова [2005], А. Д. Коссе [2007] и др. Большую часть заимствований составляют санскритизмы, попавшие в монгольский из уйгурского языка. В уйгурский же эти термины попали также в искаженной форме из тохарского и согдийского языков, являвшихся в период формирования уйгурской буддийской литературы основными языками центральноазиатского буддизма. Некоторые принципы изменения санскритизмов под влиянием тохарского и уйгурского языков изложены в статье М. Шогайто [Shogaito, 1991].

Перед рассмотрением буддийской лексики стоит отметить, что «Царь молитв-устремлений» был переведен на монгольский, вероятнее всего, в составе Ганджу-

ра в XVI–XVII вв. (об истории формирования монгольского Ганджура см. [Алексеев, 2015; Ванчикова, 2016]). Ойратский перевод, авторство которого Г. Корнеев приписывает Зая-пандите Намкай Джамцо, был составлен позже, во второй половине XVII в. Поскольку монгольский и ойратский варианты составлены в разное время, для нас представляет особый интерес анализ монгольских и ойратских способов перевода ключевых понятий буддизма в синхронном и диахронном срезах, что позволит проследить историю формирования и развития буддийской терминологии в монгольских языках.

В тексте «Царя молитв-устремлений» в пласте буддийской лексики можно выделить следующие группы: антропонимы, или имена собственные; топонимы; понятия буддийской космологии и мифологии; буддийские философские понятия. В табл. 1 приведен список антропонимов.

Таблица 1

Антропонимы в монгольском и ойратском переводах

Table 1

Anthroponyms in Mongolian and Oirat translations

Буддийский антропоним	Перевод	
	монгольский	ойратский
<i>'Phags pa 'Jam dpal gzhon nu</i> 'Благородный юный Манджушри'	<i>Ori boluysan Mañjusri</i> 'Ставший юным Манджушри'	<i>Xutuqtu zalou Mañzuśri</i> 'Благородный юный Манджушри'
<i>Kun tu bzang</i> 'Всеблагой'	<i>Samantabadari</i> 'Самантабхадра'	<i>Samanta Bhadra</i> 'Самантабхадра'
<i>'Jam dpal</i> 'Манджушри'	<i>Mañjuśri</i> 'Манджушри'	<i>Mandzuśri</i> 'Манджушри'
<i>Snang ba mtha' yas / 'Od dpag med pa</i> букв. 'безграничный свет', 'Будда Амиабха'	<i>Abida burqan</i> 'Будда Амиабха'	<i>Amitabha burxan</i> 'Будда Амиабха'

В монгольском переводе имени Манджушри использовано уйгурское слово *ori* 'юный'; также отсутствует компонент 'благородный', представленный в тибетском и ойратском вариантах. В ойратском переводе в значении 'юный' использовано слово *zalou*. Во втором примере – переводе имени бодхисаттвы Самантабхадры – наблюдается различие в передаче санскритского имени: монгольский вариант – это санскритское имя, подвергшееся влиянию уйгурского языка (о морфологических изменениях санскритизмов под влиянием уйгурского языка см. [Shogaito, 1991]); ойратский же вариант отражает санскритское написание имени. В монгольском и ойратском переводах имени Манджушри различий нет. Наконец, в переводах имени будды Амиабхи мы видим, что в монгольском тексте использована форма *Abida*, восходящая к уйгурскому слову *Abita*, которое в свою очередь восходит к китайскому 阿彌陀 (*Ē mí tuó Fó*); в ойратском переводе снова использована санскритская форма имени.

Из топонимов в рассматриваемом тексте нами выявлено только название Сукхавати – Чистой Земли Будды Амиабхи (тиб. *Bde ba can*, монг. *Sukhavadi*, ойр. *Sukavadi*). Монгольский и ойратский переводы представляют собой искаженное санскритское название. В табл. 2 представлен перечень понятий буддийской мифологии.

О монгольском слове *burqan* М. Шогайто и К. Кудара пишут, что оно восходит к китайскому *fo* (佛) + уважительное окончание алтайской семьи языков *-qan / -khan* [Shogaito, 1991, с. 37; Kudara, 2002, с. 186]. В следующем примере

(*Sangs rgyas sras – Ilayuysad-un köbegün – Burxani köböün*) видны различия в техниках перевода: в монгольском тексте *Sangs rgyas* переведено как *Ilayuysad*, а не как *burqan* (как в предыдущем примере), что говорит о вольном, смысловом, переводе; в ойратском оставлен перевод *burxan*. Интерес представляют также способы перевода тибетского слова *klu*: в монгольском тексте использована лексема, заимствованная из китайского языка, – *lu* (龍) + показатель множественного числа *-s*; в ойратском же тексте приведена форма, соответствующая по написанию тибетскому слову. Монгольское слово *qumbandin* представляет собой, вероятно, искаженную форму санскритского заимствования из уйгурского языка (санскр. *kumbhāṇḍa*). Ойратское *kusmande* более приближено к другому варианту написания – *kūṣmāṇḍa*. В табл. 3 приведены способы перевода буддийских понятий на монгольский и ойратский языки.

Таблица 2

Понятия буддийской мифологии в монгольском и ойратском переводах

Table 2

Terms concerning Buddhist mythology in Mongolian and Oirat translations

Понятие буддийской мифологии	Перевод	
	монгольский	ойратский
<i>Sangs rgyas</i> 'Будда'	<i>Burqan</i> 'Будда'	<i>Burxan</i> 'Будда'
<i>Sangs rgyas sras</i> 'бодхисаттва' (букв. 'Сын Будды')	<i>Ilayuysad-un köbegün</i> (<i>boddhi satva</i>) 'Сын Будды', 'бодхисаттва'	<i>Burxani köböün (bodhi satva)</i> 'Сын Будды', 'бодхисаттва'
<i>Rgyal ba</i> 'Победоносные'	<i>Ilayuysad</i> 'Победоносные'	<i>Ilayuysad</i> 'Победоносные'
<i>Lha</i> 'небожители'	<i>Tngri</i> 'небожители'	<i>Tenggeri</i> 'небожители'
<i>Klu</i> 'наги'	<i>Luus</i> 'наги'	<i>Klu</i> 'наги'
<i>Gnod sbyin</i> 'якша' (букв. 'причиняющий зло')	<i>Yagqa</i> 'якши'	<i>Yakṣa</i> 'якши'
<i>Bdud</i> 'демон, злой дух, мара'	<i>Ṣimnu</i> 'злой дух, демон'	<i>Ṣumnus</i> 'злой дух, демон'
<i>Grul bum</i> 'кумбханда, существо, относящееся к классу якш и входящее в свиту Лхамо'	<i>Qumbandin</i> 'кумбханда'	<i>Kusmande</i> 'кумбханда'

Проанализируем некоторые из приведенных примеров: тибетское *lung bstan* переведено на монгольский как *vivanggrid* от уйгурского *vyakrit* – искаженной формы санскритского *vyākṛta*; ойратское *bhyakirid* близко к санскритской форме слова. Еще одной искаженной формой является монгольское слово *diyan*. В рассматриваемой лексической группе как в монгольском, так и в ойратском текстах встречаются заимствования из уйгурского языка: *belge bilig* / *belge biliq*, *bilig ary-a* / *ary-a biliq*, *yelvi* / *yelbi*. Кроме того, несколько терминов восходят к лексемам согдийского языка, описанным в работе М. Шогайто: *nisvanis* от согд. *nyzβ'ny*, *buyan* от согд. *pwny'n*, *šaḡšabad* / *šaḡšābad* от согд. *škš'pt* [Shogaïto, 1991, с. 37]. Монгольское слово *költi* 'десять миллионов' также восхо-

дит к согдийской форме *kwrty*; в ойратском тексте приводится форма *byeve*, являющаяся калькой тибетского *bye ba*. В одном примере (*mya ngan las 'das pa – nirvan – yaslang-ěče nōqčiqsōn*) ойратскими переводчиками использована техника дословного перевода тибетского термина, в то время как в монгольском тексте используется санскритский термин.

Таблица 3

Буддийские термины в монгольском и ойратском переводах

Table 3

Buddhist terms in Mongolian and Oirat translations

Буддийский термин	Перевод	
	монгольский	ойратский
<i>Smon lam</i> 'молитва-устремление'	<i>Irüger joriṃ</i> 'благопожелание'	<i>Iröl</i> 'благопожелание'
<i>Dge ba / bsod nams</i> 'добродетель, благо'	<i>Buyan</i> 'добродетель'	<i>Buyan</i> 'добродетель'
<i>Lung bstan</i> 'духовные наставления, пророчество'	<i>Vivanggrid</i> 'духовные наставления, пророчество'	<i>Bhyakirid</i> 'духовные наставления, пророчество'
<i>Byang chub sems</i> 'бодхичитта'	<i>Boddhicid sedkil</i> 'бодхичитта'	<i>Bodhi sedkil</i> 'бодхичитта'
<i>Byang chub mchog</i> 'высшее Просветление'	<i>Degedü qutuṃ</i> 'высшая святость'	<i>Dēdū Bodhi</i> 'высшее Просветление'
<i>Mya ngan 'das pa</i> (букв. 'уход от страданий', 'нирвана')	<i>Nirvan</i> 'нирвана'	<i>Gaslang-ěče nōqčiqsōn</i> (букв. 'уход от страда- ний', 'нирвана')
<i>Las</i> 'карма, действия'	<i>Jayaṃ</i> 'карма, судьба'	<i>Zayān</i> 'карма, судьба'
<i>Nyon mongs</i> 'омрачения, клеши'	<i>Nisvanis</i> 'омрачения'	<i>Nisvanis</i> 'омрачения'
<i>Ye shes</i> 'изначальная мудрость'	<i>Belge bilig</i> 'изначальная мудрость'	<i>Belge biliq</i> 'изначальная мудрость'
<i>Shes rab thabs</i> 'мудрость и метод'	<i>Biliq arṃa</i> 'мудрость и метод'	<i>Arṃa biliq</i> 'мудрость и метод'
<i>Ting 'dzin</i> 'созерцание, дхьяна'	<i>Diyan</i> 'созерцание, дхьяна'	<i>Diyān</i> 'созерцание, дхьяна'
<i>Rdzu 'phrul</i> 'сверхъестественные силы'	<i>Ridi kücün</i> 'сверхъестественные силы'	<i>Ridi xubilṃan</i> 'сверхъестественные силы'
<i>Sgyu ta</i> 'иллюзия'	<i>Yelvi</i> 'иллюзия'	<i>Yelbi</i> 'иллюзия'
<i>Sdig pa</i> 'грех, проступок'	<i>Nigül kilince</i> 'грех, проступок'	<i>Kilince</i> 'грех, проступок'
<i>Tshul khrims</i> 'нравственность'	<i>Šaqšabad</i> 'нравственность'	<i>Šaqšābad</i> 'нравственность'

Проведенный анализ буддийской лексики монгольской и ойратской версий текста «Царя молитв-устремлений» в сравнении с тибетским оригиналом позволяет сделать некоторые выводы. Для монгольского текста характерна вольная манера перевода: одно и то же понятие переводится разными словами (*Sangs rgyas sras – Ilayusad-un köbegün* или *bodhi satuva*). В ойратском тексте, который

отличается более строгим следованием тибетскому оригиналу, у каждого термина может быть только один способ перевода (*sangs rgyas – burxan*). Для монгольского текста характерно присутствие большого количества уйгурских терминов, заимствованных из санскрита, тохарского или согдийского языков и подвергшихся фонетическим и морфологическим трансформациям. Те же термины в ойратском тексте максимально приближены к санскритскому написанию. В монгольском и ойратском переводах также встречается ряд заимствований из китайского (*Abida, burqan / burxan, luus*), тибетского (*klu, byeva*) и уйгурского (*belge bilig / belge biliq, bilig arɣ-a / arɣ-a biliq, yelvi / yelbi*) языков. Кроме того, в ойратском тексте отмечен случай дословного перевода санскритского *nirvāṇa* как *ɣaslang-ēče nōqčiqsön*, в то время как в монгольском варианте этот термин переведен как *nirvan*. Таким образом, подобные исследования языка переводных памятников на монгольском и ойратском письме позволят проследить историю формирования и развития буддийской терминологии в монгольских языках.

Список литературы

- Алексеев К. В. Монгольский Ганджур: генезис и структура // Страны и народы Востока. / Под ред. И. Ф. Поповой, Т. Д. Скрынниковой. М.: Наука. Вост. лит., 2015. Вып. 36: Религии на Востоке. С. 190–228.
- Бадмаева Г. Ю. Молитвенные напевы обряда мацг (день поста) // Калмыки. М.: Наука, 2010. С. 350–351. (Народы и культуры).
- Бакаева Э. П. Буддизм в Калмыкии. Историко-этнографические очерки. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1994. 127 с.
- Бакаева Э. П. Калмыки: религия и ее этническая специфика // Буддизм России. 1998. № 29–30. С. 51–55.
- Бакаева Э. П. Об особенностях современной религиозной ситуации в Калмыкии (буддизм и «посвященные») // Этнографическое обозрение. 2004. № 3. С. 23–39.
- Бакаева Э. П. К этническим характеристикам калмыцкого буддизма: обряд «мацг» // Научная мысль Кавказа. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2011. С. 120–123.
- Бира Ш. Монгольская историография (XIII–XVII вв.). М.: Наука, 1978. 320 с.
- Ванчикова Ц. П. К истории монгольского рукописного Ганджура и о современных исследованиях буддийских канонических компендиумов // Гуманитарный вектор. 2016. Т. 11, № 5. С. 157–165.
- Введение в изучение Ганчжура и Данчжура: Историко-библиографический очерк / Н. Д. Болсохоева, Б.-Д. Бадараев, Ц. П. Ванчикова и др. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1989. 199 с.
- Владимирцов Б. Я. Работы по монгольскому языкознанию. М.: Вост. лит., 2005. 952 с.
- Златкин И. Я. История Джунгарского ханства (1635–1758). 2-е изд. М.: Наука, 1983. 336 с.
- Кара Д. Книги монгольских кочевников (семь веков монгольской письменности). М.: Наука, 1972. 229 с.
- Корнеев Г. Б. Некоторые проблемы тибето-монгольской интерференции в ойратских рукописных памятниках XVII в. (на материале сутры «Царь благих пожеланий») // Вестн. Калмыц. ин-та гуманитарных исследований РАН. 2014. № 3. С. 111–118.
- Корнеев Г. Б. О традиции домашних молений в калмыцком буддизме: специфика текстов // Вестн. Калмыц. ин-та гуманитарных исслед. РАН. 2015. № 2. С. 104–110.
- Коссе А. Д. Буддийские термины со значением ‘религия’, ‘проповедь’, ‘учение’, ‘трактат’ в монгольских текстах юаньского периода // Вестн. С.-Петерб.

ун-та. Сер. 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2007. Вып. 3, ч. 1. С. 108–114.

Кучера С. Р. Монголы и Тибет при Чингисхане и его преемниках // Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1970. С. 255–270.

Монголын уран зохиолын тойм. II дэвтэр (XVII–XVIII үе) / Ред. Ц. Дамдинсүрэн, Д. Цэнд. Улаанбаатар: Шинжлэх ухааны академийн хэвлэл, 1976. 672 х. (на монг. яз.)

Музраева Д. Н. Тибето-монгольская повествовательная литература XVII–XVIII вв. Элиста: Джангар, 2013. 150 с. (Переводные письменные памятники на монгольском и ойратском языках)

Музраева Д. Н. Сравнительные исследования монгольских и ойратских переводов буддийской литературы (основная проблематика) // *Mongolica XV*: Сб. ст. СПб.: Петербургское востоковедение, 2015. С. 16–23.

Патрул Ринпоче. Слова моего несравненного учителя. СПб.: Нартанг, 2007. 504 с.

Торчинов Е. А. Введение в буддизм. СПб.: Амфора, 2005. 432 с.

Успенский В. Л. Буддийский канон // Книга Монголии. Альманах библиофила. М., 1988. Вып. 24. С. 191–200.

Цендина А. Д. Два монгольских перевода тибетского сочинения «Книга сына» // *Mongolica V*, 2001. СПб., 2001. С. 54–74.

Цыбиков Г. Ц. Избранные труды: В 2 т. Новосибирск: Наука, 1981. Т. 2: О центральном Тибете, Монголии и Бурятии. 240 с.

Bakaeva E. P. Lamaism in Kalmykia // *Religion and Politics in Russia* / Ed. by M. M. Balzer. New York; London, 2010. P. 220–223.

Charleaux I. Nomads on Pilgrimage: Mongols on Wutaishan (China), 1800–1940. Leiden, 2015. 471 p.

Kudara K. The Buddhist culture of the Old Uigur peoples // *Pacific World 3rd Ser.* 4. 2002. P. 183–195.

Poppe N. The Turkic loan-words in Middle Mongolian // *Central Asiatic Journal.* 1955. Vol. 1. P. 36–42.

Rona-Tas A. Some notes on the terminology of Mongolian writing // *Acta Orientalia.* 1965. Vol. 18, no. 7. P. 121.

Shogaito M. On Uighur elements in Buddhist Mongolian texts // *The Memoirs of the Toyo Bunko.* 1991. No. 49. P. 27–49.

Список источников

Bzang spyod smon lam // *Bstod smon phyogs bsgrigs.* Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1959. 355 p.

Sayin yabudaliyin irōliyin xān // Сомон Манхан. Кобдоский аймак. Монголия. Колл. Г. Ядамжава. Фотокоп. ойратской рукоп.

Qutuγtu sayin yabudal-un irüger-ün qaγan // *Nomuyadqaqu-yin sitügen.* Śāta-piṭaka ser. New Delhi: Indo-Asian literatures, 1979. Vol. 208. P. 499–508.

S. V. Mirzaeva

*Kalmyk Scientific Center of the Russian Academy of Sciences
Elista, Russian Federation, kundgabo@list.ru*

“The King of Aspiration Prayers” (“Bhadracarya”): Buddhist terminology of Mongolian and Oirat translations revisited

The paper considers the Buddhist terminology of Mongolian- and Oirat-language texts of the well-known translated work *The King of Aspiration Prayers (Bhadracarya)*. The composition was

translated from Sanskrit into Tibetan in the 8th – 9th centuries, and then from Tibetan to Mongolian and Oirat during the period of active dissemination of Buddhism in Mongolia in the 16th – 17th centuries. Being a part of the *Avatamsaka Sūtra*, nowadays *The King of Aspiration Prayers* exists among Mongolian-speaking peoples in the form of a separate text which is recited at the end of regular Buddhist practices or during funeral rites. With evidence from Tibetan, Mongolian and Oirat texts and applying a comparative-textual method, the paper analyzes Buddhist terms emphasizing the lexical groups as follows: anthroponyms, toponyms, concepts of Buddhist mythology, and philosophical terms. The article reveals that the Mongolian and Oirat versions of *The King of Aspiration Prayers* contain a number of borrowings from Sanskrit, Uighur, Chinese, Sogdian and Tocharian languages. A comparative analysis of the Mongolian and Oirat translations shows that the Mongolian text is characterized by more active use of Uighur forms of Sanskrit words, while the Oirat text interpreter attempted to restore the original Sanskrit forms of such words. In addition, the Oirat text is characterized by a stricter adherence to the original Tibetan text: each Tibetan term has only one translation equivalent in the Oirat text, whereas the Mongolian version may apply differing translation variants for the same Tibetan word.

Keywords: “The King of Aspiration Prayers” (“Bhadracarya”), Buddhist vocabulary, Mongolian translation, Oirat translation.

DOI 10.17223/18137083/68/18

References

- Alekseyev K. V. Mongol'skiy Gandzhur: genezis i struktura [The Mongolian Kangyur: genesis and structure]. In: *Strany i narody Vostoka. Vyp. 36: Religii na Vostoke* [Countries and peoples of the East. Iss. 36. Religions of the East]. I. F. Popova, T. D. Skrynnikova (Eds). Moscow, Nauka, Vost. lit., 2015, pp. 190–228.
- Badmayeva G. Yu. Molitvennyye napevy obryada matsg (den' posta) [The prayer melodies of the rite of matsg (day of fasting)]. In: *Kalmyki* [The Kalmyks]. Moscow, Nauka, 2010, pp. 350–351. (Narody i kul'tury [Peoples and cultures]).
- Bakayeva E. P. *Buddizm v Kalmykii. Istoriko-etnograficheskiye ocherk* [Buddhism in Kalmykia. Historical and ethnographic essays]. Elista, Kalm. kn. izd., 1994, 127 p.
- Bakayeva E. P. Lamaism in Kalmykia. In: *Religion and politics in Russia*. M. M. Balzer (Ed.). New York, London, 2010, pp. 220–223.
- Bakayeva E. P. Kalmyki: religiya i ee etnicheskaya spetsifika [Kalmyks: religion and its ethnic specifics]. *Buddizm Rossii*. 1998, no. 29–30, pp. 51–55.
- Bakayeva E. P. K etnicheskim kharakteristikam kalmytskogo buddizma: obryad “matsg” [To the ethnic characteristics of Kalmyk Buddhism: the rite of “matsg”]. *Scientific Thought of Caucasus*. 2011, no. 1, pt. 2, pp. 120–123.
- Bakayeva E. P. Ob osobennostyakh sovremennoy religioznoy situatsii v Kalmykii (buddizm i “posvyashchennyye”) [The peculiarities of the modern religious situation in Kalmykia (Buddhism and the “initiated” ones)]. *Etnograficheskoe obozrenie*. 2004, no. 3, pp. 23–39.
- Bira Sh. *Mongol'skaya istoriografiya (13–17 vv.)* [Mongolian historiography (13th–17th centuries)]. Moscow, Nauka, 1978, 320 p.
- Charleaux I. *Nomads on Pilgrimage: Mongols on Wutaishan (China), 1800–1940*. Leiden, 2015, 471 p.
- Kudara K. The Buddhist culture of the Old Uigur peoples. *Pacific World*. 3rd series. 2002, no. 4, pp. 183–195.
- Poppe N. The Turkic loan-words in Middle Mongolian. *Central Asiatic Journal*. 1955, vol. 1, pp. 36–42.
- Rona-Tas A. Some notes on the terminology of Mongolian writing. *Acta Orientalia*. 1965, vol. 18, no. 7, p. 121.
- Shogaito M. On Uighur elements in Buddhist Mongolian texts. *The Memoirs of the Toyo Bunko*. 1991, no. 49, pp. 27–49.
- Kara G. *Knigi mongol'skikh kochevnikov (sem' vekov mongol'skoy pis'mennosti)* [Books of Mongolian nomads (seven centuries of Mongolian writing)]. Moscow, Nauka, 1972, 229 p.
- Korneyev G. B. Nekotoryye problemy tibeto-mongol'skoy interferentsii v oyatskikh rukopisnykh pamyatnikakh 17 v. (na materiale sutry “Tsar' blagikh pozhelaniy”) [Some problems of Tibeto-Mongolian interference in Oirat manuscript monuments of the 17th century (on the material of the sutra “The King of Good Wishes”)]. *Oriental Studies*. 2014, no. 3, pp. 111–118.

Korneyev G. B. O traditsii domashnikh moleniy v kalmytskom buddizme: spetsifika tekstov [On the tradition of domestic prayers in Kalmyk Buddhism: the specificity of texts]. *Oriental Studies*. 2015, no. 2, pp. 104–110.

Kosse A. D. Buddiyskiye terminy so znacheniyem ‘religiya’, ‘propoved’’, ‘ucheniye’, ‘traktat’ v mongol’skikh tekstakh yuan’skogo perioda [Buddhist terms with the meaning ‘religion’, ‘sermon’, ‘doctrine’, ‘tract’ in the Mongolian texts of the Yuan period]. *Vestnik of Saint Petersburg University. Series 9. Philology. Asian Studies. Journalism*. 2007, iss. 3, pt. 1, pp. 108–114.

Kuchera S. R. Mongoly i Tibet pri Chingiskhane i ego preyemnikakh [Mongols and Tibet under Genghis Khan and his successors]. In: *Tataro-mongoly v Azii i Evrope* [Tatar-Mongols in Asia and Europe]. Moscow, 1970, pp. 255–270.

Mongolyn uran zokhiolyn toym. II devter (17–18 ye) [Compendium of Mongolian literature. Devter II (17th–18th centuries)]. Ts. Damdinsuren, D. Tsend (Eds). Ulaanbaatar, Shinzhlekh ukhaany akademiyn khevllel, 1976, 672 p. (in Mongolian)

Muzrayeva D. N. Sravnitel’nyye issledovaniya mongol’skikh i oyratskikh perevodov buddiyskoy literatury (osnovnaya problematika) [The comparative studies of Mongolian and Oirat translations of Buddhist literature (fundamental problems)]. In: *Mongolica 15: Sb. st.* [Mongolica 15. Coll. art.]. St. Petersburg, Peterburgskoye vostokovedeniye, 2015, pp. 16–23.

Muzrayeva D. N. *Tibeto-mongol’skaya povestvovatel’naya literatura 17–18 vv.* [The Tibetan-Mongolian narrative literature of the 17th–18th centuries]. Elista, Dzhangar, 2013, 150 p. (Perevodnyye pis’mennyye pamyatniki na mongol’skom i oyratskom yazykakh [Translated written works in Mongolian and Oirat]).

Patrul Rinpoche. *Slova moego nesravnennogo uchitelya* [The words of my perfect teacher]. St. Petersburg, Nartang, 2007, 504 p.

Torchinov E. A. *Vvedeniye v buddizm* [Introduction to Buddhism]. St. Petersburg, Amfora, 2005, 432 p.

Tsendina A. D. Dva mongol’skikh perevoda tibetskogo sochineniya “Kniga syna” [Two Mongolian translations of the Tibetan composition “The Book of a Son”]. In: *Mongolica 5*, 2001. St. Petersburg, 2001, pp. 54–74.

Tsybikov G. Ts. *Izbrannyye trudy: V 2 t. T. 2: O tsentral’nom Tibete, Mongolii i Buryatii* [Selected works: In 2 vols. Vol. 2: On the Central Tibet, Mongolia and Buryatia]. Novosibirsk, Nauka, 1981, 240 p.

Uspenskiy V. L. Buddiyskiy kanon [The Buddhist Canon]. In: *Kniga Mongolii. Al’manakh bibliofila* [The Book of Mongolia. Bibliophile’s Almanac]. Moscow, 1988, iss. 24, pp. 191–200.

Vanchikova Ts. P. K istorii mongol’skogo rukopisnogo Gandzhura i o sovremennykh issledovaniyakh buddiyskikh kanonicheskikh kompendsiy [To the history of Mongolian handwritten Ganjur and about contemporary researches of the Buddhist canonic compendiums]. *Humanitarian Vector (Gumanitarnyi Vektor)*. 2016, vol. 11, no. 5, pp. 157–165.

Vvedenie v izuchenie Ganchzhura i Danchzhura: Istoriko-bibliograficheskiy ocherk [Introduction to studies of the Kangyur and Tengyur: Historical and bibliographic essay]. R. E. Purbayev (Ed.). Novosibirsk, Nauka, 1989, 199 p.

Vladimirtsov B. Ya. *Raboty po mongol’skomu yazykoznaniyu* [Works on Mongolian linguistics]. Moscow, Vost. lit., 2005, 952 p.

Zlatkin I. Ya. *Istoriya Dzhungarskogo khanstva (1635–1758). 2-e izd.* [History of the Dzungar Khanate (1635–1758). 2nd ed.]. Moscow, Nauka, 1983, 336 p.

List of sources

Bzang spyod smon lam. In: *Bstod smon phyogs bsgrigs*. Mtsho sngon, 1959, 355 p.

Sayin yabudaliyin iröliyin xān. Somon Mankhan. Kobdoskiy aymak. Mongoliya. Koll. G. Yadamzhava. Fotokop. oyratskoy rukop. [A photocopy of the Oirat manuscript from the collection of G. Yadamjav]

Qutuytu sayin yabudal-un irüger-ün qayan. Nomuyadqaqu-yin sitügen. *Śata-piṭaka series. Indo-Asian literatures*. New Delhi, 1979, vol. 208, pp. 499–508.

А. В. Иркова

Кемеровский государственный университет

**Предъюрисдикционные и юридические смыслы
лексемы «гражданин» в общественно-политическом дискурсе^{*}**

Статья задает синхронно-диахронный вектор рассмотрения процесса юридизации лексемы «гражданин» в общественно-политическом дискурсе как фрагменте дискурса общенародного. Построена типология диахронного предъюрисдикционного содержания значения слова «гражданин». Ее основанием является разная степень приближения семантики общенародного слова к статусу юридического термина как вершинной точке процесса юридизации. Предъюрисдикционный статус общенародного слова позволяет квалифицировать его содержание в полутерминологическом значении. Смысловые регистры общенародного языка не исчезают в современных юридических текстах, оставляя за собой шлейф доюрисдикционной семантики посредством следующих синонимов: «человек», «гражданин», «личность», «лицо».

Ключевые слова: юридическая лингвистика, общенародная лексика, юридизация, терминологизация, гражданин.

Тематика настоящей статьи продолжает вектор изучения процесса эволютивной юридизации общенародного слова и связана с рассмотрением «пульсирующих» моментов взаимодействия предъюрисдикционного и юридического полюсов реализации семантики лексемы «гражданин» в контексте общественно-политического дискурса. Смысловая развертка этой лексемы напрямую взаимосвязана со становлением гражданского общества, которое зарождается в общественной коммуникации и сначала юридизируется в текстах сугубо общеправовых, а далее – в специальных дискурсах. В этом ключе общественно-политический дискурс рассматривается нами в свете коммуникативно-дискурсивной парадигмы научного знания как элемент развивающегося общенародного дискурса. Истоки изучения и понимания функциональной природы юридического термина и дискурсивного анализа лексической семантики восходят к работам Н. Д. Голева, Н. Б. Лебедевой, а также к исследованиям представителей кемеровской юрислин-

^{*} Статья выполнена при поддержке РФФИ (проект № 19-012-00202 А «Обыденная политическая коммуникация в социальных сетях: комплексный лингвистический анализ»).

Иркова Анна Валентиновна – аспирант кафедры русского языка Института филологии иностранных языков и медиакоммуникаций Кемеровского государственного университета (ул. Красная, 6, Кемерово, 650000, Россия; a.irkova@mail.ru)

гвистической школы [Голев, 2000; 2012; Голев, Лебедева, 2016; Голев, Воробьева, 2017]. Актуальными остаются вопросы о смысловом содержании предтерминов, недотерминов, являющих полутерминологическое значение, которое нередко становится причиной их неоднозначного толкования. В настоящее время ряд таких полутерминов открыт и является предметом разнопланового рассмотрения в аспекте их интерпретации как юристами [Вашенко, 2018], так и лингвистами [Голев, 2012; Бринев, 2012; Кузнецов, 2012; Механошина, Филиппова, 2016; Беловусова, 2017]. Вариативность семантики полутерминов порождает необходимость детального изучения процесса образования и становления смысловой структуры его содержания.

В статье «Становление юридического термина как процесс юридизации общенародного слова (дискурсивно-семантический анализ лексем с корнями *чест-* и *добр-*)» был осуществлен анализ языковых единиц, находящихся на стадии процесса юридизации, что позволило установить дискурсивно-семантические закономерности на этапах развития юридического значения полутерминов с корнями *чест-* и *добр-* (подробнее см.: [Голев, Иркова, 2018]). На новом витке изучения процесса эволютивной юридизации предполагается выявить закономерности диахронной предъюридической реализации семантики лексемы «гражданин» и ее синхронные следствия. И. С. Улуханов справедливо замечает что, такого рода «синхронно-диахронические исследования представляют собой не механическое соединение в одном описании фактов истории языка и его современного состояния, а выявление их соотношения и взаимодействия и прежде всего того, в какой мере синхронные связи между существующими явлениями отражают процесс развития одного явления из другого» [1992, с. 5]. Проблема взаимодействия специального и общенародного статуса слова и вытекающих из этого соотношения смыслов решается в статье на материале лексической семантики слова «гражданин» в общенародном и общественно-политическом дискурсах. На первом этапе анализа мы выбираем один синхронный срез и прослеживаем, каким образом из совокупности («пучка») разных дискурсов постепенно возникает, формируется и укрепляется юридическое значение среди других смыслов слова. Все контексты взяты из Национального корпуса русского языка¹. Для верификации извлекаемых смыслов привлекаются материалы словарей древнерусского и современного русского языков. Далее представлена типология процесса юридизации. Ее основанием служит стадийный переход слова от статуса общенародного к статусу юридического термина как конечного пункта процесса юридизации. Так, различные типы процесса юридизации раскрывают этапы его достижения. Внутри каждого типа дискурсы выстроены по хронологии от ранних этапов юридизации до современного использования юридического значения слова.

1 тип, «предъюридизированный смысл», относится к периферийному использованию юридического значения в кругу разнообразных смыслов. Хронологические рамки «Предыстории» становления юридизации (до XIX в.) связаны с двумя подпериодами: XI–XVI и XVII–XVIII вв. Этап начала становления юридической семантики открывается разнообразными дискурсами, в которых юридический смысл или вообще находится в потенции, или только намечает пути своей реализации.

Предъюридическая стадия раскрытия семантики лексемы «гражданин» характеризуется наличием различных вариантов этого слова «горожанинь», «градникъ» «гражанин / граженин» в ед. ч.; «граждане», «гражане» во мн. ч., которые объединены значением «житель / жители города». Эта связь выражается в функционировании указанных лексем в различных религиозных, летописных, правовых не

¹ НКРЯ. URL: www.ruscorpora.ru. (дата обращения 10.01.2018).

только оригинальных, но и переводных контекстах древнерусской словесности: см., например, контексты религиозного дискурса: «Радуйтєся, гражданє небснїи, и друзи бг҃ѣ и ст҃ѣмъ егѡ прїснїи» (Акафист преподобным Зосиме, Саватию и Герману, соловецким чудотворцам); контексты летописного дискурса: «Князю же Ноугородцкомѹ не бысть силы стати противѹ нх на бон, но побеже в Бѹздаль, а люди горожанє разбегошася вси по Волзѣ в сѹдѣх» (Вологодско-Пермская летопись); «влиз стен градных, тогда гражданє стрегущии града» (Пискаревский летописец); «Ти гради добрѣ стоятъ, въ нихъ же гражанє князя слѹшаютъ, а князь закона» (Пчела, не позднее XIII в.); контексты правового дискурса: «<...> кѣ епископѹ и кѣ мѣстєрюи кѣ всемъ вельнєвнцєм и ратьманом, всемъ горожаном» (Договорная грамота полоцкого князя Изяслава с магистром Ливонского ордена и Ригой (ок. 1265 г.); «Аже оубиеть кто моужа, то мьстити братоѹ брата, любо отецъ, или сынѹ, любо братъчадоѹ, ли братню сынови; оже не бѹдетъ кто его мьстьян, то положитъ за голову 80 гривенъ аще ли бѹдетъ княжь; аци ли бѹдетъ роѹсин, горожанинъ, или гридъ» (Правда Роуская пространная редакция XII в. Список Карамзинсїй). Во всех представленных контекстах актуальным значением выделенных лексем в различных дискурсах становится смысл «жителя города» от сакрального звучания (религиозный дискурс «небесного града гражданє») до правового осмысления принадлежности того, о ком говорится в тексте, к населению определенного города, в котором уже есть сложившаяся социальная иерархия. В словаре древнерусского языка² находим эти лексемы и их семантические признаки («житель города», «городской» и т. п.) в соответствующих словарных статьях. Об отсутствии значения «гражданина» как участника правовых отношений в древнерусских дискурсивных практиках также пишет Г. В. Дуринова [2015]. Исследовательская традиция дает многогранное осмысление взаимосвязи истории слова «гражданин» и концепта ГОРОД в диахроническом аспекте [Кандаурова, 1967; Живов, 2002; Марасинова, 2008; Улуханов, 2012; Лукин, 2014; Дуринова, 2015]. Появление той или иной лексемы с корнем *гражд-* ученые связывают с переводным или оригинальным характером старославянских или древнерусских памятников [Живов, 2002; Лукин, 2014; Дуринова, 2015]. В дискурсах Древней Руси раскрывается «предъюрисдизированное» значение слова «гражданин» как жителя города, и однокоренные с ним лексемы поддерживают такую семантику. Дополнительные компоненты значения лексемы, связанные с политической или государственной семантикой, на этом этапе еще не проявили себя.

XVII–XVIII вв. Переходным моментом в юридической семантизации лексемы «гражданин» становится появление словосочетания «городовые посадские люди» как обозначение лиц, устанавливающих отношения с государством и имеющих определенные права и обязанности, в тексте «Соборного уложения» от 29 января 1649 г. (см. контекст: «и на тех патриарших и митрополичих, и на архиепископ-лих, и на епископ-лих, и на монастырских, и на боярских, и всяких чинов людей, на прикащиков, и на людей их, и на крестьянке городех всяких чинов городовым людем и всяких чинов московских людей прикащиком, и крестьяном давать суд по дватцеть рублей» (Соборное уложение 1649 г.)). Так, в представленном контексте словосочетание «городовые люди» означает участников диалога «народа» и «власти». На первом плане семантики лексемы «гражданин» оказываются смыслы «участника правовой ситуации», «правового субъекта», а также начинают появляться связанные с ними понятия «гражданская честь», «согражданин», «именитый гражданин» и т. п. Ключевой момент в возникновении новых смысло-

² Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. М., 1958. URL: <http://oldrusdict.ru/dict.html> (дата обращения 10.01.2018).

вых аспектов семантического содержания лексемы «гражданин» также фиксируют исследователи М. В. Живов и Г. В. Дуринова, связывая его с особым культурным значением документов «Соборного уложения» [Живов, 2002; Дуринова, 2015]. При этом значимо, что не исчезают связи семантики слова «гражданин» с его первоначальным значением «горожанин» – житель города. В этом подпериоде сохраняется функционирование лексемы «гражданин» и ее признаковых характеристик («добрый», «честный» и т. п.) и в неюридических дискурсах – см. контексты **поэтического дискурса**: «*Будь мужествен ты в ратном поле, / В дни мирны добрый гражданин; / Не чином украшайся боле, / Собою украшай свой чин*» (М. М. Херасков. Знатная порода (1769)); контексты **публицистического дискурса**: «*В царствование его ни один сенатор, ни один бесчестный гражданин не дерзал никогда промолвить, что государь не подчинен законам*» (Д. И. Фонвизин. Слово похвальное Марку Аврелию (1777)). Выделенные словосочетания начинают раскрывать смысловую грань «гражданина» как честного, доброго, порядочного человека, придерживающегося законов общества и государства. «Переход» и появление новых смысловых обертонов лексемы «гражданин» фиксируется в словаре русского языка XI–XVII вв. [СлРЯ, 1977, с. 117]. В нем актуализируется семантический признак ‘член общества, городской общины’. А также в словаре присутствует однокоренная лексема «гражданство» в значении ‘гражданское устройство, порядок’ (см. контекст из словаря: «*И весь чинъ и гражданств узаконено, аще и естественно...*» (Арифметика Магницкого, 13 об. 1703 г.)). Так, начало юридической семантизации лексемы «гражданин» свидетельствует не об абсолютной изоляции юридического значения слова и ее ограниченности, а, напротив, о естественном взаимодействии этого слова с другими сферами функционирования во временном потоке развития его семантики.

2 тип, «околоюридизированный» смысл, относится к этапу «промежуточного» использования юридического значения. Хронологические рамки «нового периода» юридизации охватывают XIX – начало XX в. «Переходный» этап использования юридического значения среди других значений слова связан с новым витком в развитии юридизации, с укреплением и выходом на первый план смыслового содержания слова правового значения. В коммуникативных сферах того времени активно начинают использоваться такие категории, как «гражданская честь», «почетный гражданин», «добрый гражданин» и т. п.

Особый вклад в понимание категории «честь гражданина» в **правовой дискурс** вносят декабристы – см. контексты: «*Честной Человек без угрызения совести не может пользоваться трудами и пожертвованиями ближних без всякого с своей стороны возмездия или соучастия... 1) Чтобы каждый Гражданин имел право и позволение заниматься тою или теми отраслями промышленности, которых он за благоразсудит избрать лишь бы честен был и к Законам исполнителен*» (Русская правда (1824)). Лексема «гражданин» в этих контекстах открывает значение «честный человек», а его «следование», «исполнение закона» дает право каждому *гражданину* заниматься той деятельностью, которую он изберет. В связи с этим можно говорить о формировании комплексного понятия «гражданская честь», «честь доброго и порядочного гражданина» как этических и социальных категорий, связанных с оценкой таких качеств личности, как верность, справедливость, правдивость, благородство, достоинство. Лексемы, выражающие эти понятия, встречаются в публицистическом, прозаическом, поэтическом и бытовом дискурсах (см. контексты **публицистического дискурса**: «*Вы скажете, что такого человека найти трудно: знаю; но добрый гражданин обязан желать совершенства, по крайней мере возможного, в государе!*». (Н. М. Карамзин. История государства Российского. Том 11); контексты **прозаического дискурса**: «*Вся бодрость его возвратилась. – Прощай, почтенный гражданин!*» (М. Н. Загоскин. Юрий Милославский, или русские в 1612 году (1829)); «*А еще сообщаю, как я*

есть *честный гражданин*» (М. М. Зощенко. Честный гражданин (1923)); контексты **поэтического дискурса**: «Не надо мудрствовать лукаво, / Но каждый честный гражданин / Всегда сказать имеет право: / Одиножды один – один» (В. С. Курочкин. Великие истины (1866)); «А ныне человек – ни раб, ни властелин, / Не опьянен собой – а только отуманен; / Невольно думаешь: всемирный горожанин! / А хочется сказать – всемирный гражданин!» (О. Э. Мандельштам. «Когда держался Рим в союзе с естеством...» (1914)); контексты **бытового дискурса**: «[Женищина, жен] Тебя б гирей по голове! [Милиционер, муж] Пожалуйте / гражданин / в отделение. За избиение» (Николай Эрк (Ивакин) и др. Путевка в жизнь, к/ф (1931)). Для каждого из этих дискурсов характерно выдвижение на первый план в семантике слова «гражданин» своего смысла, обусловленного контекстом его возникновения и формирования. В поэтическом дискурсе как особой форме существования художественной мысли в рамках одного контекста встречается совместное употребление слов с корнями *чест-*, *гражд-*, *прав-*, что открывает перед читателем образ настоящего порядочного гражданина как важного члена общества, а также сохраняется и словесно претворяется глубинная связь семантики слов «гражданин» и «горожанин».

Продолжением правового регистра семантики лексемы «гражданин» являются тексты Конституции СССР 1936 г. – см. контексты: «*Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан – охраняются законом*; *Статья 12. Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест»*; (Конституция СССР 1936 года). Выделенные слова и словосочетания демонстрируют взаимосвязь лексем с корнями *чест-*, *гражд-*, *прав-*, открывающуюся в понятиях «права граждан», «честь гражданина» и т. п.

Сказанное позволяет зафиксировать промежуточную стадию юридизации языковых единиц, связанную с ослаблением восприятия гражданина как горожанина, жителя города и с усилением собственно правовых и морально-нравственных смыслов. Эти словосочетания и смыслы лексем запечатлеваются в словарных статьях того времени³ следующим признаковым составом: «порядочный / честный / добрый гражданин», «честь гражданина», «гражданская честь», «гражданство», «гражданственность», «гражданское право». Так, анализ функционирования лексемы «гражданин» в указанный период связан с реализацией второго типа юридизации, «околоюридизированного» смысла. Он начинается оформление собственного признакового состава и устойчивых сочетаний слов.

3 тип, «собственно юридизированный» смысл, относится к этапу «ядерного» использования юридического значения лексемы «гражданин». Хронологические рамки «Новейшего периода» охватывают конец XX – начало XXI в. и связаны с одной из ступеней эволютивной юридизации. Этап «ядерного» использования юридического значения не указывает на то, что другие смыслы лексемы «гражданин» исчезают, однако на первый план содержания слова выходит собственно «юридизированная» составляющая, реализующаяся в различных публицистических, прозаических, поэтических дискурсах (например, контекст **прозаического дискурса**: «“Каждый гражданин имеет право разместить в своем платяном шкафу одну-две личных Вселенных” – фраза, достойная записи в Конституцию» (Владимир Спектр. Face Control (2002)). В этом контексте лексема «гражданин» раскрывает семантику жителя страны, члена общества и государства.

³ Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1998. URL: <http://www.slovorod.ru/dic-dal> (дата обращения 23.13.2018).

В рамках современного юридического дискурса активно функционируют лексемы, входящих в синонимический комплекс «человек», «гражданин», «личность», «лицо». Неоднократно исследователями подчеркивались отсутствие явных различий в значении этих слов и неопределенность, вариативность интерпретации их смыслов в контексте российского права [Смирнов, 2008; Козлячкова, 2014]. Так или иначе, глубинные противоречия в семантике слов «человек», «гражданин», «личность» и «лицо», возникающие в правовом контексте, обусловлены их общенародными смыслами и социокультурными особенностями тех знаний, которые они сохраняют в генетической памяти своего дискурсивного функционирования. О концепте *ГРАЖДАНИН* подробно пишет И. Б. Фан [2018], акцентируя внимание на сущностном неопределенном соотношении юридической формы «гражданин» и ее онтологического содержания. При этом юридизированный характер лексемы «гражданин» существенно отличает его от других общенародных слов, попадающих в текст закона. Это различие связано с правовым статусом индивида. Внутри юридического дискурса Конституции Российской Федерации⁴ происходит следующая смысловая дифференциация этих слов и понятий. Лексема «человек» раскрывает широкий смысловой регистр представителя живого мира как высшей ценности общества и государства, связанный со свободой, правом на жизнь и т. д. – см. контекст ст. 20 Конституции РФ: «1. *Каждый имеет право на жизнь*». В комментариях к этой статье указано следующее: «1. *Жизнь человека в любом цивилизованном обществе представляет собой высшую ценность и первейшее право индивида*» (Конституция РФ); ст. 42 Конституции РФ: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». При этом лексема «личность» выводит на первый план в семантике высокие моральные и интеллектуальные свойства человека и входит в контекст права на защиту чести, достоинства, доброго имени личности – см. контекст ст. 21 Конституции РФ: «1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления...» (Конституция РФ). В то время как лексема «гражданин» оказывается связана с политическими правами, с правом на выборы – см. контекст ст. 32 Конституции РФ: «1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме... 5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия (Конституция РФ).

В свою очередь, лексема «лицо» (физическое или юридическое) открывает достаточно абстрактный смысл носителя различных внутренних качеств, относящихся к обществу, и входит в законы, связанные с защитой права на собственность, регулирующие экономические отношения и т. п. – см. контекст ст. 35 Конституции РФ: «1. *Право частной собственности охраняется законом*. 2. *Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами...*» (Конституция РФ). Такого рода вариативность в контексте юридического дискурса свидетельствует о присутствии в нем стихийного начала, а синонимия предстает как один из функционально-смысловых центров взаимодействия естественного и юридического языка.

Следующие семантические признаки лексемы «гражданин» – «лицо», «принадлежащее», «постоянное население данного государства», «пользующееся»,

⁴ Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками). URL: www.constitution.garant.ru (дата обращения 28.08.2018).

«всеми правами», «обеспеченными», «законами этого государства», «исполняющее», «установленные», «обязанности» – закрепляются в ее словарном толковании Малого академического словаря⁵.

Таким образом, предположение о наличии дискурсивно-семантических закономерностей в диахронном доюридическом функционировании лексемы «гражданин» нашло подтверждение в типологии предъюридического содержания этого слова, позволяющего установить его полутерминологический статус. На всех этапах процесса эволютивной юридизации лексема «гражданин» не теряет общенародные смыслы своей дискурсивной реализации. Их присутствие в общественно-политической сфере связано с синонимическим комплексом слов «человек», «гражданин», «личность», «лицо», который раскрывается в современных текстах закона и представляет собой центр взаимодействия предъюридических и юридических смыслов лексемы «гражданин». Такое взаимодействие общенародной и юридической сторон семантики слова «гражданин» является синхронным следствием диахронного раскрытия различных его смыслов. Одной из перспектив обозначенного в статье синхронно-диахронного направления в изучении закономерностей процесса юридизации общенародного слова является расширение лексического материала исследования, привлечение лексем с корнями *прав-*, *истин-*, *юр-* и т. п. для рассмотрения того, каким образом слово общенародного языка становится юридическим термином, какие этапы на пути своего образования и формирования оно проходит.

Список литературы

Белоусова К. А. «Должная осмотрительность и осторожность» при выборе контрагента как оценочное понятие, не закрепленное нормой закона // Российский судья: Издательская группа «Юрист». 2017. № 4. С. 8–12.

Бринев К. И. Методологические проблемы лингвистической экспертизы: определение понятия «социальная группа» // Вестник Кем. гос. ун-та. 2012. № 2 (15). С. 117–123.

Ващенко Ю. С. Иноязычная юридическая лексика в законодательных текстах: история появления, современные тенденции и пути развития // Государство и право. 2018. № 1. С. 53–64.

Голев Н. Д. Юридизация естественного языка как лингвистическая проблема // Юрислингвистика. Барнаул, 2000. С. 8–40.

Голев Н. Д. Научные термины как единицы стихийного функционирования языка: полемические заметки // Метаязык науки: Материалы Междунар. науч. конф. Сыктывкар, 2012. С. 5–11.

Голев Н. Д., Воробьева М. Е. Интерпретационное функционирование юридического языка в обыденном сознании: Монография. Кемерово: Изд-во КемГУ, 2017. 117 с.

Голев Н. Д., Иркова А. В. Становление юридического термина как процесс юридизации общенародного слова (дискурсивно-семантический анализ лексем с корнями *чест-* и *добр-*) // Вестник Моск. гос. ун-та. 2018. № 4. С. 212–242.

Голев Н. Д., Лебедева Н. Б. Современный словарь диалектной лексики // Сибирский филологический журнал. 2016. № 2. С. 125–133.

Дуринова Г. В. Слово и понятие *гражданин* в русском языке XVIII в. (к вопросу о лингвистической основе истории понятия) // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2015. Вып. 1 (41). С. 18–38.

⁵ Словарь русского языка: В 4 т. / РАН, Ин-т лингвистических исследований; под ред. А. П. Евгеньевой. URL: <http://feb-web.ru/feb/mas/MAS-abc/default.asp> (дата обращения 12.12.2018).

Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М.: Языки славянской культуры, 2002. 758 с.

Кандаурова Т. Н. О характере оппозиций в парах соотносимых между собой неполногласных и полногласных слов (на материале древнерусского письменного литературного языка XI–XIV вв.) // Учен. зап. Моск. гос. пед. ин-та. М., 1967. С. 375–390.

Козлачкова Е. А. Соотношение понятий «человек», «личность», «физическое лицо», «гражданин» в российском праве // Право и государство: теория и практика. 2014. № 1. С. 17–20.

Кузнецов А. М. Лингвистические толкования правового смысла «преступления» и «наказания»: юридическая теория и бытовые стереотипы. М.: Изд-во ИНИОН РАН, 2012. 75 с.

Лукин П. В. Древнерусские понятия «горожанин», «гражанин», «гражданин» // Российская история. Москва. 2014. № 4. С. 140–146.

Марасинова Е. Н. Рабы и граждане в Российской империи XVIII в. // «Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе»: к проблеме адаптации западных идей и практик в Российской империи. М.: РОССПЭН, 2008. С. 99–118.

Механошина Н. А., Филиппова Т. А. К вопросу об определении понятия «поглощение» // Юрислингвистика. 2016. № 5. С. 27–38.

СлРЯ – Словарь русского языка XI–XVII вв. / Гл. ред. С. Г. Бархударов. М.: Наука, 1977. Вып. 4: Г–Д.

Смирнов О. М. К вопросу об установлении уголовно-процессуального значения понятий «личность», «человек», «гражданин», «лицо» и их соотношении // Вестник Том. гос. ун-та. 2008. № 307. С. 98–99.

Улукханов И. С. Мотивация и производность (о возможностях синхронно-диалектного описания языка) // Вопросы языкознания. 1992. № 2. С. 5–20.

Улукханов И. С. Историческое словообразование. Историческая лексикология. М.: ООО «ЛЕКСРУС», 2012. 368 с.

Фан И. Б. Политическая онтология российского гражданина: содержание против формы. Екатеринбург, 2018. 332 с.

Список источников

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1998.

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками). URL: www.constitution.garant.ru (дата обращения 28.08.2018).

НКРЯ – Национальный корпус русского языка. URL: www.ruscorpora.ru (дата обращения 10.01.2018).

Словарь русского языка: В 4 т. / РАН, Ин-т лингвистических исследований; под ред. А. П. Евгеньевой. URL: <http://feb-web.ru/feb/mas/MAS-abc/default.asp> (дата обращения 12.12.2018).

Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. М., 1958.

A. V. Irkova

Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation
a.irkova@mail.ru

Prejuridical and juridical meanings of a lexeme “grazhdanin” (a citizen) in social-political discourse

This paper discusses the process of juridization of the term “grazhdanin” (a citizen) in the social-political discourse. At present, the lexeme “grazhdanin” and many others containing the root *-grazhd-* have acquired juridical meanings and are used in legal texts. However, these lexemes

were not considered as legal terms at first. The paper deals with the typology of the prejudicial content of the word “grazhdanin.” This typology is based on a varying degree of similarity of the public word semantics to the legal term status as a top point of the process of juridization. It is supposed to identify the pattern of pre-juridical use of the lexeme concerned and its synchronous results. The prejudicial status of a public word allows qualifying its meaning as semi-terminological value. The variety of semantic registers of the public terms, fixed at this stage, does not disappear, leaving behind a trail of pre-juridic semantics and stylistic origin in the legal texts. “Spontaneous” units of natural language are revealed through a set of synonyms in social-political discourse: “chelovek” (a human), a “grazhdanin” (a citizen), “lichnost” (a personality), and “litso” (a person). The diachronic discourse-semantic analysis of the interaction between pre-juridical and juridical meanings of the word “grazhdanin,” gradually incorporated into legal texts, allows revealing a discourse-semantic pattern of a public term being incorporated into legal communication.

Keywords: legal linguistics, everyday language, juridization, terminologisation, law discourse, citizen.

DOI 10.17223/18137083/68/19

References

- Belousova K. A. “Dolzhnaya osmotritel’nost’ i ostorozhnost” pri vybore kontragenta kak otsechnoye ponyatiye, ne zakreplennoye normoy zakona [“Due diligence and care” at contractor selection as an evaluation notion not fixed by statutory provision]. *Russian Judge. Publishing Group “Jurist”*. 2017, no. 4, pp. 8–12.
- Brinev K. I. Metodologicheskiye problemy lingvisticheskoy ekspertizy: opredeleniye ponyatiya “sotsial’naya gruppa” [Methodological problems of linguistic expertise: defining the essence of extremism / defining the concept of “social group”]. *Bulletin of Kemerovo State University*. 2012, no. 2 (15), pp. 117–123.
- Durinova G. V. Slovo i ponyatiye grazhdanin v russkom yazyke 18 v. (k voprosu o lingvisticheskoy osnove istorii ponyatiya) [The word and the notion citizen in the Russian language of the 18th century: The problem of the linguistic basis of the history of concepts]. *St. Tikhon’s University Review. Series 3: Philology*. 2015, iss. 1 (41), pp. 18–38.
- Fan I. B. *Politicheskaya ontologiya rossiyskogo grazhdanina: sodержaniye protiv formy* [Political ontology of the Russian citizen: content versus form.]. Ekaterinburg, 2018, 332 p.
- Golev N. D., Vorob’yeva M. E. *Interpretatsionnoye funktsionirovaniye yuridicheskogo yazyka v obydennom soznanii: Monografiya* [Functioning of juridical terms in ordinary consciousness of native speakers of Russian: Monograph]. Kemerovo. KSU Publ. 2017, 117 p.
- Golev N. D. Nauchnyye terminy kak edinitsey stikhiynogo funktsionirovaniya yazyka: polemicheskiye zametki [Scientific terms as manifestations of spontaneous functioning of language: polemic notes]. In: *Metayazyk nauki: Materialy Mezhdunar. nauch. konf.* [Metalinguage of science: the proceedings of the International sci. conf.], Syktyvkar, 2012, pp. 5–1.
- Golev N. D., Lebedeva N. B. Sovremennyy slovar’ dialektnoy leksiki [The modern online dictionary of dialect vocabulary]. *Siberian Journal of Philology*. 2016, no. 2, pp. 125–133.
- Golev N. D., Irkova A. V. Stanovleniye yuridicheskogo termina kak protsess yuridizatsii obshchenarodnogo slova (diskursivno-semanticheskiy analiz leksem s kornymi chest- i dobr-) [The making of a legal term out of a general word: a discursive and semantic analysis of words with the roots chest- and dobr-]. *Moscow State University Bulletin*. 2018, no. 4, pp. 212–242.
- Golev N. D. Yuridizatsiya estestvennogo yazyka kak lingvisticheskaya problema [Problem of juridization of natural language in contemporary linguistics]. In: *Yurislilingvistika-2. Russkiy yazyk v ego estestvennom i yuridicheskom bytii* [Legal linguistics-2. Russian language in its natural and legal existence]. Barnaul, 2000, pp. 8–40.
- Kandaurova T. N. O kharaktere oppozitsiy v parakh sootnosimyykh mezhdu soboy nepolnoglasykh i polnoglasykh slov (na materiale drevnerusskogo pis’mennogo literaturnogo yazyka 11–14 vv.) [About the character of the opposition in pairs of related incomplete and full words (on the material of the Old Russian written literary language of the 11–14th centuries)]. In: *Uchen. zap. Mosk. gos. ped. in-ta* [Scientific works of Moscow State Pedagogical Institute]. Moscow, 1967, pp. 375–390.
- Kozlachkova E. A. Sootnosheniye ponyatiy “chelovek”, “lichnost”, “fizicheskoye litso”, “grazhdanin” v rossiyskom prave [The correlation of definitions “human being”, “person”, “natural

ral person”, “citizen” in Russian law]. *Law and state: The theory and practice*. 2014, no. 1, pp. 17–20.

Kuznetsov A. M. *Lingvisticheskiye tolkovaniya pravovogo smysla “prestupleniya” i “nakazaniya”: yuridicheskaya teoriya i bytovyye stereotipy* [Linguistic interpretation of legal sense of terms “crime” and “punishment”: juridical theory and daily life stereotypes]. Moscow. INION RAN Publ., 2012, 75 p.

Lukin P. V. Drevnerusskiye ponyatiya “gorozhanin”, “grazhanin”, “grazhdanin” [Ancient Russian notions “gorozhanin”, “grazhanin”, “grazhdanin”]. *Rossiyskaya istoriya*. 2014, no. 4, pp. 140–146.

Marasinova E. N. Raby i grazhdane v Rossiyskoy imperii 18 v. [Slaves and citizens in the 18th century Russian Empire]. In: *“Vvodya nray i obychai Evropeyskiye v Evropeyskom narode”: k probleme adaptatsii zapadnykh idey i praktik v Rossiyskoy imperii* [“Introducing European morality and customs into European society”: on the problem of adapting western ideas and practice in the Russian Empire]. Moscow, ROSSPEN, 2008, pp. 99–118.

Mekhanoshina N. A., Filippova T. A. K voprosu ob opredelenii ponyatiya “pogloshcheniye” [To the definition of the concept “takeover”]. *Legal linguistics*. 2016, no. 5, pp. 27–118.

Slovar’ russkogo yazyka 11–17 vv. [Dictionary of the Russian language of the 11–17th centuries]. S. G. Barxudarov (Ed.). Moscow, Nauka, 1977, iss. 4: G–D.

Smirnov O. M. K voprosu ob ustanovlenii ugovno-protsessual’nogo znacheniya ponyatiy “lichnost’”, “chelovek”, “grazhdanin”, “litso” i ikh sootnoshenii [To the question on the establishment of the criminal procedure meaning of the notions “personality”, “man”, “citizen”, “person” and their ratio]. *Tomsk State University Journal*. 2008, no. 307, pp. 98–99.

Ulukhanov I. S. *Istoricheskoye slovoobrazovaniye. Istoricheskaya leksikologiya* [Historical derivation. Historical lexicology]. Moscow, OOO “LEKSRUS”, 2012, 368 p.

Ulukhanov I. S. Motivatsiya i proizvodnost’ (o vozmozhnostyakh sinkhronno-dia-khronicheskogo opisaniya yazyka) [Motivation and derivativeness (on the potential of synchronic-diachronic description of language)]. *Voprosy Jazykoznanija (Topics in the study of language)*. 1992, no. 2, pp. 5–20.

Vashchenko Yu. S. Inoyazychnaya yuridicheskaya leksika v zakonodatel’nykh tekstakh: istoriya poyavleniya, sovremennyye tendentsii i puti razvitiya [Foreign language law terms in legislative texts: genesis, recent trends and ways of developing]. *State and Law*. 2018, no. 1, pp. 53–64.

Zhivov V. M. *Razyskaniya v oblasti istorii i predystorii russkoy kul’tury* [Researches on the history and prehistory of Russian culture]. Moscow. LRC Publishing House, 2002, 758 p.

List of sources

Dal’ V. I. *Tolkovyy slovar’ zhivogo velikorusskogo yazyka: V 4 t.* [Explanatory dictionary of the living great Russian language: in 4 vols]. Moscow, 1998.

Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii (prinyata na vsenarodnom golosovanii 12 dekabrya 1993 g.) (s popravkami) [Constitution of the Russian Federation (passed by nation-wide voting of December 12, 1993)]. URL: www.constitution.garant.ru. (accessed 28.08.2018)

Natsional’nyy korpus russkogo yazyka. URL: www.ruscorpora.ru (accessed 10.01.2018)

Slovar’ russkogo yazyka: V 4 t. [Dictionary of the Russian language: In 4 vols]. A. P. Evgen’yeva (Ed.). URL: <http://feb-web.ru/feb/mas/MAS-abc/default.asp> (accessed 12.12.2018)

Sreznevskiy I. I. *Materialy dlya slovary drevnerusskogo yazyka* [Materials for the dictionary of the Old Russian language]. Moscow, 1958.

И. В. Высоцкая¹, О. И. Северская²

¹ Новосибирский государственный университет

² Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Москва

**«Можно, пожалуйста, ...»
как речевая формула «новейшей русской вежливости»**

Рассматривается функционирование речевой формулы *можно, пожалуйста*, которая трактуется как знак «новейшей русской вежливости» и маркер «этикетного раскола» поколений. В детской и молодежной среде не ощущается избыточность этого выражения, оно нейтрально и автоматически воспроизводимо в разных речевых ситуациях. Судя по среде первичного бытования и активности распространения, эта формула возникла как калька англоязычной конструкции в детской или молодежной телепередаче. Из разговорной речи она проникает в другие сферы: в неофициальную письменную речь, в язык телевидения, Интернета, современной поэзии. Можно говорить о полидискурсивности знака.

Ключевые слова: речевая формула, избыточное употребление, новейшая русская вежливость, русский речевой этикет, полидискурсивность.

Гиперкорректная, на наш взгляд, этикетная формула просьбы *можно, пожалуйста, ...* появилась в современной русской речи не так давно, но уже была включена в лонг-лист «Слова 2017 года»¹ и настолько распространилась в детской и молодежной среде, что не может не привлекать внимания исследователей².

¹ Черникова Е. Слово года – реновация (Вечерняя Москва, 09.01.2018). URL: <https://vm.ru/news/449885.html>

² Авторы настоящей статьи независимо друг от друга представили доклады, связанные с речевой формулой *можно, пожалуйста*, на конференции в РГГУ 23–24 окт. 2018 г. [Высоцкая, 2018; Северская, 2018].

Высоцкая Ирина Всеволодовна – доктор филологических наук, профессор кафедры теории и истории журналистики Новосибирского государственного университета (ул. Пирогова, 1, Новосибирск, 630090, Россия; i.vysotskaia@ngsu.ru)

Северская Ольга Игоревна – кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН (ул. Волхонка, 18/2, Москва, 119019, Россия; oseverskaya@yandex.ru)

Эта формула рассматривается как результат взаимодействия амбивалентных коммуникативных намерений говорящего, как синтез разговорности / спонтанности и книжности / обдуманности [Высоцкая, 2018]. В первоначальном употреблении она, вероятно, является средством интерстилевого тонирования речи, поскольку позволяет повысить престижность высказывания: вместо привычного императивного способа выражения просьбы (*Дай, пожалуйста!*) говорящий использует безличную конструкцию с предикативом *можно*, однако, опасаясь показаться невежливым, добавляет этикетное слово³ *пожалуйста*, сопровождающее не прямую, а косвенную просьбу.

Этикетная формула *можно, пожалуйста*, ... воспринимается носителями русского языка неоднозначно и провоцирует когнитивный диссонанс и коммуникативный конфликт старшего и младшего поколений [Северская, 2018]. Ситуативно неоправданное и не соответствующее традиционным нормам вежливости, это выражение вполне может расцениваться как «невежливое» и просторечное, а следовательно – неэффективное.

Важно, что эта формула красноречиво свидетельствует об изменении русского речевого этикета. Именно этот вариант просьбы использует поколение Z (в каждой школьной или студенческой столовой слышно: *Можно, пожалуйста, принести салфетки; Можно, пожалуйста, булочку / кофе...*; и т. п.), перенимает поколение Y, а ее «ненормальность» и «нерусскость» ощущают лишь люди «за сорок», если не «за пятьдесят», поколение X и беби-бумеры, которые еще помнят нормы этикета⁴. А русской этикетной нормой, напомним, предусмотрены либо вопрос: *Можно мне мороженого?*, либо просьба: *Мне, пожалуйста, мороженого*.

Речевая формула употребляется в сочетании с последующим инфинитивом в безличной конструкции или с именем существительным в винительном падеже в эллиптическом предложении. В последнем случае маркером эллипсиса глагола часто служит по сути избыточная⁵ форма «дательного субъекта» личного местоимения первого лица единственного числа: *можно, пожалуйста, мне...*

Активное функционирование этого выражения мы рассматриваем как проявление динамических процессов в сфере русского речевого этикета в русле так называемой новой (а точнее – новейшей) русской вежливости. Вводя в лингвистический обиход терминологическое выражение «новая русская вежливость», Р. Ратмайр выделила факторы формирования новой коммуникативной культуры и предложила модель развития русской вежливости [Ратмайр, 2009], в соответствии с которой под влиянием западной коммерческой вежливости формируется новая русская вежливость в сфере бизнеса. Это явление, на наш взгляд, совершенно справедливо считается яркой чертой постсоветской коммуникативной культуры, контрастирующей с советской. Отвечая на вопрос о том, «является ли новая русская вежливость краткосрочной модой делового этикета или началом коренного прагматического изменения» [Там же, с. 65], автор приходит к выводу,

³ Его грамматический статус, как и статус всех так называемых этикетных слов, если не игнорируется, то определяется в русистике по-разному: как частица ([Балакай, 2001, с. 361], толковые словари Д. Н. Ушакова. С. И. Ожегова и др.) или как этикетное междометие ([Касаткин и др., 1991, с. 217; Середа, 2004; 2006] и др.). Ср. также попытку выделения в особый класс слов-коммуникативов [Киприянов, 1983].

⁴ Согласно теории поколений, Z – до 16 лет, Y – от 16 до 40 лет, X – от 40 до 60 лет, беби-бумеры – 60+ (см.: Лазарева М. X, Y, Z: теории поколений в России. URL: <https://newtonew.com/science/x-y-z-teorii-pokoleniy-v-rossii>).

⁵ Интересно, что «Словарь русского речевого этикета» не приводит примеров употребления *можно* с личным местоимением в дательном падеже, фиксируя в составе формул вежливой просьбы выражения: *Можно войти? Можно (к Вам, к тебе)? Можно к Вам (на минутку)?* [Балакай, 2001, с. 279].

что глобализация определенной сферы дискурса способна спровоцировать распространение новых форм общения и в другие сферы жизни.

Речевая формула *можно, пожалуйста*, составляющая объект нашего исследования, во-первых, употребляется в неофициальном дискурсе, а во-вторых, появилась совсем недавно. Эти обстоятельства дают нам основание квалифицировать ее как знак новейшей коммуникативной культуры в сфере повседневного общения в разных коммуникативных ситуациях.

В детской и молодежной речи формула воспринимается как нейтральная и не сопровождается, по нашим наблюдениям, какими бы то ни было дополнительными интенциями. Она не обусловлена речевой ситуацией: употребляется при обращении к равному, младшему и старшему по возрасту и/или статусу собеседнику, в неофициальном и официальном общении. Наконец, она не сопряжена с формой речи: используется как в устных высказываниях, так и в письменных текстах (к примеру, в электронных письмах).

Эта речевая формула – калька англоязычной⁶ конструкции *May I* ‘Могу ли я / могу я..?’: *May I please speak with Mr. Johnes?* ‘Могу ли я поговорить с мистером Джонсом?’; *Miss Davies, may I please have this last dance?* ‘Мисс Дэвис, могу я пригласить Вас на последний танец?’

Она появилась в результате буквального перевода⁷, по всей вероятности, в каком-либо популярном фильме или телесериале (известно, что телевизионная речь является мощным каналом распространения речевых инноваций), а потом получила «поддержку» во множестве телепродуктов. Однако осознают факт заимствования только 20 % тех, кто использует новую просьбу-вопрос (двое из десяти респондентов⁸), 80 % просто повторяют ее, думая, что «волшебных» слов не может быть много и что так – «вежливее».

Можно также предположить, что речевая формула возникла по принципу «два в одном» в результате фразовой контаминации двух разнооформленных конструкций: *Можно? Пожалуйста!* При быстром темпе речи они вполне могут слиться, объединившись в пределах одного такта.

Кстати сказать, в Национальном корпусе русского языка⁹ есть примеры соположения этих «вежливых» слов, в следующих ситуациях:

1) в конструкции *если можно, пожалуйста...*, т. е. при выражении просьбы в сложноподчиненном предложении с придаточной частью условия и союзом *если*, когда оговаривается возможность исполнения просьбы при определенных условиях: ...заметив, что он собирается уходить, она сказала: – **Если можно, пожалуйста, возвращайся пораньше** (А. П. Чехов, Три года); *Я здесь работаю не так давно. Но... могу навести справки. – Если можно... пожалуйста...* для меня это очень важно... *поверьте* (Е. Маркова, Каприз фаворита);

2) в подчеркнуто вежливом, продублированном разрешении, позволении, предоставлении той или иной возможности: *Учредительное собрание? Что же,*

⁶ Любопытно, что так называемая демонстративная приветливость, отличающая, по справедливому утверждению Т. В. Лариной [2013, с. 339], английский стиль коммуникации, связана в этом случае с употреблением слова *please*, а не важнейшего и наиболее частотного *sorry* [Ларина, 2013, с. 314].

⁷ Примеры такого перевода приводятся как корректные: **Можно, пожалуйста, потише?** ‘*Can we please be quiet?*’ URL: <https://context.reverso.net/перевод/русский-английский/Можно%2С+пожалуйста>

⁸ Опрос проводился в 2018 г. среди десяти выпускников магистратуры РГГУ, МГУ им. М. В. Ломоносова, Института русского языка им. А. С. Пушкина, получающих квалификацию «филолог». Респондентам были предъявлены формы вопроса-просьбы с *можно*, с *пожалуйста* и с *можно, пожалуйста*. Все участники опроса выбрали последнюю как наиболее соответствующую нормам вежливости, а 80 % и как «нормальную» для русского языка.

⁹ Национальный корпус русского языка (НКРЯ). URL: <http://www.ruscorpora.ru/>

можно, пожалуйста... Мы не возражаем, хоть завтра... (Д. А. Фурманов, Талка); Даже не заговорит. Смотреть **можно, пожалуйста**. Но чего в ней особенного? (Ю. Дружников, Виза в позавчера); Отделиться **можно – пожалуйста**, отделяйтесь, – но почему это надо делать такими варварскими способами, как война и теракты? (Интернет-форум, 2013).

В первом случае интенсификаторами смысла становятся предикатив *можно*, придающий высказыванию модус возможности, и этикетное междометие *пожалуйста*, усиливающее саму просьбу, т. е. диктум. Во втором *можно* выражает согласие с просьбой, а *пожалуйста* как бы подчеркивает решимость говорящего эту просьбу выполнить, предоставить собеседнику ту или иную возможность, разрешить что-то сделать; при этом именно *пожалуйста* может выражать смысл 'сделаю при определенных условиях', как в следующем примере: – Лен... Леночка, *можно тебя попросить... билеты в театр... Сегодня, в Вахтангова*. <...> **Можно, пожалуйста**, если это нетрудно (Комсомольская правда, 05.12.2001).

Интересно, что выражение *можно, пожалуйста* «перекочевало» из придаточной в главную часть сложноподчиненного предложения с придаточной частью условия.

Как бы то ни было, соединение двух этих вежливых слов в потоке русской речи оказывается возможным, хотя выражение и приобретает иной интонационный рисунок и, главное, выражает иную семантику: это новейшая формула просьбы.

О ее популярности речевой формулы свидетельствуют многочисленные вопросы на интернет-сайтах:

*Допустимо ли употреблять слово «пожалуйста» в просьбе, имеющей форму вопроса? Например: «Можно, пожалуйста, чашку чая?»*¹⁰;

*Правильно ли говорить «можно, пожалуйста...» при просьбе. Например: «Можно мне, пожалуйста, эту коробку конфет?»*¹¹.

*Почему нельзя говорить «Можно пожалуйста»*¹²? Например: «Можно пожалуйста воды»¹³.

В материалах НКРЯ этот новейший оборот пока еще редкость, хотя скоро он может быть зафиксирован его устным корпусом: *можно, пожалуйста*, ... появляется в телеэфире, причем не только в речи героев телесериалов («Реальные пацаны» (ТНТ), «Тайны следствия» (Россия-1) и др.), но и в речи участников и ведущих ток-шоу (даже на федеральных каналах): **Можно, пожалуйста, этот вопрос здесь не обсуждать!** («Время покажет», 1-й канал).

Эта формула употребляется и в современной поэзии. Она может становиться смысловой доминантой произведения, выполнять текстообразующую функцию и даже выноситься в название стихотворения.

В «Можно, пожалуйста?» М. Брыкиной¹⁴ (2016) речевая формула акцентируется анафорическим употреблением.

Можно, пожалуйста, желтые листья?
Наш Воронцовский парк?
Чтобы шагали мы близко-близко
Вдоль длинных аллей и оград?
Можно, пожалуйста, дождь или ливень?
Майский, осенний, любой!
Чтобы промокнуть с тобою до нитки,
В платье любимым тобой!

¹⁰ URL: <http://www.liveexpert.ru/topic/view/573573-dopustimo-li-upotrebyat-slovo-pozhalujsta>

¹¹ URL: <https://otvet.mail.ru/question/172103893>

¹² Сохранена авторская пунктуация.

¹³ URL: <https://ask.fm/russian/answers/141067283516>

¹⁴ URL: <http://www.stihi.ru/2016/11/25/6061>

*Можно, пожалуйста, голос услышать,
Страшно холодной зимой?
Я буду ждать, а вдруг ты напишешь:
«Можно остаться с тобой?»
Можно не буду искать нелюбимых
В будничной серой толпе?
Можно, пожалуйста, днем или ночью
Мне возвратиться к тебе?*

А в «Можно, пожалуйста...» Кати Гордиенко¹⁵ (2018) новомодная этикетная формула используется наряду с традиционными выражениями вежливой просьбы.

*А можно, пожалуйста, быть хоть немного нежнее?
К людям любимым, и к самым простым вещам..*

*Можно счастьем открыть, вновь, двери
И улыбнуться весне, как бы невзначай?
«Можно, пожалуйста, пачку пломбира с орехами,
Сладкую вату, солнце, прогулку, парк?»
(Хочется быть иногда очень-очень слабой,
Но не настолько, чтоб дать себя растоптать!)*

*Можно встать на рассвете и щуриться солнцу,
А на закате проститься с мыслями не о том?
Хочется вновь научиться влюбляться,
Верить в добро и в людей, что дарят тепло..*

*Еще бы, пожалуйста, латте и торт медовый,
Трамвайный билет счастливый, дорогу домой..
Лучшего друга и разговоров длинных,
Самых веселых комедий и фильмов с грустным концом.*

*Еще мне, пожалуйста, мудрых книжечек,
Чтоб научили быть стойкой, непробивной!
И, если можно, чтоб был у меня защитник,
Только один и, чтобы лишь мой.*

*Можно, пожалуйста, быть хоть немного добрым,
И в отражении зеркала видеть себя живым?
Можно, пожалуйста, руку, что не отпустят
И любовь без ран ножевых?*

*Можно, пожалуйста, чувствовать себя дома,
Верить в любовь и не отсчитывать срок?
Будто бы снова будет потеря..
Будто бы будешь опять одинок.
Можно, пожалуйста, быть хоть немного смелее..
С сердца снять, наконец-то, железный замок..
Можно, пожалуйста, чувствовать себя новой?
Выжившей и возродившейся этой весной вновь?*

Как показывает общий контекст произведений, обе поэтессы вполне лиричны и вполне серьезны и употребляют *можно, пожалуйста*, ... без какой бы то ни было иронии.

¹⁵ URL: <https://www.stihi.ru/2018/04/02/8125>

Обратим внимание на вариативность оформления речевой формулы сверхвежливой и деликатной просьбы. Ее смысловая цельнооформленность подчеркивается двумя некорректными с точки зрения принятых правил пунктуации, но бытующими в узусе написаниями:

- слитным: *можнопожалуйста* (именно в таком слитном написании формула была включена в упоминаемый выше лонг-лист «Слова 2017 года»);
- раздельным, но без знаков препинания: *можно пожалуйста*.

В норме же ¹⁶ *пожалуйста* либо выделяется на письме запятыми, если употребляется в интерпозиции, как вводное слово: *Вы, пожалуйста, не сердитесь на нас*; либо в составе комплекса ¹⁷ незначительных слов без каких-либо знаков препинания: *Скажите пожалуйста, какие они умные!*; *Ну и пожалуйста, оставайтесь при своем мнении*; *И вот пожалуйста, изменения в этикете налицо*.

Обратим внимание и на то, что формируется новый функциональный тип предложения, своеобразный гибрид побудительной и вопросительной конструкций. Так, фраза: *Алина, можно, пожалуйста, закрыть окно?* – вполне может восприниматься как контаминация прямого побуждения (*Алина, закрой, пожалуйста, окно*) и косвенного выражения просьбы с помощью вопроса (*Алина, не могла бы ты закрыть окно?*).

Как видно из приведенных выше стихотворных примеров, авторы оформляют предложение как вопросительное. Однако, поскольку выражение преимущественно разговорное и редко (во всяком случае, пока) фиксируется на письме, сложно сказать, какая из интенций (просьба или вопрос) обладает большей иллюкутивной силой. Судя по интонации в разговорной речи, фраза только формально начинается как вопросительная, завершается же она как побудительная (и в этом, на наш взгляд, существенное отличие прямых речевых актов от косвенных).

Дж. Р. Сёрль писал: «Вопрос о том, каким образом я узнаю, что некто высказал просьбу, хотя он всего лишь задал мне вопрос... подобен вопросу о том, каким образом я узнаю, что мимо меня проехал автомобиль. Если я воспринял лишь яркую вспышку, пронесшуюся мимо меня по дороге» [Сёрль, 1986, с. 222]. Если использовать это сравнение Сёрля, то, вероятно, можно сказать, что природа вспышки остается неясной носителям традиционной коммуникативной культуры.

Речевые действия говорящего вряд ли предполагают вопрос и могут быть, скорее, представлены следующим образом:

- ‘знаю, что обращаюсь с просьбой’;
- ‘хочу говорить менее императивно и более вежливо’;
- ‘говорю менее императивно и более вежливо’.

Вероятно, императив представляется слишком резкой формой, поэтому наряду с *можно, пожалуйста*, ... в разговорной речи встречаются и другие некорректные «квазивежливые» реализации просьбы (с переносным употреблением форм наклонения):

Дашь, пожалуйста, этому пассажиру воды... Принесёшь, пожалуйста, пледы... (в салоне самолета).

Можно отметить и экстренное смягчение категорического императива: говорящий высказывается резко, но в последний момент вспоминает, что надо бы выглядеть вежливым человеком (еще один пример из коллекции полученного методом «включенного наблюдения»):

Встал и закрыл, пожалуйста, окно!

В противоположность этому приведем примеры из речи героини короткометражного фильма «Нежность» ¹⁸ (2018):

¹⁶ URL: <https://ruskiiyazyk.ru/punktuatsiya/pozhaluista-vyideliatsia-zapiatymi.html>

¹⁷ Грамматический статус которого определяется по-разному: как частица и как междометие.

¹⁸ Авторы сценария А. Меликян и А. Цыпкин. URL: <https://youtu.be/LihGkY43iXQ>

Вы не могли бы меня обнять, пожалуйста?

Не надо никаких фотографий, пожалуйста!

Если исходить из принятой в отечественной традиции ¹⁹ идеи триединства аспектов культуры речи, следует отметить, что этический компонент оказывается важнее коммуникативного и нормативного. Другими же словами, принцип вежливости оказывается в этих (как и во многих других) случаях сильнее так называемой максимы количества (одного из постулатов Грайса). На наш взгляд, в избыточном использовании *можно* и *пожалуйста* проявляются две заметные сегодня тенденции.

Во-первых, *можно, пожалуйста*, встраивается в ряд плеонастических сочетаний (*прейскурант цен, интерактивный опрос, главная магистраль* и под.), в которых непонятное, а потому чужое, как бы переводится с помощью понятного на свой язык, – с той разницей, что в новой формуле вежливой просьбы чуждый способ выражения вежливости кажется семантически и прагматически недостаточным, а потому усиливается по-своему понятным и простым в восприятии.

Во-вторых, *пожалуйста* в этом случае используется практически как «смайлик» ²⁰, поскольку значение слова как одного «из самых распространенных интенсификаторов вежливости при выражении просьбы» [Балакай, 2001, с. 361] дублируется значением конструкции.

Подведем итоги.

Речевая формула *можно, пожалуйста, ...* со значением просьбы появилась в русской речи сравнительно недавно и активно функционирует в детской и молодежной среде. По первичной среде бытования и активности распространения можно предположить, что первоначально эта формула возникла как калька англоязычной конструкции в детской или молодежной телепередаче. Копирование английского стиля доброжелательности происходит достаточно неуклюже, если не сказать – аномально.

Можно, пожалуйста, ... по-разному воспринимается носителями языка и служит показателем своеобразного «этикетного раскола» поколений: представители традиционной коммуникативной культуры находят такое употребление избыточным, в то время как в «новейшей» культуре оно нормативно, нейтрально, автоматически воспроизводимо в разных речевых ситуациях.

Новая этикетная формула в настоящее время функционирует в устном и письменном дискурсах, из разговорной речи проникает в язык телевидения, Интернета, современной поэзии, т. е. из личностно-ориентированного (персонального) дискурса – в статусно-ориентированный (институциональный). Таким образом, этикетный знак «новейшей русской вежливости» обретает полидискурсивность. Остается только наблюдать, насколько быстро он «приживется». Если все-таки приживется...

Список литературы

Балакай А. Г. Словарь русского речевого этикета: 2-е изд., испр. и доп. М.: АСТ-Пресс, 2001.

¹⁹ См. учебники по культуре речи К. С. Горбачевича, Л. А. Введенской и мн. др.

²⁰ Мы видим определенную аналогию между существующей сегодня «шестьсмайловой» системой выражения эмоций в Фейсбуке и пропагандируемым в сети джентльменским набором «волшебных слов», обязательных для любого вежливого человека: *здравствуйте, до свидания, извините, спасибо, пожалуйста*, иногда с комментарием: «Ежедневное употребление в своем лексиконе этих слов говорит о хороших манерах и высокой нравственности» (Вежливый человек – какой он? Качества вежливого человека. URL: <http://fb.ru/article/238132/vejliviy-chelovek---kakoy-on-kachestva-vejlivogo-cheloveka>).

Высоцкая И. В. Речевые формулы *вполне себе* и *можно, пожалуйста* в современной русской речи // Вежливость и антивежливость в языке и коммуникации: Материалы Междунар. науч. конф., состоявшейся в Ин-те лингвистики РГГУ 23–24 окт. 2018 г. / Сост. и отв. ред. И. А. Шаронов. М.: Политическая энцикл., 2018. С. 62–69.

Касаткин Л. Л., Клобуков Е. В., Лекант П. А. Краткий справочник по современному русскому языку. М.: Высш. шк., 1991.

Киприянов В. Ф. Проблемы теории частей речи и слова-коммуникативы в современном русском языке. М.: МОПИ, 1983.

Ларина Т. В. Англичане и русские: язык, культура, коммуникация. М.: Языки славянских культур, 2013.

Ратмайр Р. «Новая русская вежливость» – мода делового этикета или коренное прагматическое изменение? // Вопросы языкознания, 2009. № 1. С. 63–81.

Северская О. И. От «диких извинений» до «можнопожалуйста»: о границах между вежливостью и антивежливостью // Вежливость и антивежливость в языке и коммуникации: Материалы Междунар. научн. конф., состоявшейся в Ин-те лингвистики РГГУ 23–24 окт. 2018 г. / Сост. и отв. ред. И. А. Шаронов. М.: Политическая энцикл., 2018. С. 246–253.

Середа Е. В. Место междометий в системе частей речи: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М.: МПГУ, 2004.

Середа Е. В. Этикетные междометия // Русский язык (прилож. к газете «Первое сентября»). 2006. № 15(519). URL: <http://rus.1september.ru/article.php?id=200601506>.

Сёрль Дж. Р. Косвенные речевые акты / Пер. с англ. Н. В. Перцова // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17: Теория речевых актов / Под общ. ред. Б. Ю. Городецкого. М.: Прогресс, 1986. С. 195–222.

I. V. Vysotskaya ¹, O. I. Severskaya ²

¹ Novosibirsk State University

Novosibirsk, Russian Federation, i.vysotskaia@ngsu.ru

² Vinogradov Russian Language Institute, Russian Academy of Sciences

Moscow, Russian Federation, oseverskaya@yandex.ru

**“Mozhno, pozhaluysta...”
as a speech formula for the “newest Russian politeness”**

The object of study is the etiquette formula *mozhno, pozhaluysta...* with the meaning of the request. This formula appeared in the modern Russian speech relatively recently, is actively functioning in the children and youth environment and was included in the long list of “Words of 2017.” The authors consider this formula as a manifestation of dynamic processes in the sphere of Russian speech etiquette.

It can be assumed that this formula initially appeared as a result of a literal translation, as a copy of an English-language phrase *May I – ‘Mogu li ya / mogu ya..?’* in a television show. Copying the gentle English style was rather clumsy, not to say abnormal. It may have also been the result of the blending of two differently shaped phrases *Mozhno? Pozhaluysta*. The fast pace of speech can cause their merging within one measure. However, the expression acquires a different intonation pattern, and, most importantly, expresses a different semantics. The excessive use of *mozhno* and *pozhaluysta* shows two noticeable trends: first, it fits into a range of pleonastic combinations; second, *pozhaluysta*, in this case, is used practically as a “smiley,” with the meaning of the word being duplicated by constructions. The new etiquette formula currently functions in oral and written discourses. From a colloquial speech, it penetrates the language of television, the Internet, modern poetry. The data for the study were taken from the authors’ files using the “included observation” method, the Russian National Corpus, Internet sites, etc.

Keywords: speech formula, excessive use, the newest Russian politeness, Russian speech etiquette, polydiscursivity.

DOI 10.17223/18137083/68/20

References

- Balakay A. G. *Slovar' russkogo rechevogo etiketa: 2-e izd., ispr. i dop.* [Dictionary of Russian speech etiquette: 2nd ed., rev. and enl.]. Moscow, AST-Press, 2001.
- Kasatkin L. L., Klobukov E. V., Lekant P. A. *Kratkiy spravochnik po sovremennomu russkomu yazyku* [A concise reference book on the modern Russian language]. Moscow, Vysshaya Shkola, 1991.
- Kipriyanov V. F. *Problemy teorii chastei rechi i slova-kommunikativy v sovremennom russkom yazyke* [Problems of the theory of parts of speech and word-communicatives in modern Russian]. Moscow, MOPI, 1983.
- Larina T. V. *Anglichane i ruskiye: yazyk, kul'tura, kommunikatsiya* [Englishmen and Russians: language, culture, communication]. Moscow, LRC Publishing House, 2013.
- Ratmayr R. "Novaya russkaya veshlivost'" – moda delovogo etiketa ili korennoye pragmaticheskoye izmeneniye? ["New Russian politeness" – a fashion of business etiquette or a fundamental pragmatic change?]. *Voprosy Jazykoznanija (Topics in the study of language)*. 2009, no. 1, pp. 63–81.
- Searle J. R. Kosvennyye rechevyye akty [Indirect speech acts]. Transl. from English by N. V. Percova. In: *Novoye v zarubezhnoy lingvistike. Vyp. 17: Teoriya rechevykh aktov* [New in foreign linguistics. Iss. 17: Theory of speech acts]. B. Yu. Gorodeckiy (Ed). Moscow, Progress, 1986, pp. 195–222.
- Sereda E. V. *Mesto mezhdometiy v sisteme chastei rechi* [The place of interjections in the system of parts of speech]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Moscow, MPSU, 2004.
- Sereda E. V. Etiketnyye mezhdometiya [Etiquette interjections]. *Russkiy yazyk (prilozh. k gazete "Pervoye sentyabrya")*. 2006, no. 15 (519). URL: <http://rus.1september.ru/article.php?id=200601506>.
- Severskaya O. I. Ot "dikikh izvineniy" do "mozhnopozhaluysta": o granitsakh mezhdru veshlivost'yu i antivezhlivost'yu [From "wild apologies" to "mozhnopozhaluysta": about the boundaries between politeness and anti-politeness]. In: *Veshlivost' i antivezhlivost' v yazyke i kommunikatsii: Materialy Mezhdunar. nauch. konf., sostoyavsheysya v In-te lingvistiki RGGU 23–24 okt. 2018 g.* [Politeness and antipoliteness in language and communication: Proceedings of international sci. conf. held in the Institute of Linguistics of Russian State University on October 23–24, 2018]. I. A. Sharonov (Comp., Ed.) Moscow, Political Encyclopedia Publ., 2018, pp. 246–253.
- Vysotskaya I. V. Rechevyye formuly vpolne sebe i mozjno, pozhaluysta v sovremennom russkom rechi [Speech formulas vpolne sebe and mozjno, pozhaluysta in modern Russian speech]. In: *Veshlivost' i antivezhlivost' v yazyke i kommunikatsii: Materialy Mezhdunar. nauch. konf., sostoyavsheysya v In-te lingvistiki RGGU 23–24 okt. 2018 g.* [Politeness and antipoliteness in language and communication: Proceedings of international sci. conf. held in the Institute of Linguistics of Russian State University on October 23–24, 2018]. I. A. Sharonov (Comp., Ed.) Moscow, Political Encyclopedia Publ., 2018, pp. 62–69.

УДК 81-119
DOI 10.17223/18137083/68/21

С. С. Медведев, А. Г. Фомин

Кемеровский государственный университет

К вопросу о статусе межъязыкового каламбура

Проводится обзор работ, посвященных межъязыковым каламбурам. Разграничиваются понятия «межъязыковой» и «билингвальный» как гипероним – гипоним. Для отобранных межъязыковых каламбуров в составе интернет-мемов сайта 9gag.com используется классификация В. П. Москвина, чтобы выявить неучтенные характеристики: базовый язык каламбура, языковую маркированность, графический и фонетический диаморф, количество взаимодействующих языков, смешанную графическую систему, наличие бленда.

Ключевые слова: каламбур, межъязыковой каламбур, омонимия, паронимия, игра слов, креолизация.

Феномену каламбура посвящено немало работ, как отечественных (А. А. Щербина, Г. Ф. Рахимкулова, А. М. Люксембург, В. З. Санников, Н. Д. Арутюнова, Т. А. Гридина, Н. Н. Розанова, Е. Ф. Болдарева, О. Ю. Коновалова), так и зарубежных (J. Lokrantz, H. Cox, R. Callois, M. Lederer) исследователей. Так, в самом общем виде под каламбуром принято понимать «остроумное выражение, в основе которого лежит игра на равнозвучии или близкوزвучии языковых единиц» [Москвин, 2011, с. 35].

Согласно А. С. Джанумову, функционирование каламбуров обусловлено «двойной диалектической связью: между элементами различных уровней языковых систем, а именно между семантическим, фонетическим и графическим в их единстве и различии, с одной стороны, и между двумя частями каламбура в их единстве и противопоставлении, с другой» [Джанумов, 1997, с. 14]. Под «двумя частями» понимаются два компонента, выделенные В. С. Виноградовым, каждый из которых представляет собой слово или словосочетание. Первый элемент является лексической базой каламбура, катализатором, начинающим игру

Медведев Сергей Сергеевич – аспирант Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций Кемеровского государственного университета (ул. Красная, 6, Кемерово, 650000, Россия; smedvedev08@mail.ru)

Фомин Андрей Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор кафедры перевода и лингвистики Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций Кемеровского государственного университета (ул. Красная, 6, Кемерово, 650000, Россия; andfomin67@mail.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 3
© С. С. Медведев, А. Г. Фомин, 2019

слов. Этот эталон всегда отвечает имеющимся орфографическим нормам языка и орфоэпическим канонам. Второй элемент конструкции – «перевертыш», результирующий компонент, который является вершиной, пиком каламбура. Комический эффект, таким образом, базируется на двояком понимании одного и того же языкового выражения: первоначально в сознании адресата актуализируется поверхностная семантика высказывания, и лишь затем, вследствие внезапной догадки или озарения, раскрывается глубинная, «замаскированная» составляющая высказывания [Виноградов, 2004, с. 60].

Одним из способов «маскировки» второго понимания сообщения является смешение языков в пределах одного высказывания для создания стилистической фигуры, известной как межъязыковой каламбур. Согласно Е. Я. Шмелевой, межъязыковой каламбур строится на столкновении двух сходно звучащих выражений, принадлежащих разным языкам, или, другими словами, данный прием можно назвать межъязыковой омонимией или паронимией [Шмелева, Шмелев, 2011, с. 783].

Разграничим ряд схожих терминов, которые зачастую ошибочно воспринимаются как взаимозаменяемые. Приведенное выше определение подразумевает тождество межъязыкового каламбура и межъязыковой паронимии (кроме того, в один и тот же синонимический ряд также добавляются ложные друзья переводчика или псевдоинтернационализмы), в то время как последняя является лишь средством создания первого, а не итоговым продуктом. Межъязыковой каламбур представляет собой именно высказывание, комплексную конфигурацию, дешифровка и анализ которой требует определенных когнитивных усилий.

Зарубежные исследователи, рассматривая данное явление, наиболее часто применяют термин «bilingual pun» («двуязычный/билингвальный каламбур»), реже – «interlingual pun» («межъязыковой/интерлингвальный каламбур»). Дирк Делабатиста отмечает, что возможность существования данной игры слов обусловлена сходством отдельных элементов фонетических систем, позволяя автору каламбура воспользоваться сегментным фонетическим сходством, и успешность каламбура зависит от умелости автора столкнуть два совершенно различных смысла, скрытых за практически идентичным звучанием, что позволяет принять билингвальную игру слов в качестве типа словесной игры [Delabattista, 1993, p. 155]. Себастьян Кноспе, рассматривая когнитивную модель англо-немецкой билингвальной игры слов, также выделяет именно омонимию и паронимию в качестве основы данного стилистического приема [Wordplay and Metalinguistic / Metadiscursive Reflection, 2015, p. 180]. Таким образом, для существования билингвальной игры слов необходима такая пара лексем, которая обладала бы почти или полностью идентичным написанием и фонетической оформленностью. Подобные межъязыковые пары в терминологии Эйенара Хаугена получили название «диаморфы», при этом элементы диаморфической пары могут не принадлежать одной и той же части речи [Haugen, 1950, p. 220].

Следует отметить, что термин «bilingual pun» нельзя назвать исчерпывающим и максимально точно описывающим природу данного стилистического приема, поскольку подобная формулировка предполагает столкновение двух языков в рамках синтагмы. Однако нельзя отрицать факт наличия подобных каламбуров, использующих одновременно лексемы трех и более языков. Так, в романе Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» («Finnegans Wake») встречаются межъязыковые каламбуры на материале трех и более языков. Еще одним примером является первое предложение рассказа Кордвейнера Смита «The Dead Lady of Clown Town»: *Go back to An-fang, the Peace Square at An-fang, the Beginning Place at An-fang, where all things start* (кит. *An-fang* ‘площадь мира’ + англ. *Peace Square*

‘площадь мира’ + нем. *Anfang* ‘начало’ + англ. *Beginning Place* ‘место, площадь начала’) ¹ [Smith, 1993, p. 223].

Доминирование термина «bilingual pun», как нам кажется, обусловлено более широкой распространенностью каламбуров из двух языков. Однако термин «межъязыковой каламбур», встречавшийся в работах отечественных исследователей, видится исчерпывающим, релевантным материалу исследования. Для терминологической унификации каламбуры, использующие инструментарий одного языка, будут обозначены как одноязыковые.

Таким образом можно обобщить, что межъязыковой каламбур – это вид игры слов, строящийся на противопоставлении смыслов диаморфов, т. е. омонимов или паронимов двух и более языков: языка-основы и языка-донора. Языком-основой является язык высказывания, лексемы которого вступают во взаимодействие со словами из другого языка (донора). Иноязычные элементы могут использоваться как в первозданном виде, так и претерпеть ряд визуальных изменений, таких как: измененная орфография, использование пунктуационных знаков, разлом первоначальной структуры, а также наличие металингвистических и метадискурсивных комментариев для того, чтобы характер взаимодействия был более эксплицитным и вследствие этого более простым для восприятия реципиентом.

В данной статье рассматриваются межъязыковые каламбуры, находящиеся в составе интернет-мемов, опубликованных на веб-сайте 9gag.com, одном из самых популярных архивов развлекательного контента сети Интернет.

Непосредственно сам термин «мем» был впервые употреблен оксфордским профессором, биологом Ричардом Докинзом в 1976 г. в книге «Эгоистичный ген». Дальнейшую разработку понятие получило в 1982 г. в его работе «Расширенный фенотип». Термин «мем» происходит от греческого *μίμησις* ‘подобие’; согласно Докинзу, примерами мемов служат «мелодии, идеи, модные словечки и выражения, способы варки похлебки или сооружения арок. Точно так же, как гены распространяются в генофонде, переходя из одного тела в другое с помощью сперматозоидов или яйцеклеток, мемы распространяются в том же смысле, переходя из одного мозга в другой с помощью процесса, который в широком смысле можно назвать имитацией» [Докинз, 1993, с. 318].

Под мемом в данной статье, вслед за Ю. В. Шуриной, понимаются креолизованные тексты, «фактура которых состоит из двух негомогенных частей (вербальной языковой и невербальной)», спонтанно распространяющиеся в среде, обслуживаемой информационными технологиями [Шурина, 2012, с. 162], непосредственно размещенное в сети Интернет изображение, содержащее, помимо известного, повторяющегося визуального компонента, вербальную составляющую. На данный момент мемы получили настолько широкое распространение в сети Интернет, что создается огромное количество сайтов и интернет-сообществ, посвященных их созданию и распространению, и суммарное количество мемов не поддается даже приблизительным подсчетам, превышая отметку в миллионы публикаций в день. Кроме того, мемы проникают в СМИ, рекламу, художественные произведения. Общий объем материала для проводимого исследования составил сто языковых единиц (межъязыковых каламбуров в интернет-мемах, т. е. один межъязыковой каламбур, обнаруженный в нескольких мемах, считается за одну языковую единицу), отобранных из массива 340 мемов с межъязыковыми каламбурами, что подтверждает репрезентативность проведенного исследования.

Целью исследования является изучение структурных особенностей межъязыковых каламбуров, обусловленных их полилингвальной природой. Для реализа-

¹ В статье используются следующие сокращения языков: **англ.** – английский; **исп.** – испанский; **кит.** – китайский; **нем.** – немецкий; **рус.** – русский; **фр.** – французский; **япон.** – японский.

ции поставленной цели авторы статьи используют классификацию видов каламбуров В. П. Москвина, основанную на тактиках их построения.

Москвин выделяет шесть тактик создания каламбуров.

1. Сближение слов, тождественных или сходных по форме, в частности:

а) омонимов либо лексико-семантических вариантов слова (антанаклаза). Данный прием является неприемлемым в контексте межкультурных каламбуров, поскольку в этом случае совершенно невозможно говорить о лексико-семантических вариантах слова, так как для межкультурного каламбура необходимо столкновение двух и более лексем из различных языков;

б) близкозвучных лексем, различающихся:

– одним звуком: *What happened to the Spanish Captain who said «Yes» too much? He got «Si-sick»*. Каламбур построен на столкновении англ. *sea* (/si:/) ‘море’ и исп. *si* (/si/) ‘да’; *A Spanish Magician. He said he could make himself disappear. He counted «uno, dos...» and he was gone. He disappeared without a Trés*. (англ. *trace* (/treis/) – ‘след’ и исп. *trés* (/tres/) ‘три’);

– порядком следования звуков (одни и те же фонемы, но в разном порядке). Москвин приводит следующий пример: *He рукопись, а куропись!* Межкультурных каламбуров, построенных на основе данного приема, в нашей выборке обнаружено не было;

– ударением (парехеза). Как и в предыдущем случае, подобных межкультурных каламбуров обнаружено не было;

в) созвучных слов (парономазия): *Здрасьте, у вас есть кочан капуста? – Нет, но у меня есть предложение получше. Берёте некочан? – Да*. Данный каламбур строится на созвучии русского слова *кочан* и японского *neko-chan* ‘кошко-девочка’. Креолизация также играет большую роль в создании юмористического эффекта: вербальная часть подкреплена изображением девочки с кошачьими ушами, показанной в стиле японской анимации – аниме.

2. Замена сходными по форме (то есть близкозвучными, однокоренными либо этимологически родственными) элементами:

а) части слова (параморфоза): *In queso emergency I pray to Cheesus* (сложная игра слов: исп. *queso* ‘сыр’ – англ. *case* ‘случай’ – англ. *cheese* ‘сыр’ – англ. *Jesus* ‘Иисус’; что примечательно, в данном случае происходит одновременно обычная параморфоза в рамках одного языка (*Jesus* – *Cheese*), которая затем сталкивается с межкультурной игрой слов (*queso* – *case*), и впоследствии два каламбура в рамках одного предложения уже сопоставляются друг с другом, создавая комический эффект); *Let's negi-otiate* (англ. *negotiate* ‘проводить переговоры’ и япон. *negi* ‘лук-порей’. Невербальный компонент (изображение человека, держащего в руках лук, упрощает понимание каламбура); *Have a terre-iffic day* (англ. *terrific* ‘потрясающий’ и фр. *terre* ‘земля’. Имеется креолизация – изображение земного шара). Примечательно, что данная тактика, приводящая к образованию неологизмов, является самой продуктивной, основываясь на материале, отобранном для исследования;

б) слова (паронимическая аллюзия). Данный прием подразумевает использование преимущественно однокоренных слов с нарушением их узуса, что и создает комический эффект. Москвин приводит следующий пример: *Это конгениально, – сообщил Остап*, где комический эффект достигается благодаря замене слова *гениально* на *конгениально*, значение которого («близкий по уму») не соответствует контексту). Созвучные слова из разных языков, используемые в межкультурных каламбурах, ни в одном из отобранных примеров не являются однокоренными, вследствие чего не представляется возможным обнаружить применение данной тактики создания межкультурных каламбуров;

в) текста (травестирирование). Данный прием также не был обнаружен, из чего следует, что использование иноязычных элементов в межъязыковых каламбурах ограничивается уровнем лексемы.

3. Объединение номинативных единиц:

а) двух, реже нескольких слов – общим звуковым фрагментом (фигура скорнения). Важно, что в данном случае речь идет именно о соединении начальной части одной основы с конечной частью другой: *What do you call a hairy angry bear? iFurioso!* (англ. *furry* ‘мохнатый’, *furios* ‘злой, гневный’ и исп. *oso* ‘медведь’; *What do the French call a really bad Thursday? A trajeudi!* (англ. *tragedy* ‘трагедия’ и фр. *jeudi* ‘четверг’). В целом данный прием во многом схож с уже упомянутой техникой параморфозы, однако принципиальное отличие заключается в том, что для скорнения необходимо именно соединение начальной части одной лексемы с конечной частью другой (ср. приводимый Москвиным пример *аромагия*). В то же время все межъязыковые каламбуры, так или иначе строящиеся на контаминации двух лексем, соответствуют именно последней схеме. В последнее время в работах отечественных и зарубежных исследователей все чаще встречается понятие «блендинг». Согласно О. А. Хрущевой, блендинг – это «самостоятельный способ словообразования, пограничный с аббревиацией и словосложением ввиду своих структурных особенностей, но обладающий специфическими чертами (намеренный характер словопроизводства, особая стилистическая окраска производных, окказиональный статус большинства производных единиц)» [Хрущева, 2009, с. 101]. Действительно, сложение каких-либо иных компонентов слова (например, морфем), а не основ, не приведет к созданию межъязыкового неологизма, находящегося в центре подобных каламбуров, поскольку отдельные морфемы одного языка, соединенные с основой слова другого, представляются слишком сложными для изолированного восприятия вне контекста своего «родного» языка;

б) ряда семантически разнородных или даже несовместимых контекстов – общим словом, либо полисемичным, либо имеющим омонимы (каламбурная зевгма). Очевидно, что полисемия – черта одной конкретной лексемы, что противоречит сути межъязыковых каламбуров, в которых по определению должны участвовать два и более слова различных языков. Исходя из этого, подобных каламбуров также обнаружено не было.

4. Перестановка речевых элементов, в частности:

а) частей слова (фигура вращения слова) (ср. *Мыслящий инако*);

б) частей близлежащих или контактирующих слов (метатезное словообразование): *Это настрадал еще Предсказамус*;

в) близлежащих или контактирующих слов с их переосмыслением (так называемый хиастический каламбур). Не отрицается возможность создания подобного типа межъязыковых каламбуров. Путем перестановки одной части лексемы вероятно экспликация омонима из другого языка, что приведет к столкновению смыслов, однако примеров построения межъязыковых каламбуров путем перестановки речевых элементов на данном этапе исследования обнаружено не было.

5. Контекстуализация – расширение многозначного (семантически производного) либо имеющего омонимы выражения:

а) исключаящее либо затрудняющее его однозначное истолкование (диалогия): *German sausages are the Wurst* (нем. *Wurst* ‘мясное изделие, колбаса’). Каламбур строится на том, что *Wurst* является омонимом английского слова *worst* ‘худший’, вследствие чего возможно двойная интерпретация данного предложения: «Немецкие сардельки – худшие» и «Немецкие сардельки – Wurst». Нецелесообразно рассматривать непосредственно многозначность одного слова (тогда каламбур потерял бы свою «многоязыковую» характеристику, поскольку полисемия является характеристикой слова в своем родном языке). Предыдущие примеры демонстрируют, что употребление как межъязыковых неологизмов, образованных путем

блендинга, так и омонимов зачастую требует определенной степени контекстуализации, например, вопроса в начале (ср. пример *trajeudi*). Причиной является тот факт, что контекст может являться, согласно терминологии Виноградова, катализатором, который может быть частично или полностью имплицитным (так, в примере *trajeudi* эксплицитным катализатором является только *Thursday*, в то время как *tragedy*, также необходимый компонент для успешной активизации каламбура, реферируется лишь с помощью *a really bad Thursday*).

Прием контекстуализации также лежит в основе гетерограммы, игрового жанра, основанного на «пересегментации» речи [Зубова, 2000, с. 88]:

- в слитной записи (ср. *Тыведьмадоннароза*);
- в записи с перестановкой пробелов.

Межъязыковых каламбуров, основанных на подобной модели, также обнаружено не было. Это объясняется довольно высокой сложностью создания каламбуров подобного типа в пределах одного языка, поскольку автору необходимо, используя одни и те же фонетические средства и не изменяя их порядка, создать два грамматически верных высказывания. В то же время не отрицается сама возможность создать межъязыковой каламбур по данной модели;

б) возвращающее выражению исходный смысл;

в) конфликтующее с его внутренней формой (ср. *Это уже девятая «правая рука» Хаттаба, уничтоженная за текущий год*).

Последние две модели основываются на обыгрывании многозначности слов, что невозможно в условиях межъязыкового каламбура.

6. Переосмысление на основе ассоциаций по близкозвучию и равнозвучию:

а) части либо ряда частей слова (метанализ): *Секси MANuЯ* (англ. *man* ‘мужчина’ и рус. *мания*); *Whoever let this [изображенный в меме поезд] sit out and rust over probably had a crazy reason for doing it. You know, a LOCOmotive... (locomotive ‘локомотив’ и исп. loco ‘безумный, сумасшедший’)*;

б) слова (ложноэтимологическое переосмысление): *What if soy milk is just regular milk introducing itself in Spanish?* (англ. *soy* ‘соевый’ и исп. *soy* (форма первого лица единственного числа глагола *ser* ‘быть’)). Согласно нормам испанского языка, человек может представиться, сказав *Soy Juan* – ‘Я Хуан’); *Шорты – это тупа итанишки-коротышки* (англ. *short* ‘короткий’ и рус. ‘шорты’. Отметим, что, несмотря на распространенность использования слова *шорт* в составных словах, например шорт-лист, шорт-продажи, в словарях русского языка лексема *шорт* в значении ‘короткий’ отсутствует). Анализ примеров показывает, что переосмысление семантики слова-катализатора является весьма частотной тактикой, используемой при создании межъязыкового каламбура. Действительно, как отмечает Дирк Делабатиста: «Если нормальная, т. е. монолингвальная игра слов проливает свет на степень не-изоморфизма между формами и значением в рамках одного языка, то межъязыковая игра слова подтверждает тот факт, что формы и значения в языке ведут себя так же безответственно и за рубежом»² [Delabatista, 1993, p. 155]. Однако в то время как игра слов в пределах одного языка позволяет «вскрыть» этимологию той или иной лексемы благодаря переосмыслению в ходе разложения этой лексемы на составные части и столкновения их друг с другом (разумеется, не во всех случаях, но ср. *Право, славное дело!*), то в случае межъязыковой игры слов об этимологическом родстве речи быть не может.

Таким образом, межъязыковые каламбуры представляют собой особый класс игры слов с рядом характеристик, отличающих их от одноязыковых каламбуров.

Во-первых, многие одноязыковые каламбуры строятся на обыгрывании полисемии одного и то же слова, но данная модель является «закрытой» для каламбу-

² Перевод наш.

ров межъязыковых, поскольку полисемия – особенность лексемы именно в контексте ее родного языка.

Во-вторых, подавляющее число каламбуров строится путем скорнения, сращения или блендинга. Это можно объяснить тем, что авторы межъязыковых каламбуров находят в лексемах родного языка фрагменты, которые являются также и омонимами лексем из других языков. Изменения, приводящие к образованию неологизмов, позволяют эксплицировать омонимичные элементы, упрощая понимание межъязыкового каламбура для реципиента. Кроме того, контекстуализация также играет большую роль при создании межъязыкового каламбура, поскольку изолированный бленд-неологизм имеет малую вероятность создать комический эффект для читателя. Контекстуализация может быть обозначена как вербально, так и невербально – последнее является характерной чертой феномена, в рамках которого проводится исследование (интернет-коммуникация) и материала (креолизованных образований – мемов в интернет-средствах коммуникации).

Полученные данные позволяют заявить о необходимости создания отдельной классификации межъязыковых каламбуров, которая систематизировала бы особенности, отличающие данный вид игры слов от одноязыковых каламбуров. В ходе анализа материала были выделены следующие специфичные характеристики, позволяющие осуществлять категоризацию межъязыковых каламбуров:

Базовый язык каламбура (язык, на котором составлен каламбур, включающий иноязычные элементы). Подавляющее большинство рассмотренных языковых единиц были составлены на английском языке (79 случаев). В качестве других базовых языков выступили: испанский (6), французский (3), русский (2), хинди (4), немецкий (3), финский (3)

Подобная представленность этих языков объясняется доминирующей позицией английского языка как средства международного общения. Кроме того, основным языком сайта 9gag.com также английский, что в той или иной мере побуждает неанглоязычных пользователей создавать контент именно на английском языке с целью найти больший отклик у аудитории.

Наличие языкового маркера. Под языковым маркером в данном исследовании понимается указание / упоминание языка, лексема которого участвует в межъязыковой игре слов, или, другими словами, метадискурсивный комментарий. К примеру, *Why does the French order 1 egg for breakfast? Because one egg is un oeuf* (обыгрывание схожего звучание англ. *Enough* ‘достаточно’ и фр. *un oeuf* ‘яйцо’, возможный перевод данного каламбура, теряющий игру слов, – ‘Почему француз заказал одно яйцо? Потому что одно яйцо – это достаточно / одно яйцо’); *I ate ice cream in Germany which is ‘n Eis* (англ. *nice* ‘хорошо, неплохо’ и ‘n [усеченная разговорная форма неопределенного артикля *ein*] *Eis*. Примечательно, что в последнем каламбуре фактически отсутствует слово *nice*, на обыгрывании созвучия с которым и строится игра слов, она выражена имплицитно, поскольку данный каламбур употреблен в составе мема *I... which is nice*. Подобное «слияние» двух лексем в одну приводит к амбивалентному характеру высказывания. Кроме того, необходимо отметить, что креолизация позволяет выразить языковой маркер как вербально, указав на страну или язык, либо невербально (с помощью изображения флага, атрибутики страны). Вербальный языковой маркер был обнаружен в 27 случаях, невербальный – в 13. Частотная наблюдаемость данного компонента межъязыкового каламбура позволяет сделать вывод о весьма высокой степени важности для актуализации юмористического эффекта.

Каламбуры, актуализация иноязычной лексемы в которых возможна лишь основываясь на **графической омонимии диаморфов**. Например: *German sausages are the Wurst*. В данном случае немецкое слово *Wurst*, семантика которого соотносится с английским *sausages*, по правилам немецкого языка имеет произношение /vʊʁst/, в то время как английское *worst*, подразумевающееся в данном каламбуре,

произносится как /wɜːst/. По правилам английского языка *Wurst* имело бы идентичную фонетическую оформленность /wɜːst/. Другим, более наглядным примером является *I told my Japanese GF to shine – she killed herself*. Как и предыдущий каламбур, его актуализация игнорирует изначальное японское произношение глагола *死ぬ* (повелительное наклонение глагола *死ぬ* ‘умирать’). Японское произношение /*shine*⁸/ не совпадает с английским произношением глагола *to shine* – /*ʃaɪn*/. Таким образом, функционирование данного каламбура реализуется на уровне графики.

Подобным образом, можно выделить межъязыковые каламбуры, построенные на **фонетических диаморфах**, т. е. созвучие, несмотря на различное написание.

По количеству используемых языков. Межъязыковые каламбуры можно разделить на двухязыковые (билингвальные), трехязыковые, квадраязыковые и т. д., в зависимости от количества языков, задействованных в игре слов. Теоретически количество языков, участвующих в игровом взаимодействии в рамках высказывания, ограничено лишь количеством реально существующих, однако, как показывает практика, подавляющее число межъязыковых каламбуров относится к билингвальным.

Можно разграничивать каламбуры, в которых наблюдается смешение нескольких семиотических систем, или **полиграфические** каламбуры. Нередки подобные каламбуры, в которых базовый язык русский, например: *СексиМан’и’я* (название средства контрацепции).

По наличию или отсутствию блендинга можно разделить межъязыковые каламбуры на **бленды** и «**чистые**» соответственно. Пример последнего: *The French are so hardcore they eat pain for breakfast*. Фр. *Pain* ‘хлеб’ является графическим диаморфом англ. *pain* ‘боль’.

Остальные структурные особенности учтены в классификации, В. П. Москвина, за исключением ряда категорий, затрагивающих полисемию, реализация которой не представляется возможной в контексте межъязыковой игры слов.

Таким образом, межъязыковые каламбуры представляют собой отдельный класс игры слов, обладающий рядом характеристик, обусловленных их полилингвальной природой. Использование разноуровневых элементов двух и более языков обуславливает наличие категориальных особенностей, неучтенных в рамках традиционных исследований одноязыковой игры слов. На основании вышеизложенного видится актуальным дальнейшее рассмотрение структурных и лексических особенностей межъязыковых каламбуров на материале других дискурсов с целью расширения и уточнения классификации непосредственно межъязыковых каламбуров и, в перспективе, создание обобщающей системы классификации различных видов игры слов, которая учитывала бы как одноязыковые, так и межъязыковые каламбуры.

Список литературы

- Виноградов В. С. Перевод. Общие и лексические вопросы: Учеб. пособие. М.: Кн. дом «Университет», 2004. 204 с.
- Джанулов А. С. Каламбур и его функционирование в двуязычной ситуации (англо-русские соответствия): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1997.
- Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: Мир, 1993.
- Зубова Л. В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. М., 2000.
- Москвин В. П. Каламбур: приемы создания и языковая основа // Русская речь. 2011. № 3. С. 35–42.
- Хрущева О. А. Блендинг в системе словообразования // Вестн. ОГУ. 2009. № 11(105). С. 95–101.

Шмелева Е. Я., Шмелев А. Д. Межъязыковой каламбур в русских анекдотах. Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегод. междунар. конф. «Диалог», Бекасово, 25–29 мая 2011 г. М.: РГГУ, 2011. Вып. 10 (17). С. 782–789.

Щурина Ю. В. Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации // Научный диалог. 2012. № 3. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/internet-memy-kak-fenomen-internet-kommunikatsii> (дата обращения 22.01.2018).

Delabattista D. *There's a Double Tongue: An Investigation into the Translation of Shakespeare's Wordplay, with Special Reference to Hamlet*. Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 1993.

Haugen E. The analysis of linguistic borrowing // *Language*. 1950. Vol. 26. No. 2. P. 210–231.

Smith C. *The Rediscovery of Man*. Framingham, MA: The NESFA Press, 1993.

Wordplay and Metalinguistic/Metadiscursive Reflection: Authors, Contexts, Techniques, and Meta-Reflection / Ed. by A. Zirker, E. Winter-Froemel. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2015. (The Dynamics of Wordplay; Vol. 1)

S. S. Medvedev ¹, A. G. Fomin ²

Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation

¹ *smedvedev08@mail.ru*, ² *andfomin67@mail.ru*

To the status of interlingual puns

The paper examines the structural characteristics of bilingual puns, a specific type of wordplay. Internet memes, containing bilingual puns as part of the verbal component from 9gag.com were studied. The authors provide an overview of works dedicated to bilingual puns. It was found that foreign researchers use the term “bilingual pun” more often than “interlingual puns.” However, the presence of puns, with the wordplay based on homonymic lexemes taken from three or more languages, makes a case for using the term “interlingual pun.” A number of scholars, including the Russian ones, do not differentiate interlingual puns from interlingual paronomasia or faux amis and pseudo-international words although the latter three are means of creating an interlingual pun, a complex configuration, deciphering and analyzing of which requires certain cognitive efforts. The research aims at examining the structural features of interlingual puns due to their interlingual origin. In order to fulfil this task, the authors utilize V. P. Moskvina's classification based on strategies and tactics used in making puns. The following characteristics, not taken into account in Moskvina's system, were found: base language, the linguistic marker, graphical diamorph, phonetic diamorph, the number of languages used in wordplay, mixed graphics, blends and pure puns. To conclude, the interlingual puns are a separate type of wordplay, possessing several features contingent on their interlingual origin. Since these puns use multilevel elements of two or more languages within one syntagmatic entity, the interlingual puns are found to be a unique type of wordplay. Thus, the authors suggest that it is necessary to create a classification model that could take into account all the features discussed.

Keywords: pun, interlingual pun, homonyms, paronomasia, wordplay, creolization.

DOI 10.17223/18137083/68/21

References

Dawkins R. *Egoistichnyy gen* [The selfish gene]. Moscow, Mir, 1993.

Delabattista D. *There's a double tongue: an investigation into the translation of Shakespeare's wordplay, with special reference to Hamlet*. Amsterdam, Atlanta, Rodopi, 1993.

Dzhanumov A. S. *Kalambur i ego funktsionirovaniye v dvuyazychnoy situatsii (anglo-russkiye sootvetstviya)* [Pun and its function in a bilingual situation (English-Russian correspondences)]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Moscow, 1997.

- Haugen E. The analysis of linguistic borrowing. *Language*. 1950, vol. 26, no. 2, pp. 210–231.
- Khruscheva O. A. Blending v sisteme slovoobrazovaniya [Blending in the system of word formation]. *Vestnik of OSU*. 2009, no. 11 (105), pp. 95–101.
- Moskvina V. P. Kalambur: priemy sozdaniya i yazykovaya osnova [Pun: creation techniques and language base]. *Russkaya rech'*. 2011, no. 3, pp. 35–42.
- Shchurina Yu. V. Internet-memy kak fenomen internet-kommunikatsii [Internet memes as a phenomenon of Internet communication]. *Nauchnyy dialog*. 2012, no. 3. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/internet-memy-kakfenomen-internet-kommunikatsii> (accessed 22.01.2018).
- Shmeleva E. Ya., Shmelev A. D. *Mezh'yazykovoy kalambur v russkikh anekdotakh* [Interlingual pun in Russian jokes]. In: *Komp'yuternaya lingvistika i intellektual'nyye tekhnologii: Po materialam ezhegod. mezhdunar. konf. "Dialog," Bekasovo, 25–29 maya 2011 g. Vyp. 10 (17)* [Computer linguistics and intellectual technologies: Materials of annual intern. sci. conf. "Dialogue," Bekasovo, May 25–29, 2011]. Moscow, RSUH, 2011, iss. 10 (17), pp. 782–789.
- Smith C. *The rediscovery of man*. Framingham, MA, The NESFA Press, 1993.
- Vinogradov V. S. *Perevod. Obschie i leksicheskie voprosy: Ucheb. posobiye* [Translation. General and lexical issues: Textbook]. Moscow, Kn. dom "Universitet", 2004, 204 p.
- Wordplay and metalinguistic / metadiscursive reflection: authors, contexts, techniques, and meta-reflection*. A. Zirker, E. Winter-Froemel (Eds). Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2015. (The dynamics of wordplay; Vol. 1)
- Zubova L. V. *Sovremennaya russkaya poeziya v kontekste istorii yazyka* [Contemporary Russian poetry in the context of language history]. Moscow, 2000.

УДК 81'342.41 + 811.512.15
DOI 10.17223/18137083/68/22

Н. Н. Федина, Н. Н. Широбокова

Институт филологии СО РАН, Новосибирск

Вокализм чалканского языка

Описываются изменения, произошедшие в фонетике чалканского языка за последние 70 лет. Сопоставляются данные по вокальным системам, описанным Н. А. Баскаковым, с результатами современных исследований по экспериментальной фонетике сибирских языков. Выявляются некоторые различия в фонетических системах чалканского и других сибирских языков. Описываются фонетические процессы, которые происходят в современном чалканском языке.

Ключевые слова: тюркские языки, чалканский язык, фонетика, вокализм, фонетические процессы.

Впервые фонетическая система чалканского языка получила описание в трудах Н. А. Баскакова [1985]. В 1970–1980-х гг. в Лаборатории экспериментально-фонетических исследований Института филологии ОИИФФ СО АН СССР под руководством В. М. Надеяева проводились масштабные исследования сибирских языков. В рамках этой программы Н. А. Кирсановой (Мандровой) и В. Н. Кокориным были проведены исследования фонетики чалканского языка. Н. А. Кирсанова дала описание системы консонантизма [Мандрова, 1982; Кирсанова, 2003], В. Н. Кокорин исследовал вокальную систему языка чалканцев [1982].

Фонологические системы привлекаемых для сравнения хакасского, шорского и алтайского языков описаны в грамматиках этих языков и монографических работах Э. Ф. Чиспиковой, Н. В. Шавловой [1992], И. Я. Селютиной [1998; 2004], Г. В. Кыштымовой [2001], С. Б. Сарбашевой [2004], А. А. Шалдановой [2007].

Кроме анализа систем вокализма, в работе рассматриваются закономерности гармонии гласных чалканского языка в сопоставлении с хакасским, шорским и алтайским языками.

Федина Наталья Никитовна – кандидат филологических наук, научный сотрудник сектора языков народов Сибири Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия; natfedina@mail.ru)

Широбокова Наталья Николаевна – доктор филологических наук, заведующая сектором языков народов Сибири Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия; shirobokova_nn@mail.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 3
© Н. Н. Федина, Н. Н. Широбокова, 2019

Качественные и количественные характеристики гласных фонем

Структура тюркской системы гласных отличается от большинства других вокалических систем необычной стройностью, последовательностью – ее определяют как классический тюркский куб [Черкасский, 1965]. В. В. Радлов, изучив большое число тюркских языков, выделил для тюркского вокализма 8 кратких фонем. Эти гласные в тюркских языках имеют различные качественные характеристики. Любая из восьми фонем определяется комплексом трех вокалических признаков: ряда, подъема и огубления. Например: *a* – шир., задн. ряда, неогубл.; *e* – шир., перед. ряда, неогубл.; *o* – шир., задн. ряда, огубл.; *ö* – шир., перед. ряда, огубл.; *ы* – узк., задн. ряда, неогубл.; *и* – узк., перед. ряда, неогубл.; *у* – узк., задн. ряда, огубл.; *ү* – узк., перед. ряда, огубл. Каждый из трех конститутивно-дифференциальных признаков делит систему на две одинаковые по количеству элементов группы соотносящихся фонем. По признаку ряда: гласные заднего ряда – *a, o, ы, у*; переднего ряда – *e, ö, и, ү*. По признаку подъема: гласные широкие – *a, e, o, ö*; узкие – *ы, и, у, ү*. По признаку огубленности: гласные неогубленные – *a, e, ы, и*; гласные огубленные – *o, ö, у, ү*. Такова общая характеристика структурных отношений в системе краткого тюркского вокализма. Это идеализированная модель тюркского вокализма. В реальных языках системно-структурные отношения гораздо сложнее [Селютина, 2004, с. 71]. А. М. Щербак считал, что куб – это отражение особенностей фонологической системы, присущей тюркским языкам, но она не отображает соотношения артикуляционных и акустических характеристик разных гласных [1970, с. 77].

Н. А. Баскаков в чалканском языке выделил шестнадцать гласных фонем – восемь кратких: *a, э, o, ö, ы, и, у, ү*; и восемь соответствующих долгих: *aa, ээ, oo, öö, ыы, ии, уу, үү*.

В 1982 г. систему гласных исследовал В. Н. Кокорин. Используя методы морфологического, дистрибутивного и квазиомонимического анализа, он установил 15 гласных фонем в языке чалканцев, из них 8 кратких и 7 долгих [Кокорин, 1982, с. 13].

Мы используем данные В. Н. Кокорина, полученные методами экспериментальной фонетики по чалканскому языку, с опорой на характеристику звуков, выявленную по близкородственным языкам И. Я. Селютиной [1998], С. Б. Сарбашевой [2004], А. А. Шалдановой [2007].

Звуковой состав чалканского языка представлен следующим образом: обобщенный знак на основе русской графики, в скобках сначала идет запись в транскрипционной системе Международного фонетического алфавита (МФА), через тире – запись в символах Универсальной унифицированной фонетической транскрипции (УУФТ) В. М. Наделяева [1960], которая широко используется в работах по тюркским языкам. Артикуляторные характеристики гласных фонем в чалканском языке установлены В. Н. Кокориным.

a (<a> – <ä>) центральнозаднерядный, 5-й ступени подъема, неогубленный, ртовый [Кокорин, 1979, с. 54]. Например: *pär* ‘иди’, *qás* ‘гусь’.

ы (<i> – <i₁/’t₄>) комбинированный переднерядный сильноотодвинутый / центральнозаднерядный сильновыдвинутый, 2-й ступени подъема, неогубленный, ртовый [Там же, с. 55]. Например: *tʃ* ‘дым’, *pʒʒʳ* ‘жарь’.

e (<e> – <e>) переднерядный умеренноотодвинутый, 3-й ступени подъема, неогубленный, ртовый [Кокорин, 1984, с. 28]. Например: *ter* ‘пни’, *ter* ‘собирай’.

и (<i> – <i₁>) переднерядный слабоотодвинутый, 1-й ступени подъема, неогубленный, ртовый [Там же, с. 29]. Например: *ij* ‘пей’, *kijim* ‘одежда’.

o (<o> – <ö>) центральнозаднерядный, 4-й ступени подъема, сильноокруглогубленный, ртовый [Кокорин, 1979, с. 55]. Например: *öl* ‘он’, *tön* ‘шуба’.

ö (<œ> – <æ>) переднерядный, умеренноотодвинутый, 4-й ступени подъема, огубленный, ртовый [Кокорин, 1984, с. 28]. Например: *œl* ‘умирай’, *kœl* ‘озеро’

у (<ʊ> – <ɤ>) центральнозаднерядный слабовыдвинутый, 2-й ступени подъема, сильноокруглогубленный, ртовый [Кокорин, 1979, с. 56]. Например: *úq* ‘слушай’, *mús* ‘лед’.

յ (<ɥ> – <ɥ>) переднерядный слабоотодвинутый, 2-й ступени подъема, круглогубленный, ртовый [Кокорин, 1984, с. 29]. Например: *yn* ‘голос’, *tys* ‘прямой’, *sur* ‘прогони’.

В. Н. Кокорин при помощи соматических методов установил, что в чалканском языке твердоядные гласные фонемы являются в основном центральнозаднерядными с различной степенью выдвинутости, хотя *ы* более передний – комбинированный переднерядный / центральнозаднерядный; мягкорядные фонемы являются переднерядными, слабо- или умеренноотодвинутыми [Кокорин, 1979, с. 56; 1981, с. 146–151; 1982, с. 16; 1984, с. 27–28].

Термины «твердоядные» и «мягкорядные гласные» выражают функциональную характеристику звуков, в то время как термины «передний», «центральный», «задний» и др. передают артикуляционную природу гласных [Селютина, 2004, с. 84].

При сопоставлении характеристик чалканских гласных с экспериментально-фонетическими данными по хакасскому языку (сагайский и качинский диалекты) [Кыштымова, 2001] и алтайскому языку (онгудайский говор) [Шалданова, 2007] выявляются общие и специфические черты в артикуляционно-акустических базах носителей языков в области вокализма. По шорскому вокализму специальные экспериментально-фонетические работы не проводились, в связи с этим и в нашем исследовании мы не провели сопоставительный анализ шорского вокализма с чалканским языком, а лишь рассмотрели отдельные моменты.

Характеристика гласных по артикуляторной рядности рассматриваемых нами тюркских языков Южной Сибири имеет следующие особенности.

Твердоядные гласные фонемы чалканского [Кокорин, 1982, с. 16], сагайского диалекта хакасского [Кыштымова, 2001, с. 51] языков являются в основном центральнозаднерядными. Более передние настройки твердоядных гласных отмечаются в алтайском литературном (центральноядные *о*, *у*) [Чумакаева, 1984, с. 23–25], в кумандинском (центральноядный *у*), но твердоядные гласные кумандинского языка являются в основном центральнозаднерядными [Селютина, 1998, с. 58–64], в тубадиалекте алтайского языка [Сарбашева, 2004, с. 90] гласные фонемы *а* и *ы* – центральнозаднерядные сильно- или сверхсильновыдвинутые; фонема *о* – комбинированная центральнозаднерядная / заднерядная, фонема *у* – центральнозаднерядная слабовыдвинутая. Тубинские твердоядные неогубленные гласные – более выдвинутой вперед артикуляции, чем гласные алтайского литературного языка, огубленные – более задние, чем в литературном алтайском языке; наиболее задние артикуляции отмечены в онгудайском говоре алтайского языка (заднерядный *а*) и в качинском диалекте хакасского языка (*о*, *у*) [Шалданова, 2007, с. 157]. Таким образом, твердоядные гласные во всех рассматриваемых языках в основном отмечаются как центральнозаднерядные с разной степенью выдвинутости.

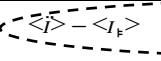
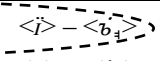
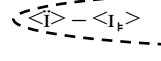
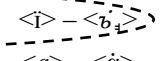
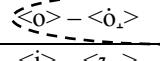
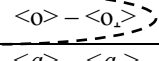
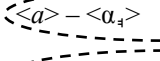
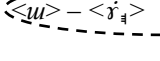
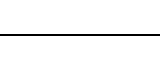
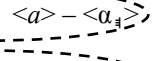
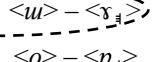
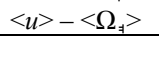
Локализация твердоядных гласных чалканского языка относительно системы гласных других южносибирских языков по артикуляторной рядности представлена в табл. 1. (Сама идея такой таблицы реализована в работах И. Я. Селютиной [1998], Кыштымовой [2001], С. Б. Сарбашевой [2004], А. А. Шалдановой [2007].)


Настройки твердоядных гласных фонем *a, o, ы, у*

Таблица 1

Table 1

Settings of hard vowels phonemes *a, o, ы, u*

Язык	Ряд				
	передне- рядные	смешанно- рядные	центрально- рядные	центрально- задне- рядные	задне- рядные
Чалк.				 <ɪ> - <ɪ_4> <ʊ> - <ʊ_4> <a> - <ɑ> <ɔ> - <ɔ>	
Куманд.			<ʊ> - <ʊ_4>	<ɪ> - <ɪ_4> <ɔ> - <ɔ_4> <a> - <ɑ>	
Сагайск.				<ʌ> - <ʌ_4> <ɔ> - <ɔ> <u> - <u_4> <ʊ> - <ʊ>	
Алт. лит.			<ɔ> - <ɔ> <ʊ> - <ʊ_k>	 <ɪ> - <ɪ_4> <a> - <ɑ>	
Туба				<u> - <u_4> <a> - <ʌ_4> <ʊ> - <ʊ_4>  <ɔ> - <ɔ_4>	 <ɔ> - <ɔ_4>
Онгуд. говор				<ɪ> - <ɪ_4> <ʊ> - <ɔ_4> <u> - <ɔ_4>	<a> - <a_4>
Качинск.				 <a> - <a_4>  <u> - <ɪ_4>  <u> - <ɪ_4> <ɔ> - <ɔ_4> <u> - <Ω_4>	 <a> - <a_4>  <u> - <ɪ_4>  <u> - <ɪ_4> <ɔ> - <ɔ_4> <u> - <Ω_4>

Примечание: в табл. 1 и 2 знаком  обозначена комбинированная настройка.

Мягкорядные гласные фонемы чалканского языка являются переднерядными слабо- или умеренноотодвинутыми [Кокорин, 1982, с. 16], мягкорядные гласные кумандинского языка реализуются как в переднерядных, так и в центральнорядных и смешаннорядных настройках [Селютин, 1998, с. 58–64]. В сагайском диалекте хакасского языка мягкорядные гласные реализуются в переднерядных и комбинированной передне- / центральнозадней настройках. В качинском диалекте – в комбинированной передне- / центральнозадней и центральнозадней настройках [Кыштымова, 2001,

с. 51, 71]. В алтайском литературном языке мягкорядные гласные являются передне-рядными [Чумакаева, 1988, с. 29–35]. Тубинские мягкорядные гласные определяются как центральнозаднерядные сверхсильновыдвинутые или комбинированные передне-рядно- / центральнозаднерядные сверхсильновыдвинутые [Сарбашева, 2004, с. 93]. Мягкорядные гласные онгудайского говора алтайского языка реализуются в центральнозаднерядных настройках [Шалданова, 2007, с. 166]. Судя по имеющимся описаниям, в этом отношении чалканский стоит ближе к языку алтай-кижи. Локализация мягкорядных гласных в языках Южной Сибири по артикуляторной рядности представлена в табл. 2.

Таблица 2

Настройки мягкорядных гласных фонем *e, ö, u, y*

Table 2

Settings of soft vowels phonemes *e, ö, i, y*

Язык	Ряд				
	передне-рядные	смешанно-рядные	центрально-рядные	центрально-заднерядные	заднерядные
Чалк.	$\langle e \rangle - \langle e \rangle$ $\langle i \rangle - \langle i_r \rangle$ $\langle \alpha \rangle - \langle \alpha \rangle \Rightarrow$ $\langle y \rangle - \langle y_r \rangle$				
Куманд.	$\langle \varepsilon \rangle - \langle \varepsilon_r \rangle$ $\langle \alpha \rangle - \langle \alpha_r \rangle \Rightarrow$ $\langle i \rangle - \langle i_r \rangle$		$\langle y \rangle - \langle \ddot{o}_4 \rangle$		
Сагайск.	$\langle e \rangle - \langle e_r \rangle$ $\langle y \rangle - \langle \alpha_r \rangle$ $\langle i \rangle - \langle i_r \rangle$ $\langle \alpha \rangle - \langle y_r \rangle$	$\langle y \rangle - \langle \ddot{o}_4 \rangle$ $\langle \ddot{y} \rangle$	$\langle y \rangle - \langle \ddot{o}_4 \rangle$ $\langle i \rangle - \langle b_4 \rangle$	$\langle e \rangle - \langle \ddot{r}_4 \rangle$ $\langle y \rangle - \langle \ddot{o}_4 \rangle$	
Алт. лит.	$\langle \varepsilon \rangle - \langle \varepsilon_r \rangle$ $\langle i \rangle - \langle i_r \rangle$ $\langle \alpha \rangle - \langle \alpha \rangle$ $\langle y \rangle - \langle y \rangle$				
Туба	$\langle i \rangle - \langle i \rangle$			$\langle i \rangle - \langle b_4 \rangle$ $\langle r \rangle - \langle \ddot{r}_4 \rangle$ $\langle \theta \rangle - \langle \ddot{o}_4 \rangle$ $\langle \ddot{ö} \rangle - \langle \ddot{ö}_4 \rangle$	
Качинск.	$\langle i \rangle - \langle i_r \rangle$			$\langle i \rangle - \langle b_4 \rangle$ $\langle \theta \rangle - \langle \ddot{o}_4 \rangle$ $\langle r \rangle - \langle \ddot{o}_4 \rangle$ $\langle \ddot{ö} \rangle - \langle \ddot{ö}_4 \rangle$	
Онгуд. говор	$\langle i \rangle - \langle i \rangle$			$\langle r \rangle - \langle \ddot{r}_4 \rangle$ $\langle \ddot{o} \rangle - \langle \ddot{o}_4 \rangle$ $\langle \ddot{ö} \rangle - \langle \ddot{ö}_4 \rangle$	

Таким образом, мягкорядные гласные фонемы чалканского языка по месту артикуляции сближаются с алтайскими. В обоих языках они определяются как переднерядные, но, в отличие от алтайских гласных, чалканские – слабо- и умеренно-отодвинутые к центру. Твердорядные гласные чалканского языка по месту артикуляции сближаются с аналогичными гласными кумандинского [Селютина, 1998, с. 58–64], сагайского диалекта хакасского языка [Кыштымова, 2001, с. 51, 71] и определяются в основном как центральнозаднерядные, а не заднерядные. Вокализм чалканского языка по рядности занимает среднее место на шкале артикуляции [Шалданова, 2007, с. 238], сближаясь с кумандинским языком и сагайским диалектом хакасского языка.

Характеристики гласных по степени подъема языка представлены следующим образом: в чалканском языке закрытые гласные локализируются на 1-й и 2-й ступенях отстояния (подъема), открытые – на 3, 4 и 5-й ступенях; в кумандинском закрытые гласные – в зоне 2-й и 4-й ступеней отстояния, открытые – в 6-й; в алтайском литературном языке закрытые гласные локализируются в зоне 2-й ступени отстояния, открытые – в зонах 4-й и 5-й ступеней; в туба-диалекте (алтайского языка) три степени открытости настройки: широкая (4–6-я ступени отстояния), средняя (3–4-я ступени отстояния), узкая (1–2-я ступени отстояния); гласные онгудайского говора алтайского языка локализируются в зонах 2–6-й ступеней; в сагайском диалекте хакасского языка гласные локализируются в зонах 1–4-й ступеней, в качинском диалекте хакасского языка гласные локализируются в зонах 2–6-й ступеней.

На шкале закрытости-открытости артикуляторных настроек чалканские гласные наряду с гласными алтайского литературного и онгудайского говора алтайского языка занимают срединное положение на шкале настроек гласных по степени подъема [Шалданова, 2007, с. 166]. Самый узкий вокализм представлен в сагайском диалекте хакасского языка и туба-диалекте алтайского языка [Сарбашева, 2004, с. 93], а самый широкий вокализм – в кумандинском диалекте алтайского и в качинском диалекте хакасского языка.

Долгие гласные

Долгие гласные в тюркских языках принято делить на первичные и вторичные. Первичные долгие гласные возводят к эпохе существования праязыка. Вторичные гласные образовались в ходе развития тюркских языков.

По поводу возникновения первичных долгих гласных существуют две противоположные точки зрения, выдвинутые О. Бетлингом и В. В. Радловым. О. Бетлинг придерживается мнения об изначальности «первичных» долгих гласных [Böthlingk, 1851, с. 40]. В. В. Радлов считал, что долгие гласные произошли вследствие механического слияния гласных и согласных, в редких случаях – благодаря удлинению первоначального краткого гласного [Radloff, 1882, с. 77].

Наличие длительности как различительного признака гласных в чалканском языке признается и в работах Н. А. Баскакова, который выделил шестнадцать гласных фонем: восемь кратких и соответствующие им восемь долгих [Баскаков, 1985, с. 14]. В. Н. Кокорин выделил в чалканском языке 15 гласных фонем, из них 8 кратких и 7 долгих. Для фонемы *i* [i] он не нашел соответствующего долгого варианта [Кокорин, 1982, с. 13]. Эти долгие гласные определяются авторами как вторичные долгие.

Вторичная долгота гласных

Вторичная долгота гласных в тюркских языках образуется двумя способами: 1) в результате выпадения согласных и последующего стяжения гласных – трактуется как стяженная долгота гласных; 2) в результате количественного замещения выпавшего звука – компенсационная долгота гласных.

Стяженная долгота гласных в чалканском языке была описана Н. А. Баскаковым. Он приводил для чалканского языка ряд слов, в которых вследствие выпадения согласных образовывались долгие гласные (табл. 3) [Баскаков, 1985, с. 16].

Вторичная долгота гласных в близкородственных языках (алтайском, шорском) описана в работах Н. П. Дыренковой, которая, исследовав долгие гласные в алтайском языке, отметила, что в алтайском языке долгота различного происхождения: 1) долгота и удвоение гласного во многих словах являются результатом выпадения тех или иных звуков, особенно часто – заднеязычного *z* (*y*, *g*); происходит удлинение гласного стяженного слога; 2) долгота гласного наблюдается в стяженных формах в результате выпадения согласного неударного аффикса [Дыренкова, 1940, с. 24–25]. Приведем примеры долгих гласных, образованных в результате стяжения в алтайском языке: *müjüs* (*müjüz* ~ *mügüz* [ДТС, 1969, с. 352]) ‘рог’. Вторичная долгота гласных описана в грамматиках хакасского и шорского языков, например, в хакасском *nüün* образовалось из сочетания двух слов: *ny* ‘этот’ + *kün* ‘день’ [Дыренкова, 1948]; в шорском *саа* < *сага* ‘тебе’ [Дыренкова, 1941]. И. Я. Селютина описала вторичные долгие гласные в кумандинском языке: *qara:t* ‘смородина’ [1998, с. 149–153], С. Б. Сарбашева отметила стяженные формы в тубинском диалекте алтайского языка: *тушта:н* < *туштаган* ‘встретил’ [2004, с. 40].

Долгота, образованная в результате стяжения, представленная в современном чалканском языке, во многих словах утрачивается (см. табл. 3).

Таблица 3

Словоформы, в которых вторичная долгота утрачена

Table 3

Word forms in which the secondary longitude is lost

Примеры Н. А. Баскакова	Примеры современного чалканского языка	Перевод на русский язык
<i>сураган</i> [<i>suragan</i>] > <i>сураан</i> [<i>sura:n</i>]	<i>суран</i> [<i>suran</i>]	‘спрашивал’
<i>мага</i> [<i>maqa</i>] > <i>маа</i> [<i>ma:</i>]	<i>ма</i> [<i>ma</i>]	‘мне’
<i>сага</i> [<i>saga</i>] > <i>саа</i> [<i>sa:</i>]	<i>са</i> [<i>sa:</i>]	‘тебе’
<i>эгиз</i> [<i>egiz</i>] > <i>эс</i> [<i>ɜ:s</i>]	<i>эс</i> [<i>ɜs</i>]	‘высокий’

В современном чалканском языке существует тенденция перехода вторичных долгих гласных в краткие.

Компенсационная долгота, образованная в результате выпадения конечного сверхслабого согласного, в чалканском языке не отмечена. Н. П. Дыренкова считала, что компенсационной долготой, представленной в алтайском языке, например *tu:* < *taɣ* [ДТС, 1969, с. 526] ‘гора’, *su:* < *suɣ* [Там же, с. 513] ‘вода’, в северных диалектах алтайского языка (кумандинском, тубинском и чалканском) соответствует -*y* [Дыренкова, 1940, с. 24–25].

В современном чалканском языке наблюдается выпадение сверхслабого согласного -*y*, но, по слуховым наблюдениям, долгота в результате выпадения согласного -*y* не образуется. В табл. 4 представлены некоторые слова из словника Н. А. Баскакова, которые даны были им с ауслаутным -*y*, и их рефлекс в современном чалканском языке. Из данной таблицы видно, что в современном чалканском языке выпал конечный -*y* в словах, где ему предшествует узкий гласный, после широких гласных -*y* сохраняется: *тыаг* ‘война, бой, сражение’ и *тыаг* ‘сало’.

В материалах Н. А. Баскакова представлены формы как с сохранением конечного -у, так и примеры на его выпадение. Можно сделать вывод, что в середине XX в. употреблялись оба варианта. В настоящее время после узких гласных употребляются слова только без конечного -у. В словах типа *карлу* 'снежный', *кырлу* 'грязный', *тонну* 'имеющий пальто', *пыжакту* 'имеющий нож' и т. д., возможно, под влиянием литературного алтайского языка, появляется огубленный гласный. Н. А. Баскаков отмечал, что для чалканского диалекта исторически был характерен конечный -у, например: *суз* 'вода', *таз* 'гора', который под влиянием алтайского литературного языка был заменен соответствующими долгими гласными. Например: *уз* // *үз* > *уу* // *үү* 'дом'. В современном чалканском языке в слове *таз* 'гора' конечный -у и в наши дни сохранился, но это слово встречается в основном в речи старшего поколения, младшее поколение предпочитает употреблять слово *кыр* 'гора'. Слова *суз* 'вода', *уз* 'дом' в современном чалканском языке утратили конечный -у, но долгий гласный в них не отмечается: *су* 'вода', *у* 'дом'.

Таблица 4

Выпадение ауслаутного -з (-у) в чалканском языке

Table 4

Auslaut prolapse -z (-y) in the Chalkan language

Примеры из словника Н. А. Баскакова	Примеры современного чалканского языка
1. <i>дыаг</i> [d'ay] 'война, бой, сражение'	<i>тыаг</i> [t'ay] 'война, бой, сражение'
2. <i>дыаг</i> [d'ay] 'сало'	<i>тыаг</i> [t'ay] 'сало'
3. <i>карлу</i> [karlu] / <i>карлыг</i> [karliŋ] 'снежный'	<i>карлу</i> [karlu] 'снежный'
4. <i>палыг</i> [palɨŋ] 'рана, болячка'	<i>палу</i> [palu] 'рана, болячка'
5. <i>таз</i> [taɣ] 'гора'	<i>таз</i> [taɣ] 'гора'
6. <i>су</i> [su] / <i>суз</i> [suɣ] / <i>сү</i> [sü] 'вода'	<i>су</i> [su] 'вода'
7. <i>уз</i> [uɣ] / <i>уу</i> [u:] / <i>үз</i> [üɣ] / <i>үү</i> [üŋ] 'дом'	<i>у</i> [u] 'дом'

В современном чалканском языке слова, в которых выпал конечный согласный -у, в косвенных падежах (особенно последовательно у локальных падежей) его сохраняют (восстанавливают). К таким словам относятся: *су* 'вода'; *у* 'дом'. Например, в косвенных падежах могут употребляться два варианта – с конечным -у и без него в слове *су* 'вода': Р. п. *сунын* // *сугнын* 'воды'; В. п. *суны* // *сугны* 'воду'; М. п. *суде* // *сугде* 'в воде' И. п. *судын* // *сугдын* 'из воды'; Н. п. *суза* // *сугза* 'к воде, в воду'; Т. п. *суле* // *сугле* 'водой'.

В слове *у* 'дом' в дательном, местном, исходном и направительном падежах сохраняется конечный -у, другой вариант не отмечен. В родительном и винительном падежах могут употребляться два варианта: с конечным -у и без него. В неопределенном и творительном падежах только без конечного -у.

Все остальные слова, указанные в табл. 4, кроме слов *су* 'вода' и *у* 'дом', в настоящее время не имеют конечного согласного -у.

Н. А. Баскаков пишет, что конечный согласный -з (-у) переходит в -й (-j) при присоединении аффиксов, начинающихся с гласного. Например: *суз* 'вода' – *суйы* 'его вода'. В современном чалканском языке конечный согласный -у переходит в -j при

склонении с аффиксами принадлежности в единственном числе. Это явление имеет место не во всех словах. Оно отмечено только для слов *у* ‘дом’; *су* ‘вода’; *тыу* ‘что’; *алу* ‘дурак, глупый’.

Таким образом, в чалканском языке при выпадении конечного согласного *-ə* (*-y*) не образуется долгота, которая свойственна литературному алтайскому языку. Выпадение конечного согласного *-ə* (*-y*) отличает чалканский язык от других близкородственных ему северных диалектов алтайского языка – кумандинского и тубинского, а также от хакасского и шорского языков, в которых он сохраняется.

Позиционная долгота гласных

В некоторых тюркских языках отмечается удлинение широких гласных открытого слога перед узким гласным следующего слога. М. Рясняном данная закономерность зафиксирована для тюркских языков Поволжья – татарского, башкирского, чувашского [1955, с. 42, 58], Н. К. Дмитриевым – для туркменского [1955], В. И. Филоненко – для балкарского языка [1940, с. 12–13], Л. П. Покровской – для гагаузского [1964, с. 37–38], Р. М. Бирюкович – для чулымско-тюркского [1975, с. 55–67]. В шорском языке на данное явление обратила внимание Н. П. Дыренкова [1941, с. 22–23], а за ней Н. В. Шавлова [1983, с. 9–10]. Позиционная долгота гласных описана М. И. Боргояковым [1966] для хакасского языка. Он отметил существенное удлинение широких гласных, а также гласного *и* первого открытого слога перед узкими гласными *ы*, *и*. Исследование данного фонетического явления в сагайском и качинском диалектах хакасского языка аппаратным способом позволило Г. В. Кыштымовой подтвердить эти выводы [2001, с. 94]. И. Я. Селютина отмечает удлинение широких гласных перед узким гласным в кумандинском языке, причем не только перед *и* и *ы*, но и перед узкими гласными *у* и *ү* [1986, с. 27; 1998, с. 48]. Позиционную долготу широких гласных открытого слога перед слогом с узким гласным в тубинском диалекте алтайского языка отмечает С. Б. Сарбашева [2004, с. 84]. А. А. Шалданова, исследовав гласные онгудайского говора алтайского языка, пришла к выводу, что хотя тенденция к удлинению широких гласных в определенных фонетических условиях и реализуется в онгудайском говоре, но вступает в противоречие с другими темпоральными закономерностями, вследствие чего анализируемая тенденция в онгудайском говоре значительно менее продуктивна, чем в родственных тюркских языках Южной Сибири [2007, с. 193–209, 225].

Наши наблюдения показали, что в чалканском языке имеют место следующие явления.

1. Удлинение широких гласных первого открытого слога перед узкими неогубленными гласными последующего слога, например: *ат* ‘конь’ – *а:дым* ‘мой конь’, *кӧс* ‘глаз’ – *кӧ:зым* ‘мои глаза’. Сходная тенденция прослеживается в хакасском языке, в котором удлинение широких гласных происходит только перед узкими гласными *ы* и *и*, а перед узкими гласными *у* и *ү* широкие гласные не удлиняются [Боргояков, 1966]. В шорском языке удлинение широких и полушироких вокальных настроек констатируется перед всеми узкими гласными [Чиспиякова, Шавлова, 1992, с. 9].

2. В бисиллабах с (призакрыто-) закрытым первым слогом удлинение широких гласных перед узким гласным не фиксируется, например: *алты* ‘шесть’, *qarḥṣ̌* ‘обратно’.

3. В двусложных словоформах с качественно однородной вокальной осью, представленной узкими или широкими гласными, удлинение не наблюдается ни в 1-м, ни во 2-м слогах, например, 1) вокальная ось с узкими гласными: *тынь* ‘горло (его)’; 2) вокальная ось с широкими гласными: *эрте* ‘рано’. Данное явление отличает чалканский язык от других близкородственных языков, например кумандинского [Селютина, 1998, с. 161–164], хакасского [Кыштымова, 2001, с. 136–139], в которых фиксируется удлинение гласных конечного слога, а также от туба-диалекта алтайского языка, в ко-

тором фиксируется удлинение гласного первого слога в словоформах с узкими гласными [Сарбашева, 2004, с. 85].

4. Имеет место тенденция к сужению гласного второго слога: в конечном открытом слоге отмечается более узкий вариант гласного *a*, который мы можем определить как смешаннорядный 2-й или 3-й ступени, а в бисиллабах со вторым закрытым слогом выступает узкий гласный *-ы-*, который мы определяем как центральнозаднерядный гласный 2-й ступени отстояния. Тенденция к сужению гласных в чалканском языке достаточно последовательно наблюдается в показателе числа *=лыр*, в аффиксе исходного падежа *=дын*, в форме будущего времени *=ыр*.

Гармония гласных

Гармония гласных в тюркских языках – это правило, определяющее последовательность гласных в слове при помощи ограниченного набора сингармонических моделей, имеющихся в данном языке. Выбор той или иной модели зависит от качества гласного начального слога в слове. Совокупность всех сингармонических моделей данного языка образует сингармоническую систему этого языка [Селютина, 2004, с. 84].

Следует отметить, что функциональные сингармонические и соматические артикуляторные ряды не тождественны. При палатальном сингармонизме различаются два ряда: твердый и мягкий; в некоторых языках принято выделять также нейтральный сингармонический ряд. С артикуляторной точки зрения в языках мира выделяется пять рядов: передний, центральный, центральнозадний, задний и смешанный [Селютина, 2018, с. 102].

В тюркских языках существует два вида гармонии гласных: 1) нёбный, или палатальный, сингармонизм. Суть нёбной гармонии заключается в том, что если гласный звук первого слога слова является гласным твердого ряда: [a:], [a], [ɤ:], [ɤ], [ɔ:], [ɔ], [ʊ:], [ʊ], то в последующих слогах данного слова употребляются также гласные только твердого ряда. Если гласный звук первого слога является гласным мягкого ряда, а в чалканском они реализуются, как правило, как гласные переднего ряда: [ɪ:], [ɪ], [ɛ:], [ɛ], [ø:], [ø], [y:], [y], то в последующих слогах слова употребляются гласные только мягкого ряда; 2) губной, или лабиальный, сингармонизм имеет более сложные законы формирования вокальной оси словоформы, отличаются правила употребления широких и узких лабиальных гласных.

Н. А. Баскаков отмечал, что в чалканском языке соблюдается гармония гласных, а нарушение наблюдаются только при стяжении двух или нескольких слов. В настоящее время нарушение гармонии гласных также встречается при стяжении нескольких слов, например: нарушение губной гармонии гласных *æltərβe* ‘не убивай’; нарушение палатальной гармонии гласных *parɪm* ‘ушел’.

В чалканском языке в настоящее время наблюдаются отступления от состояния, зафиксированного 70 лет назад. Сравним примеры, приведенные Н. А. Баскаковым, и данные современного чалканского языка. Сначала идут примеры, взятые из словника Н. А. Баскакова, через тире – слова, записанные за последние 10 лет: *mökö* [mækæ] – *möke* [mækə] ‘сильный, крепкий’, *köwük* [kæβyʊk] – *kövyk* [kæβyʊk] ‘пена’ и т. д.

В 1982 г. В. Н. Кокорин отметил, что в чалканском языке палатальная гармония гласных последовательна, например: *ajak* ‘чаша’, *attarga* ‘коням’. Относительно лабиальной гармонии гласных В. Н. Кокорин отмечал, что она не всегда выдерживается. Более последовательную гармонию гласных он выявил в словоформах с первым широким огубленным гласным, где она распространяется и на аффиксы с широким гласным до конца словоформы, например: *mærælær* ‘волки’. Соблюдается гармония и в твердо-рядных, и в словах с узким огубленным гласным в первом слоге, например: *tylkʏ* ‘лиса’ [Кокорин, 1982, с. 7; 1986, с. 112–115]. В современном чалканском языке отмечается нарушение гармонии по ряду, например: *attərgə* ‘коням’; *tertək* ‘хлеб’; *kæzət* ‘показы-

вай'; возможно и нарушение губной гармонии: *kəjrək* 'хвост'. Связь так называемого нарушения гармонии гласных по ряду с изменением качественной характеристики гласных в непервых слогах еще требует тщательного исследования. Следует также отметить, что губная гармония гласных в чалканском языке практически полностью нарушена. Сравним примеры В. Н. Кокорина и данные современного чалканского языка: *болвос* [bɔlβɔs] > *полвыс* [pɔlβɔs] 'не будет', *мөрөлөр* [mœrœlœr] > *пөрылып* [pœrɣɪlɪr] 'волки'.

Палатальная гармония гласных в чалканском языке находится на стадии перестройки, что связано с изменением качества гласных в непервых слогах, например: *pala* → *palə* 'ребенок', *ajda* → *ajdə* 'так', *ajlandəra* → *ajlandəɾə* 'вокруг'.

Это проявляется в таких случаях, как:

1) при присоединении показателя дательного падежа к твердояркой основе могут выступать два варианта гласных аффикса -а и -е, например: *paɬ=ka* // *ke* 'голове', *taɬn=ga* // *ge* 'горлу';

2) при присоединении аффикса принадлежности к основе с мягкорядными гласными следует вариант аффикса, воспринимаемый на слух как твердояркий, например: *kæzɪm* 'глаза (мои)', *peɪm* 'спина моя';

3) при стяжении аналитических глагольных форм: *parɪm* (<*par*=аьр *ij*=gen) 'ушел', *kaβɪm* (<*kaβ*=ьр *ij*=gen) 'дотронулся', *salɪm* (<*sal*=ьр *ij*=gen) 'отпустил'.

Таким образом, в чалканском языке нами установлены следующие явления и процессы, которые активно развиваются в течение последних 70 лет (примеры приведены в следующем порядке: примеры, зафиксированные Н. А. Баскаковым, и примеры из современного чалканского языка).

1. Отсутствие компенсационной долготы в чалканском языке, которая образуется в результате выпадения конечного сверхслабого согласного. В современном чалканском языке отмечено выпадение финального щелевого малошумного сверхслабого -ɣ, но не отмечена долгота при выпадении: *alɣɪ* → *alu* 'глупый', *suɣ* → *su* 'вода'.

Выпадение конечного согласного -ɣ (-y) сближает чалканский язык с алтайским литературным языком, в котором также выпал ауслатный согласный -y, например: *kɪrlɪ* 'грязный', *suu* 'вода', но в отличие от него в чалканском языке не образуется долгота, которая свойственна литературному алтайскому языку. В шорском и хакасском языках ауслатный согласный сохраняется: хак. *kɪrlɪg*, шор. *kɪrlɪg* 'грязный', хак., шор. *suu* 'вода', хак. *palɪ* 'рана, болячка', шор. *alɪ* 'глупый'.

2. Смешанный вариант губной гармонии в словах с широкими гласными: *tærtælə* → *tærtelə* 'вчетвером', *kædæɾə* → *kædre* 'все', где после широкого лабиализованного гласного первого слога может употребляться широкий огубленный – алтайский тип, либо широкий неогубленный, что свойственно большинству тюркских языков. Данный признак сближает чалканский язык с шорским и хакасским, в которых отсутствует губная гармония по широкому лабиализованному гласному: шор., хак. *køller* 'озера' – чалк. *kællɪr*. В алтайском языке такой тип гармонии сохраняется, например: алт. *køldør* 'озера'.

3. Процесс перестройки палатальной гармонии гласных: *ajda* → *ajdə* 'так'; *ajləndəra* → *ajləndəɾə* 'вокруг'.

Гармония гласных нарушается:

а) в словах, которые являются аналитическими по происхождению: *parɪm* (<*par*=аьр *ij*=gen) 'ушел', *kaβɪm* (<*kaβ*=ьр *ij*=gen) 'дотронулся';

б) при присоединении аффикса мн. ч. к существительным с мягкорядными гласными, например: *kællɪr* 'озера', *sæktɪr* 'кости';

в) при присоединении к существительным с мягкорядными гласными некоторых падежных аффиксов, таких как: родительный – *kælnɪŋ* 'озера', винительный – *sæktɪ* 'кость', исходный – *kældɪn* 'из, от озера';

г) при присоединении к глагольной основе с мягкорядными гласными показателя будущего времени на =*ɤp*, например: *kærɤr* ‘будет смотреть’, показателя прошедшего времени на =*dɤ*, например: *kærdɤ* ‘смотрел’, показателя неопределенного прошедшего времени на =*gɤn*, например: *kærgɤn* ‘видел’, *pergɤn* ‘давал’.

В чалканском языке при присоединении к существительным с твердорядными гласными аффикса множественного числа или падежных аффиксов: родительного, винительного и исходного, а также к глагольной основе с твердорядными гласными формы будущего времени на =*ɤr*, прошедшего времени на =*dɤ*, неопределенного прошедшего времени на =*gɤn*, твердорядная гармония гласных сохраняется, поскольку вариативность по гласному компоненту данных аффиксов свелась к единому типу с узким гласным -ɤ. В сравниваемых языках более последовательно выдерживается твердорядная и мягкорядная гармония гласных: хак. *pastar*, шор. *paſtar*, алт. *baſtar* ‘головы’, шор., алт. *ister* ‘следы’.

Список литературы

- Баскаков Н. А.* Северные диалекты алтайского (ойротского) языка. Диалект лебединских татар-чалканцев (куу – кижы). М.: Наука, 1985. 233 с.
- Бирюкович Р. М.* О первичных долгих гласных в чулымско-тюркском языке // Советская тюркология. 1975. № 6. С. 55–67.
- Боргояков М. И.* Об образовании и развитии некоторых долгих гласных в хакасском языке // Учен. зап. Хакасского НИИЯЛИ. 1966. Вып. 12. С. 81–98.
- Дмитриев Н. К.* Долгие гласные в туркменском языке // Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонетика. 1955. Т. 1. С. 182–191.
- ДТС - Древнетюркский словарь / Под ред. В. М. Наделяева, Д. М. Насилова, Э. Р. Тенишева, А. М. Щербака. Л.: Наука, 1969. 677 с.
- Дыренкова Н. П.* Грамматика ойротского языка / Отв. ред. С. Е. Малов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. 303 с.
- Дыренкова Н. П.* Грамматика хакасского языка: Фонетика и морфология. Абакан: Хакоблнэиздат, 1948. 124 с.
- Дыренкова Н. П.* Грамматика шорского языка / Отв. ред. С. Е. Малов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. 308 с.
- Кирсанова Н. А.* Консонантизм в языке чалканцев (по экспериментальным данным). Новосибирск: Сибирский хронограф, 2003. 150 с.
- Кокорин В. Н.* Артикуляторные настройки гласных твердого ряда в языке чалканцев (по данным статического рентгенографирования) // Информация и языковой знак. Тюмень: Тюмен. гос. ун-т, 1979. С. 53–56.
- Кокорин В. Н.* Формантные характеристики узких чалканских гласных // Теоретические вопросы фонетики и грамматики языков народов СССР. Новосибирск, 1981. С. 146–151.
- Кокорин В. Н.* Вокализм в языке чалканцев (по экспериментальным данным): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Алма-Ата, 1982. 20 с.
- Кокорин В. Н.* Артикуляционные настройки гласных мягкого ряда в языке чалканцев (по данным статического рентгенографирования) // Исследования звуковых систем языков Сибири. Новосибирск, 1984. С. 27–30.
- Кыштымова Г. В.* Состав и системы гласных фонем сагайского и качинского диалектов хакасского языка. Экспериментально-фонетическое исследование. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. 152 с.
- Мандрова Н. А.* Консонантизм в языке чалканцев (по экспериментальным данным). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Алма-Ата, 1982. 23 с.
- Наделяев В. М.* Проект универсальной унифицированной фонетической транскрипции (УУФТ). М.; Л., 1960. 68 с.

- Покровская Л. П.* Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология. М., 1964. 297 с.
- Рясянен М.* Материалы по исторической фонетике тюркских языков / Пер. с нем. А. А. Юлдашева; под ред. Н. А. Баскакова. М., 1955. 222 с.
- Сарбашева С. Б.* Фонологическая система туба-диалекта алтайского языка (в сопоставительном аспекте). Новосибирск: Сибирский хронограф, 2004. 242 с.
- Селютина И. Я.* Квантитативность кумандинских гласных // Фонетика языков Сибири и сопредельных регионов. Новосибирск, 1986. С. 23–26.
- Селютина И. Я.* Кумандинский вокализм. Экспериментально-фонетическое исследование. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. 185 с.
- Селютина И. Я.* Фонологические системы языков народов Сибири. Новосибирск, 2004. 100 с.
- Селютина И. Я.* Принципы организации сингармонических систем в южносибирских тюркских языках // А. В. Байыр-оол, Н. Б. Кошкарева, А. А. Мальцева, И. А. Невская, А. А. Озонава, Е. С. Панина, И. Я. Селютина, Н. С. Уртегешев, Н. Н. Федина, О. Ю. Шагдурова, Л. А. Шамина, Н. Н. Широбокова. Сложность языков сибирского ареала в диахронно-типологической перспективе. Новосибирск: Изд-во «Гео», 2018. С. 101–118.
- Филоненко В. И.* Грамматика балкарского языка. Нальчик, 1940. 88 с.
- Черкасский М. А.* Тюркский вокализм и сингармонизм. Опыт историко-типологического исследования. М.: Наука, 1965. 143 с.
- Чистякова Ф. Г., Шавлова Н. В.* Учебное пособие по фонетике шорского языка. Новокузнецк, 1992. 52 с.
- Чумакаева М. Ч.* Артикуляторные настройки гласных твердого ряда в алтайском языке (по данным статического рентгенографирования) // Исследования звуковых систем языков Сибири. Новосибирск, 1984. С. 22–27.
- Чумакаева М. Ч.* Артикуляторные настройки мягкорядных гласных алтайского языка (по данным статического рентгенографирования) // Вопросы алтайского языкознания. Горно-Алтайск, 1988. С. 29–35.
- Шавлова Н. В.* Словесное ударение в нижнемерасском говоре шорского языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Алма-Ата, 1983.
- Шалданова А. А.* Вокализм диалекта алтай-кижи алтайского языка (в сопоставительном аспекте). Новосибирск: Сова, 2007. 280 с.
- Щербак А. М.* Сравнительная фонетика тюркских языков. Л.: Наука, 1970. 204 с.
- Böhtlingk O.* Über die Sprache der Jakuten. Grammatik, Text und Wörterbuch. St. Petersburg, 1851. 184 p.
- Radloff W. W.* Phonetik der Nördlichen Türksprachen. Leipzig, 1882. 322 p.

Список сокращений и условных обозначений

алт. лит. – алтайский литературный язык; **качинск.** – качинский диалект хакасского языка; **куманд.** – кумандинский диалект алтайского языка; **онгуд. говор** – онгудайский говор алтайского языка; **сагайск.** – сагайский диалект хакасского языка; **чалк.** – чалканский диалект алтайского языка; **задн. ряда** – заднего ряда; **неогубл.** – неогубленный; **огубл.** – огубленный; **перед. ряда** – переднего ряда; **узк.** – узкий; **шир.** – широкий; **В. п.** – винительный падеж; **И. п.** – исходный падеж; **М. п.** – местный падеж; **Н. п.** – направительный падеж; **Р. п.** – родительный падеж; **Т. п.** – творительный падеж

N. N. Fedina¹, N. N. Shirobokova²

*Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Novosibirsk, Russian Federation*

¹ natfedina@yandex.ru, ² shirobokova_nn@mail.ru

Vocalism of the Chalkan language

The paper describes the changes that have occurred in Chalkan phonetics over the past 70 years. The vocal system data collected by N. A. Baskakov are compared with recent research data of Siberian experimental phonetics. Specific differences between the Chalkan phonetic systems and other Siberian languages are revealed. Also, the phonetic processes that are currently taking place in the modern Chalkan language are described.

Chalkan hard vowels, much like vowels of other languages analyzed, are mostly seen as central-back vowels with varying degrees of advancement. Chalkan soft vowels are closer to the Altai-Kizhi language. In terms of how open or close they are, the Chalkan vowels are similar to vowels of Standard Altai. The most narrow vocalism is observed in the Sagai dialect of the Khakas language and the Tuba dialect of the Altai language. The widest vocalism is found in the Kumandy dialect (Altai) and Kachin dialect (Khakas).

The following processes are observed in modern Chalkan: vowel length formed as a result of contraction is lost in many words; mixed variants of labial harmony are observed in many words with wide vowels; the process of palatal harmony reconstruction is taking place.

Keywords: Turkic languages, Chalkan, phonetics, vocalism, phonetic processes.

DOI 10.17223/18137083/68/22

References

- Baskakov N. A. *Severnnyye dialekty altayskogo (oyrotskogo) yazyka. Dialekt lebedinskikh tatar-chalkantsev (kuu – kizhi)* [Northern dialects of the Altai (Oïrot) language. Dialect of Lebedin Chalkan-Tatars (Kuu-Kyzy)]. Moscow, Nauka, 1985, 233 p.
- Biryukovich R. M. O pervichnykh dolgikh glasnykh v chulymsko-tyurkskom yazyke [On the primary long vowels in the Chulym-Turkic language]. *Sovetskaya tyurkologiya*. 1975, no. 6, pp. 55–67.
- Böhtlingk O. *Über die Sprache der Jakuten. Grammatik, Text und Wörterbuch*. St. Petersburg, 1851, 184 p.
- Borgoyakov M. I. Ob obrazovanii i razvitii nekotorykh dolgikh glasnykh v khakasskom yazyke [On formation and development of some long vowels in the Khakas language]. *Scientific notes of KhRILLH*. 1966, iss. 12, pp. 81–98.
- Cherkasskiy M. A. *Tyurkskiy vokalizm i singarmonizm. Opyt istoriko-tipologicheskogo issledovaniya* [Turkic vocalism and syngarmonism. Experience of historical and typological research]. Moscow, Nauka, 1965, 143 p.
- Chispiyakova F. G., Shavlova N. V. *Uchebnoye posobiye po fonetike shorskogo yazyka* [Shor phonetics: A textbook]. Novokuznetsk, 1992, 52 p.
- Chumakayeva M. Ch. Artikulyatornyye nastroyki glasnykh tverdogo ryada v altayskom yazyke (po dannym staticheskogo rentgenografirovaniya) [Articulator settings of hard vowels in the Altai language (according to static radiography data)]. In: *Issledovaniya zvukovykh sistem yazykov Sibiri* [Studies of phonetic systems of Siberian languages]. Novosibirsk, 1984, pp. 22–27.
- Chumakayeva M. Ch. Artikulyatornyye nastroyki myagkoryadnykh glasnykh altayskogo yazyka (po dannym staticheskogo rentgenografirovaniya) [Articulatory parameters of soft Altai vowels (according to the static radiography data)]. In: *Voprosy altayskogo yazykoznaniya* [Issues of Altai linguistics]. Gorno-Altaysk, 1988, pp. 29–35.
- Dmitriyev N. K. Dolgiye glasnyye v turkmenskoy yazyke [Long vowels in the Turkmen language]. In: *Issledovaniya po sravnitel'noy grammatike tyurkskikh yazykov. Fonetika* [Studies on comparative grammar of the Turkic languages]. 1955, vol. 1, pp. 182–191.
- Drevnetyurkskiy slovar'* [Ancient Turkic dictionary]. V. M. Nadelyayev, D. M. Nasilov, E. R. Tenishev, A. M. Shcherbak (Eds). Leningrad, Nauka, 1969, 677 p.
- Dyrenkova N. P. *Grammatika khakasskogo yazyka: Fonetika i morfologiya* [Khakas grammar: Phonetics and morphology]. Abakan, Khakobl'natsizdat, 1948, 124 p.
- Dyrenkova N. P. *Grammatika oyrotskogo yazyka* [Oïrot grammar]. Moscow, Leningrad, AN SSSR Publ., 1940, 303 p.

- Dyrenkova N. P. *Grammatika shorskogo yazyka* [Shor grammar]. Moscow, Leningrad, AN SSSR Publ., 1941, 308 p.
- Filonenko V. I. *Grammatika balkarskogo yazyka* [Balkar grammar]. Nalchik, 1940, 88 p.
- Kirsanova N. A. *Konsonantizm v yazyke chalkantsev (po eksperimental'nykh dannym)* [Consonantism in the Chalkan language (according to experimental data)]. Novosibirsk, Sibirskiy khronograf, 2003, 150 p.
- Kokorin V. N. *Artikulyatornyye nastroyki glasnykh tverdogo ryada v yazyke chalkantsev (po dannym staticheskogo rentgenografirovaniya)* [Articulator settings of vowel solid-state vowel in the Chalkan language (according to static radiography data)]. Tyumen', UTMN, 1979, pp. 53–56.
- Kokorin V. N. Formantnyye kharakteristiki uzkiykh chalkanskikh glasnykh [Formant characteristics of narrow Chalkan vowels]. In: *Teoreticheskiye voprosy fonetiki i grammatiki yazykov narodov SSSR* [Theoretical issues of phonetics and grammar of the USSR languages]. Novosibirsk, 1981, pp. 146–151.
- Kokorin V. N. *Vokalizm v yazyke chalkantsev (po eksperimental'nykh dannym)* [Vocalism in the Chalkan language (according to experimental data)]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Alma-Ata, 1982, 20 p.
- Kokorin V. N. Artikulyatsionnyye nastroyki glasnykh myagkogo ryada v yazyke chalkantsev (po dannym staticheskogo rentgenografirovaniya) [Articulation parameters of soft vowels in Chalkan language (according to static radiography data)]. In: *Issledovaniya zvukovykh sistem yazykov Sibiri* [Studies of sound systems of Siberian languages]. Novosibirsk, 1984, pp. 27–30.
- Kyshtymova G. V. *Sostav i sistemy glasnykh fonem sagayskogo i kachinskogo dialektov khakas-skogo yazyka. Eksperimental'no-foneticheskoye issledovaniye* [Composition and systems of vowel phonemes of the Sagaic and Kachin dialects of the Khakas language]. Novosibirsk, Sibirskiy khronograf, 2001, 152 p.
- Mandrova N. A. *Konsonantizm v yazyke chalkantsev (po eksperimental'nykh dannym)* [Konsonantism in the Chalkan language (according to experimental data)]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Alma-Ata, 1982, 23 p.
- Nadelyayev V. M. *Proyekt universal'noy unifikatsionnoy foneticheskoy transkripsii (UUFT)* [Universal Unified Phonetic Transcription (UFT) Project]. Moscow, Leningrad, 1960, 68 p.
- Pokrovskaya L. P. *Grammatika gagauzskogo yazyka. Fonetika i morfologiya* [Grammar of the Gagauz language. Phonetics and morphology]. Moscow, 1964, 297 p.
- Radloff W. W. *Phonetik der Nördlichen Türkischen Sprachen*. Leipzig, 1882, 322 p.
- Rasanen M. *Materialy po istoricheskoy fonetike tyurkskikh yazykov* [Studies in historical phonetics of Turkic languages]. A. A. Yuldashev (Transl. from German), N. A. Baskakov (Ed). Moscow, 1955, 222 p.
- Sarbasheva S. B. *Fonologicheskaya sistema tuba-dialekta altayskogo yazyka (v sopostavitel'nom aspekte)* [Phonological system of the Tuba dialect of the Altai language (in comparative aspect)]. Novosibirsk, Sibirskiy khronograf, 2004, 242 p.
- Selyutina I. Ya. *Fonologicheskiye sistemy yazykov narodov Sibiri* [Phonological systems of Siberian languages]. Novosibirsk, 2004, 100 p.
- Selyutina I. Ya. *Kumandinskiy vokalizm. Eksperimental'nofoneticheskoye issledovaniye* [Kumandy vocalism: An experimental phonetic study]. Novosibirsk, Sibirskiy khronograf, 1998, 185 p.
- Selyutina I. Ya. Kvantitativnost' kumandinskiykh glasnykh [Quantitativeness of Kumandy vowels]. In: *Fonetika yazykov Sibiri i sopredel'nykh regionov* [Phonetics of Siberian languages and neighboring regions]. Novosibirsk, 1986, pp. 23–26.
- Selyutina I. Ya. Printsipy organizatsii singarmonicheskikh sistem v yuzhnosibirskikh tyurkskikh yazykakh [Principles of organization of synharmonic systems in South Siberian Turkic languages]. In: A. V. Bayyr-ool, N. B. Koshkareva, A. A. Mal'tseva, I. A. Nevskaya, A. A. Ozonova, E. S. Panina, I. Ya. Selyutina, N. S. Urtegeshev, N. N. Fedina, O. Yu. Shagdurova, L. A. Shamina, N. N. Shirobokova. *Slozhnost' yazykov sibirskogo areala v diakhronno-tipologicheskoy perspektive* [Complexity of Siberian languages in the diachrone-typological perspective]. Novosibirsk, "Geo" Publ., 2018, pp. 101–118.
- Shavlova N. V. *Slovesnoye udareniye v nizhnemrasskom govore shorskogo yazyka* [Verbal stress in the Nizhnemrass subdialect of the Shor language]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Alma-Ata, 1983.
- Shaldanova A. A. *Vokalizm dialekta altaykizhi altayskogo yazyka (v sopostavitel'nom aspekte)* [Vocalism of the Altai-Kizhi dialect of the Altai language (in comparative aspect)]. Novosibirsk, Sova, 2007, 280 p.
- Shcherbak A. M. *Sravnitel'naya fonetika tyurkskikh yazykov* [Comparative phonetics of the Turkic languages]. Leningrad, Nauka, 1970, 204 p.

УДК 811.512.156 + 81'367
DOI 10.17223/18137083/68/23

Л. А. Шамина

Институт филологии СО РАН, Новосибирск

**Бипредикативные конструкции
с зависимой предикативной единицей места
в тувинском языке**

Дан краткий обзор грамматикализованных синтаксических конструкций тувинской полипредикативной системы, репрезентируемых специализированными синтаксическими структурами, со значением места. Анализируемая семантика представлена в тувинском языке тремя структурными типами бипредикативных конструкций. К первому типу относим конструкции, в которых связь между зависимой предикативной единицей и главной предикативной единицей, как правило, осуществляется аналитически – при помощи местоименных соотносительных слов. Ко второму типу относим конструкции с формами локальных падежей (дательный, местный, направительный) имен, с которыми соотносится сказуемое зависимой предикативной единицы. Третий тип составляют бипредикативные конструкции с аналитическими показателями – синсемантическими именами *чер* ‘земля’, *кижи* ‘человек’, *уе* ‘время’ и др. Определительные по форме, данные конструкции являются зависимыми предикативными единицами места по своему содержанию и локализуют главную предикативную единицу в целом.

Ключевые слова: тувинский язык, синтаксис, грамматикализация, конструкция, локализатор, соотносительное слово, бипредикативные конструкции со значением места, синсемантические имена.

Введение
**Структурные типы бипредикативных конструкций
с семантикой места**

Бипредикативные конструкции (БПК) с зависимой предикативной единицей (ЗПЕ), в которых содержится указание на место или пространство, где находится или происходит то, о чем говорится в главной предикативной единице (ГПЕ), называются БПК места. Между частями устанавливаются пространственные отношения.

Шамина Людмила Алексеевна – доктор филологических наук, главный научный сотрудник сектора языков народов Сибири Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия; shamina_la@mail.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 3
© Л. А. Шамина, 2019

В статье рассматриваются редкие для тувинского языка конструкции с ЗПЕ места. Следует сказать, что они редки и для других тюркских языков Сибири. Согласно Е. И. Убрятовой, обусловлено это тем, что «при описании места, где происходит то или иное действие, обычно употребляется определительное зависимое предложение, связанное с определяемым посредством изафета» [Убрятова, 1976, с. 262].

Существуют разные традиции классификации ЗПЕ места. В русистике такие предложения рассматриваются: как придаточные предложения, в которых содержится указание на место, где происходит то, о чем говорится в ГПЕ [Грамматика русского языка, 1960, с. 313–315]. В. А. Белошапкова рассматривает их в блоке нерасчлененных предложений обстоятельственной семантики с корреляционной связью (местоименно-соотносительные) [Белошапкова, 1977, с. 219–233].

В исследованиях сложного предложения в тюркских языках Южной Сибири БПК со значением места рассматриваются в ряду конструкций несобственно-определятельных (пространственные) [ГСЯЛЯ, с. 278, 281; Ефремов, 1998, с. 37; Невская, 2005, с. 229] и псевдоопределятельных [Структурные типы..., 1986, с. 204; Оюн, 1988]. Е. И. Убрятова называет такие предложения «изафетные определятельные предложения», присоединяемые к словам, обозначающим место. Этим предложениям в русском языке соответствуют придаточные места [Убрятова, 1976, с. 238].

В Грамматике хакасского языка, напротив, сложные предложения с ЗПЕ места представлены в блоке обстоятельственных придаточных предложений [Грамматика хакасского языка, 1975, с. 405].

В языках других языковых семей: в бурятском языке – БПК места также рассматриваются в ряду псевдоопределятельных конструкций, функционально соответствующих русским местоименно-соотносительным конструкциям [Скрибник, 1988, с. 165; Скрибник, Даржаева, 2016, с. 149].

В хантыйском языке, по мнению Е. В. Ковган, созданию несобственно-определятельного значения способствует синтаксическая роль определяемого имени в определяющей части, и значение самой определяющей части [Ковган, 1991, с. 74]. Автор выделяет семантический вариант моделей причастных определятельных конструкций с подтипом ограничительно-выделительных конструкций [Там же, с. 68, 74].

В эвенкийском языке Л. М. Бродская в блоке обстоятельственных БПК с пространственным значением выделяет сложноподчиненные предложения со значением места [Бродская, 1988, с. 80].

Мы выделяем три структурных типа БПК с ЗПЕ места в тувинском языке. К первому типу относим БПК, в которых связь между ЗПЕ и ГПЕ, как правило, осуществляется аналитически – при помощи местоименных соотносительных слов. Местоименное соотносительное слово показывает необходимость дополнить ГПЕ зависимой, т. е. соотносительное слово помечает предикативную единицу (ПЕ) именно как часть сложного предложения (СП), неспособную к самостоятельному функционированию. Ко второму типу носим БПК с формами локальных падежей имен, с которыми соотносится сказуемое ЗПЕ. Третий тип составляют БПК с аналитическими показателями – синсемантическими именами – в составе ЗПЕ.

1. Аналитические средства. Соотносительные слова в частях БПК

Важную роль в организации БПК места играют соотносительные слова, которые по своей морфологической природе являются местоименными словами. Эти слова употребляются в ГПЕ при том слове, с которым связана ЗПЕ, и выступают

в синтаксической функции обстоятельств: *кайа* ‘где’, *кайнаар* ‘куда’ (1), *кайын* ‘откуда’ (2).

(1) *Силер кайнаар-ла чоруксай-дыр силер, ынаар баар мен.* (Русско-тувинский словарь, 1953, с. 244)

силер	кайнаар-ла	чору=кса=й-дыр	силер	ынаар
вы	куда-PRTCTL	идти=OPT=CV-PRTCL	PERS.2PL	туда
ба=ар	мен			
идти=PrP	я			

‘Куда вы хотите, туда я пойду.’

(2) *Кайын келдиңер?* (Русско-тувинский словарь, 1953, с. 369)

кайын	кел=ди=нер
откуда	приходить=PAST _{fin} =2PL

‘Откуда вы пришли?’

Ш. Ч. Сат выделял следующие аналитические элементы – «соотносительные слова», связывающие ЗПЕ места с ГПЕ: *кайда* – *ында* ‘где – там’, *кайыын* – *оон* ‘откуда – оттуда’, *кайнаар* – *ынаар* ‘куда – туда’ [Сат, 1982, с. 55] (3), (4).

(3) *Кайнаар адыг хөректенчик, олче базыпкан бис.* [Там же, с. 56]

кайнаар	адыг	хөректе=н=чик	ол=че
куда	медведь	повышать.голос=RFL=PAST	тот=LAT
баз=ып=кан	бис		
шагать=PERFV=PP	мы		

‘Где медведь сердито кричал, туда мы пошли.’

(4) *Кайыын ыш үнүп туржук, ында ивижилерниң майгыннары тур.* [Там же]

кайыын	ыш	үн=үп	тур=жук	ында
откуда	дым	выходить=CV	AUX=PAST	там
ивижи=лер=ниң	майгын=нар=ы	тур		
оленовод=PL=GEN	палатка=PL=POSS.3	стоять		

‘Откуда поднимался дым, там стояла палатка оленеводов.’

Мы также рассматриваем СП, в которых в главной и в зависимой ПЕ содержатся соотносительные слова: указательные и определительные местоимения, вопросительно-местоименные наречия (*кайнаар* ‘куда’), неопределенные (*кайда* ‘где’, *кайда-даа* ‘нигде’, ‘езде’, ‘всюду’) и указательные (*ында* ‘там’, *оон* ‘оттуда’, *ынаар* ‘туда’, *ынчаар* ‘так поступать’, *ынчан* ‘тогда’) местоимения и место-глаголия (5)–(9). Эти соотносительные слова прикрепляют к себе ЗПЕ, которая конкретизирует их значение, а также указывают на место или направление движения, относясь не ко всей главной ГПЕ, а к одному слову в ней – обстоятельству места.

Структурная схема имеет вид **PRON.....PRON**.

(5) *Машина кайнаар баржык, ынаар көрүп турганнар.* (Тувинско-русский словарь, 1968, с. 219)

машина	кайнаар	бар=жык	ынаар	көр=үп
машина	куда	ехать=PAST	туда RPRON	смотреть=CV
тур=ган=нар				
AUX=PP=3PL				

‘Они смотрели в ту сторону, куда ушла машина.’

(6) *Кайнаар барыксааныл, ынчаар чорупкан.* (ПМА)

кайнаар	бар=ыкса=ан=ыл	ынчаар	чор=уп=кан
куда	идти=OPT=PP=PRTCL	так	идти=PERFV=PP

‘Он пошел, куда ему захотелось.’

(7) *Кайда чуга-дыр, оон үстүр.* (Там же)

кайда	чуга-дыр	оон	үс=т=үр
где.RPRON	тонкий-PRTCL	тот.ABL	рвать=CAUS=PrP

‘Где тонко, там и рвется.’

(8) *Кайда суг бар-дыр, ында анай-хаак база бар.* (Там же)

кайда	суг	бар-дыр	ында	анай-хаак	база
где.RPRON	вода	есть-PRTCL	там.RPRON	верба	тоже

бар
есть
‘Где вода, там и верба.’

(9) *Кайда куш-ажыл бар-дыр, ында аас-кежик.* (ПМА)

кайда	куш-ажыл	бар-дыр	ында	аас-кежик
где.RPRON	труд	есть-PRTCL	там.RPRON	счастье

‘Где труд, там и счастье.’

2. ЗПЕ в форме локальных падежей

Рассмотрим конструкции, в которых в ЗПЕ содержится имя в номинативе или в одном из косвенных падежей (дативе, локативе, лативе), а в ГПЕ – соотносительное местоимение или его отсутствие. Система локальных падежей в тувинском включает местный (=да), дательный (=га), направительный (=же) и исходный (=дан) падежи. В наших материалах отмечены только первые три падежа. Местный и дательный падежи пересекаются в выражении значений места.

Структурная схема имеет вид **N = CASE N / PRON**.

Известно, что выбор дательного или местного падежей обусловлен грамматизированной связью между формой локализатора и темпоральной характеристикой события. Выражается эта связь временной формой предиката (см. об этом, например, в трудах тувинских исследователей Ш. Ч. Сат [1955], Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмбах [1961]. В работе А. Б. Хертек высказано дополняющее уточнение, касающееся локализатора. Автор отмечает, что важным для выбора падежа (местный или дательный) является не только модально-временное значение предиката, но и статус локализатора: «условия употребления форм местного и дательного падежа различаются для локализаторов-адъектов и локализаторов-сирконстантов» [Хертек, 2013, с. 41].

2.1. N = LOC. Местный падеж, выполняя адъектную (локальную) функцию статического локализатора, сочетается с именами и глагольными предикатами местонахождения и бытия. Он противопоставит дательному падежу, как падеж статический, «показывающий место действия в настоящее и недавно прошедшее время» [Сат, 1955, с. 645]. Об этом же писали Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмбах [1961, с. 128, 134].

Наблюдается семантическая соотносительность сказуемых ЗПЕ (направленное действие) и ГПЕ (статическое действие) с временной соотносительностью. Сказуемое ЗПЕ, передающее краткое действие, выражено аналитической конструкцией (АК) в форме деепричастия на =n и причастия прошедшего времени на =ган; сказуемое ГПЕ представлено причастной АК и обозначает длительное действие, одновременное с действием ЗПЕ. Направленность главного действия к определенному месту обусловлена тем, что на нем в этот момент совершается зависимое действие (10)–(14).

(10) *Оялыкта хаттын дырый шаап каапкан хары хөртүктелгеш, кыры дошталы берген болур.* (Кенин-Лопсан, 1975)

оялык=та	хат=тын	дыры=й	шаа=п
поляна=LOC	ветер=GEN	очищать=CV	AUX=CV

каа=п=кан	хар=ы	хөртүкте=л=геш
AUX=PERCV=PP	снег=POSS.3	наметать.сугробы=CAUS=CV
кыр=ы	доштал=ы	бер=ген бол=ур
грань=POSS.3	покрываться.льдом=CV	AUX=PP быть=PrP

‘В лошине, куда метели сгоняют снег, поднимаются сугробы, покрытые льдом.’

(11) *Эрткен чайын куда дүшкени чуртта Кууларның улуг байы Мезилдейниң аалы хевээр турган.* (Там же, с. 11)

эрткен	чай=ын	куда	дүш=кен=и
прошлый	лето=ACC	свадьба	останавливаться=PP=POSS.3
чурт=га	Куулар=ның	улуг	бай=ы
местность=LOC	Куулар=GEN	крупный	бай=POSS.3
Мезилдей=нин	аал=ы	хевээр	тур=ган
Мезилдей=GEN	аал=POSS.3	как.было	стоять=PP

‘На большой стоянке, там же, где прошлым летом справляли свадьбу, раскинулся аал Мезилдея – крупного бая из племени Куулар.’

(12) *Чүгээр чүве чүл дээрге, чүгле чылгы малдың кыштаа болур Кара-Дагда хар чуга дишкен, ынаар Чалчыраашпайның өөн көжүрүп каан болгаш ында Сылдыс-оол хонуп-дүжүп, чылгы кадарып турар.* (Кенин-Лопсан, 1975, с. 38)

чүгээр	чүве	чүл	дээрге	чүгле	чылгы
довольно.хороший	вещь	что	что.касается	PRTCL.только	табун
мал=дың	кыштаа	бол=ур		Кара-Даг=да	хар
табун=GEN	зимовье.DAT	находиться=PrP		Кара-Даг=LOC	снег
чуга	ди=ш=кен	ынаар		Чалчыраашпай=ның	
тонкий	говорить=RECIP=PP	там		Чалчыраашпай=GEN	
өөн	көж=үр=үп	ка=ан		болгаш	ында
юрта.ACC	кочевать=CAUS=CV	AUX=PP		и	там
Сылдыс-оол	хон=уп-дүж=үп	чылгы кадар=ып		тур=ар	
Сылдыс-оол	останавливаться=CV	табун пасти=CV		AUX=PrP	

‘Правда, юрта Чалчыраашпай оставалась на другой стоянке, в Кара-Даге, где снег был не так глубокий; там и Сылдыс-оол с табундом находился.’

(13) *Кулча оваалап каан хулду агбан-биле былгантарга, ында хөөп каан пар дыйтың будуунуң көзү кызааш кылынган.* (Там же, с. 11)

Кулча	оваала=п	ка=ан	хул=дү
Кулча	ссыпать.в.кучу=CV	AUX=PP	зола=ACC
агбан-биле	былга=пт=ар=га		ында
намеренно-INSTR	мешать=PERFV=PrP=DAT		там.RPRON
хөөп	ка=ан	пар	дыт=тың
закапывать	AUX=PP	плотный	лиственница=GEN
будуу=нуң	көз=ү	кыз=аш	кыл=ын=ган
ветка=GEN	угли=POSS.3	краснеть=CV	AUX=MOM=PP

‘Кулча собранную в кучу золу намеренно перемешала – в ней сверкнули красными углями закопанные ветви лиственницы.’

2.2. N = DAT. Дательный падеж сочетая, статические и динамические функции при именах и глаголах движения, «показывает место совершения действия в прошлом или будущем» [Сат, 1955, с. 643]. Подтверждение этой мысли находим в работе [Исхаков, Пальмбах, 1961, с. 128, 134] (14)–(17).

(14) *Чер кезип чорзумза, ажыг-шүжүүм намдаар боор, ээ көргөн байның аалынга доктаай бээр база чадап мен.* (Кенин-Лопсан, 1975, с. 25)

чер	кези=п	чор=зу=м=за	ажыг.шүжүү(м
место	бродить=CV	AUX=COND=1.SG=COND	горе.скорбь
намда=ар	боор ээ	көр=ген	бай=ның
утихать=PrP	PRTCL хозяин	смотреть=PP	бай=GEN

аал=ы=н=га	доктаа=й	бээр	база
аал=POSS.3=INFIX=DAT	останавливаться=CV	AUX	и
чада=п	мен		
не.мочь=CV	я		

‘Когда бродила, чтобы горе утихло, где (в аале) глаз бая меня заметит, тоже (в том аале) не могу оставаться.’

(15) *Элик оьттаар бүүрелчин дагларга мал дыка тааржыр болган.* (Там же, с. 38)

элик	оьтта=ар	бүүрелчин	даг=лар=га	мал	дыка
косуля	пастись=PrP	холм	гора=PL=DAT	скот	очень
таар=ж=ыр		бол=ган			
подходить=RECIP=PrP		AUX=PP			

‘Овцам подходят склоны, где паслись косули.’

(16) *Арай чуга харлыг черге, кээргенниң шорузу.* (Кенин-Лопсан, 1975, с. 39)

арай	чуга	хар=лыг	чер=ге	кээрген=ниң
немного	тонкий	снег=POSSV	место=DAT	кедровка=GEN
шору=зу				
хорошо=POSS.3				

‘Где (в том месте) снег неглубок, кедровке хорошо.’

(17) *Шарылар болгаш кызыр инектер кадартыпкан аалынга база чылгы кыштаан шатта өгге Мезилдей беш хонмас баар апарган.* (Там же, с. 41)

шары=лар	болгаш	кызыр	инек=тер	кадар=г=ып=кан
вол=PL	и	яловый	корова=PL	пасти=CAUS=PERFV=PP
аал=ы=н=га			база	чылгы
аал=POSS.3=INFIX=DAT			и	табун.лошадей
шатта			өг=ге	Мезилдей
ехать.по.поскогорью.CV			юрта=DAT	Мезилдей
хон=мас			ба=ар	апар=ган
ночевать=PrPNEG			идти=PrP	делаться=PP

‘Дней через пять Мезилдей приехал и на ту далекую стоянку, где паслись (его) волы и яловые коровы и зимовали его табуны.’

В (17) датив употреблен в двух своих значениях: статическое указание на место совершения действия (*аалынга* ‘в аале’) и указание направления движения (*шатта өгге* ‘ехать по плоскогорью на стоянку’). В примерах (18)–(21) датив реализует статическое указание на место совершения действия.

(18) *Хам хамнаан черге чоок кавының улузу сөктүп келир.* (Там же, с. 75)

хам	хамна=ан	чер=ге	чоок	кавы=ның
шаман	камлать=PP	место=DAT	близкий	околица=GEN
улуз=у		сөк=т=үп		кел=ир
люди=POSS.3		приходить=CAUS=CV		AUX=PrP
				PRTCL

‘Где шаман камлает, там всегда собираются жители ближних аалов.’

(19) *От чырынга кижилерниң арыннары кончуг тода көстүп тургулаан.* (Там же, с. 103)

от	чыры=ы=н=га		кижи=лер=нин
огонь	освещать=POSS.3=INFIX=DAT		человек=PL=GEN
арын=нар=ы	кончуг	тода	көстү=п
лицо=PL=POSS.3	очень	четко	виднеться=CV
тур=гула=ан			
AUX=ITER=PP			

‘Там, где разгорелось пламя, очень четко видны были лица людей.’

(20) *Кезээ-мөңгедэ даш тевелери хүнге дөгеленип чыдар Теве-Хая баарынга Мезилдей биле Сылдыс-оол дың ийилээ душ бооп ужуражы берген.* (Там же)

кезээ-мөңгө=де	даш	теве=лер=и	хүн=ге
всегда-вечный=LOC	камень	верблюд=PL=POSS.3	солнце=DAT
дөгеле=н=ип	чыд=ар	Теве-Хаябаары=н=га	
греться=REFL=CV	AUX=PrP	Теве-Хаяперед=INFIX=DAT	
Мезилдей	биле	Сылдыс-оол	дың ийилээ душ
Мезилдей	с	Сылдыс-оолом	PREV вдвоем время
бооп	ужура=ж=ы		бер=ген
наверное	встречаться=RECIP=CV	AUX=PP	

‘Но вот на конной тропе, там, где Теве-Хая вечным пастухом сторожит своих каменных верблюдов, греющихся на солнце, встретились бывший хозяин с бывшим батраком-табунщиком.’

(21) *Дизе-дизе чыткылаан тевелер дег, хүн караанга довураңнаан күдер кара-кара хаяларның чырган чыдары баалык кырынга үнүп келгеш, Кулча тура дүшкен.* (Кенин-Лопсан, 1975, с. 68)

дизе-дизе	чыт=кыла=ан	теве=лер	дег	хүн
друг.за.другом	лежать=ITER=PP	верблюд=PL	COMP	солнце
караа=н=га	довура=ңна=ан	күдер	кара-кара	
луч=POSS.INFIX=DAT	пылиться=ITER=PP	коренастый	черный-черный	
хая=лар=ның	чырга=п	чыд=ар=ы		
скала=PL=GEN	блаженствовать=CV	лежать=PrP=POSS.3		
баалык	кыр=ы=н=га		үн=үп	
седловина.горы	горный.хребет=POSS.3=INFIX=DAT		подниматься=CV	
кел=геш	Кулча	тур=а	дүш=кен	
AUX=CV	Кулча	стоять=CV	AUX=PP	

‘Кулча поднялась и стояла на седловине горы, где, словно друг за другом лежащие верблюды, на солнце, блаженствуя, пылятся коренастые черные скалы.’

Итак, в тувинском языке локализатор маркируется местным падежом при предикатах во временных формах, семантика которых содержит указание на актуальность действия для момента речи. Дательным падежом он маркируется при всех остальных временных формах. Выражая значение местопребывания, дательный падеж реализует в основном статический вариант своей семантики. В функции главного и зависимого сказуемого употреблены глаголы статического действия или состояния. Их сочетанием обеспечено значение БПК ‘там, где’.

2.3. N = LAT. Направленность главного действия выражена ЗПЕ в направленном падеже (аффиксы =же/= че; =диге) (22)–(24).

(22) *Элээн ырай баргаиш, Кулча кырган-авазының төнмес уйгузун удуп чыдар чериндиге бир удаа көөр дээш, кижиги орнукуштукан чевегже хая көрбес деп чүвени сактып келгеш, соксап каан.* (Там же, с. 75)

элээн	ыра=й	бар=гаиш	Кулча	кырган-ава=зы=ның
достаточно	удаляться=CV	AUX=CV	Кулча	бабушка=POSS.3=GEN
төн=мес		уйгу=зу=н		уду=п
заканчиваться=	PrPNEG	сон=POSS.3=ACC		спать=CV
чыд=ар	чер=и=н=диге	бир	удаа	кө=өр
AUX=PrP	место=POSS.3=INFIX=LAT	один	раз	смотреть=PrP
дээш	кижи			
POSTP	человек			
орнукушт=кан	чевег=же	хая.көр=бес	деп	
хоронить=PP	кладбище=LAT	оглядываться= PrPNEG	PRTCL	
чүве=ни	сакты=п	кел=геш	сокса=п	ка=ан
вещь=ACC	помнить=CV	AUX=CV	переставать=CV	AUX=PP

‘Пока зимовка не пропала с глаз, Кулча еще раз не решилась оглянуться, что-бы окинуть взором то место, где спит непробудным сном ее бабушка; помнила, нельзя смотреть на кладбище.’

(23) *Силер, аныяк улус, дүңгүр эткен черже барбас силер бе?* (Кенин-Лопсан, 1975, с. 75)

силер	аныяк	улус	дүңгүр	эт=кен
вы	молодой	люди	бубен	издавать.звук=PP
чер=же	бар=бас		силер	бе
место=LAT	идти= PrPNEG		вы	QPRTCL

‘А вы, люди молодые, не хотите ли побывать там, где бубен гремит?’

(24) *Хаттыг хүн болза, хойларны хаялар аразынче хоргададып доктааткаш, чаглактыны арга диленир.* (Там же, с. 39)

хат=тыг	хүн	бол=за	хой=лар=ны	хая=лар
ветер=POSSV	день	быть=COND	овца=PL=ACC	скала=PL
ара=зы=н=че			хоргада=д=ып	
среди=POSS.3=INFIX=LAT			укрывать=CAUS=CV	
доктаа=т=каш			чаглакты=н=ыр	
останавливаться=CAUS=CV			укрывать=REFL=PrP	
арга	диле=н=ир			
способ	искать=REFL=PrP			

‘Когда налетает ветер, (она) ищет способ (место), где между скал, овец укрыв, остановиться.’

3. БПК с аналитическими показателями связи – синсемантические имена

В собственно тувинских построениях предложения места переводятся определительными предложениями с синсемантическим именем *чер* ‘земля’, *кижи* ‘человек’, *уе* ‘время’ и др. [Структурные типы..., 1986, с. 225], требующим раскрытия своего содержания посредством определительной ЗПЕ.

Если события в ГПЕ и ЗПЕ принадлежат одному временному плану, то локализация ситуации осуществляется с помощью определяемого имени – слованоминализатора *чер* ‘земля’. Его определением является моносубъектная ПЕ с предикатом ЗПЕ в форме причастия. Определительная по форме, данная конструкция является ЗПЕ места по своему содержанию и локализует ГПЕ в целом. Подробно такие конструкции рассматривались в работе М. В. Оюн [1988]; на материале шорского языка – в исследовании И. А. Невской [2005, с. 216]. Имена со значением ‘человек’, ‘предмет’ тоже могут образовывать конструкции, в которых они называют субъект определяющего действия (25).

(25) *Ооң көстү берген черинге доктаап, ажыт кире берген черинге чортуп-ла чорааннар.* (Кудажы, 1983, с. 115)

ооң	көст=ү	бер=ген	чер=и=н=ге
он.GEN	виднеться=CV	AUX=PP	место=POSS.3=INFIX=DAT
доктаа=п		ажыт	кир=е
останавливаться=CV		скрытый	AUX=CV
чер=и=н=ге		чорт=уп-ла	чора=ан=нар
место=POSS.3=INFIX=DAT		ехать.медленно=CV-PRCTL	AUX=PP=3.PL

‘Там, где он виднелся, останавливались, там, где его не видно было, ехали потихоньку.’

Минимальные семантические структуры биситуативны. Вследствие обязательного признака двуситуативности, они также имеют двуситуативную семантическую структуру [Шамина, 2001, с. 189–190]. В обстоятельственных позициях, оформляясь показателями локальных падежей, синсемантические имена грамматизируются, превращаются в служебные. Конструкции в целом, формально оставаясь определительными конструкциями, передают временные, причинные, от-

ношения места, условия [Структурные типы..., 1986, с. 226; Оюн, 1988, с. 16] (26)–(30).

(26) *Чазын школа тарап турар үеде Агылыг суурнуң эң улуг байы болур мен.* [Оюн, 1988, с. 16]

чазын	школа	тара=п	тур=ар	үе=де	Агылыг
весной	школа	расходиться=CV	AUX=PrP	время=LOC	Агылыг
суур=нуң	эң	улуг	байы	бол=ур	мен
деревня=GEN	самый	большой	богатый	быть=PrP	я

‘Весной, в то время, когда школа будет расходиться (на каникулы), буду самым богатым человеком деревни Агылыг.’

(27) *Соок болган ужрунда кидис идик кедип алдым.* [Оюн, 1988, с. 16]

соок	бол=ган	ужрунда	кидис	идик	кед=ип
холод	быть=PP	так.как	войлок	идик	надевать=CV
ал=ды=м					
AUX=PAST=1SG					

‘Я надел валенки, потому что было холодно.’

(28) *Ол харыы дынналып кээп турган талаже серт-даа чок көрүп олур.* [Оюн, 1988, с. 16]

ол	харыы	дынна=л=ып	кээп	тур=ган
он	ответ	слышать=PASS=CV	AUX.CV	AUX=PP
тала=же		серт-даа.чок	көр=үп	олур
сторона=LAT		не.обращая.внимания	смотреть=CV	AUX.PrP

‘Он невозмутимо смотрел туда (букв.: в сторону), откуда слышался ответ.’

(29) *Ок дегген черниң изиңнэри дам барган.* [Там же, с. 16]

ок	дегген	чер=ниң	изиңнэ=эр=и	дам
пуля	попадать	место=GEN	гореть=PrP= POSS.3	еще
бар=ган				
AUX=PP				

‘Место, куда попала пуля, начало сильно гореть.’

(30) *Тулчуушкунга взвод командири балыглаткан берген үеде санитар кыс Севил атаканы баштап кирген.* (Кузнецов, 1983, с. 146)

тулчуушкун=га	взвод	командир=и	балыгла=т=кан	
бой=DAT	взвод	командир=POSS.3	ранить=CAUS=PP	
бер=ген	үе=де	санитар	кыс	Севил
AUX=PP	время=LOC	санитар	девушка	Севил
атака=ны	башта=п	кир=ген		
атака=ACC	возглавлять=CV	AUX=PP		

‘В трудное время, когда в бою был ранен командир взвода, санитарка Севил возглавила атаку.’

Приведем пример с редким в этой функции именем наличия *бар* ‘есть’ (31).

(31) *Чүгле кырган иези бар хостуг бажыңныы база чадавас.* (Кудажы, 1983, с. 115)

чүгле	кырган	ие=зи	бар	хостуг	бажың=ныы
только	старый	мать=POSS.3	иметь	свободный	дом=POSS.3
база	чадавас				
и	вероятно				

‘Наверное, имеет свободную квартиру, где есть только старая мать.’

Интересна грамматическая интерпретация аффикса в слове *бажың=ныы* ‘дом=ее’. Вместо полного изафетного сочетания здесь употреблен только первый компонент, принявший особую форму *-ныы*, которую авторы Грамматики тувинского языка называли «притяжательной формой существительного» [Исхаков, Пальмбах, 1961, с. 124].

Таким образом, рассмотренные конструкции с синсемантическими именами *чер* 'земля', *кижи* 'человек', передавая отношения места, представляют переходный тип между определительными конструкциями и конструкциями обстоятельственного значения, пополняя блок аналитических обстоятельственных скреп в тувинском языке.

В результате проведенного исследования нами установлено:

- Основные средства выражения БПК места в тувинском языке являются местоименные соотносительные слова и синсемантические имена. Имена этой группы вместе со своим определением представляют собой единое сложное именование лица, предмета или точки пространства. Такие определительные группы используются и как обычные имена, занимая именные позиции в предложении, где по каким-либо причинам прямое, лексическое именование использовано быть не может. Так они часто используются в предложениях идентификации (например: *Тот, с кем ты столкнулся у двери, – мой брат*) и т. п.
- Относительно-распространительные БПК составляют небольшой и внутренне цельный класс. Эти предложения, организованные рядом соотносительных слов, структурно содержат всегда препозитивную (или – при осложнении ГПЕ – интерпозитивную) ЗПЕ, вводимую соотносительным словом. Соглашаясь с мнением М. В. Бавуу-Сюрюн (Оюн), отметим, что такие конструкции характерны для книжного стиля.
- Локальные падежи составляют особую группу синтетических средств, формирующих БПК места.
- Предложения с относительными местоимениями в тувинском языке можно отнести к СП с корреляционной подчинительной связью.

Список литературы

- Белошапкина В. А. Современный русский язык. Синтаксис. М.: Высш. шк., 1977. 248 с.
- Бродская Л. М. Сложноподчиненное предложение в эвенкийском языке / Отв. ред. М. И. Черемисина. Новосибирск: Наука, 1988. 134 с.
- Грамматика русского языка / Отв. ред. В. В. Виноградов, Е. С. Истрина. М.: Изд-во АН СССР, 1960. Т. 2, ч. 2. 440 с.
- ГСЯЛЯ – Грамматика современного якутского литературного языка / Отв. ред. М. И. Черемисина. Новосибирск: Наука, 1995. 336 с.
- Грамматика хакасского языка / Отв. ред. Н. А. Баскаков. М.: Наука, 1975. 418 с.
- Ефремов Н. Н. Полипредикативные конструкции в якутском языке / Отв. ред. И. Е. Алексеев. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1998. 192 с.
- Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология. М.: Вост. лит., 1961. 470 с.
- Ковган Е. В. Причастные определительные конструкции в западных диалектах хантыйского языка: Дис. ... канд. филол. наук. Новосибирск, 1991.
- Невская И. А. Пространственные отношения в тюркских языках Южной Сибири (на материале шорского языка). Новосибирск: Ника, 2005. 304 с.
- Оюн М. В. Определительные конструкции в тувинском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Алма-Ата, 1988.
- Сат Ш. Ч. Тувинский язык (грамматический очерк) // Тувинско-русский словарь / Отв. ред. А. А. Пальмбах. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1955. 724 с.
- Сат Ш. Ч. Придаточные предикативные единицы в тувинском языке // Структурные и функциональные типы сложных предложений (на материале языков народов Сибири). Новосибирск, 1982. С. 48–61.

Скрибник Е. К. Полипредикативные синтетические предложения в бурятском языке / Отв. ред. М. И. Черемисина. Новосибирск: Наука, 1988. 198 с.

Скрибник Е. К., Даржаева Н. Б. Грамматика бурятского языка. Синтаксис сложного (полипредикативного) предложения / Отв. ред. Б. Д. Цыренов. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2016. Т. 1. 315 с.

Структурные типы синтетических полипредикативных конструкций в языках разных систем / Отв. ред. Е. И. Убрятова, Ф. А. Литвин. Новосибирск: Наука, 1986. 320 с.

Убрятова Е. И. Исследования по синтаксису якутского языка / Отв. ред. Л. Н. Харитонов. Новосибирск: Наука, 1976. Кн. 2: Сложное предложение. С. 219–378.

Хертек А. Б. Значения локальных падежей в тувинском и хакасском языках / Отв. ред. А. А. Мальцева. Новосибирск: Ред.-изд. центр НГУ, 2013. 273 с.

Шамина Л. А. Полипредикативные синтетические предложения в тувинском языке / Отв. ред. М. И. Черемисина. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. 250 с.

Список источников

Кудажы К.-Э. Ырлыг булак. Кызыл: Тываның ном үндүрери, 1983. 250 с.

Кузнецов И. Саяндан Ровно чедир. Кызыл: Тываның ном үндүрери, 1983. 222 с.

Кенин-Лопсан М. Херээженниң чоргааралы. Кызыл: Тываның ном үндүрери, 1975. 276 с.

ПМА – полевые материалы автора.

Русско-тувинский словарь. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1953. 708 с.

Тувинско-русский словарь. М.: Сов. энцикл., 1968. 646 с.

Список сокращений

CASE	–	падеж
N	–	имя
PAST _{fin}	–	форма прошедшего времени на =ды
PRON	–	местоимение
SG	–	единственное число

Условные обозначения грамматических значений в глоссах

ABL – аффикс аблатива; **ACC** – аффикс аккузатива; **AUX** – вспомогательный глагол; **CAUS** – аффикс каузатива; **COMP** – компаратив; **COND** – аффикс кондиционала; **CV** – конверб; **DAT** – аффикс датива; **GEN** – аффикс генитива; **INFIX** – инфикс; **INSTR** – аффикс инструменталиса; **ITER** – аффикс итератива; **LAT** – аффикс латива; **LOC** – аффикс локатива; **MOM** – аффикс моментального действия; **OPT** – аффикс оптатива; **PASS** – страдательный залог; **PAST** – аффикс прошедшего времени; **PERFV** – аффикс перфектива; **PL** – аффикс множественного числа; **POSSV** – форма обладания; **POSS** – посессивный показатель; **POSTP** – послелог; **PP** – аффикс причастия прошедшего времени; **PrP** – аффикс причастия будущего времени; **PREV** – преверб; **PrPNEG** – отрицательный аффикс причастия будущего времени; **PRTCL** – частица; **RECIP** – аффикс совместно-взаимного залога; **REFL** – аффикс возвратного залога; **RPRON** – relative pronoun – относительное местоимение; **QPRTCL** – вопросительная частица.

L. A. Shamina

*Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Novosibirsk, Russian Federation
shamina_la@mail.ru*

**Bipredicative constructions
with dependent predicative units denoting location
in the Tuvan language**

The paper gives a brief overview of grammaticalized syntactic constructions within the Tuvan polypredicative system, represented by specialized syntactic structures denoting locations. The semantics being analyzed is represented in the Tuvan language by three structural types of bipredicative constructions. The first type consists of bipredicative constructions where the relation between the dependent predicative unit and the main predicative unit is usually analytical, expressed by correlative pronouns. These correlative pronouns show the necessity of dependent predicative unit. In other words, the correlative pronouns mark the predicative units specifically as parts of complex sentences that are unable to function independently. The second type includes bipredicative constructions with local case forms (dative, locative, directive) of nouns, correlating with a dependent predicative unit. In the Tuvan language, the localizer is marked by locative case in predicates in temporal forms, with their semantics denoting the relevance of the action for the moment of speech. It is marked by dative case when other temporal forms are used. Due to denoting the meaning of whereabouts, the dative case usually expresses the static aspect of its semantics. The third type consists of bipredicative constructions with analytical markers, namely the synsemantic nouns *cher* "earth," *kizhi* "human," *ye* "time," and others. While being formally attributive, these constructions serve as dependent predicative units with meanings of location and localize the entire main predicative unit.

Keywords: Tuvan language, syntax, grammaticalized, construction, localizer, correlative words, bipredicative constructions denoting location, synsemantic nouns.

DOI 10.17223/18137083/68/23

References

- Beloshapkova V. A. *Sovremennyy russkiy yazyk. Sintaksis* [Modern Russian language. Syntax]. Moscow, Vysshaya Shkola, 1977, 248 p.
- Brodskaya L. M. *Slozhnopodchinennoye predlozheniye v evenkiyskom yazyke* [Complex sentence in the Evenki language]. M. I. Cheremisina (Ed.). Novosibirsk, Nauka, 1988, 134 p.
- Grammatika russkogo yazyka* [Grammar of Russian language]. V. V. Vinogradov, E. S. Istina (Eds). Moscow, USSR Academy of Sciences Publ., 1960, vol. 2, pt. 2, 440 p.
- Grammatika sovremennogo yakutskogo literaturnogo yazyka* [Grammar of the modern Yakut literary language]. M. I. Cheremisina (Ed.). Novosibirsk, Nauka, 1995, 336 p.
- Grammatika khakasskogo yazyka* [The grammar of the Khakas language]. N. A. Baskakov (Ed.). Moscow, Nauka, 418 p.
- Efremov N. N. *Polipredikativnyye konstruksii v yakutskom yazyke* [Polypredicative constructions in the Yakut language]. I. E. Alekseev (Ed.). Novosibirsk, SB RAS Publ., 1998, 192 p.
- Iskhakov F. G., Pal'mbakh A. A. *Grammatika tuvinskogo yazyka. Fonetika i morfologiya* [Grammar of the Tuva language. Phonetics and Morphology]. Moscow, Vost. lit., 1961, 470 p.
- Khertek A. B. *Znacheniya lokal'nykh padezhey v tuvinskom i khakasskom yazykakh* [Values of local cases in the Tuva and Khakas languages]. A. A. Mal'tseva (Ed.). Novosibirsk, NSU Publishing and Printing Center, 2013, 273 p.
- Kovgan E. V. *Prichastnyye opredelitel'nyye konstruksii v zapadnykh dialektakh khantyyskogo yazyka* [Participle defining constructions in the western dialects of the Khanty language]. Cand. philol. sci. diss. Novosibirsk, 1991.
- Nevskaya I. A. *Prostranstvennyye otnosheniya v tyurkskikh yazykakh Yuzhnoy Sibiri (na material shorskogo yazyka)* [Spatial relations in the Turkic languages of Southern Siberia (on the material of the Shor language)]. Novosibirsk, Nika, 2005, 304 p.
- Oyun M. V. *Opredelitel'nyye konstruksii v tuvinskom yazyke* [Definitive constructions in the Tuvanian language]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Alma-Ata, 1988.

Sat Sh. Ch. Pridatochnye predikativnye edinicy v tuvinskom yazyke [Perceptual predicative units in the Tuvan language]. In: *Strukturnyye i funktsional'nyye tipy slozhnykh predlozheniy (na materiale yazykov narodov Sibiri)* [Structural and functional types of complex sentences (on the material of Siberian languages)]. Novosibirsk, 1982, pp. 48–61.

Sat Sh. Ch. Tuvinskiy yazyk (grammaticheskiy ocherk) [Tuvinian language (grammatical essay)]. In: *Tuvinsko-russkiy slovar'* [Tuvinian-Russian dictionary]. A. A. Pal'mbakh (Ed.). Moscow, Gos. izd. inostr. i nats. slovary, 1955, 724 p.

Shamina L. A. *Polipredikativnyye sinteticheskiye predlozheniya v tuvinskom yazyke* [Polypredicative synthetic sentences in the Tuva language]. M. I. Cheremisina (Ed.). Novosibirsk, Sibirskiy khronograf, 2001, 250 p.

Skribnik E. K., Darzhayeva N. B. *Grammatika buryatskogo yazyka. Sintaksis slozhnogo (polipredikativnogo) predlozheniya. T. 1* [A grammar of the Buryat language. The syntax of a complex (polypredicative) sentence. Vol. 1]. B. D. Tsyrenov (Ed.). Ulan-Ude, BSC SB RAS Publ., 2016, 315 p.

Skribnik E. K. *Polipredikativnyye sinteticheskiye predlozheniya v buryatskom yazyke* [Polypredicative synthetic sentences in the Buryat language]. M. I. Cheremisina (Ed.). Novosibirsk, Nauka, 1988, 198 p.

Strukturnyye tipy sinteticheskikh polipredikativnykh konstruktsey v yazykakh raznykh sistem [Structural types of synthetic polypredicative structures in the languages of different systems]. E. I. Ubryatova, F. A. Litvin (Eds.). Novosibirsk, Nauka, 1986, 320 p.

Ubryatova E. I. *Issledovaniya po sintaksisu yakutskogo yazyka. Kn. 2: Slozhnoye predlozheniye* [Studies on the syntax of the Yakut language. Bk. 2: A complex sentence]. L. N. Kharitonov (Ed.). Novosibirsk, Nauka, 1976, pp. 219–378.

List of sources

Kenin-Lopsan M. *Kher-eezhenni chorgaaraly*. Kyzyl, Тувануң ном үндүрери, 1975, 276 p.

Kudazhy K.-E. *Yrlyg bulak*. Kyzyl, Тувануң ном үндүрери, 1983, 250 p.

Kuznetsov I. *Sayandan Rovno chedir*. Kyzyl, Тувануң ном үндүрери, 1983, 222 p.

Polevyeye materialy avtora [Field materials of the author].

Russko-tuvinskiy slovar' [Russian-Tuvinian Dictionary]. Moscow, Gos. izd. inostr. i nats. slov., 1953, 708 p.

Tuvinsko-russkiy slovar' [Tuvinian-Russian Dictionary]. Moscow, Sov. entsikl., 1968, 646 p.

С. С. Буторин

*Институт филологии СО РАН, Новосибирск
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск*

Транзитивация инкорпоративных конструкций в кетском языке

Проводится анализ деривации транзитивации инкорпоративных комплексов с конструктивным глаголом 'делать', которые относятся к случаям собственно канонической инкорпорации. Показано, что транзитивация наряду с детранзитивацией в результате инкорпорирования образуют многоступенчатую деривационную цепочку, включающую исходные неинкорпоративные, производные детранзитивированные инкорпоративные и производные транзитивированные инкорпоративные конструкции. Транзитивация представляет собой деривацию трансформации, заключающуюся в повышении синтаксического статуса косвенного дополнения с семантической ролью 'материал' до статуса прямого, что приводит к расширению согласовательной модели глагола на еще одну согласовательную позицию. Сделан вывод, что повышение синтаксического статуса косвенного дополнения служит средством повышения коммуникативного статуса актанта, характеризующегося семантической ролью 'материал', и тем самым введения его в фокус высказывания, в то время как инкорпорированное имя пациенса переводится в фон высказывания.

Ключевые слова: кетский язык, инкорпорация, инкорпоративные комплексы, синтаксическая деривация, транзитивация, согласовательная модель глагола.

Целью статьи является анализ одного из видов многоступенчатой синтаксической деривации – деривации транзитивации, в которой участвуют инкорпоративные комплексы с инкорпорированными именами пациенса.

Исследование проводилось на базе конструкций, которые относятся к случаям прототипической, или канонической, именной инкорпорации.

К прототипической (канонической) именной инкорпорации относятся конструкции, которые соответствуют следующим требованиям: 1) инкорпоративная конструкция должна соотноситься с исходной неинкорпоративной конструкцией, в которой имя занимает независимую синтаксическую позицию прямого дополнения; 2) глагол при вычете из его состава инкорпорированного имени должен иметь возможность использоваться в качестве неинкорпорирующего глагола, который является самодостаточным глаголом, оформленным по грамматическим

Буторин Сергей Сергеевич – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора тунгусо-маньчжуроведения Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия); доцент кафедры иностранных языков технических факультетов Новосибирского государственного технического университета (пр. К. Маркса, 20, Новосибирск, 630073, Россия; butorin_ss@mail.ru)

нормам конкретного языка; 3) инкорпорант, вычитаемый из состава инкорпоративного комплекса, должен иметь способность функционировать в качестве надлежащим образом оформленного синтаксического актанта (см. [Mithun, 1986, p. 32]).

Следует отметить, что некоторые исследователи кетского языка предлагают более широкую трактовку механизма инкорпорации, которая не ограничивается лишь канонической именной инкорпорацией и расширяет категориальный инвентарь инкорпорантов (см. [Vajda, 2003, p. 71–72; 2004, p. 44–45, 59–61; 2017, p. 906–929; Georg, 2007, p. 128–248]).

Напомним, что в свое время Е. А. Крейнович к канонической инкорпорации относил лишь именную, причем инкорпорируются имена существительные, выступающие в качестве прямого дополнения, иными словами, имеющие функцию прямого объекта – пациенса [1968, с. 151].

Инкорпорацию мы относим к синтаксической деривации трансформации. Помимо этого типа деривации в кетском языке отмечены восходящая и нисходящая деривация (см. [Буторин, 2000, с. 38]). При инкорпорации количественный и качественный состав семантических актантов глагола и их ролевые характеристики сохраняются, изменяется лишь синтаксический статус актантов: либо понижается при детранзитивации в результате инкорпорирования имени пациенса, либо повышается статус непрямого объекта до статуса прямого объекта в результате транзитивации инкорпоративного комплекса (инкорпоративной конструкции). Таким образом, мы рассматриваем случай такой трансформации синтаксического статуса объекта, которая не вносит каких-либо изменений в пропозициональный или денотативный смысл высказывания, иными словами, в центре внимания – *синтаксическая транзитивация* (см. [Мельчук, 1998, с. 187]).

Деривационный механизм транзитивации инкорпоративных конструкций в кетском языке предлагается проанализировать с позиций концепции диатез и залогов (см., например: [Холодович, 1979; Храковский, 1981]).

Предварительно необходимо привести максимальную структурную модель кетского глагола, используемую при глоссировании примеров. Обратим внимание на то, что в глагольной словоформе выделяются три согласовательные позиции: AP:I, AP:II и AP:III (подробнее см.: [Крейнович, 1968, с. 11–14; Буторин, 1995; Решетников, Старостин, 1995, с. 99, 100; Werner, 1995, S. 52–53; Vajda, 2003, p. 55–57]):

Модель 1

Максимальная словоизменительная и словообразовательная модель
кетской глагольной словоформы, используемая в данной работе

Model 1

Maximum inflexional and derivational model of Ket verb form
used in this paper

$$AP:I - INC - MDF_{ROOT} / MDF_{VRBL} - AP:II - DET_A - DET - TEMP -$$

$$AP:III - KERN_{ROOT} / KERN_{VRBL} - PL_A$$

Транзитивация и детранзитивация

В качестве рабочего определения транзитивации будет использовано понятие глагольной категории транзитивации, предложенное И. А. Мельчуком. В составе категории транзитивации выделяются три граммы: «нейтральность»: исходный ранг первого дополнения не изменяется; ‘транзитиватив’: исходный ранг первого

(прямого) дополнения повышается (иными словами, косвенное или не прямое дополнение становится прямым); ‘детранзитиватив’: исходный ранг первого дополнения понижается (иными словами, прямое дополнение становится непрямым или косвенным)» [Мельчук, 1998, с. 186].

В целях упрощения описания будем использовать понятия *исходная (неинкорпоративная) конструкция*, *деривация детранзитивации*, а также *деривация транзитивации*.

Результатом детранзитивации является производный непереходный глагол, а результатом транзитивации – производный переходный глагол.

Транзитивация инкорпоративной конструкции

Прежде всего, необходимо сделать существенное замечание относительно рассматриваемого типа транзитивации. Лежащая в ее основе морфосинтаксическая деривация, т. е. деривация, изменяющая морфологическое оформление компонентов конструкции и их синтаксический статус, имеет функциональные ограничения.

Исходные интранзитивные инкорпорированные конструкции и производные транзитивированные обозначают денотативные ситуации, называемые глаголами, которые можно отнести к конструктивным глаголам, обозначающим действия, осуществление которых приводит к возникновению объекта. В таких ситуациях выделяют два типа объектов: *внешний объект* – «такой, который уже существует в мире и подвергается какому-либо воздействию со стороны субъекта, изменяя свое положение, состояние или свойства», и *внутренний объект* – «такой, который возникает в результате действия» и «характерен для канонических конструктивных глаголов» [Апресян, 2009, с. 492], например, русск. *строить гараж из готовых деталей*, где ‘гараж’ – внутренний, т. е. возникающий или создаваемый в результате действия объект, а из ‘готовых деталей’ – внешний, т. е. существующий, уже данный во внешнем мире объект. В русском языке внутренний объект кодируется как прямое дополнение (‘гараж’), а внешний (‘готовых деталей’) – как косвенное.

В кетском языке базовым, каноническим конструктивным глаголом является глагол ‘делать’, ‘создавать’, ‘заниматься деятельностью по созданию чего-либо’, имеющий основу *бэт ~ вэст ~ вит*. Именно он используется исключительно в транзитивированных инкорпоративных конструкциях. Этот же конструктивный глагол преимущественно, но не исключительно (возможно использование глаголов некоторых иных лексико-семантических групп и подгрупп), используется и при детранзитивации.

В настоящей статье при рассмотрении транзитивации будем исходить из семантических (ролевых) характеристик объектных актантов: внутреннему, создаваемому объекту будет присвоена ролевая характеристика ‘пациент’, а внешнему, существующему в мире объекту, подверженному воздействию со стороны субъекта-деятеля – ролевая характеристика ‘материал’.

Следует отметить, что в кетском языке можно выделить и иной тип транзитивации, которую можно условно назвать семантической / лексической транзитивацией, при которой изменяются денотативный смысл, значение глагольной лексемы и количественно-качественный состав семантических актантов (увеличение числа актантов на единицу), что приводит к созданию / образованию новой лексемы. Например:

- | | | |
|--------------------|--------------|---|
| (1) <i>Ат’</i> | <i>ус’кæ</i> | <i>ди=j=aq.</i> |
| я.ABS | обратно | AP:I.1=INTF=идти/сходить.KERN _{ROOT} |
| ‘Я обратно пойду.’ | | |

- (2) Бу *am'* *yc'kae*
 он.ABS я.ABS обратно
 $\partial = \text{бо} = \kappa = \text{с} = \text{ақ}$.
 AP:I.3=AP:II.1=DET_{AP:II}=PRES=идти/сходить.KERN_{ROOT}
 'Он меня обратно уведет.'
- (3) Д=*ugdae*= $\kappa = \text{с} = \text{ақ}$
 AP:I.1=на берег=DET_{AP:II}=PRES=идти/сходить.KERN_{ROOT}
 'Я-на-берег-схожу' [Крейнович, 1968, с. 174].
- (4) Бу *am'*
 он.ABS я.ABS
 $\partial = \text{ugdae} = \text{бо} = \kappa = \text{с} = \text{ақ}$
 AP:I.3=на берег=AP:II.1=DET_{AP:II}=PRES=увести.KERN_{ROOT}
 'Он меня на берег уведет' [Там же, с. 183].

Е. А. Крейнович первым обратил внимание на данный способ транзитивации, а именно на то, что от непереходных глаголов движения посредством префиксации и инфиксации личных показателей, без использования каких-либо иных словообразовательных средств, образуются переходные глаголы движения с новым лексическим значением [Там же, с. 181–182].

Трансформация транзитивации инкорпоративных конструкций неразрывно связано с трансформацией детранзитивации исходной неинкорпоративной конструкции в результате инкорпорирования имени прямого дополнения (= семантического пациенса).

В кетском языке отмечены два типа производных инкорпоративных конструкций, являющихся результатом инкорпоративной трансформации и связанных деривационными отношениями с исходной неинкорпоративной конструкцией.

Транзитивированные инкорпоративные конструкции, как уже отмечалось, входят в многоступенчатый деривационный ряд трансформации инкорпорации, который включает 3 синтаксические конструкции, связанные деривационными отношениями: исходная транзитивная неинкорпоративная \Rightarrow интранзитивированная инкорпоративная \Rightarrow транзитивированная инкорпоративная конструкция. В связи с тем, что рассматриваемые транзитивированные конструкции наряду с другими входят в многоступенчатый ряд, представляется уместным в общих чертах охарактеризовать входящие в этот ряд инкорпоративные конструкции.

Транзитивная неинкорпоративная конструкция – исходная конструкция:

- (5) Ам *n'an'* *du=b=baet* /
 я.ABS хлеб.ABS AP:I.1=AP:III.3.N=делать.KERN_{ROOT}
 $\partial = \text{б} = \text{у} = \text{л}' = \text{бает}$
 AP:I.1=AP:III.3.N=INTF=PAST=делать.KERN_{ROOT}
 'Я хлеб сделаю / сделал' [Там же, с. 145, 146].

Детранзитивированная инкорпоративная конструкция – производная конструкция первой ступени деривации:

- (6) Кир'ае талын=диңал' ам'
 эта мука=ABS я.ABS
 $m = n'an' = c' = u = \text{vut}$ /
 AP:I.1=хлеб.INC=PRES=INTF=делать.KERN_{ROOT} /
 $\partial = n'an' = \text{л}' = u = \text{vut}$.
 AP:I.1=хлеб.INC=PAST=INTF=делать.KERN_{ROOT}
 'Из этой муки я лепешку сделаю / сделал' [Крейнович, 1968, с. 150].

Транзитивированная инкорпоративная конструкция – производная конструкция второй ступени деривации:

- (7) *Кир'æ талын ат'*
 эта мука=ABS я.ABS
 $\partial = н'ан' = у = к = с' = u = вим /$
 $AP:I.1 = хлеб.INC = AP:II.3.N = DET_{AP:II} = PRES = INTF = делать.KERN_{ROOT}$
 $\partial = н'ан' = у = н' = бим$
 $AP:I.1 = хлеб.INC = AP:II.3.N = PAST = делать.KERN_{ROOT}$
 'Из этой муки я лепешку сделаю / сделал' [Там же, с. 149–150].

Выделяются два типа инкорпоративных конструкций, являющиеся дериватами одной и той же исходной транзитивной конструкции, в состав которой входят имена агенса, пациенса и глагольный предикат. Тип I представлен детранзитивированной инкорпоративной конструкцией, образованной на базе исходной транзитивной конструкции в результате инкорпорирования имени объекта-пациенса в состав глагола-сказуемого и устранения синтаксической позиции прямого объекта. Тип II включает транзитивированные инкорпоративные конструкции, в состав которых входит инкорпорированное имя объекта-пациенса, при этом происходит повышение синтаксического статуса косвенного объекта до статуса прямого дополнения и расширение согласовательной модели инкорпорированного глагола за счет добавления согласовательной позиции, контролируемой прямым дополнением.

В связи с тем, что исходная транзитивная неинкорпоративная конструкция, соответствующая производной интранзитивированной инкорпоративной конструкции, и производная транзитивированная инкорпоративная конструкция связаны деривационными отношениями и представляют собой деривационную цепочку, целесообразно уделить некоторое внимание первой ступени деривационной цепочки (6).

При деривации первой ступени имеет место преобразование (трансформация) независимого прямого объекта, занимающего самостоятельную синтаксическую позицию прямого дополнения, в зависимый инкорпорированный компонент, включенный в структуру инкорпоративного глагольного комплекса, выступающего как семантический пациенс по отношению к глагольной основе. Таким образом, имеет место инкорпорирование имени пациенса в состав глагола. Семантический объект (пациенс) может быть представлен в двух вариантах: как прямой объект-пациенс, имеющий независимый синтаксический ранг, и как инкорпорант, т. е. как пациенс, утративший свой синтаксический ранг и лишенный независимой синтаксической позиции прямого дополнения (подробнее см.: [Буторин, 2018]).

Рассмотрим более детально второй тип инкорпоративных конструкций: транзитивированную конструкцию.

- (8) *Бил'а ат тес' = анг ду = б = бет*
 как я пим=PL AP:I.1 = AP:III.3.N = делать.KERN_{ROOT}
кай = да бул' = анг = дингал'.
 лось=GEN нога=PL=ABL
 'Как я пимы сделаю из ног лоса.'
- (9) *Ат т = [тес' = анг] = у = бет.*
 я AP:I.1 = [пим=PL].INC = INTF = делать.KERN_{ROOT}
 'Я пимы делать буду (я буду заниматься изготовлением пимов).'
- (10) *Ат бин'д'ба ∂ = у = Рай*
 я сама AP:I.1 = AP:III.3.F = убить.KERN_{ROOT}
ка?й, тудет бул' = анг
 лосиха.ABS это нога=PL.ABS

$m=[mes'=ang]=y=k=c=e=bim$
 AP:I.1=[пим=PL].INC=AP:II.3.N=DET_{AP:2}=PRES=INTF=делать.KERN_{ROOT}
 'Я сама убила лосиху, из ее (этих. – С. Б.) ног пимы сделаю [букв. ее ноги пимами сделаю]' [Дульзон, 1972, с. 57].

В исходной неинкорпоративной транзитивной конструкции (8) прямое дополнение *mes'ang* 'пимы' является ядерным актантом, который используется в абсолютном падеже и контролирует согласование глагола (показатель класса вещей =*b*= в согласовательной позиции пациенса AP:III); косвенное дополнение *bylang=dingal* 'из ног' является неядерным актантом, оформлен аблативом и не контролирует согласование глагола. В производной детранзитивированной инкорпоративной конструкции (9) имя *mes'ang* 'пимы' не контролирует согласование глагола, и показатель пациенса класса вещей =*b*= элиминируется в согласовательной позиции пациенса – AP:III.

Инкорпорация семантического объекта, утратившего синтаксический статус прямого дополнения, освобождает в производной конструкции синтаксическую позицию прямого дополнения, которая может быть занята косвенным дополнением исходной конструкции, что дает возможность повысить коммуникативный ранг периферийного, неядерного актанта до ранга ядерного.

В производной транзитивированной инкорпоративной конструкции (10) происходит повышение синтаксического статуса косвенного дополнения исходной конструкции *bylang=dingal* 'из ног': оно переходит в ранг прямого дополнения *bylang* 'ноги' в результате изменения падежной маркировки: *bylang* используется не в аблативе, а в абсолютном падеже. При этом дополнение, повышенное в синтаксическом ранге до статуса прямого, начинает контролировать согласование глагола. В глаголе открывается новая объектная согласовательная позиция (AP:II) взамен позиции пациенса (AP:III), вытесненной инкорпорированным именем пациенса.

Таким образом, глагольное согласование в производной конструкции (10) осуществляется посредством актантных показателей не пациенса (показатель класса вещей =*b*= в AP:III), как в (8), а показателем класса вещей =*y*= в AP:II, который формально отличается от показателя пациенса и занимает в словоформе иную согласовательную позицию. Заполнение согласовательной позиции AP:II оказывается единственным возможным, так как позиция пациенса AP:III недоступна вследствие элиминации, "вытеснения" ее из модели согласования глагола в результате инкорпорирования имени пациенса.

Повышение синтаксического статуса косвенного дополнения связано с повышением коммуникативного ранга этого актанта.

В статье используется в несколько модифицированном виде предложенная И. А. Мельчуком коммуникативная иерархия синтаксических актантов и сирконстантов, которые на поверхностно-синтаксическом уровне зависят от глагола-предиката:

Модель 2

Иерархия синтаксических актантов и сирконстантов

Model 2

Hierarchy of syntactic arguments and adjuncts

подлежащее > ДПрям > ДНепрям > ДКосв > сирконстант,

где ДПрям – прямое дополнение, ДНепрям – не прямое дополнение, ДКосв – косвенное дополнение. Позиция именного актанта в иерархии называется его *син-*

таксическим рангом. Как правило, чем выше синтаксический ранг члена предложения, тем большей коммуникативной значимостью он обладает. Наибольшим коммуникативным рангом характеризуется подлежащее, за ним следует прямое дополнение, причем коммуникативный вес прямого дополнения значительнее, чем у других дополнений: оно в меньшей степени допускает опущение, занимает более привилегированную линейную позицию, в большей степени влияет на форму глагола [Мельчук, 1998, с. 184–185]. В кетском языке влияние формы прямого дополнения на согласовательную модель глагола проявляется в том, что именно оно наряду с подлежащим контролирует согласование глагола-предиката и кодируется глагольными объектными актантными показателями. Таким образом, “новое” производное прямое дополнение включается в фокус.

Сходная функция инкорпорации, заключающаяся в изменении кодирования актантов глагола или в манипуляции падежами, отмечена в ряде языков (см. [Mithun, 2000, S. 918]).

Анализ трансформации транзитивации с позиций концепции диатез и залогов

В данной работе при анализе трансформации транзитивации инкорпоративно-го комплекса было использовано предложенное В. С. Храковским понятие диатезы как схемы соответствия между единицами трех уровней: 1) референтного уровня, т. е. уровня участников (партиципантов, исполнителей) абстрактных ситуаций (в данной работе будет использован термин ‘партиципантный уровень’ – уровень партиципантов); 2) семантического уровня, или уровня обобщенных семантических ролей; 3) синтаксического уровня, или уровня синтаксических актантов, представляющих собой имена референтов [Храковский, 1981, с. 10–11].

В кетском языке схему соответствий между упомянутыми уровнями можно охарактеризовать следующим образом.

В случае транзитивации соответствие между единицами партиципантного и семантического уровней изменением не подвергается, семантические роли партиципантов не изменяются: агенс, пациенс и ‘материал’. Таким образом, сохраняется и семантическая валентность глагола. Набор и инвентарь партиципантов остается постоянным, т. е. на денотативном уровне изменения не происходят.

Изменяется соответствие между единицами семантического и синтаксического уровней: пациенс утрачивает самостоятельную синтаксическую позицию, и имеет место понижение его коммуникативного статуса. Напротив, актант с семантической характеристикой ‘материал’ повышает свой синтаксический статус: из косвенного дополнения он преобразуется в прямое и начинает контролировать глагольное согласование, что приводит к повышению его коммуникативного статуса.

* * *

Транзитивация наряду с детранзитивацией в результате инкорпорирования образуют многоступенчатую деривационную цепочку, включающую исходные неинкорпоративные, производные детранзитивированные инкорпоративные и производные транзитивированные инкорпоративные конструкции.

Транзитивированная инкорпоративная конструкция представляет собой синтаксическое построение, в котором происходит повышение синтаксического ранга исходного непрямого (косвенного) объекта до ранга прямого дополнения. При этом имеет место понижение синтаксического ранга имени пациенса посредством инкорпорирования его в состав глагола-сказуемого. Вновь введенный синтаксический актант – прямое дополнение – является семантическим актантом ‘материал’.

Транзитивация непосредственно затрагивает согласовательную модель глагола-предиката: добавляется новая согласовательная позиция датива – AP:II, не совпадающая с согласовательной позицией, элиминированной в результате инкорпорирования имени пациенса, занимавшего самостоятельную синтаксическую позицию прямого дополнения и контролировавшего в исходной неинкорпоративной конструкции согласование глагола с пациенсом в AP:III.

Операция детранзитивации в результате инкорпорирования имени семантического пациенса устраняет синтаксическую позицию прямого дополнения и перемещает его в коммуникативный фон, на задний план, выдвигая тем самым на передний план само действие и фокусируя на нем внимание. При последующей транзитивации инкорпоративного комплекса происходит перенос коммуникативного фокуса с акционального компонента ситуации – действия – на внешний объект с семантической ролью ‘материал’.

Таким образом, транзитивация повышает синтаксический ранг косвенного дополнения транзитивированной инкорпоративной конструкции и, выдвигая его в фокус, тем самым повышает его коммуникативный статус. Следовательно, при инкорпорирующем конструктивном глаголе ‘делать’ внимание фокусируется на внешнем объекте, который уже существует в мире и подвергается какому-либо воздействию со стороны субъекта, изменяя свое положение, состояние или свойства.

Если рассматривать транзитивацию с позиций концепции диатез и залогов, то нужно отметить следующее:

- 1) на партиципантном уровне число участников не изменяется;
- 2) на семантическом уровне набор семантических ролей сохраняется;
- 3) изменения касаются лишь синтаксического уровня: косвенное дополнение, обозначающее внешний объект – ‘материал’, преобразуется в прямое дополнение.

Транзитивация инкорпоративного комплекса близка инкорпорации типа II, выделяемой М. Митхун и названной «манипуляция падежами» (The manipulation of case). Причем деривацию детранзитивации в результате инкорпорирования объекта-пациенса можно отнести к типу I. При инкорпорации типа I инкорпоративный глагол в кетском языке включает в себя инкорпорированное имя пациенса, которое утратило статус отдельного синтаксического аргумента (актанта) предложения. Основное отличие типа I от типа II состоит в том, что в первом случае при деривации непереходных предикатов от переходных синтаксическая валентность глагола понижается на единицу и синтаксическая позиция прямого дополнения элиминируется, тогда как во втором случае в результате инкорпорации переходным глаголом своего прямого дополнения инкорпорированное имя освобождает свою синтаксическую позицию, при этом освобождаемая объектная позиция не элиминируется, а сохраняется и может быть занята другим аргументом или адьюнктом: инструментом, локативом или посессором [Mithun, 1984, p. 856, 859]. В кетском языке освобождаемая объектная позиция производной конструкции может замещаться только косвенным дополнением исходной конструкции, выполняющим семантическую роль не пациенса, а материала.

Транзитивация инкорпоративных конструкций функционально ограничена: она возможна лишь при конструктивном глаголе с основой *баѣт* ‘делать’, ‘изготавливать’, ‘заниматься какой-либо производственной (конструктивной) деятельностью’ и при наличии дополнения с семантической ролью ‘материал’ или ‘средство’.

Список литературы

Апресян Ю. Д. Исследования по семантике и лексикографии. М.: Языки славянских культур, 2009. Т. 1: Парадигматика. 586 с.

Буторин С. С. Описание морфологической структуры финитной глагольной словоформы кетского языка с использованием методики порядкового членения: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Новосибирск, 1995. 19 с.

Буторин С. С. Основные типы синтаксической деривации в кетском языке // XXII Дульзоновские чтения: Материалы междунар. конф. Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2000. Ч. 3: Сравнительно-историческое и типологическое изучение языков и культур. Преподавание национальных языков. С. 32–38.

Буторин С. С. Вариативность морфосинтаксического кодирования объекта-пациенса в кетском языке: детранзитивация // Сибирский филологический журнал. 2018. № 4. С. 181–194.

Крейнович Е. А. Глагол кетского языка. Л.: Наука, 1968. 283 с.

Мельчук И. А. Курс общей морфологии. Москва; Вена: Языки русской культуры, Венский славистический альманах, 1998. Т. 2. 544 с.

Решетников К. Ю., Старостин Г. С. Структура кетской глагольной словоформы // Кетский сборник. Лингвистика. М.: Языки русской культуры; Восточная литература, 1995. С. 7–121.

Холодович А. А. Залог: Определение. Исчисление // Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. Л.: Наука, 1979. С. 277–292.

Храковский В. С. Диатеза и референтность (к вопросу о соотношении активных, пассивных, рефлексивных и реципрокных конструкций) // Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981. С. 5–38.

Georg S. A descriptive grammar of Ket (Yenisei-Ostyak). Global Oriental Ltd, 2007, pt. 1: Introduction, Phonology, Morphology, 328 p.

Mithun M. The Evolution of Noun Incorporation. *Language*, 1984, vol. 60, no. 4, p. 847–894.

Mithun M. On the nature of noun incorporation. *Language*, 1986, vol. 62, no. 1, p. 32–37.

Mithun M. Incorporation. In: *Morphologie: ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung*. Hrsg. von G. Booij, Ch. Lehmann, J. Mugdan, unter Mitarb. von W. Kesselheim, S. Skopeteas. Hbd 1. Berlin; New York, Walter De Gruyter, 2000, S. 916–928.

Vajda E. Ket verb structure in typological perspective. *Sprachtypology und Universalien Forschungen. Language Typology and Universals (Studia Yeniseica)*, 2003, vol. 56, iss. 1/2, p. 55–92.

Vajda E. Ket. In: *Languages of the World. Materials*. 204. Lincom Europa, 2004, 99 p.

Vajda E. Ket polysynthesis. In: *The Oxford Handbook of Polysynthesis*, Michael Fortescue, Marianne Mithun, and Nicholas Evans (eds.). Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 906–929.

Werner H. Zur Typologie der Jenissej-Sprachen. Wiesbaden, Harrasowitz Verlag, 1995, 214 S.

Список источников

Дульзон А. П. Сказки народов Сибирского Севера. Томск: Изд-во ТГУ, 1972. Вып. 1. 202 с.

Список условных обозначений

1, 2, 3 – первое, второе, третье лицо; **ABL** – исходный падеж (аблатив); **ABS** – абсолютный падеж, т. е. падеж, не имеющий морфологического оформления; **AP:I** – первая согласовательная позиция (позиция согласования с первым актантом – подлежащим ряда одноместных предикатов и подлежащим-агентом двухместных предикатов); **AP:II** – вторая согласовательная позиция (позиция согласования с первым актантом – подлежащим ряда одноместных предикатов и вторым

актантом – прямым дополнением двухместных предикатов); **AP:III** – третья согласовательная позиция (позиция согласования со вторым актантом – прямым дополнением двухместных предикатов); **DET** – детерминатив – субморф, т. е. морфема, утратившая свое значение и не поддающаяся этимологизации; используется вне зависимости от наличия **AP:II**; **DET_{AP:II}** – приактантный детерминатив, т. е. субморф, сопровождающий актантные показатели в **AP:II**; **GEN** – родительный падеж; **INC** – инкорпорант; **INTF** – интерфикс (морфонологический разграничитель), который появляется на стыке морфем, как правило, при гласном ауслауте предшествующей морфемы и гласном анлауте последующей морфемы; **KERN_{ROOT}** – лексическое ядро-корень; **KERN_{VRBL}** – ядро-вербализатор; **M** – мужской класс; **MDF_{ROOT}** – лексический модификатор-корень; **MDF_{VRBL}** – десемантизированный модификатор-вербализатор; **N** – неодушевленный (вещный) класс; **PL** – множественное число; **PL_{AP:I}** – показатель множественного числа актанта-агенса, показатель лица которого занимает **AP:I**; **PAST** – прошедшее время; **PRES** – настоящее время; **TEMP** – показатель времени.

S. S. Butorin

*Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Novosibirsk, Russian Federation
Novosibirsk State Technical University
Novosibirsk, Russian Federation
butorin_ss@mail.ru*

Transitivization of incorporating constructions in Ket

The paper analyzes the transitivizing derivation as applied to the incorporating complexes based on the constructive verb ‘to do’ which present canonical incorporating proper. It is shown that transitivizing along with detransitivizing forms a multi-stage derivational chain including an original non-incorporating construction, a derived intransitivized incorporating one and a derived transitivized incorporating one. Transitivizing is a transforming derivation type involving raising a syntactic status of the oblique object to a status of the direct object having a semantic role of ‘material’ which leads to extending the verb agreement model by one more agreement slot. It is concluded that raising the syntactic status of the oblique object serves as a tool of raising the communicative rank of the argument characterized by a semantic role of ‘material’, thus introducing it into the utterance focus, while the incorporated patient noun is shifted into the utterance background.

Keywords: Ket language, incorporation, incorporating complexes, syntactic derivation, transitivizing, verb agreement slots.

DOI 10.17223/18137083/68/24

References

- Apresyan Yu. D. *Issledovaniya po semantike i leksikografii. T. 1: Paradigmatika* [Studies in semantics and lexicography. Vol. 1: Paradigmatics]. Moscow, LRC Publishing House, 2009, 586 p.
- Butorin S. S. *Opisaniye morfologicheskoy struktury finitnoy glagol'noy slovoformy ketskogo yazyka s ispol'zovaniyem metodiki poryadkovogo chleneniya* [The description of the morphological structure of the Ket finite verb form]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Novosibirsk, 1995, 19 p.
- Butorin S. S. *Osnovnyye tipy sintaksicheskoy derivatsii v ketskom yazyke* [Main types of syntactic derivation in the Ket language]. In: 22 *Dul'zonovskiye chteniya: Materialy mezhdunar. konf. Ch. 3: Sravnitel'no-istoricheskoye i tipologicheskoye izucheniye yazykov i kul'tur. Prepodavaniye natsional'nykh yazykov* [22nd Dulzonov readings: Materials of interna-

tional conf. Pt. 3: Comparative historical and typological study of languages and cultures. Teaching national languages]. Tomsk, TSPU Publ., 2000, pp. 32–38.

Butorin S. S. Variativnost' morfosintaksicheskogo kodirovaniya ob'yekta-patsiyensa v ketskom yazyke: detranzitivatsiya [Variability of morpho-syntactic coding of patient objects in Ket: detransitivizing]. *Siberian Journal of Philology*. 2018, no. 4, pp. 181–194.

Georg S. *A descriptive grammar of Ket (Yenisei-Ostyak)*. Global Oriental Ltd, 2007, pt. 1: Introduction, Phonology, Morphology. 328 p.

Kreynovich E. A. *Glagol ketskogo yazyka* [The verb in the Ket language]. Leningrad, Nauka, 1968, 283 p.

Mel'chuk I. A. *Kurs obshchey morfologii* [The course of general morphology]. Moscow, Vienna, LRC Publishing House, Vienna Slavonic Almanac, 1998, vol. 2, 544 p.

Reshetnikov K. Yu., Starostin G. S. Struktura ketskoy glagol'noy slovoformy [The Ket verb form structure]. In: *Ketskiy sbornik. Lingvistika* [Studia Ketica. Linguistics]. Moscow, LRC Publishing House, Vost. lit., 1995, pp. 7–121.

Kholodovich A. A. Zalog: Opredeleniye. Ischisleniye [Voice: Definition. Calculus]. In: Kholodovich A. A. *Problemy grammaticheskoy teorii* [The problems of grammatical theory] Leningrad, Nauka, 1979, pp. 277–292.

Khrakovskiy V. S. Diateza i referentnost' (k voprosu o sootnoshenii aktiv-nykh, passivnykh, refleksivnykh i retsiproknnykh konstruktsiy) [Diathesis and reference (Toward an issue of correlation of active, passive, reflexive and reciprocal constructions)]. In: *Zalogovyye konstruktsii v raznostrukturnykh yazykakh* [The voice constructions in structurally differing languages]. Leningrad, 1981, pp. 5–38.

Mithun M. *The evolution of noun incorporation*. *Language*, 1984, vol. 60, no. 4, pp. 847–894.

Mithun M. *On the nature of noun incorporation*. *Language*, 1986, vol. 62, no. 1, pp. 32–37.

Mithun M. Incorporation. In: *Morphologie: ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung*. Hrsg. von G. Booij, Ch. Lehmann, J. Mugdan, unter Mitarb. von W. Kesselheim, S. Skopeteas. Hbd 1. Berlin, New York, Walter De Gruyter, 2000, pp. 916–928.

Vajda E. Ket verb structure in typological perspective. *Sprachtypologie und Universalien Forschungen. Language typology and universals (Studia Yeniseica)*. 2003, vol. 56, iss. 1/2, pp. 55–92.

Vajda E. Ket. In: *Languages of the world. Materials*. 204. Lincom Europa, 2004, 99 p.

Vajda E. Ket polysynthesis. In: *The Oxford Handbook of Polysynthesis*. Michael Fortescue, Marianne Mithun, and Nicholas Evans (Eds). Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 906–929.

Werner H. *Zur Typologie der Jenissej-Sprachen*. Wiesbaden, Harrasowitz Verlag, 1995, 214 p.

List of sources

Dul'zon A. P. *Skazki narodov Sibirskogo Severa. Vyp. 1* [The tales of the Siberian peoples. Iss. 1]. Tomsk, TSU Publ., 1972, 202 p.

РЕЦЕНЗИИ

УДК 008 (=94.23) (093.3) + 809.423.09
DOI 10.17223/18137083/68/25

Т. Б. Тагарова

Иркутский государственный университет

Рецензия на книгу:

**Бадмаева Л. Б., Очирова Г. Н.
Летопись Ш.-Н. Хобитуева как памятник
письменной культуры бурят.
Улан-Удэ: Бэлиг, 2018. 288 с. + вкл.**

Рецензируемая монография посвящена исследованию языка памятника письменной культуры бурят XIX в. – летописи «История хоринских бурят» (1887), написанной Шираб-Нимбу Хобитуевым. Характеризуется лексический состав языка летописи, включающий общемонгольские, старомонгольские и собственно бурятские элементы наряду с русскими заимствованиями, а также с топонимами тюркского и тунгусо-маньчжурского происхождения. Текст данной летописи отражает синкретизм, свойственный всем бурятским летописям, т. е. смешение элементов жанров исторической хроники и художественного произведения. Транслитерация на латыни, переложение на бурятский и русский языки будут способствовать лучшему пониманию старомонгольского текста. Велика научно-практическая значимость книги для развития исторической лингвистики, источниковедения, исследования истории бурят.

Ключевые слова: летопись «История хоринских бурят», памятник письменности, старомонгольская письменность, извод, транслитерация, перевод, бурятский язык, лексика.

Особым событием в бурятской филологической науке явился выпуск новой книги, содержащей всестороннюю характеристику очередной бурятской летописи. Как известно, буряты – это один из немногих народов Сибири, если не единственный, имеющий такие памятники письменности, как летописи-истории бурятских родов и племен, выполненные на старомонгольской письменности. Они представляют собой важнейшее национальное достояние бурят, являются ценными источниками исторической и культурологической информации.

Значимость данной работы определяется необходимостью исследования истории развития бурятского языка, его письменных памятников, что важно для сравнительно-исторических исследований монгольских языков.

Тагарова Татьяна Бороевна – доктор филологических наук, профессор кафедры бурятской филологии Иркутского государственного университета (ул. Ленина, 8, Иркутск, 664025, Россия; boroevna@yandex.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 3
© Т. Б. Тагарова, рец., 2019

Монография посвящена исследованию языка памятника письменной культуры бурят XIX в. – летописи «История хоринских бурят» (1887), составленной зайсаном галзутского рода хори-бурят Шираб-Нимбу Хобитуевым. Известно более тридцати рукописных списков хроники Ш.-Н. Хобитуева. Следует отметить, что летописи почти не издавались ксилографическим способом, а распространялись в рукописном виде.

В издании традиционно главное место занимает оригинальный текст летописи на старомонгольской графике (с. 15–138), который сопровождается научной транслитерацией на латинице (с. 139–188). В книгу включены наблюдения авторов по стилю и языку летописи, приводятся сведения о В. А. Казакевиче, известном монголовед-историке, первом издателе летописи Ш.-Н. Хобитуева, его трудах, переложение старомонгольского текста на современный бурятский язык (с. 189–233), его перевод на русский язык (с. 234–282). В приведенных примечаниях (с. 283–285) читатель может почерпнуть множество интересных сведений касательно исторических лиц, событий, предметов и явлений того времени. Вызывают большой интерес редкие исторические фотоснимки XIX – начала XX в. Нельзя не отметить хорошо выполненную полиграфическую работу.

Научная значимость работы состоит в том, что монография представляет собой одно из первых лингвистикоисторических исследований языка летописи.

Авторами справедливо отмечается, что бурятские летописи, созданные в XVIII – XIX вв., содержат богатый, уникальный лингвистический материал.

Бадмаевой Л. Б. указывается, что языковой фон бурятских летописей отражает общемонгольский старописьменный язык, в котором выделяются лексико-семантические, грамматические особенности, обусловленные влиянием бурятского народно-разговорного и русского языков. Все это дает основания автору считать, что язык бурятских летописей представляет собой промежуточный письменный вариант между классическим монгольским письменным языком и разговорной формой бурятского языка.

Лексику летописи составляют слова, унаследованные из общемонгольского лексического фонда. Широко и детализированно отражены шаманские, буддийские, юридические и канцелярские термины, а также лексические единицы, относящиеся к управлению, быту и хозяйству. Этимология топонимов и антропонимов указывает на языковое взаимодействие бурят с тюркскими, тунгусо-маньчжурскими племенами. Обзор лексики летописи показывает, что многие из терминов присущи только бурятскому языку (*bicig-ünü yiledberi* ‘письменное делопроизводство’, *siidkelge* ‘разрешение’, *aman sigübüri* ‘устное расследование’, *busu türel-ten* ‘инородцы’, *γoluba* ‘глава’, *jasabari* ‘починка’ и др.). Наблюдается большой пласт русских заимствований, калькированных слов и выражений (*diputat* ‘депутат’, *gīneral-porusiy* ‘генерал-поручик’, *tituliirmui sobiidniy* ‘титularный советник’, *tede yeke degedü ejin imperatur nigedüger piotur qaγan* ‘Его величество государь-император Петр I’, *somululuγu* ‘снаряжение, обеспечение’, *tere öndür erkim-i debcegülegci* ‘его высокопревосходительство’ и др.). Также наблюдается достаточно хорошо разработанная лексика, относящаяся к высокому стилю, что подтверждает стилистическую дифференциацию языка летописей, причем формулы изысканно-почтительных выражений разработаны по образцу соответствующих русских оборотов.

Многие бурятские исторические сочинения неизвестны. Между тем изучение летописных сочинений дает возможность расширить и углубить знания об истории бурятского народа. Изданные бурятские хроники (1935, 1940, 1956, 1992, 1995, 1998) составляют лишь некоторую долю летописного наследия бурят, большая их часть все еще остается в рукописях.

Выход в свет подобных книг вносит существенный вклад в расширение представлений об уровне письменной культуры бурят эпохи XVIII – XIX вв., о слож-

нии традиций бурятского летописания, о периодизации функционирования бурятского извода старописьменного монгольского языка (XVII – начало XX в.). Кроме того, значимость исследования текстовой организации старописьменных памятников возрастает в связи с необходимостью разработки современного дискурса, исследования механизмов порождения речи, изучения стратегии понимания связного текста.

Работа вносит неоценимый вклад не только в разработку проблем лингвистики текста на материале монгольских языков, но и, в первую очередь, в дело сохранения памятников письменности, как явления культуры народа, источника познания его истории.

Практическая значимость работы связана с использованием результатов исследования для дальнейшего изучения старомонгольских текстов (приемы транслитерации, перевод трудных слов и выражений, связных текстов); при изучении истории бурятского литературного языка, при составлении исторической грамматики и лексикологии, исторического синтаксиса монгольских языков, все еще требующих своей разработки, а также при подготовке учебных пособий по старописьменному монгольскому языку.

Публикации бурятских летописей и их переводов, переложений на современный бурятский язык закладывают основы для комплексного изучения данных памятников, функционирования старомонгольского языка в разных регионах монголызычного мира.

T. B. Tagarova

Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation, boroevna@yandex.ru

Book review:

Badmaeva L. B., Ochirova N. G.

**The Chronicle of Sh.-N. Khobituev as a monument of the written culture of the Buryats
Ulan-Ude, Belig, 2018, 288 p.**

The monograph under review is devoted to the study of the monument of the written culture of Buryats of the 19th century – the chronicle “History of the Khorii Buryats” (1887) written by Shirab-Nimbuu Hobituev. The lexical composition of the chronicle language is characterized, including common Mongolian, old Mongolian, and Buryat elements along with Russian borrowings, as well as the toponyms of Turkic and Tungus-Manchurian origin. The text of this chronicle reflects the syncretism peculiar to all Buryat Chronicles, i. e., the mixture of genres of historical Chronicle and work of art. Transliteration in Latin, transcription into Buryat and Russian languages will contribute to a better understanding of the old Mongolian text. The high scientific and practical relevance of the book for the development of historical linguistics, source studies, research of the history of the Buryats is noted.

Keywords: Chronicle, monument, history, old Mongolian writing, recension, transliteration, translation, Buryat language, vocabulary, scientific and practical significance.

DOI 10.17223/18137083/68/25

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

УДК 82:801.6; 82-1/-9; 82-93; 087.5
DOI 10.17223/18137083/68/26

В. Е. Головчинер, Е. К. Макаренко, А. В. Петров, Е. А. Полева

Томский государственный педагогический университет

Итоги Восьмой Всероссийской с международным участием научной конференции «Русская литература в современном культурном пространстве: Детство в литературе и литература о детстве»

Представлена информация о Восьмой Всероссийской с международным участием научной конференции «Русская литература в современном культурном пространстве: Детство в литературе и литература о детстве». Раскрываются особенности, цели и задачи изучения детской литературы в последние десятилетия, перечисляются направления работы конференции и формы проведения сопутствующих мероприятий, освещаются результаты в исследовании тематики, проблематики и поэтики детской литературы кафедрой русской литературы Томского государственного педагогического университета и российским филологическим сообществом, приводится список докладов, дается обзорный комментарий широты, разнообразия и вариативности подходов в изучении детской литературы.

Ключевые слова: конференция, детская литература, детство, детское чтение, дети и родители, поэтика детской литературы, преподавание детской литературы.

В последние десятилетия в литературоведении начали более интенсивно изучать детско-юношескую литературу, осознавая ее новый статус – как полноценный и самодостаточный художественно-эстетический феномен, имеющий своего

Головчинер Валентина Егоровна – доктор филологических наук, главный научный сотрудник, профессор кафедры русской литературы Томского государственного педагогического университета (ул. Киевская, 60, Томск, 634061, Россия; golovchiner@mail.ru)

Макаренко Евгения Константиновна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы Томского государственного педагогического университета (ул. Киевская, 60, Томск, 634061, Россия; andre@tspu.edu.ru)

Петров Аркадий Владимирович – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы Томского государственного педагогического университета (ул. Киевская, 60, Томск, 634061, Россия; arkadione@gmail.com)

Полева Елена Александровна – кандидат филологических наук, заведующая кафедрой русской литературы Томского государственного педагогического университета (ул. Киевская, 60, Томск, 634061, Россия; tspu-litera@yandex.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 3
© В. Е. Головчинер, Е. К. Макаренко, А. В. Петров, Е. А. Полева, 2019

адресата, свое целеполагание, свою жанрово-стилистическую специфику и образную систему. Особенно перспективным в последнее время становится изучение региональной детско-юношеской литературы [Сибирская литература..., 2017], актуальность которого «объясняется не только литературоведческими факторами (хотя они весомы, связаны с задачами уточнения истории детской литературы, тенденций ее современного развития), но и образовательно-просветительскими» [Макаренко, Полева, 2017, с. 128]. Эти факторы во многом обусловили выбор темы для VIII Всероссийской с международным участием научной конференции «Русская литература в современном культурном пространстве», проведенной на базе кафедры русской литературы ¹ Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) 7–8 сентября 2018 г.: «Детство в литературе и литература о детстве».

Формулировка темы конференции позволила не ограничивать материал детско-юношеской литературой, а обсудить широкий спектр вопросов, касающихся изображения детей и детства в художественной и мемуарной словесности XVIII – начала XXI в. Вместе с тем осмысление проблематики и поэтики произведений, адресованных подрастающему поколению, стало «композиционным центром» конференции и прошло продуктивно во многом потому, что в ТГПУ приехали ученые из разных регионов России, специализирующиеся на исследовании детско-юношеской литературы.

География конференции не ограничивалась только сибирским регионом: помимо Томска, Барнаула, Новосибирска, Кемерово, Улан-Удэ, Сургута были представлены Урал (Екатеринбург, Челябинск), центральная часть России (Москва), а также Оломоуц (Чехия) и Горловка (самопровозглашенная Донецкая народная республика) – всего более 50 участников.

Конференция открылась приветственным словом проректора по учебной работе ТГПУ **М. П. Войтеховской**.

На двух пленарных заседаниях прозвучали созданные на разном материале, в разных исследовательских стратегиях доклады **В. Е. Головчинер** (Томск) «Сказочные функции несказочной истории наводнения в Петербурге 1824 г., или Образ ребенка в первой публикации Е. Шварца (“Рассказ старой балалайки”», **А. А. Хадынской** (Сургут) «Тема дореволюционного детства в изображении русских поэтов-эмигрантов первой волны», **А. И. Куляпина** (Барнаул) «Военное детство на Алтае: мифогеография рассказа К. Паустовского “Правая рука”», **А. Н. Кошечко** (Томск) «Достоевский детям и Достоевский о детях как научно-методическая проблема», **С. И. Переверзевой** (Москва) «Путь детской сказки от текста к фильму: невербальное поведение сказочных персонажей в советских экранизациях», **О. А. Колмаковой** (Улан-Удэ) «Архетипическая матрица Дитя в мотивно-образной структуре романа П. В. Крусанова “Американская дырка”».

Доклады секции «Поэтика детско-юношеской литературы» были посвящены анализу формальных и содержательных аспектов творчества писателей детско-юношеской литературы XX–XXI вв. В выступлениях **Т. А. Богумил** (Барнаул) «Мифопоэтика автобиографического цикла В. М. Шукшина “Из детских лет Ива-

¹ На кафедре русской литературы Томского государственного педагогического университета с 2011 г. ведется активная работа по исследованию произведений писателей, биографически связанных с сибирским регионом. В 2016 г. создан «Сибирский научно-образовательный центр изучения детско-юношеской литературы и развития культуры чтения» (директор – канд. филол. наук Е. А. Полева). За этот период сотрудниками кафедры были выиграны два гранта РГНФ и Администрации Томской области на исследование творчества сибирских писателей и сибирской темы в литературе для детей и юношества, изданы два тома коллективной монографии «Сибирская литература для детей и юношества: тенденции и контекст развития (1950–2010-е гг.)» [Сибирская литература..., 2016; 2017].

на Попова”», **О. И. Плешковой** (Барнаул) «Повесть-сказка Юлии Нифонтовой “Ермошка Добродей и волшебные часы”», **Е. В. Харитоновой** (Екатеринбург) «Автор, читатель и герой в художественном мире Светланы Лавровой», **О. М. Давыдовой** (Челябинск) «Геопоэтика детской литературы Урала между северным и сибирским фронтами», **Е. К. Макаренко** (Томск) «Проблемы поэтики современной сибирской агиографической литературы для детей» рассматривалось творчество, в том числе и современных авторов урало-сибирского региона.

Ряд выступлений объединило обращение к проблематике и поэтике сказки советской эпохи: **О. А. Скубач** (Барнаул) «Приключения сказки, или Концепция чуда в советской детской литературе 1930-х гг.», **А. А. Кудряшова, О. Ю. Сащенко** (Москва) «Образ и мотив времени в “Сказке о потерянном времени” Е. Л. Шварца», **А. В. Лобачева** (Барнаул) «Повесть-сказка А. М. Волкова “Волшебник Изумрудного города” как “момент” эволюции литературы».

А. Н. Губайдуллина (Томск) анализировала «Совместное чтение как мотив новой литературы для подростков», отметив, что изменения в организации подросткового чтения отразились в современных произведениях: мотив чтения в них сопряжен с темами дружбы, духовной и душевной близости.

В секции прозвучали сообщения **С. Ю. Колмакова** (Томск) о творчестве В. Железникова, **А. С. Шиловой** (Томск) о репрезентации концепта «святость» в агиографических текстах для детей, а также доклады **М. В. Гаан** (Барнаул) и **С. Балковой** (Оломоуц, Чехия) о детской поэзии.

В работе секции «Авторские интерпретации детства: стратегии, функции, приемы» в докладах были представлены разнообразные трактовки образа ребенка и мира детства, а также повествовательные приемы, используемые авторами произведений. Об охвате материалов можно судить по докладам **М. А. Хатямовой** (Томск) «Изображение детства в мемуарно-биографической литературе русского зарубежья», **Е. А. Сафоновой** (Томск) «Образ ребенка в лирике Ирины Кнорринг», **Т. Г. Мастепак** (Томск) «Поэт в роли читателя-комментатора своих стихотворений о детстве в романе В. Набокова “Дар” (анализ функций и основных тем метаповествования)», **О. Н. Русановой** (Томск) «Мир детства в драматургии Е. Гришковца», **С. Л. Старовойтовой** (Кемерово) «Образ ребенка в поэтическом наследии Игоря Киселёва», **К. В. Тырышкиной** (Томск) «Сопоставление точек зрения как повествовательный прием в сказках Т. Мейко».

Секция «Исследование вопросов детско-юношеского чтения и преподавания литературы» включала в себя доклады, посвященные целям, задачам, приемам и способам организации учебной и познавательной деятельности школьников, мотивации и кругу чтения учащихся. Вопросы чтения детской литературы и обучения детей творчеству нашли свое воплощение в докладах **С. Н. Колесовой** (Новосибирск) «Решение учебных задач как способ мотивации к чтению современной детско-юношеской литературы (на материале повести А. Жвалевского, Е. Пастернак “Время всегда хорошее”», **А. В. Петрова** (Томск) «Детская литература в пятых-шестых классах: теоретические и практические вопросы обучения творчеству», **М. И. Ломакиной** (Томск) «Особенности организации совместной деятельности, мотивирующей к смысловому чтению подростковой литературы», **А. А. Чермяниной** (Томск) «Образовательный потенциал приемов активизации интереса к чтению в старшей школе», **Я. В. Будянской** (Барнаул) «Поэзия постмодернизма в кругу чтения младших школьников».

На секции «Аксиология детско-юношеских отношений в литературе» с докладами, посвященными деструктивным, воспитательным и ценностным аспектам отношений выступали молодые исследователи ТГПУ (**И. В. Нестина, Е. С. Прокopenко, Г. И. Карташова, Д. Э. Тубольцева**), привлекая для анализа творчество Ф. М. Достоевского, М. Л. Халфиной, Б. Акунина, В. Роньшина. В докладе **В. Ю. Баль** (Томск) «“Дом” и “бездомье” в отношениях “мать – дочь” в романе

О. Славниковой “Стрекоза, увеличенная до размеров собаки”) концепт дома рассматривался в ракурсе онтологических и антропологических мотивов; доклад **Е. И. Пацюрка** (Томск) был посвящен проблеме формирования личности ребенка в «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского.

Доклады секции «Социальные, психологические, культурологические аспекты изображения детей в литературе» были направлены на широкое обобщение тем и мотивов, сюжетных и поэтических особенностей литературы о детях. Свои доклады представили **Е. А. Полева** (Томск) «Мотив правдоискательства в подростковой литературе 1960–1980-х годов», **О. Н. Турышева** (Екатеринбург) «“Заглядывая в собственное сердце...” и прозревая “законы судьбы”: инфантильное чтение в литературном изображении», **Т. А. Рыгова** (Томск) «Минимизация вербального в воспоминаниях о детстве и доминирование вербального в жизненном мире ребенка (на материале русских романов 2000-х годов)». С обоснованием ценностных и социально-психологических особенностей изображения мира детства в конкретных произведениях выступили **Ю. О. Чернявская** (Томск) «Формирование системы ценностей подростка в романе “Томские чудеса” Б. Климычева» и **Е. Н. Рогова, Л. С. Яницкий** (Кемерово) с совместным докладом «Сравнительно-психологические аспекты изображения детей с ограниченными возможностями в романе М. Петросян “Дом, в котором...”».

Секция «Детство в мемуарной, автобиографической литературе и эго-текстах» была посвящена разнообразным аспектам изображения детства в русской литературе XVIII – начала XXI в. **Е. Е. Приказчикова** (Екатеринбург) исследовала аксиологию детства в русской мемуарной литературе XVIII в. Сделали сообщения о детстве в литературе XIX в.: **В. А. Филатова** (Горловка, самопровозглашенная ДНР) на материале записок кавалерист-девицы Надежды Дуровой, **Т. В. Затеева** и **Е. Г. Новокрещенных** (Улан-Удэ) – по детским воспоминаниям Я. П. Полонского и А. А. Фета. Мемуарная литература XX и начала XXI в. была представлена именами В. Набокова и А. Аксёнова в докладах украинских филологов **С. А. Кочетовой** (Горловка) и **М. Н. Ивахненко** (Горловка).

В рамках конференции был проведен круглый стол, посвященный обсуждению проблем и перспектив изучения региональной детско-юношеской литературы², а также workshop «Методические подходы к работе с текстами для детско-юношеского чтения»³. Материалы конференции будут опубликованы в научном журнале «Вестник ТГПУ». Учитывая заинтересованность всех участников конференции в исследовании детско-юношеской литературы, актуальность и перспективность ее изучения, коллективом кафедры русской литературы было принято решение проводить подобные мероприятия по теме раз в два года (биеннале).

Список литературы

Макаренко Е. К., Полева Е. А. Итоги и перспективы исследования современной сибирской литературы для детей и юношества (отчет по гранту РГНФ и Администрации Томской области) // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. 2017. Вып. 2 (179). С. 128–134.

Сибирская литература для детей и юношества: тенденции и контекст развития (1950–2010 годы): Коллективная моногр. Т. 1 / Е. А. Полева и др. Под ред. Е. А. Полевой. Томск: Изд-во Том. ЦНТИ, 2016. 198 с.; Т. 2 / Е. А. Полева и др. Под ред. Е. А. Полевой, Е. К. Макаренко. Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2017.

² Модератор – заведующая кафедрой русской литературы ТГПУ Е. А. Полева.

³ Модератор – профессор кафедры русской литературы, советник ректората, директор «Международного научно-практического центра аксиологии и методологии духовно-нравственного воспитания» ТГПУ А. Н. Кошечко.

V. E. Golovchiner¹, E. K. Makarenko², A. V. Petrov³, E. A. Poleva⁴

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

¹golovchiner@mail.ru, ²andre@tspu.edu.ru

³arkadione@gmail.com, ⁴tspu-litera@yandex.ru

**Results of the 8th All-Russian scientific conference with international participation
“Russian literature in modern cultural space:
childhood in literature and literature about childhood”**

The paper summarizes the information on the 8th all-Russian scientific conference “Russian literature in modern cultural space: Childhood in literature and literature about childhood” (with international participation). The peculiarities, goals, and problems of studying children’s literature in recent decades are identified. The conference directions and related events are shown, and the results of studying themes, problems, and poetics of children’s literature by the Russian Literature Department of Tomsk State Pedagogical University and Russian Philology Community are reported. The paper also provides the list of reports with clarifications and the overview comment on breadth, diversity, and variability of approaches to studying children’s literature.

Keywords: conference, children’s literature, childhood, children’s reading, children and parents, poetics of children’s literature, teaching children’s literature.

DOI 10.17223/18137083/68/26

References

Makarenko E. K., Poleva E. A. Itogi i perspektivy issledovaniya sovremennoy sibirskoy literatury dlya detey i yunoshstva (otchet po grantu RGNF i Admini-stratsii Tomskoy oblasti) [Results and prospects of research of the modern Siberian literature for children and youth (report on the grant of the Russian State Humanitarian Fund and the Administration of the Tomsk region)]. *Tomsk State Pedagogical University Bulletin*. 2017, iss. 2 (179), pp. 128–134.

Poleva E. A. et al. *Sibirskaya literatura dlya detey i yunoshstva: tendentsii i kontekst razvitiya (1950–2010 gody): Kollektivnaya monogr.* [Siberian literature for children and youth: trends and context of development (1950–2010): Collective monograph]. Vol. 1. E. A. Poleva (Ed.). Tomsk, CNTI Publ., 2016, 198 p.; Vol. 2. E. A. Poleva, E. K. Makarenko (Eds). Tomsk, TSPU Publ., 2017.